

Александр Мелихов

БЕССМЕРТНАЯ
ВАЛЬКА



Союз писателей Санкт-Петербурга
2013

84(2Рос=Рус)6
УДК 821.161.1
М47

М47

Мелихов А.М.
Бессмертная Валька. Повести. – СПб.: Из-
дательство Союза писателей Санкт-Петербурга,
2013. – 432 с.
ISBN 978-5-4311-0037-6

ISBN 978-5-4311-0037-6

© Мелихов А.М., 2013

БЕССМЕРТНАЯ ВАЛЬКА

Повесть

Бобры строили плотину. На гранитном углу Мойки и Адмиралтейского канала. Под боком и днищем у ревущих катеров и рокочущих речных трамваев — *взгляните налево, взгляните направо, не смотрите вверх, не смотрите вниз.*

Бобры стояли плотину у подножия краснокирпичной твердыни Новой Голландии, чья военно-морская сердцевина была выедена исполинским дуплом, дабы освободить место культурно-коммерческому центру: дворец фестивалей на 2050 мест; защищённый воздушной подушкой от непогоды амфитеатр на 3500 мест; камерный зал на 400 мест в круглом здании морской тюрьмы; торгово-досуговые площади — 37 000 кв. м; три гостиницы категорий «4 звезды» и «5 звезд» — 56 000 кв. м; офисы — 10 000 кв. м; двухуровневая подземная стоянка — 50 000 кв. м; апартаменты — 8700 кв. м. Всего предполагается реконструировать и построить примерно 180 000 кв. м. Ориентировочная стоимость работ 378 миллионов долларов.

Бобры строили плотину в двух шагах от неприступных корпусов университета космического приборостроения, днём и ночью работающего над системами абляционной защиты, стыковки, ориентации, стабилизации, навигации, мягкой и жесткой посадки, раннего и позднего предупреждения, низкоорбитальной и высокоорбитальной спутниковой связи, над гидравлическими, пневматическими и оптико-электронными подсистемами, над усовершенствованием жидкостных и твердотопливных реактивных двигателей, уже замахиваясь на двигатели ядерные: земля колыбель человечества, но нельзя же вечно жить в колыбели!

А бобры строили плотину, полагаясь лишь на свои самозатачивающиеся резцы и кожаные лапти хвостов, не обращая ни малейшего внимания на соседство жемчужины мировой оперы и балета Мариинского театра, под чьим кровом вот уже многие годы созидаются воздушные шедевры маэстро Гергиева — кавалера ордена Святого Месропа Маштоца, Великого офицера ордена «За заслуги перед Итальянской республикой», кавалера ордена «Данакер», Рыцаря ордена Нидерландского льва, кавалера ордена Ярослава Мудрого, кавалера креста «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», командора Льва Финляндии, офицера французского ордена Почетного легиона, кавалера японского ордена Восходящего солнца с золотыми лучами и лентой, кавалера ордена «Уацамонга», а также орденов Святого Благоверного князя Даниила Московского и Святого Равноапостольного князя Владимира, великого маэстро Гергиева, чья слава и творческая энергия уже перехлестнула через Крюков канал, дабы обрести новый расцвет в еще не виданном архитектурном измышлении, коему предстояло утонуть в восставшем болоте зависти, чтобы возродиться привычной помесью бетонного сундука с аквариумом.

И неужели же какие-то жалкие бобры, предназначенные серебриться морозной пылью в виде шуб и воротников, после этого рассчитывали, что им позволят перекрыть Адмиралтейский канал?.. Они ни на что не рассчитывали, они просто делали то, к чему их предназначила природа. Они деловито гребли перепончатыми лапками от одной гранитной стенки до другой и уже успели обточить вокруг склонившегося к каналу дерева светящийся пояс.

И я понял, что очень давно не звонил Вальке.

* * *

Я вглядывался в лица всех попадавшихся навстречу женщин — тощих вертихвосток и осанистых мамаш, кучерявых овечек и струящихся русалок, надменных бизнесвумен и загадочных леди-вамп, тонкогубых стерв и румяных душечек, и в каждой из них прозревал ровно столько женского, сколько

в ней было Вальки, готовой снова и снова браться за сооружение своей хатки на стройплощадке вавилонских башен гения и суеты, среди их гранитных и бетонных заготовок и обломков, среди эстрадного блеска и грохота, среди молчаливого величия и величавой немоты.

И на серой, выношенной почине ее сатиновых шароварчиков детской фотографии добрые-предобрые Валькины глазки через годы и десятилетия светят мне васильками из незатейливой песенки нашей юности: «Для меня нет дорожке цветов — васильков, васильков, васильков. Потому что в глазах для меня дорогих вижу цвет васильков полевых». Это васильковое сияние немедленно вспыхивало в моей памяти, чуть только я отворачивался от черно-серого фото, чью покоробленность не могла удержать в узде даже узорчатая рамка гипса под бронзу. Мне было прекрасно известно, что в пору нашего с Валькой детства цветная фотография еще не проникла в советский быт далее обложек журнала «Огонек», и все-таки васильковый свет Валькиных глаз упорно сиял мне сквозь серую фотобумагу. И когда мне случалось сердиться на Вальку, сияние этой распахнутой миру васильковой доброты уже через полчаса вновь пробивалось к моей душе и разом снимало всякую досаду.

Не только немеркнувший васильковый свет, но и сама фотография и в огне не сгорела, и в воде не утонула, когда пожарные заливали Валькину квартиру жидким молочным супом, судя по разводам на моющихся, но так и не отмывшихся обоях. Зря, конечно, Валька пустила к себе жить эту женщину-курицу, лишь кудахтавшую да хлопавшую непригодными к полету крыльями при виде ею же выпущенных на волю языков пламени, но разве Валька в силах отказать в приюте какому-нибудь животному или птице: ведь, вопреки пословице, курица все-таки птица, а женщина даже нечто большее, чем человек.

Чем еще приятно звонить Вальке — в ее радостном взгляде «Кого я слышу!» не нужно искать никаких подтекстов типа «Вспомнил наконец» или «Ну? Зачем я тебе понадобилась?» — ничего невероятного, если один человек жил-жил,

да и вспомнил другого. А что до этого не вспоминал — так у всех же такая напряженная жизнь! Тем более у меня, главного теоретика лакотряпочной отрасли — о каких ответственных вопросах мне приходится денно и ночью размышлять, а я вот столько лет о ней все-таки помню!

— Как поживаешь, дитя мое?

В ответ внезапная, чисто Валькина вспышка:

— Шла утром на работу, и какой-то азер за задницу схватил!

Она и в тысячный раз умеет негодовать с тем же изумлением, что и в первый: да как же так можно?!

— Завидую. Что значит настоящий мужчина: пришел, увидел и схватил. А я всю жизнь только мечтал.

Молчание. И мрачноватая усмешка:

— Плохо значит мечтал.

— Ну а вдруг бы ты мне дала пощечину? «Как, вы за кого ее принимаете?..»

— Я об этого джигита, кстати, зонтик сломала — так все плохо стали делать!..

— Эт правильно, пусть знает, что он не у себя в ауле, а в культурной столице.

— Там рядом работяги асфальт укладывали, я думаю: при них он не посмеет меня тронуть. Он и припустил, как дядя Арон от тети Клепы — помнишь, я тебе рассказывала?

— Как можно забыть дядю Арона!

И тут у меня вырвалось само собой:

— А ты помнишь ту ночь?

— Еще бы не помнить.

Она не промедлила ни мгновения, хотя годков с той волшебнои ночи натикало минимум на серебряную свадьбу и мы до этой минуты ни полусловом, ни полувзглядом не давали друг другу понять, что эта ночь была и что мы оба ее помним.

А до ночи был еще и невероятный сверхсолнечный день, забросивший нас даже и не в юность, а в детство, на горячий крупчатый асфальт под изнежившимися, чувствующими каждую песчинку босыми ступнями, вынесшими нас сначала к исполинским бетонным чанам, про которые Валька сообщила мне с некоторой даже умильностью: «Тут всякие какахи

отстаиваются», а после унесшими и вовсе в неведомые края: не могли же прятаться в скучном ленинградском пригороде эти дышащие горячей хвоей и горячим песком золотые дюны, на откосы которых можно было бесстрашно сигать с пятиметровой высоты, чтобы, погрузившись по колено, на гребне маленькой лавины сползти до поседелого малахита мхов.

Валька всегда жила в каких-то переходных зонах: то мы блуждаем по диким пескам среди обнаженных корневищ — а вот уже сидим в двухкомнатной хрущевке за изысканным ужином: Валька обожала в кулинарии нехоженые пути, на своих днях рождения постоянно чем-нибудь да удивляла. На этот раз она угощала меня шитыми белыми нитками зразами — истекающие маслом молотые яйца, завернутые в говяжью отбивную, вкуснятина была обалденная. Хотя под нагулянный в дюнах аппетит, под армянский коньяк и возвращенное детство и печеная картошка вкушалась бы райским лакомством. И смешили бы шутики даже еще более неприязнительные, чем пошивка зраз из мяса заказчика.

Ведь только меж любящими возможен увлекательный разговор о пустяках, ибо в том, кого любишь, интересно все. Кажется, мы еще верили, что наслаждаемся дружеской болтовней, но теперь-то я знаю, что дружба между мужчиной и женщиной всегда есть только маска влюбленности. И когда мы бродили среди рубиновых, изумрудных и аметистовых разливов белых ночей в бескрайних плоских болотах, которые тоже ухитрились где-то здесь же по соседству разместиться, я изнемогал от желания заключить ее в объятия. Мы как бы дружески брели в обнимку (она уже утратила свое неправдоподобное изящество, и плечико ее было довольно-таки упитанное), но я собирал все силы, чтобы не прижать ее к груди и не впиться в кукольные, но ужасно живые губы, а там хоть бы и свету провалиться...

Но как же, подруга жены, жена друга, пускай и бывшая, пускай и бывшего — вся эта моралистическая муть стояла меж нами бетонной стеной, и дивный аккорд немислимой красоты небес, лесов и вод, сливаясь с обуревавшей меня страстью, не оставлял мне свободного уголка души даже задуматься, с чего

это Валька все время повторяет: сейчас выйдем к сараю, сейчас выйдем к сараю — мало ли сараев в лесу, и только когда из тьмы лесов, из топей блат внезапно воссиял огромный сюрреалистический аквариум, в котором скромно серел обыкновенный деревянный сарай, — только тогда до меня дошло, что в этом сарае, по преданию, скрывался от ищеек Временного правительства Владимир Ильич Ленин. После еще двух-трех часов или двух-трех суток лесных белонощных блужданий на меня гораздо более сильное впечатление произвело другое Валькино заявление: «А вот в этом доме прошло мое детство!»

Завернутое в струи молочного утреннего тумана в абсолютном безмолвии нам предстало идиллическое дворянское гнездышко деревянного модерна с резными башенками и террасками, с мощенной бульжником как бы кипарисовой аллеей, с белым горбатым мостиком через прозрачный ручей. И только когда мы подошли совсем близко, мне открылось, что полусгнивший дом лишь слегка подлатан и подмалеван для неведомой киносъемки, что в ручье ржавеют пружины истлевшего матраца, а мостик и вовсе слеппен из какого-то папье-маше.

И все-таки Валькино детство прошло в таком вот аристократическом уголке!

* * *

— До сих пор жалею, что тогда не дал себе воли, — впервые за протекшую вечность откровенно признался я.

— Но тогда бы не было так хорошо, — мгновенно откликнулась Валька.

— А может, было бы еще лучше... Жизнь не очень щедра на такие дни и ночи.

— Но кем бы мы были перед Катькой? — в Валькином голосе звучала горечь, переходящая в скорбь.

— Эт верно. Да мы бы и не остановились, пока не кончилось бы каким-то взрывом. Но что упились бы, то упились.

Валька возражать не стала.

Жалко, что мы не животные, хотел пошутить я, зная, что сравнение с животными для Вальки нисколько не обидно, но тут же сообразил, что она не пожелает принять и нашего

морального превосходства над ними: у животных есть и верность, и ревность, и все что хотите — Вальке ли этого не знать!

* * *

Валька, сколько себя помнила, всегда обреталась в каких-то переходных зонах: меж миром здоровых и миром больных, меж миром людей и миром животных, — я бы даже возгласил что-нибудь пороскошнее типа «меж цивилизацией и варварством», если бы цивилизованностью так страстно не стремилась именовать себя городская пошлость. Санаторная же обслуга именovala обитателей соседнего дачного поселка еврейями, а обитателей соседнего просто поселка — «поселковыми». Резную дачу, отнятую революцией у скудеющей ветви семейства Фаберже, заботливая советская власть отдала детям, не настолько инфицированным, чтобы отправить их следом за родителями в туберкулезную больницу, но и не настолько свободным от палочек Коха, чтобы оставить их на воле. Хотя и считалось, что заразиться от «санаторских» нельзя, Валькина мама-воспитательница старалась тем не менее держать добрую девочку с васильковыми глазами от них подальше — и, стало быть, поближе к миру котов, собак, мышей, пауков, лягушек, коров, овец, свиней и поселковых мальчишек, управлявшихся с пауками и лягушками с такой, мягко говоря, бесцеремонностью, какую в мире свиней и котов даже вообразить было невозможно.

Разве какая-нибудь свинья стала бы отрывать лапки у паука-косиножки, разве какой-нибудь кот додумался бы надувать соломинкой лягушек?.. Обычно стеснительная, Валька теряла голову и бросалась отнимать у мучителей их жертвы, но мучители только хохотали, огородившись острыми, пятнистыми от болячек локтями. Валька пыталась хотя бы убежать, но от них было и не скрыться, однажды маленькие паскудники повалили ее на горячую колкую хвою и запихали холодного раздутого лягушонка прямо в выношенные санаторскими трикотажные трусики...

Только Вальке было совсем не противно, потому что лягушонку было больно.

Наверно, можно было их как-то избегать, этих истязателей, но Валька так никогда этому и не выучилась, искусству

избегать, — она чувствовала себя обязанной принимать каждого, кого сочтет нужным ниспослать судьба. Даже если это, скажем, танк. Залегши с поселковыми в царпучих кустах, Валька не смела хотя бы зажать ушки, когда танки один за другим как будто лопались невыносимым звоном, плюясь дымом и огнем, и только повторяла безнадежно за хозяевами жизни: во законно... во милово... А потом железные громады начинали как ненормальные с ревом носиться друг за дружкой, тяжело плюхаясь с бугра по брюхо в огромную лужищу (насколько же милее это делали лягушки!). Или еще крутиться на одном месте, словно пес Кобель, пытающийся ухватить себя за хвост (но от пса не остается же такая изодранная в мясо земля!).

Пес Кобель жил в будке при огороде, на котором, согнувшись в три погибели, в свободные часы выщипывала траву повариха тетя Клёпа, или, как ее звали санаторские, Клеопатра Матвеевна. В белом халате тетя Клепа бывала неприступной, зато в байковом становилась доброй почти как мама. Только траву в огороде за что-то ненавидела. Трава была совершенно хорошая, ничуть не хуже той, что росла под елями и березами, да, собственно, не хуже и самих елей и берез, но раз уж тете Клёпе она чем-то не угодила, Валька всегда приходила ей помогать. Кобель тоже старался им помочь, облаивая каждого, кто хотя бы мелькал за растопырившимися лапами елей, и даже метался на цепи вокруг своей деревянной будки, но Валька прекрасно понимала, что это он только для виду, чтобы тоже как-то поучаствовать в общем деле.

Зато дядя Орон даже не орал, а только приходил из дачного поселка посидеть на скамеечке, когда Валька с тетей Клёпой принимались уничтожать ни в чем не повинную траву — лысый и раздутый, словно несчастный лягушонок, хотя, когда он удалялся, тетя Клёпа почему-то называла его котярой: сидит и пялится, котяра лысый — Вальке было обидно не столько за дядю Орона, сколько за кота Василия, с которым не только сама Валька, но и тетя Клёпа водила приятное знакомство и называла котярой явно в похвалу, когда он нежился на солнышке у кухонного порога в ожидании очередного угощения: «Ишь, разлегся, котяра!». Зачем же обзывать таким

хорошим словом — котяра?.. Но это было еще что — Валька прямо-таки обмерла от испуга, когда с огорода вдруг понеслись тетиклѣпины крики: «Ах ты, кобель! Обрубок лысый!» Хотя тетя Клѣпа на этот раз была в байковом. И дядя Орон укатился под еловые лапы так стремительно, что Валька даже не успела его пожалеть, а только посочувствовала Кобелю, чье имя ни с того ни с сего вдруг тоже было использовано в качестве ругательства. Обрубка же она пропустила мимо ушей как явное недоразумение.

У маленькой Вальки было два знакомых Василия — кот Василий и сосед Василий, чей дом заехал от поселковых почти что к самым санаторским: Валька часто навевывалась *попроведать* его кабана. Кабан ей не очень нравился за то, что никогда не благодарил за траву, которую она ему таскала, только рычал с подвизгом, но что поделаешь, кто без греха, сказала бы Валька, если бы знала такие сложные выражения, но чувство она испытывала именно это: не судите, да не судимы будете.

Ее вообще приучали не драматизировать мир сверх необходимости. Когда она прибегала к маме пожаловаться на то, на се, на пятое, мама всегда садилась, прижимала ее беленькую головку к мягкой доброй груди и произносила почти мечтательно: «Это еще не горе!..» — словно предвкушая какие-то будущие настоящие горести. Тетя же Клѣпа брала тон презрительный: «Это не беда, это победушка».

Валька поняла, до какой степени они были правы, только когда сосед Василий убил кота Василия. Сосед Василий вывесил тушку курицы за окно (Валька не видела ничего общего между тушкой и живой курицей), а кот Василий выел ей попку. А сосед Василий ударил кота Василия лопатой и убил насмерть. И насколько кот был крупен и важен, разлегшись в ожидании дани, настолько же был мал и жалок его грязно-белый трупик на травянистой дороге.

Тогда-то Валька впервые и узнала, что такое настоящее горе. Она даже не плакала — она оцепенела. Однако воистину безмерное горестное изумление она испытала лишь тогда, когда поняла, что после убийства кота **НИЧЕГО НЕ ПЕРЕМЕНИЛОСЬ**.

Она и сама не знала, чего она ждала — ну, что соседа Василия посадят в милицию, что кота Василия будут оплакивать девять дней и девять ночей, а потом будут поклоняться его могилке, словом, неизвестно чего, но из ряда вон, — и, тем не менее, кота сердитая тетя Клёпа закопала в лесу, а назавтра про него никто уже и не вспоминал. Что же до соседа Василия, то через неделю он как ни в чем не бывало пришкандыбал на кухню по каким-то своим делам, и с ним разговаривали так, будто ничего особенного не случилось, и одна лишь Валька, спрятавшись за дышащую жаром плиту, с ужасом следила за ним своими васильковыми глазками. И какой же он был страшный! Подбородок словно разрубленный надвое (может, его тоже били лопатой?..), весь в черных точечках как наперченный, зубы сверкающие, железные, из ноздрей пышут черные завитки...

А осенью сосед Василий убил еще и кабана, и тугой загибок, обросший жесткими белыми волосами, ничем того не защитил, и рычание его с подвизгом никого не напугало...

Только тогда маленькая девочка с васильковыми глазами и постигла до самой непроглядной глубины: противных животных не бывает. Потому что их всех кто-то может убить.

Лишь после этого она полюбила и паука. Именно за то, что его уж совсем никто не любил. И ему из-за этого приходилось сидеть, забившись в самый темный угол под потолком самого темного сарая. Стыдясь своих мохнатых лапок, мохнатого брюшка, покрытого мелкими пятнышками, в которых, если хорошенько приглядеться, можно высмотреть очень красивые картинки. Косиножка какой-то неумело состроенный, из одних исхудалых локтей, а крестовик очень ладненький.

Именно поэтому ее первым мужчиной стал человек-паук — из-за его крепеньких мохнатых ручек, из-за его пятнышек на лбу, из-за его склонности забиваться в самый темный угол. Из которого он время от времени делал вылазки, пытаясь уловить в свою паутину то одну, то другую девочку-лаборантку (Валька уже работала в очередной своей промежуточной зоне при институте онкологии), приглашая их в театр, где, как они потом со смехом рассказывали друг дружке, угощал их мягкой

подтаявшей конфетой. И Вальке было за него обидно до слез: как можно потешаться над конфетой, разогретой теплом человеческой души!..

Она-то уж держала бы эту конфету за щекой, откуда та окончательно не растаяла от совместного жара их сердец! Вот так человек-паук и стал ее первым мужчиной, а она его первой и последней женщиной.

Это я, конечно, злобствую. На самом деле всякое дыхание может отыскать свою крупицу Вальки. И даже не одну. И даже не одной. Что с того, что паук так по-прежнему и стремится оплести, насосаться и снова забиться в темный угол — все равно у него остаются мохнатые лапки, а пятнышки на его тугой спинке, если хорошенько приглядеться, складываются в очень красивый рисунок...

Через Валькину жизнь прошли, простучали копытцами, процокали коготками все ее бывшие любимцы — и человек-петух, и человек-кабан, и человек-кот, и человек-кобель, и обнаружилось, что трогательное в животных в человеке отвратно.

Для меня обнаружилось. Для Вальки же обнаружилось совершенно обратное. Нет, она, разумеется, замечала, что человек-петух очень уж любит петушиться, но не могла же она забыть, что, когда ее совсем малюткой мама оставила спеленутой на крыльце, то петух выключил ей лишь ячмень на глазу, а глаз оставил. Не могла она не видеть и того, что человек-кабан норовит все деликатесы перемешать в одно месиво и зарыться в него своим резиновым пяточком, выставив на обозрение тугой загривок, обросший жесткими белыми волосами, и после никогда не благодарит за угощение. Замечала она и то, что человек-кот больше всего любит валяться на боку в ожидании дани, а потом исчезать по каким-то своим котовым делам. А уж человек-кобель — это просто божеское испытание, от него она натерпелась больше всего. Но ведь он так радостно прыгает и старается лизнуть в губы горячим шершавым языком, когда почешешь его за ухом! А кот так блаженно рокошет, когда начинаешь щекотать ему теплый шелковистый животик! А человека-кабана становится так невыносимо жалко, когда

увидишь за прилавком кабанью тушу, расчлененную на размочаленной колоде страшным палаческим топором мясника...

Хотя первый парень, который ей предстал в разделочном анатомическом театре, наоборот был высоченный мраморный красавец — хоть сейчас в Эрмитаж, и ее снова повергло в горестное изумление, что до красоты его их учителю в неприступном белом халате не было ни малейшего дела, он старался им вдолбить только то, что лимфогранулематоз есть злокачественное заболевание лимфоидной ткани, характерным признаком которого является наличие гигантских клеток Березовского–Штернберга, коим тоже нет ни малейшего дела ни до красоты, ни до безобразия. Ни до наготы, созерцание которой впервые в жизни не вызвало у нее ни малейшего ни интереса, ни смущения: все это была слишком человеческая моралистическая муть перед лицом смерти, равно безжалостной к людям и к животным. И Валька всей своей оцепеневшей кожей ощутила, насколько верный выбор она сделала, направив шаги в медицину, уравнивающую человека и животное как ни одна другая профессия в мире.

Она не впадала в греховное сомнение, даже когда и ей пришлось заниматься вскрытиями — лишь мылась по три раза, обдирая себя какой только найдется самой скребучей мочалкой, лишь полоскала рот обжигающим раствором спирта, чтобы перестать быть противной самой себе. И день на третий, на четвертый ей это в общем удавалось. И даже невыносимую жалость ко всему живому удавалось сбить, словно температуру, до какого-то переносимого градуса.

Труднее всего было отмыться от запаха — он впитывался в подкожный жир, в легкие, в клетки, которые проступали из таких понятных и естественных слов, как руки, ноги, живот, дыхание... Чтобы лечить человеческое тело, нужно было знать, из чего оно состоит и как работает; но, чтобы жить, нужно было этого не знать. Валька не сумела сдать физику в мединститут не только оттого, что в их пригородной школе ее преподавали из рук вон скверно — Катька, обучаясь с Валькой в одном классе, ухитрилась же как-то сдать эту самую физику даже в университет! Хотя я до сих пор иногда забавляюсь,

расспрашивая ее, отчего уют нагревается, а приемник разговаривает, несмотря на то, что их включают в одну и ту же розетку: Катьке удавалось произносить правильные слова, абсолютно не понимая их смысла, от экзаменаторов требовались чудеса проницательности, чтобы понять, что они беседуют с говорящим попугаем, над учебником физики впадающим в летаргический сон уже на второй странице.

Притом Катька не только далеко не дура, но в делах, касающихся жизненной мудрости, она будет еще и поумнее меня, разобраться в физике ей мешает лишь глубинная уверенность, что все это ей совершенно ни к чему. А Валька, вообще-то тоже очень сообразительная, все умеющая ловить налету, в подсознательном презрении к физике оставляет далеко позади даже Катьку. Когда-то я из-за этого поглядывал на них несколько свысока и лишь совсем недавно понял, что движет ими вовсе не глупость, но, напротив, мудрость: чего не хотят знать женщины, того действительно и не следует знать.

Думаю, Валька разбиралась в физике еще хуже Катьки прежде всего потому, что в еще большей степени была женщиной. А что ей было действительно нужно, она выловила из воздуха — услышала по радио, что институт онкологии сам готовит для себя лаборанток со знанием машинописи и стенографии. При этом она ничуть не сомневалась, что ни машинопись, ни стенография ей даром не нужны, и все устроилось ровно по ее хотению — ни о чем таком машинописно-стенографическом на курсах не было и помину.

Зато первый настоящий урок запомнился ей на всю жизнь.

Это была встреча с первым скелетом. Девчонки, само собой, напялили на него набекрень панамку, сунули в зубы дымящуюся сигарету, а патологоанатом Березко, жилистый, как березовый свиль, отчитал их за это не просто формы ради, а по-настоящему, зло. Может, устал после операции, но видно было, что это его всерьез коробит. И не ради какой-то моралистической мути, что это-де тоже человек и так далее — если бы он считал мертвых людьми, он бы не мог выполнять свою работу. На выпускном вечере Валька с ним немножко подружилась, и он ей признался, что одетых мертвецов бо-

ится, как и все нормальные люди. А раздетые — это просто материал.

Вальке же не внушал ни малейшего страха ни один человек, в ком еще теплилась жизнь. Поэтому клинические палаты, переполненные самыми злокачественными новообразованиями, внушали ей не ужас, но лишь очень глубокую серьезность: если люди оказываются такими желтыми, восковыми, ввалившимися, обессиленными, стонущими, значит ты уже не в школе, здесь дурака валять нельзя. А нужно исполнять все до мелочей, что говорят те, кто поумней тебя. И если даже потребуется мучить животных — нужно это делать не колеблясь. Не мучить, нет — приносить в жертву.

Ей стало ясно до дна: какой бы милой ни была собачка, киска, крыска, человек все равно важнее. И она уже вводила кискам и крыскам зловещие препараты, не ведая ни малейших сомнений. Ее лаборатория испытывала на животных разные смолы, смахивавшие на уже известные «канцерогенные агенты», чтобы потом варить из них, из смол, какие-то пластмассы, и нужно было вызывающую опасения масляную взвесь то вкалывать, то впрыскивать в горлышко всяческим милым зверюшкам. Впрыскивать кому неделю, кому месяц, кому год. Чтобы потом кого умертвить через неделю, кого через месяц, а кого, если получится, пронаблюдать и до старости, у крысок наступающей не успеешь оглянуться. И посмотреть, что у кого выросло. Распять на пробковой или стеариновой плахе, куда легко входят гвоздики, и раскрыть для глаза то, о чем следовало тут же забыть.

Так только и можно было выжить — делать не вдумываясь и тут же забывать. Но сначала делать. У некоторых крысок от впрыскиваний развивался асцит — брюшко вздувалось пузырем, и жидкость оттуда тоже нужно было брать шприцем на пробу. И вдруг одна крыска оказалась беременной. И все девчонки начали жаться, прятаться друг за дружку. Так преподавательница Зора Яковлевна цыкнула на них с таким сверканием цыганских глаз, что ни у кого больше никогда не возникало и помысла кокетничать чувствительностью. «С женихом будете жеманничать!» — и через тридцать лет звенело у Вальки в ушах.

Хотя отношения между младшими и старшими, обремененными учеными степенями, были самые товарищеские — отвечали на любой вопрос, обсуждали любое мнение. Кроме абсолютно не подлежащего обсуждению: надо — значит надо. Надо отсечь крыске голову, чтобы получить сразу целую мензурку крови — беспрекословно берешь сверкающие портновские ножницы, отключаешься, делаешь резкое сжатие (что там у нее за шейка!), переворачиваешь, сцеживаешь — как будто это не ты. И живешь дальше, как будто ничего не было. Только под пальцами что-то продолжает пружинить. За год до того Валька просто бы не поверила, что она на такое способна, что такую необоримую силу обретет над нею долг перед мучающимися людьми.

И что за пределами долга она ухитрится остаться ровно той же девочкой из санатория Фаберже, которая так никогда и не сможет взять в толк, как это можно — мучить животных. Дергать за хвост кошек, гонять дрыном свиней, надувать лягушат, отрывать лапки паукам... Взять хоть бы и крысок — они же такие чудные! Особенно те, что с черным капюшончиком и белыми лапками, будто в миниатюрных перчаточках. И если их предстоит убить, это совсем не значит, что их не нужно любить, наоборот. Люди ведь тоже все до одного когда-нибудь будут убиты — так мы их за это только любим в миллион раз сильнее, — почему же с животными должно быть иначе?

Крыс привозили большими партиями из специального крысководческого совхоза — выводили особые породы, чистые линии, — а работяги обращались с ними ужасно, как работорговцы с неграми, сваливали слипшейся кучей, морозили — половина могла передохнуть в дороге и после. Потому-то ученый люд и решил разводить крысок сам: выбрали на племя красавицу и красавца по кличке Дымка и Дымок, — Дымка черненькая, Дымок беленький, Дымка очень шустрая, а Дымок очень ленивый, — и потомство у них народилось просто чудо, цвета мокрого асфальта (хотя маленькие все хорошенькие, даже паучки). Дымок предпочитал нежиться в клетке, а Дымка бегала по всей лаборатории и даже по коридору, сама прыгала на руки, и однажды прыгнула на Манану Теймуразовну

Вострикову, приехавшую обсудить с Валькиным начальником свою диссертацию. Бедная Манана Теймуразовна упала в обморок, а когда ее начали приводить в чувство, вдобавок выяснилось, что она носит корсет. После этого Дымке разрешалось гулять по коридору только под конвоем (и кто бы кроме Вальки стал этим заниматься!).

Однажды она вынесла Дымочку на травку, та побегала, что-то покушала (наслаждение было смотреть, как она все перебирает лапками, лапками), а потом вдруг забеспокоилась, вспомнила, что ее детки остались на третьем этаже в виварии. И как же она начала метаться — то к углу отбежит, то обратно к крылечку, усики так и ходят... А потом все же взобралась по ступенькам до второго этажа. Но тут эксперимент пришлось прервать, чтобы испуганную мамочку не задавили своими тележками тетки, развозившие корм.

Но любовь любовью, а работа работой. Валька впрыскивала крыскам в горлышко ядовитую смесь прямо-таки с нежностью: берешь ее за шкирятник — она сразу же разевает ротик, — и туда ей в горлышко тоненький самодельный зондик из шприца со сточенной изогнутой иглой: не бойся, глупенькая, глотай, глотай, вот и умница...

Однажды, правда, Валька начала приучать к крыскам пугливую новую лаборантку, показывать, что они совсем не страшные. Взяла одну в руки, принялась поглаживать (видишь, видишь, если с ней ласково...) — и начала еще и перебирать ей пальчики, кошка у них дома любила, когда ей пальчики перебирают — а крыска вдруг кусь ее за палец! Да потом еще раз — кусь! (Рассказ велся без малейшей досады, почти с умилением.) Валька даже виду не подала, чтобы не напугать новенькую еще больше, но вечером палец раздулся, поднялась температура, разбухли лимфатические узлы под мышкой — а в лечебном корпусе никто из хирургов нарыв вскрывать не захотел, принялись колоть антибиотики, у нее по всему телу пошли пузыри, начался ужаснейший зуд... Тогда-то она в первый раз и поняла, насколько доктора не хотят связываться даже с самой маленькой операцией: любое осложнение — и ты замазан.

Точнее, она поняла, почему они не хотят, но так никогда и не сумела постичь, как это можно — мочь и не помочь.

Прежде она не понимала и того, как это верующие могут верить, что бог их любит, если он всех подряд убивает, а теперь поняла: она тоже всех любила — и подопытных кур в курятнике, и собак в виварии, ей уже запрещали ходить мимо них — очень уж они сразу начинали выть и лаять, умолять, чтоб она их выпустила поноситься на свободе. Но не могла же она их выгуливать всех разом! Когда она брала хоть парочку на поводок, они ее — тоненькую, легонькую — уволакивали черт знает куда, потом кого-то приходилось звать, чтобы загнать их обратно. Но однажды она догадалась по одной отвести собак во дворик, где прогуливались экспериментальные куры — пусть побегают все вместе. И собаки передушили всех кур до единой!

Но какой же хороший народ работал в лаборатории канцерогенных агентов! Заведующий канцагентами Семен Борисович Блисс задал ей только один вопрос: «Что будем делать, Валентина Александровна?» — а потом, видно, всех кур списал как жертвы науки, у нее ни копейки не вычли из ее крошечной зарплаты.

И почему люди обязательно должны кого-то душить?!

То есть не люди, конечно, а собаки: в ту же примерно пору она слушала, слушала сетования своего первого возлюбленного, какая сволочь тот да какой гад этот, и вдруг у нее самой вырвалось счастливое: «А мне только хорошие люди попадались!» Как будто не было в ее жизни поселковых, засунувших раздутого лягушонка ей в трусики, как будто не было соседа Василия, убившего кота Василия...

Ей довольно долго без труда давался этот секрет человеческого счастья: жить так, как будто не знаешь того, что тебе прекрасно известно.

А что, собственно, было ей известно? Что все кусаются, когда их обидишь? Так не надо обижать. Когда ее укусил за палец шмель, которому она устроила такой уютный домик в спичечном коробке, выложенном куриным пухом, плакала она не от боли — от обиды: она же для него старалась, хотела

научить его плавать! Но когда ей объяснили, что, потеряв жало, шмель умирает, она начала плакать уже от жалости: какой глупый, можно же было как-то по-другому дать ей понять, что он боится воды!

И все-таки если бы ей приказала Зора Яковлевна, Валька бесшепетной рукой рассекла бы пополам его мохнатенькое тельце.

* * *

Мог ли я вообразить, когда впервые встретился с Валькой, что вижу перед собой человека долга!

Когда на третьем курсе у Катьки от любви ко мне открылась классическая чахотка, я каждый день катался в царско-сельскую туббольницу номер три на гремучей электричке, высматривая контролеров из морозного тамбура. Я еще не знал золотого правила советской жизни «делай сам» и остался без стипендии, досрочно сдавши сессию на круглые пятерки. Я попросил папу с мамой отправить справки об их баснословных доходах провинциальных интеллигентов на имя нашего старосты и моего друга Мишки Березовского и с легкой душой отправился бродяжничать по Руси. И был не слишком даже огорчен, узнавши, что никаких справок Мишка в глаза не видел. Я подрабатывал на разгрузках в Бадаевской империи, завтракал в общежитии огрызками сухого батона, ужинал пареной капустой, но зато обедал по-царскосельски.

Передвигался я в своем летнем пальтишке исключительно бегом, не желая тратить время на такую глупость, как ходьба, и, разгоряченный, вбежавши в полутемный шахматно-кафельный вестибюль (нам весело, нам радостно и на морозе жарко), усаживался на порепанное дерматиновое сиденье за роскошный обед, сервированный в стеклянной литровой банке большими заботливыми руками моей чахоточной девы. Сложением античная богиня, Катька не могла, да и не старалась осилить усиленную античахоточную пайку и выносила мне в прозрачной банке сразу несколько культурных слоев: желтые кубики сливочного масла, бледная куриная нога, позолоченные ломтики копченой селедки, примятые черными горбушками...

Ни больничная вонь, ни палочно-палатный дух ничуть не омрачали моего аппетита — в палочках Коха я усматривал опасности ровно столько, чтобы придать жизни перчика. Целоваться в продувном зимнем саду нам категорически воспрещалось — он насквозь просвечивался квадратными юпитерами палатных окон, сквозь которые, если прижаться к ним лбом и загородиться ладонями, можно было кое-что разглядеть, — так что нам приходилось скрываться за мусорными контейнерами, на которых белели сикось-накось намалеванные мочалкой огромные буквы **ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ**. Каткины губы на морозе были особенно теплые, мягкие и добрые, как у лошади, — так и хотелось угостить их овсом с ладони.

Мысли не было, что туберкулез и впрямь может убить — все приключения обязаны были иметь хороший конец.

Поэтому и каждый встречный воспринимался приятным сюрпризом. Тем более, тоненькая блондиночка в пышном белокуром тюрбане из собственных волос, *бабетте*, щебетавшая с Каткой в гулком кафельном вестибюле. Она оживленно повествовала о какой-то развеселой свадьбе, где и невеста, разгорячившись, прямо в фате бросилась в общую пляску, о какой-то тоже Катке, но только Фаберже из совсем уже оскудевшей ветви громкого семейства, которая прямо за кульманом целовалась с Юркой Рыжковым, а ее законный любовник Борька Гурвич так заехал ей по морде, что она вылетела на всеобщее обозрение...

Я отнюдь не был ни ханжой, ни ригористом, случалось мне и напиваться, и плясать до упаду, и целоваться с чужими любовницами, но меня покорибил тон... Одобрения что ли? Нет, она повествовала о мире, где люди жили легко. А люди не должны жить легко.

Я почувствовал обиду, что, сталкиваясь с ними, я каким-то образом остаюсь в дураках. И в знак протеста опустошил литровую банку, не проронив ни единого слова, а затем углубился в журнал «Дифференциальные уравнения». Не только демонстрации ради — мне и впрямь льстило, что я там уже кое-что понимаю. Только когда блондиночка поднялась прощаться, я краем левого глаза невольно разглядел, что у нее совсем нет живота — прямо веточка какая-то.

Это, однако, нисколько не примирило меня с ней. Ну и я, естественно, ей тоже не понравился: склонность важничать была тем едва ли не единственным, чего она не прощала — животные же никогда не важничают.

Но, поскольку важности моей хватало, самое большее, на полчаса, то со временем и на меня пала толика Валькиной любви ко всему живому. И все-таки мы по-настоящему сдружились (а дружба между мужчиной и женщиной, напоминаю, только маска влюбленности) лишь тогда, когда я однажды, не удержавшись, ей надерзил, чтобы не сказать — нахамил. Когда она в очередной раз принялась рассказывать об очередной вольности Катьки Фаберже (Катька показала Вальке копеечное колечко и с изящным сарказмом прибавила: «Милый подарил»), меня передернуло: «Спит с ним и про него же рассказывает гадости...». Валька изумленно осеклась и — и с одного взгляда поняла, что я не притворяюсь. И очень меня после этого зауважала. Ибо прежде как-то так получалось, что моралистами в ее жизни оказывались только зануды, а животные так и вообще ни про какую мораль никогда не вспоминают, а чем они хуже нас?

Катька-то, конечно, была поморальнее меня раз этак в миллион, но для Вальки она так и осталась вечным председателем совета отряда в наглаженном пионерском галстуке и белоснежной блузке с двумя алыми полосками на рукаве, а потому в счет не шла: дети не могут судить взрослых. Но я-то в ее глазах был взрослый. И не зануда.

Самой, кстати, взрослой Катькиной чертой была ее склонность женить и выдавать замуж всех своих знакомых, по счастливой случайности либо по нечеловеческой дальновидности избежавших этой участи сынов и дочерей человеческих.

Когда Катька зазвала Вальку с Мишкой для знакомства в наш заозерский барак, не помню, в какой фазе пребывал Мишка на своем пути к надмирной невозмутимости от того мрачноватого напора, с которым он явился в наш только что обретенный рай — университет. Не низок, не высок, скорее крепыш, чем дохляк, он и по родной Десятой линии шагал, словно прорываясь сквозь толпу, напористо склонив голову с грифельно отливающими и чуточку слипающимися волосами. Таким носам

с горбинкой я в ту пору завидовал, но интеллигентность Мишкиного носа шла в разрез с его румяными щеками маменькиного сынка, сипловатым голосом хулигана, внезапными взрывами хриплого саркастического хохота и презрительной манерой похвально всякими постыдными штуками, в которых любой из нас признался бы разве что под пыткой.

Грубо говоря, мы похвально тем, как все нас любят, а кто не любит, получает по морде — Мишка же со вкусом поведовал, как его во всех пионерлагерях терпеть не могли и время от времени били морду, — он первым готов был уплачивать дань восхищения этим мастерам кулачного боя. «Я никогда не мог найти со сверстниками общего языка, меня всегда тянуло к старикам», — прямо завидно становилось, сколькими аппетитными неординарностями он был напичкан. А когда он безапелляционно изрекал: «У женщины должны быть могучие бедра», — становилось просто совестно за свою неприязнительность: мне какие есть, такие и хорошо.

«Я не понимаю, что такое иррациональное число!», — он умудрялся произносить это так, что понимающие начинали чувствовать себя тупицами. А за взрывы сиплого хохота на семинарах по истории партии его вообще едва не отчислили.

Он был в нашей группе самый умный после меня и не упускал случая указать на некоторую дутость моей репутации, однако репутация моя почему-то от этого никак не сдувалась, хотя я и до сих пор не понимаю, в чем собственно заключалось мое над ним превосходство. Как-то я «блистал», а он «не блистал». Но он-то терпеть не мог никакого блистания, а я наоборот...

Тем не менее, сколько он ни ронял по моему адресу сиплых колкостей и сколько я ни давал себе слово в следующий раз непременно дать ему по морде, мы были обречены на дружбу, ибо жили в мире одних и тех же фантомов — высокая наука, высокая литература...

Он был тоже снисходительно влюблен в Катюку, хоть и не таковский был Мишка парень, чтобы дать волю столь вульгарным чувствам, и когда после всех надежд и приключений я попал в высокую науку в качестве парии, а он в науку низкую, в оборонку, в качестве брамина, делить нам стало уже нечего,

и он приезжал к нам под сень карельских елей буквально на каждые выходные. Даже и не помню, как мы проводили время между дровами, помойками, колонками, ребенками — помню только, что очень увлекательно. И выпивали, и болтали о высоком, и шатались летом по мхам, а зимой по лесным дорогам под сказочными и зимой, и летом елями... Даже слушать классику как-то ухитрились. Одна баховская фуга нарастала подобно готическому собору, и я ощущал множественные укольчики его бесчисленных шпилей.

Подробности вспоминаются с напряжением, но главное сияет без усилий: я был счастлив. Оттого что витал в облаках. Да, расшибался оземь, да, получал плевки из наземных и подземных зенитных орудий, но взлетал снова и снова. И это искупало и смывало все. Зато когда я пошел в брамины лакотряпочной отрасли, тогда и в жизни моей пошел сплошной почет, уважение и хорошие бабки. Но если оглянуться, не глядя ваяясь, — бесконечное поле серой скуки. А жизнь прожить не поле перейти — полей много, а жизнь одна, другой не будет. Ни за какие деньги не купишь лишней минуты полета.

Деньги-то и нужны лишь для того, чтобы чувствовать себя красивым, а если ты и без того красив, то и деньги ни к чему. В заозерском бараке, пария при дворе Орлова, я был все-таки красив. И через тридцать пять лет только на мои тогдашние работы и ссылаются на всех языках...

Мишка женился на Вальке в период латиноамериканских усов подковой, знаменующих его решимость стать обеими ногами на землю, обратиться в нормального инженера. Я сам лет через десять тоже попытался повторить эту глупость, еще не догадываясь, что обрести счастье можно, лишь витая в облаках: люди начинают искать пути на землю только оттого, что сбились с дороги в небе.

Теперь-то я знаю — когда тебе говорят: «Хватит витать в облаках», — это означает, что ты на верном пути, иначе бы его не стремились у тебя отнять. А я сам его у себя отнял.

Ну да речь не обо мне.

В своем стремлении быть рациональным — обменять красоту на пользу (в своем отчаянии, сказал бы я сегодня) —

Мишка и опередил меня лет на десять, и зашел гораздо дальше: мне и сейчас не приходится в голову напяливать офицерские сапоги, чтобы только сохранить ноги сухими. Тем более что любая попытка очень уж позаботиться о теле в ущерб душе, в ущерб мечте лишь обнажает наше бессилие. Ну, уберег носки от влаги — так не уберег печень от рака, — только в облака выдумок мы и можем завернуться, у кого они есть.

Мишка и уверился, что перемена обуви ни от чего не спасает, и решил поменять страну. И понял, что на этом трудном пути нужно сбросить всякий балласт расслабляющих сантиментов. Он отпустил еврейскую бороду, облачился в серебрящуюся морозной пылью боярскую шубу искусственного меха, полученную от американских борцов за права российских евреев, обзавелся величавой походкой и отвез два добросовестно уложенных чемодана с Валькиными вещичками в ее отчий дом, покуда Валька по им же предусмотрительно профинансированной путевке катила в автобусе и шагала пешком теснинами Дарьяла.

На какой-то горной турбазе экскурсанты вышли перед сном полюбоваться луной, и местный абрек, заглянувший на огонек в поисках культурного общества, одному из них мимоходом расквасил нос и уселся здесь же на скамеечке ожидать, решится ли кто-то что-то предпринять против владыки гор. Возмущенные ленинградцы потребовали директора, и кадьякастый небритый горец тоже был до крайности возмущен: «Кто это сдэла?!. Ми найдем! Ми нэ потэрип!» «Да вот же он сидит!» — кричала Валька, но оглохший от негодования директор только повторял: «Ми найдем! Ми нэ потэрип!» — пока абреку не надоело его слушать, и он неспешно растворился среди голубых призрачных кустов.

Годилась ли Мишке такая спутница жизни? Новый путь требовал от него всемерно экономить силы, а Валька и экономия были две вещи несовместные. Жизнь и вообще-то есть бунт против экономии, а Валька являлась воплощением жизни. Естественности, полагающей, что перед лицом страдания можно и позабыть о красоте.

Вступив в брак тоненькой девчонкой-веточкой, благодаря счастливой семейной жизни Валька обрела аппетитную

упитанность, хотя в жене друга я отмечал это чисто платонически, даже когда во время совместной ночевки увидел с полу ее на редкость красивое обтекаемое бедро из-под одеяла, которое она слишком бурно взбивала согнутыми ногами, чтобы его расправить. Но Мишка однажды даже при мне начал ворчать, что Валька растолстела — пришлось внушать ему, что она же не девчонка, что зрелость женщины невозможна без некоторой пышности, и Валька тут же подхватила: «Он считает, у меня некрасивые ноги, а попросишь показать, какие красивые, он всегда какие-нибудь палочки показывает!». Всему живому, по Мишкиным представлениям, следовало обнаруживать себя по минимуму — в этом Валька и впрямь была ему не пара. Помню, как брезгливо он жаловался, что, подавившись зубной пастой, Валька издавала в ванной такие отхаркивающиеся звуки...

«Так что мне было — ее глотать?» — не могла взять в толк Валька.

Примерно тогда же моя чахоточная дева приценивалась к своей простуде, не реконкиста ли это палочек Коха. Сухой кашель, со скорбной скромностью повторяла она, стараясь соответствовать этому клише из справочника фельдшера — и вдруг, я извиняюсь, в ее кашле послышался, как с отвращением выговаривал Мишка, склизкий звук. Катька замерла, не смея ни сплунуть, ни проглотить, и я покровительственно распорядился: плюнь. Она, отвернувшись, осторожно сплюнула на мокрую обочину лесной дороги, по которой мы шли в резиновых сапогах, и я сделал ей последнее наставление: воспитанные люди всегда растирают плевков ногой!

Представляю, как Мишка обошелся бы с Валькой... Как-то я, еще в университете, вздумал поесть при нем хурмы, так он сразу же с презрением — всхлль... — передразнил те звуки, которых я вовсе даже еще и не издавал.

«Клетки Березовского!» — отозвалось у Вальки в голове, когда отец указал на клетчатые чемоданы в прихожей.

Указал с тем подтекстом, что вот, мол, видишь, ты и с ним не ужилась, а говоришь, что у меня характер склочный.

Это она только через месяцы вспомнила, а тогда лишь онемела. Сначала от ужаса, а затем от горя. А потом принялась

себя грызть: ну что она сделала не так?.. Уж и старалась быть и поласковой, и понезаметнее, а он все мрачнел и мрачнел. И как тут было не вспомнить, что даже самую злую собаку можно приучить к себе лаской, угощениями...

Она уже училась на вечернем в Сангиге, спала по пять часов (их школили как в школе, пропустишь урок — заставят «отработать» пропущенное), но всегда поднималась приготовить ему завтрак, хотя после вечерних занятий вставать ужас как не хотелось, а работа вполне позволяла и поспать: теперь она занималась анализом мочи в местной поликлинике рядом с Мишкиным домом на Будапештской. Мое недавнее объяснение, почему Мишку раздражала ее заботливость, явилось для нее откровением: получалось, чем больше она для него старалась, тем сильнее затрудняла ему намерение от нее избавиться. А казалось, чего проще и надежнее: как ты к человеку, так и он к тебе. Ан нет. С людьми никогда не узнаешь, что лучше, а что хуже. Думаешь как лучше, а выходит как хуже.

Она лишь через много лет начала видеть Мишку во сне, и всегда такого жестокого, надменного, как будто в нем наконец проступило то, чего она изо всех сил когда-то старалась не замечать. Она же видела в нем друга, потому и была так счастлива.

Я, признаться, тоже обольщался, что у них все хорошо. На что я не люблю эти дикие купчинские края с неотличимыми бетонными коробами (у нас же в Заозерье каждая тропинка в лесу проложена с собственным смыслом), так и то мы с Катькой, случалось, к ним заезжали, когда удавалось выкроить свободный вечер. Выпивали, болтали очень весело, иной раз мы с Валькой так увлекались, что Катька даже начинала ревновать, вдруг объявляла: «Ну, мне пора. А ты оставайся, оставайся...»

А вот я к Мишке не ревновал, я понимал, что Валька принадлежать мне не может, и был, можно сказать, рад, что она попала в хорошие руки.

Подвыпив, я допытывался у Вальки, не начала ли она относиться к людям хуже, постоянно имея дело с их мочой — ведь это же противно... Да что же тут противного, почти с умилением начинала перечислять она, это же не... и каждый раз

затруднялась припомнить что-нибудь по-настоящему мерзкое. Мерзкого как будто и вовсе не было в мире живых.

Нет, вспомнил: она с отвращением рассказывала, как где-то в Прибалтике старухи делают зарядку на нудистском пляже — «еще и наклоняются...». Я тогда даже расхохотался. И только сейчас до меня дошло, что ее возмущало обнажение изнанки, не освященное болью.

Зато с мочой всегда была возможность за человека порадоваться, если все у него в порядке — лимонно-желтый цвет, сахар, белок, — казалось, она обсуждает рецепт безе. Да и вообще, это рабочий материал, даже запахи о чем-то говорят — мне запомнился запах ацетона, запах вареной капусты, мышиный запах, известный лишь котам, да еще неизвестный подавляющему большинству населения запах плавательного бассейна. К тому же я узнал, что свежевыпущенная моча пахнет куриным бульоном. И пенистость тоже о чем-то говорила, забыл только, о чем. Что-то Валька и на центрифуге осаживала, тоже не помню что, поскольку мы сразу же начали каламбуриуть «фуга — центрифуга».

Некоторые лаборантки, чтобы не возиться, иной раз записывали что-нибудь от балды, а она просто не понимала — искренне не понимала! — как так можно поступать. Если что-то вызывало сомнение, беспокойство, Валька непременно обращала внимание доктора, и ее всегда за это хвалили, и так ей это казалось естественно, что чем больше стараешься, тем лучше к тебе относятся.

Но для Мишки вот оказалось естественно от нее отделаться. Предварительно, угрозами, что больше не будет с ней спать, отделавшись от проклянувшегося ребенка. Он же заставит себя любить, с саркастическим отторжением хмыкал Мишка. (Боже, а какой нежной мамашей была бы Валька!)

Однако, подавши заявление на раздельное проживание еще и с родиной, он пригласил на отвальную к нам в Заозерье и Вальку. Дочка уже спала в нашей единственной комнате, и мы, не зная куда пристроить колени, сидели вокруг горячей кухонной плиты, забывая опрокидывать из граненых стопок горячую водку. Мишка все-таки напился и плакал самыми

настоящими слезами, что невыносимо любит русскую литературу, Катька тоже заливалась в три ручья, не говоря уже о Вальке — меня спасала лишь трагическая красота этой вечной разлуки. Потому и провожать Вальку на последнюю электричку отправился тоже я. Истекающий потом, мертвецки бледный с известковыми коленями Мишка тоже рвался ехать с ней (в вытрезвитель), но я удержал его предложением, от которого он не мог отказаться: есть интересная задача, хочу с тобой завтра обсудить. Ради интересной задачи можно было отменить финал любой трагедии — мы с Валькой отправились вдвоем.

Взвинченный горячей водкой и великолепием трагического расставания среди снежного бора в отвесах станционных фонарей я не хотел и слышать Валькиных слезных жалоб, что ей теперь страшно смотреть в будущее, что даже когда умерла мама, ей было не так больно, и я в ужасе зажал ее теплый ротик ладонью, хотя Валька со свойственным ей чистосердечием всего лишь выразила кошунственную, но чистую правду: потеря матери не задевает главного — нашей красоты, а потому и не ранит так глубоко. Ей кажется, высвободившись продолжала Валька, что теперь она навсегда больше не будет никому нужна, и даже папаша при каждой ссоре ей на это указывает, и я выходил из себя (снежная платформа была пуста): «Что за чушь!!! Ты же просто воплощение жизни!!! Любой мужчина, который любит жизнь, будет тебя боготворить!!!»

Сам пафос, может быть, и не подействовал бы, но Валька видела, что возмущаюсь и восхищаюсь я от чистого сердца, и больше того, я едва ли и не есть тот самый боготворящий мужчина. Что в ту минуту примерно так и было. Хотя должны были пройти годы, чтобы мне для этих возвышенных чувств уже не требовался горячительный коктейль из горячих слез и горячей водки.

Заиндедеввшие двери отсекали от меня мою зареванную богиню в эскимосском капюшончике и с нарастающим грохотом умчали прочь, и у меня захватило дух от горькой красоты этого мига.

Контуры металлических опор на станции, пышно обведенные нетронутым воздушным снегом, выглядели призраками.

На пути домой меня с деланным негодованием облаяла большая собака, положив лапы на забор, как на трибуну. Она лаяла самодовольным баритоном фата, со вкусом выговаривая каждое «гау». Моя походка сделалась особенно нетвердой, оттого что на слабо светившемся снегу не было теней, выделявших выпуклости и впуклости.

Приближаясь к своему бараку (внезапная мучительная нежность к поджидающей меня паре горящих окон), я увидел, как Мишка в одних трусах и майке вырвался на крыльцо и мощно блеванул в голубой сказочный снег, — это было последнее проявление его открытости. В дальнейшем он всегда рассказывал о себе как о довольно симпатичном, но не очень близком ему субъекте. И однажды по телефону скучновато попенял Вальке, что она все принимает слишком уж всерьез: его, например, впереди ничего хорошего больше не ждет, но не делает же он из этого трагедию.

Валька не была бы женщиной, если бы умела что-то не принимать всерьез, особенно собственную жизнь — в мире, само собой, остались горы причин и для гневных вспышек, и для слез, но после нашего страстного расставания на пустом снежном перроне мир перестал ей казаться чем-то бессмысленным и оскорбительным, он снова начал стоять тех обид, которые наносил. Поэтому она не раз вспоминала, что в ту ночь я ее просто спас. Я не скромничаю — возможно, и спас. Своевременной инъекцией красоты. На время подарившей ей крылья. И сделавшей ее на то же самое время недостижимой для всего земного.

Мне ли судить слабую женщину, если я сам пошел в лакотряпочники? И вина моя была не в том, что я позволил себя сбить зениткам унижений и скуки, — это была беда, а не вина. Вина моя была в том, что я перешел на сторону врага, начал уверять себя, что летать и вовсе не нужно. Почему же меня так оскорбило, когда миниатюрный Валькин ротик, для которого нужно было и клубничку резать пополам, вдруг растянулся в кривую усмешку: «Любовь?..» — и выдохнул с ненавистью: «Да дурь все это!» Я перешел на сторону победителя, и она перешла на сторону победителя — что же я мог к ней иметь? Она же никаких претензий ко мне не имела?

А я имел. Нет, я еще не домучился до того, чтобы понять, что только ради дури и стоит жить, я имел более мелкую и личную претензию, чтобы Валька как-то берегла те нежные и высокие минуты, которые нас связывали, хотя переговаривались мы лишь редкими взглядами при редких встречах и осторожными интонациями при нечастых телефонных разговорах. Это была претензия для моего внутреннего пользования. А для внешнего — хотя бы перед Катькой и немножко даже перед Валькой — я делал вид, будто мне обидно за Мишку: на кого-де она променяла память о нем! Вернее, на что она променяла высокую трагедию!

Но как, простите, можно сохранить в чистоте хотя бы и память о совместном достоянии, о которое один из совладельцев вытер ноги? И сам из романтического антипозёра превратился в жреца пусть нелепой, маскарадной, но все-таки практичности? Укрывшись в раввинской бороде, торговать мороженым на Сенной — это ж надо было додуматься! «Меньше двухсот пятидесяти в месяц у меня не выходит». Я получал половину. «Правда, каждую неделю ставят раком». Он имел в виду анальные анализы. Потом он устроился в какой-то убогий проектный институтишко вертикально-горизонтального транспорта, куда брали даже отказников (Мишка поторопился обмыть свой разрыв с отечеством — оно в ту пору не так-то легко расставалось даже с пасынками) и заделался там программистом, ниже которых, по нашим прежним понятиям, шли уже шофера. «Для программистов существует устойчивый рынок труда. Как для шоферов», — объяснял Мишка, с аппетитом обнашивая костюм прагматика, ставшего раком по доброй воле.

Шествуя на службу вылитым боярином из так еще недавно обожаемого нами обоими «Бориса Годунова» (только хора не хватало: «Что ж, пойдем на голоса, бояре?»), случайно повстречавшуюся ему на улице Вальку спросил со снисходительной усмешкой: «Ну что, ты меня ненавидишь?» С тем подтекстом, что в мире нет достаточных поводов ни для любви, ни для ненависти. «Нет, мне просто обидно», — ответила Валька. «Знаешь, как я теперь живу? Все по расписанию.

Встаю в семь пятнадцать. Сначала иду в туалет по мелочи. Потом чищу зубы, умываюсь, потом пью кофе. Потом иду в туалет по крупному». — «А почему не наоборот? Сначала по крупному, а потом кофе?» — «Если бы я так мог, я был бы счастливым человеком». Валька подумала и с удивлением призналась: «Кажется, я тебя действительно ненавижу».

Похоже, мы с Катькой и впрямь были единственные люди во всем мире, которых он любил, однажды по пьянке с ухмылкой даже признавшись нам в этом. Но в один особенно трезвый день он без предупреждения ампутировал и нас — чистый бизнес, ничего личного: экономия сил требовала освободиться от всего заоблачного — да дурь все это. Когда мы с Катькой через пару лет случайно встретились с ним в трамвае, он, уже снова при латиноамериканских усах, сиял как младенец, записывал наш новый телефон — и снова растворился на поверхности земли, теперь уже окончательно.

Для Вальки же еще того раньше. Он и после развода ее навещал, он был к ней привязан, только не хотел за это платить. Но однажды он явился к ней весь в засосах, словно леопард, и тут уж она его выставила, как она умела, если ее завести — да и мы все бы это умели, если бы не умели притворяться.

Господи, как же я мог забыть! Мишка мимоходом с кривой усмешкой однажды обронил, что ничего не может с собой поделать — на самых дурацких фильмах начинает плакать в чувствительных местах, он даже ходил, как он выразился, к *психиатру*, и психиатор сказал ему: да, вы больны, но это не клинический случай. Однако Мишке, видно, надоело плакать, он и решил прожить без слез, без жизни, без любви.

* * *

Да дурь все это... Как будто в мире есть хоть что-то прекрасное, которое бы не было дурью!

Мишка отказался от дури и превратился в чудаковатого зануду, больше всего на свете обеспокоенного сухими носками. Я отказался от дури и превратился в унылого интеллектуала средней руки. Валька... Слава богу, в главном, в том, что было ее жизненным предназначением — в избавлении животных от

страданий, она не освободилась от химеры, именуемой стремлением к совершенству, на этом поприще никакие обиды не сумели оципать ее роскошные крылья. Но в обустройстве собственной жизни она уже готова была навеки поселиться в мире животных. По крайней мере, мне так казалось каждый раз, когда я возвращался с ее дня рождения, оскорбленный в самых лучших своих чувствах. Оскорбленный уже не столько за себя и даже не за Вальку, а... за Вечную Женственность, что ли?

Ревности там не было и горчичного зерна, не всякая боль ревность — ревновать начинаешь, когда женщина дает тебе понять: Вася, Петя, Коля лучше тебя. Но Валька совершенно очевидно и не думала меня сравнивать с каким-то «другом», каждый раз новым — ясно, что они не шли со мною ни в какое сравнение, но сколько же можно витать в облаках! И я тогда еще не смел возразить: вечно. До самой смерти. Ибо отказ от полета, отказ от красоты и есть смерть человека. Его обращение в животное.

Но как же могла этого устрашить Валька, не видевшая в мире животных и тысячной доли тех зверств, которыми терзали друг другу люди! Валька, видевшая в животных одно только трогательное!

Тогда я ничего этого еще не понимал, однако прекрасно знал, что буду возвращаться с ее дня рождения униженным и оскорбленным. И все-таки ехал к Вальке как на праздник. Праздничной становилась даже электричка, переполненная вечерним людом, казавшимся особенно озабоченным, оттого что зимний вечер у нас на севере неотличим от ночи, и я старался скрывать свою радость, чтобы не будить подозрений у Катьки, прекрасно знающей, до чего я не люблю таскаться по гостям, особенно таким, где приходится вести любезные беседы с незнакомыми. В ушах у меня неотступно звучал нежный женский голосок, словно я где-то внутри превратился в женщину, и губы сами собой шевелились, беззвучно проговаривая слова: для меня нет дороже цветов, васильков, васильков, васильков... Чтобы скрыть это шевеление, я припадал, зашорившись ладонями, к темному стеклу, упиваясь едва различимым свечением снежных пространств, то диких,

то индустриальных, служивших грандиозным преддверием к Валькиному гнездышку, но даже и пейзажными своими впечатлениями я мудро избегал делиться с Катькой, любой мой душевный подъем объяснявшей предвкушением встречи с ее лучшей подругой.

В чем она была совершенно права. Не права она была только в своем подозрении, будто моя радость от общения с Валькой отнимает у нее что-то. Тогда как она только прибавляла. Ибо каждое новое проявление женственности лишь увеличивало мое восхищение этой бессмертной стихией, и я вновь замечал ее могущественное присутствие в Катьке, чьи достоинства без обнаружения их подобий в других женщинах начинали казаться сугубо личными, а, стало быть, маленькими и преходящими.

Выражаясь высокопарно и все-таки точно, я, переставая восхищаться другими женщинами, переставал видеть и в Катьке присутствие бессмертного начала. Более того, только наша сумасшедшая любовь с Юлей открыла мне наиболее драгоценные черты матери и жены в Катьке, которую Юлия ненавидела страстно и проникновенно, пытаясь уверить себя, что Катька овладела мною и удерживает исключительно хитростью. Тогда как ее сила была ровно в обратном — в чистосердечности и бескорыстии.

Не знаю, на этих ли только крылах вечная женственность веками берет верх над властью земли, но в том, что без них земная тягость одолела бы высоту, — в этом я убежден. Разумеется, за десятилетия впряженности в общий воз нам с Катькой случалось и ненавидеть друг друга, и выкрикивать в лицо ужасные вещи, но по-настоящему неприятной она мне становилась лишь тогда, когда в ней проступали черты собственности, когда она пыталась сделаться для меня единственным светом в окошке, единственным источником вечной женственности — как будто даже самый яркий солнечный зайчик способен заменить солнце! Наоборот: лишь узревши солнце в новом зеркальце, ты сумеешь опознать его в старом.

Не стану настаивать, что восхищение женственностью не вызывает никакого влечения — какого-то минимального упо-

требления требует и она. Не съесть, не выпить, но поцеловать. Хотя и это, может быть, не так уж необходимо. Прыскающим от гормонов девятнадцатилетним юнцом, встречая в общежитском буфете худенькую горбунью с огромными страдальческими очами, я глаз не мог от нее оторвать, — так до сих пор и не знаю, сколь далеко я мог бы зайти. Мне казалось, что с меня довольно было бы лишь любоваться ею — равно как и всеми прочими, в ком проступала роковая власть женственности над моей душой, — но ведь в молодости животная половина немедленно поднимается на дыбы и требует своей доли на чужом пиршестве, и простодушная Валька, кажется, и поныне считает этого незваного гостя хозяином: ведь если животными правит инстинкт, значит и наши попытки изобразить нечто большее есть чистое притворство. Вот это меня и оскорбляло сильнее всего — ее готовность расточать свой драгоценный дар перед животными. Даже не апельсин, пожираемый кабанами, хуже — василек, на который задирают лапу кобели, вот что представало моему умственному взору, когда я раз в год на Валькиных днях рождения виделся с нею в присутствии очередного ее «друга». (Тьфу! Если бы действительно друга!.. Я, пожалуй, тогда бы тоже с ним задружился.)

Я старался даже не поднимать взгляд от тарелки, чтобы не видеть, как они пожирают Валькины труды и выдумки, но глаза сами засматривали, сколько неизвестно где и как добытой красной рыбы и сервелата насаживает мельхиоровая острога удачливого охотника, и Катька мне каждый раз пеняла, что я заглядываюсь на чужие тарелки, а из-за этого никак не могу запомнить Валькиных поликлинично-клинических подруг. Это были милейшие сначала девушки, а потом дамы, но мне им тоже было трудно смотреть в глаза, ибо и они были бессознательными и безразличными свидетелями надругательства над тем, чего, кроме меня, никто не видел.

Поскольку там и видеть особенно было нечего, ибо все Валькины друзья (тьфу!) были, что называется, нормальные мужики (я их и помню-то плохо, мне больше запомнились их вилки-остроги). Меня оскорбляло не столько то, что они нормальные, сколько то, что они и в Вальке видели нормальную

бабу, даже не догадываясь, какой цветок, какая драгоценность им досталась! Только как они могли распознать драгоценность, ютящуюся в типовой хрущевке, среди потихоньку лупящейся древесно-стружечной полировки, а главное — под готовностью хозяйки (да еще и не совсем хозяйки, наполовину с брызгливым папашей!) становиться не просто на равную — на умильную ногу со всяким существом, способным жевать и сморкаться.

Но я же как-то распознал!

Правда, не глазами. Что могли видеть глаза! Сначала хрупкая миловидная блондиночка, потом интересная молодая женщина, затем тугая теха, уже начинающая ходить в перевалку, потом тронутая аристократическим увяданием статная дама — и только васильковые глаза всегда сияли тем, чего нельзя увидеть глазами.

Кое-что, правда, можно было расслышать ушами, которыми, похоже, и впрямь любят женщины. По крайней мере, по телефону, когда у глаз не было возможности заглядываться на всякую отвлекающую белиберду, исключая разве что телефонный аппарат, в Валькином голосе мне слышалось больше, чем произносилось, уши начинали слышать больше, чем видели глаза. И первое, что я слышал, — уж кто-кто, а Валька никак не живет легко, она почти ни на минуту не скидывает с плеч тяжкую ношу чужой боли и чужого страха, ее почти ни на миг не оставляет тревога, а что же там сейчас происходит с ее подопечными: мелодия умильной нежности, с которой Валька говорила, кажется, решительно обо всех одушевленных и даже неодушевленных предметах, разом сменялась надтреснутой горечью.

Плюгавенький мужичонка, паркетчик с мерцательной аритмией — как она с ним билась! Сама ставила клизмы, вот кому она за них по гроб жизни благодарна — Ярцеву Андрею Константиновичу. Ему привезли на консультацию больную с нарушениями ритма, и он первое что спросил: «Стул давно был?» — «Шесть дней назад». Ух как он сверкнул глазами! Она на всю жизнь запомнила: нарушения ритма могут быть от задержки стула.

И кто ей еще дал урок — доктор Мозельвейн, заведующий проктологическим отделением. Он был ветеран войны с каким-то крупным орденом типа Славы. Заработал он эту Славу, по его словам, так: он в войну служил юнгой на подлодке, и однажды их капитан впал в кому; а Мозельвейн уже знал, что если моча сладкая, значит гипергликемический шок. Он попробовал — сладкая, ввел инсулин и вывел из комы. За это его выведенный и представил к ордену.

— Как же он добыл мочу, если тот был без сознания?

— Ну, может быть, катетером воспользовался, какой ты приставучий! Моча это не проблема, я тебе про другое рассказываю.

Мозельвейн и дал Вальке последний урок. Она направила к нему больного для осмотра, а через пять минут Мозельвейн ей позвонил взбешенный:

— *Валентина Александровна?* — как будто это была позорнейшая кличка. — Вас что, не учили, как нужно направлять на проктологическое обследование? Берете *жопу*... Я ясно выражаюсь? Берете *жопу* и вводите в нее клизму.

Мозельвейн изъяснялся терминами, не допуская ни малейшей двусмысленности. С тех пор она могла забыть что угодно, только не клизму.

Кое-кому, правда, и клизмы были не по плечу, вернее, не по здоровью — приходилось стимулировать им прямую кишку простым указательным пальцем, затынутым в резиновую перчатку. «И... И как тебе это?..» — осторожно спрашивал я, и она слегка передергивалась: «Ну что приятного?..» Но гримаска явно относилась не к процедуре, а к глупости моего вопроса. (Гримаску я тоже слышал ушами.)

Короче, в паркетчика этого, помимо указательного пальца, она вложила все, что знала, и все, что разузнала, и вдруг он однажды является весь сияющий: уже сутки нормальный ритм. «Это все вы, Валентина Александровна, я, когда выпишусь, такой паркет вам дома сложу — у Брежнева такого нет!» А ее прямо кольнуло: очень хорошо, но вы пока поберегитесь, поменьше двигайтесь, надо понаблюдаться...

Он и понаблюдался — к обеду умер.

Во время аритмии кровь в желудочке застаивается, и начинают образовываться тромбы. А потом, когда кровь двинется нормально, она может эти тромбы разнести куда угодно — в легкие, в почки... Ему занесло в мозг — эмболия, и готово. Вот так хочешь сделать лучше, а выходит хуже. К ней претензий не было, все делалось правильно. А у нее и через двадцать лет голос делался совершенно мертвым.

— Но что же ты могла сделать?..

— Не знаю! Но не должно такого быть!!!

Она произносит эти слова с такой непримиримой самообвиняющей силой, что во мне на миг рождается сумасшедшее сомнение: да Валька ли это?.. Всех прощающая и ко всему снисходящая девочка с васильковыми глазами?..

Сосредоточенно поглаживая, чтобы одолеть смущение, наш тогдашний телефонный аппарат, алый, будто пионерский галстук, я как бы мимоходом справляюсь у Вальки о ее *друзьях*, и каменею, одинаково страшась услышать и что-то хорошее (значит ей и без меня хорошо), и что-то плохое (ибо каждое ее унижение это и мое унижение, поругание моих васильков, васильков, васильков). Но слышу сразу и то, и другое. Вернее, сначала другое, а потом уже и то.

Человек-кабан, пожирая месиво из пирожных и зраз, увлекшись, сжевал ее новую кофточку вместе с боком — он же, бедняжка, такой увлекающийся, а воспитания никакого не получил, где ему было набраться хороших манер...

— Где? У людей. Ленинград же все-таки не скотный двор!

— Да у него так мозг устроен, что он никого рядом с собой не замечает, — мне же предлагалось его еще и пожалеть!

Человек-кот повадился спать на Валькиной новой юбке и превратил ее в гнездо из свалывшейся шерсти — он любит Валькин запах, на положенной ему подстилке ему неуютно. А с человеком-кобелем она пошла в гости ужасно не вовремя, у хозяйки дома как раз была течка, и он целый вечер за ней пробегал, пытаясь понюхать под хвостом. Ну да что с ним сделаешь, кобель есть кобель...

Лишь через годы и годы до меня дошло, что это не всеядность, но милосердие: женственная любовь ко всему живому

для холодного, а тем более ревнивого взгляда может оборачиваться и неразборчивостью.

— Гони их в шею!!! — срывался я. — Что ты путаешься со всякой швалью! — едва-едва удерживал я на кончике языка подонки моего бессильного бешенства.

Которое тут же сникало, чуть только после длинной, уже немножко пугающей паузы до меня доносился бесконечно грустный Валькин голос.

— Гнать — и что?.. Совсем одной остаться? Я прихожу вечером домой, и прямо выть хочется... Так и выть нельзя, папаша в соседней комнате. Беру дополнительные дежурства, чтоб от этих проклятых вечеров избавиться... ну, и деньги тоже, конечно, нужны, зарплатка же сам знаешь... Там, конечно, тосковать не дадут, так другим способом всю кровь выпьют. Два часа ночи, три часа, уже веки пальцами держишь, только голову хоть на стол опустишь, звонок — Валентина Александровна, там то, Валентина Александровна, тут се, идешь, разбираешься, а в голове одно: только бы дали минут двадцать, только бы дали минут двадцать... Нет, опять куда-то тянут. А в шесть утра надо пробовать пищу на пищеблоке, а пищеблок за озером... Везут туда на скорой, над озером туман, смотришь на этот туман, и думаешь: хоть бы сейчас сдохнуть!..

Что тут скажешь — боль всегда права. Вальке же не легче оттого, что у меня при одном лишь воспоминании об этом озере глаза заволакивало теплым туманом нежности и счастья: это было Валькино озеро, над которым — и над сверкающей летней рябью, и над осенним свинцом, и над зимними мерцающими льдами — всегда светились васильки, васильки, васильки.

Но не может ведь человек светить самому себе! Хоть бы и васильками. А я даже не решался ей признаться, как неотступно она мне светит — это вроде бы требовало какого-то продолжения, а я и так разрывался меж Катькой и Юлей, сходявших, каждая по-своему, с ума, что я другую люблю больше. Удивляюсь, что при нашей человеческой алчности мои сынок и дочурка не догадались предъявить мне ультиматум: «Или я, или она! Или я, или он!» Насколько же мы были бы богаче, если бы не стремились непременно захватить все!

Нам мало того, чтобы наши возлюбленные не искали других ласк — нам нужно, чтобы они не искали и другого света. И не посылали его другим. Я Вальке его особо и не посылал. Только редкие переглядывания, редкие переэзвонивания...

И все-таки в наших редких переэзвониваниях мы потихоньку-полегоньку стали избегать всего пикантного и двусмысленного — таким парадоксальным вроде бы образом выражалась наша близость. Я знал, что в других компашках она может поддерживать любой уровень раскрепощенности (ведь животные никогда не строят из себя целку), но чего избегал я, того же начинала избегать и она, возможно, и сама не замечая этого. Правда, когда что-нибудь — не что-нибудь, всегда одно: пренебрежение чужой болью — выводило Вальку из себя, она могла припечь и довольно крепким словцом (хотя и не самым крепким):

— Носилки стоят в холодном коридоре, а они кладут на них больного, и даже одеяло не подложат. Я им говорю: вы представьте, что это вас, вот тебя и тебя, голой задницей на холод положили!!!

Нет, ее выводила из себя еще и наглость — впрочем, наглость тоже пренебрежение чужими нуждами:

— Уже неделю не скалывают лед с крыльца, приходится на заднице съезжать!

Чтоб не строить из себя целку, я, бывало, тоже поддерживал этот тон, однако он нравился мне чем дальше, тем меньше. Он не позволял не то что парить — с ним и подпрыгнуть не удавалось.

Другое дело, когда речь заходила о чьих-то мучениях, — тут Валька просто забывала различать приличное и неприличное, гадкое и трогательное. Низких слов, правда, она как раз не употребляла, зато употребляла сколь угодно точные.

— Привезли старика с фимозом. Я отворачиваю штаны, а оттуда тараканы, — Валька ни на миг не задерживается на охах и ахах, что ах, мол, какая гадость, да как-де можно было до такого допустить — она прорывается к сути: — Головка члена раздулась как колба, мошонка вся фиолетовая, и весь букет налицо: тумор, долер, калер — отек, боль, жар.

И все-таки в первые годы она забывала о брезгливости лишь до того мгновения, пока человек еще был жив, на мертвых ее всепрятие не распространялось:

— Она меня зовет: Валентина Александровна, Валентина Александровна, я задыхаюсь!.. Я вижу ужас у нее в глазах, и она тут же теряет сознание. И пока мы все тыр-пыр-восемьдыр, она уже мертвая. И сразу такое отчуждение...

Я различаю это отчуждение даже сквозь алый аппарат, не только слышу голос — вижу даже ее отвергающий, почти враждебный жест. И замираю сам.

И уже сам сижу у постели умершей, с ужасом слыша, как колотится ее сердце. С содроганием пытаюсь прощупать пульс на ледяном запястье, на коченеющей шее — мертвая немота.

А сердце все колотится, чем дальше, тем оглушительнее. Лишь каким-то чудом мне удается понять, что это колотится мое собственное сердце.

И оно тут же затихает. И просит об одном: уберите поскорее *это*.

А если *это* случилось где-то за сценой, то и не нужно туда заглядывать. Женщина из области приехала с пневмонией, а вместо одной груди оказался безобразный звездообразный рубец. Нет, врачу не показывалась, прикладывала лопух, но грудь все равно болела-болела, пока окончательно не выболела. Вторая — нормальная сися (на слове «сися» прорывается типично Валькина нежная умильность, словно речь идет о каком-то несмышленише). Но все остальное сплошь в метастазах.

— И... и что?.. И где она теперь?..

— Назад к себе поехала. Умерла уже, наверно.

Я до сих пор не надивлюсь на столь необычную для Вальки мудрость: так и не научившись не выходить из себя из-за наиестественнейших человеческих низостей, она сумела выучиться не заглядывать за край бездны, где исчезают те, за кого она была готова бороться до последнего мгновения. Против смерти она никогда не восставала, хотя подлость, казалось бы, ничуть не менее естественна, чем смерть (естественно вообще все, что есть).

— Сейчас все наладились — чуть что: *я вам заплачу...* Да если врач дерьмо, он и за деньги останется дерьмом!! Будет пудрить мозги умными словами, назначать капельницы от фонаря, посылать в свои аптеки за ненужными лекарствами, чтоб они процент ему отстегивали...

Только тут в ее голосе и начинала звенеть непереносимая гадливость.

Впрочем, она и подлости прощала, покуда видела в них проявление слабости, а не напора. Ну, обкрадывает ее спивающийся человек-волк, опустившийся до шакала — так он же сам признается, что ему легче украсть, чем попросить. Валька расставалась со всеми своими, так их и так, *друзьями* по одной причине: начал выпендриваться. Почему ей и были больше по душе тяжелые больные — они, как и животные, никогда не выпендриваются. Могут накричать, иной раз чуть ли не запустить чем-нибудь, костылем перетянуть — лично ее господь миловал, но рядом и перетягивали, — приходится и милицией угрожать, и все-таки всерьез обижаться на них она никогда не обижалась. Они же как дети — сначала раскричатся, а потом расплачутся. И если ты их полюбишь (а как их, бедненьких, не полюбить!), то и они рано или поздно к тебе привязываются.

Это здоровые вечно норовят над тобой покочевряжиться.

Как-то ночью в приемный покой доставили пьяного с пробитой башкой, начали записывать, кто такой, чем пробили, а он куражится: да кто вы такие, да я вас имел туда-то и туда-то... Их новый медбрат, стажер-аварец по имени ни больше, ни меньше, как Магомед, слушал, слушал и вдруг схватил его за волосы да как трахнет мордой об стол — хорошо стекло на столе было плексигласовое, не разбилось, только расплылось кровью и соплями. И дальше пошел вполне любезный разговор. Она очень после этого Магомеда зауважала, но он слишком почитал начальство, и она понемножку перестала его уважать. Ведь животные никогда не подхалимничают, а если и лизнут руки, так это от чистого сердца.

И грызутся от чистого сердца. Когда Валька уже заведовала отделением, у них в коридоре был всего один телефон-автомат, к нему вечно тянулась унылая очередь. Валька по

доброте душевной и разрешила больным звонить из ее кабинета, когда она уйдет домой. Так в первый же день передрались! Разбили аппарат, кому-то выбили зуб...

Пришлось отменить. Но Валька на них не сердилась. Когда дерутся от невыносимости — такое Валька не задумываясь прощала, не прощала она только, когда выпендриваются и унижают.

Пожилую интеллигентную докторицу вызвали на дом по поводу гриппа — вернулась в слезах: совершенно здоровый мужик потребовал у нее «белютень», а когда она отказала, повернул ее спиной и выставил на лестницу, поддавши коленкой. Кажется, это был единственный раз, когда Валька рассказывала о человеческом скотстве без детского негодования, с бессильной горечью — уж слишком неестественной, то есть чисто человеческой была эта выходка.

Да, очень уж дикие истории ввергали ее не в гнев, но в тихую безнадежность. Заведующая отделением сделала подчиненной выговор, а та ей так двинула локтем по очкам, что сломала нос. Началось нагноение, воспалилась оболочка мозга, а потом вторичный менингит, и конец, остались двое детей.

— А этой что, убийце?.. — ошеломленно спрашиваю я.

— Она сразу уехала в Кандалакшу, там и отсиделась. Уехала, и хоть бы что.

Валька надолго умолкает, переставая понимать, как же можно жить в этом мире, и я, по правде говоря, тоже перестаю это понимать. В чем-то я недалеко ушел от Вальки.

Зато про тот случай, когда на нее наорала, выставила за дверь, да еще обещала засудить взбеленившаяся мамаша, Валька рассказывала с полным пониманием, даже с сочувствием. У худенькой десятиклассницы уже несколько дней держалась температура под сорок, а Валька заметила, что у нее прощупывается — *пальпируется* — матка. Беременность. Что-то себе наковыряла. И все оскорбления и угрозы Валька ощущала чуть ли не излияниями признательности, когда вспоминала, что девчонку удалось спасти.

Похоже, не прощала Валька только себя. У не старой женщины все болела и болела голова. Валька заподозрила

гайморит. Предложила больницу, тетка отказалась. Валька доложила по начальству, решили завтра разбираться. Но разбираться назавтра оказалось уже не с кем.

Собрали ЛКК — лечебно-контрольную комиссию, покачали головами, но придрататься было не к чему.

— Никогда себе не прощу... — безнадежно падал Валькин голос.

— Но что ты могла сделать?..

— Не знаю!! — Валькин голос взмывал непримиримой сталью (да Валька ли это?!). — На пороге надо было лечь!!! Не должно быть такого!!!

Вот так. В своем царстве смерть пускай распоряжается как хочет, но в человеческом мире пусть все будет по-нашему.

— Я стараюсь работать, как меня учили: нет мелочей, нет мелочей, нет мелочей!

Ночной дежурный вызывает хирурга, у женщины боли в животе. Он посмотрел — дискинезия желчевыводящих путей. Велел сестричке ввести ношпу и пошел обратно. А через полчаса является обычная больная из той же палаты: скажите, а что будет, если ввести воду из-под крана? «Как из-под крана?..» — «А сестра только что набирала в шприц воду из-под крана».

Оказалось, он сказал сестре: «Введи ношпу на водичке», — имея в виду, разумеется, дистиллированную воду. А сестра оказалась какая-то дурочка, да еще нерусская, язык плохо понимала...

На счастье, не случилось никаких последствий, ни температуры, ничего. Но это был урок, не зря предупреждали — никаких вульгаризмов, все называть самыми точными словами, и притом на бумаге: прочти и распишись.

И я поражаюсь, как же Вальке с этим нескончаемым напряжением — и близость смерти, и близость прокурора — удается оставаться все той же, вечно готовой и к шутке, и к вспышке, и к смеху, и к слезам. И всегда пребывающей на низком старте, если вдруг понадобится ее помощь — сразу рвется в ночь ощупать, что там у тебя кольнуло, если сдуру на что-то пожалуешься. Тот мир, который ни на миг не оставлял ее в покое, представлялся мне, правда, каким-то царством теней:

я слышал слова, но не видел людей, сверкающих инструментов, тумбочек, кушеток, не слышал запахов...

Вся эта громада лишь однажды на меня обрушилась, когда я по какому-то делу забежал к Вальке на работу. Но и в тот раз она все сразу же заслонила своей уютной деловитостью — что-то растолковывала глуховатой старушке, облетающей, словно белоснежный одуванчик. Вальке приходилось говорить очень громко, но это не только не убивало ее неправдоподобную в казенном месте нежность, но, напротив, ее удесятряло. Валька была настолько обаятельна этим сочетанием нежности и деловитости, что я не мог видеть кругом ничего, кроме нее, и даже на ее вопросы отвечал с усилием, каждый раз замечая, что у меня слегка отпала челюсть. Но пока я захлопывал рот, я упускал следующий вопрос — хоть убей, не мог вспомнить, о чем это мы.

Зато я окончательно понял, отчего их районная газетенка через номер печатает благодарственные письма пенсионерок о нечеловеческой доброте и внимательности их обожаемой Валентины Александровны. Я бы и сам подписался под таким письмом.

Утаив от мира живых, что она недолюбливает мертвых.

* * *

Однако в один мрачноватый вечер... Уже темнело рано, и батоны в грязи под фонарями светились особенно пугающе перед мрачно стывшей кучкой людей у переезда. Кого-то электричка сбила, догадалась она и принялась решительно пробиваться к телу. Пульс на шее с трудом, но прощупывался. Мужик лежал чистый, в хорошем пальто — от этого ей было легче припасть ртом к его вялому ротовому отверстию, тем более через собственный платок. Ее уверенные действия пробудили решительность еще в ком-то, этот кто-то начал вторить ее ритмичным выдохам толчками в грудь — и мужик задышал, порозовел, вернее, потеплел...

(Первую песенку зардевшись спеть — истории «изо рта в рот» пошли одна за другой: «Я из-за этой поганки еще и герпес на губе подхватила, хоть и дышала через платок, вернее

через полу халата — они будут колотиться, а мы должны их спасти! Я, правда, нечаянно ей зуб выдавила. Но оказалось, он был искусственный, его ей еще в прошлый раз без нас выбили, когда челюсти разжимали — с наркоманками всегда морока».)

А ко второму сбитому (уже трамваем) ее пытались даже не пускать: до милиции ничего-де трогать нельзя, — так Валька оборвала как начальница: «Я медицинский работник!» — но сбитый на этот раз был мертвым безвозвратно. И это впервые не вызвало в ней никакого осуждения, — я хочу сказать, отчуждения. Что ж, умер так умер, с каждым может случиться.

Вот тогда-то, мне кажется, она и возвысилась или унизилась до того, чтобы принять в свою пустую или переполненную жизнь своего злого или доброго гения *Гену*.

Гена не просто вошел в нее — я хочу сказать, в ее жизнь, — он в ней разлегся как на собственной тахте, и смириться с его хозяйничаньем было невыносимее, чем со всеми котами и кобелями вместе взятыми. Это было в тысячу раз оскорбительнее, чем если бы Вальку по-простому, по-рабочему изнасиловали.

Когда Валька своим дыханием вернула к жизни сбитого электричкой мужчину, светящиеся в грязи батоны долго светились в моей памяти, соблазняя меня хоть малость выместить на Вальке мою неугасимую обиду: «Ты сама как этот батон. Могла бы накормить голодного, а вместо этого валяешься в грязи». Но я знал, что это неправда: Валька только тем и занимается, что кормит голодных, уж какие они попадают. И ни в одном живом существе не видит грязи. А когда видит, то бывает еще и побрезгливее меня самого. Когда женщина-змея забавы ради сосватала ей безнадежно влюбленного в нее парня (хорошие парни часто влюбляются в змей), а затем, испытывая пределы своей власти, поманила его назад, чтобы и дальше вести свою любимую игру в кошки-мышки (змеи любят играть в кошки-мышки), Валька вся извелась именно от гадливости: «Как будто меня в помойку какую-то окунули...». Но как было добиться того, чтобы она не имела дела с гадами, я не знал. Гады ведь тоже мучаются, тоже умирают...

Так что и *Гена* был живую тварью, что говорить. Но если бы какие-то скоты распряли ее где-нибудь в кустах, это было

бы, не спору, ужасно, но не унижительно. По крайней мере, для меня.

Я не просто треплю языком, я знаю, о чем говорю.

Когда после недели в Сочах Валька, вечно вынужденная прижимать себя в том, в сем (помнится, во время отпуска прирабатывала на лодочной станции), взяла билет до Избербаша, что за Махачкалой, в общий вагон, она сразу пожалела: невозможно было выйти в туалет — мало того, что пялятся зверски, так прямо за руки хватают. При том, что одета она была вполне целомудренно, в закрытом свитерке (прокатилась на бархатный сезон). Хорошо, один русский мужик (сначала показалось, тоже какой-то уголовник) каждый раз ее сопровождал (сначала показалось, что таскается следом), да еще и надоумил из Армавира отправить телеграмму, чтоб встретили. И, когда выходил в Махачкале, тоже повторил несколько раз: поезд приходит ночью, если не встретят, сидите до утра на вокзале, там есть милиция.

Но, благодарение богу, институтская подруга Оля встретила ее со всем семейством — мать-адвокат, защищавшая всех авторитетных избербашевцев от заслуженной пули, отец-хирург, тоже пользовавший их всех после колото-резаных и огнестрельных ранений, и даже брат-инженер, носивший мужественное имя Орест — свой, как оказалось, человек среди каспийских браконьеров. Тем не менее, даже при такой надежной крыше Вальке запрещалось в одиночку выходить на улицу. Просидевши с неделю в одиночном заключении под вишнями и абрикосами, она запросилась домой — самолетом из Пятигорска, поездом она была уже сыта.

С этой минуты я все видел своими глазами.

Орест в мужественной ковбойке подъехал на мужественном брезентовом фургоне с огромной безносой кабиной, в которой можно было даже спать, — поездка в Пятигорск смахивала на геологическую экспедицию. Оказалось, под покровом ночной темноты ее спутник и покровитель собирался затариться у браконьеров каспийскими осетрами, утром загнать их в пятигорский ресторан, а потом уже доставить и Вальку в аэропорт.

Промасленный водитель, несмотря на джигитский акцент и абрексские усы, явно терялся при его отрывистых командах, чем немножко восстановил пошатнувшуюся Валькину веру в верховенство человека цивилизованного (в ее ушах всю тюремную неделю с горечью прокручивался веселый якобы стишок «Лучше хоть сто раз отдаться этим усачам, чем слюнтяям-ленинградцам или москвичам»). У меркнувшего каспийского берега брат-распорядитель приказал тормознуть, спрыгнул в песок и куда-то заторопился. И водитель тут же вперил в Вальку столь огненный взор, что в кабине как будто загорелись два стоп-сигнала.

Валька спрыгнула вслед за уплывающей лодчонкой цивилизации и поспешила бегом за Орестом, набирая в босоножки песок, однако лягавому псу, взявшему след, было не до нее — он метался по барханам то к одной кучке неотчетливых мрачных мужчин, то к другой, отмахиваясь от Вальки, покуда не лопнуло терпение: «Иди в кабину к Алихану! Ты мне все дело сорвешь!»

Теперь кабина освещалась лишь стоп-сигналами Алихана. Который, одурманивая ее до тошноты бензиновым перегаром, начал без промедления тащить ее на лежанку за водительскими сиденьями. Теснота уравнивала их силы, а остервенение было примерно равным. «Если я тэбя атпущу, я буду нэ мужчына!!!» — хрипел Алихан. — «Пусти, гад, сволочь, сейчас закричу!!!» — «Крычи, еще дэсат человек прыдут, мнэ памогут!» — «Пусти, говорю, щас дам по яйцам!!!» (эхо дружбы с поселковыми) — «Я тэбэ так дам, что вадой будут атлыват!»

Валька знала — кстати, от меня, — что силой мужчина женщиной в одиночку овладеть не может, если чем-нибудь ее не оглушит, и чувствовала, что Алихан уже в одном шаге от этого. Она вывернулась из кабины, лягушкой шлепнулась в холодный песок и бросилась в непроглядную тьму, в ту, как ей казалось, сторону, где исчез силуэт ее покровителя. Кричать она не смела, опасаясь привлечь новых хищников.

Она бежала именно что в непроглядной тьме, проваливаясь в какие-то невидимые ямы, напарываясь на какие-то неразличимые кусты, слыша лишь звонкие удары сердца в ушах

да угрюмое буханье каспийского прибоя. Нельзя даже сказать, что она испытывала особенный ужас, ибо то, что с нею происходило, могло быть только кошмарным сном.

Наконец она сообразила, что топот и треск погони это ее собственный топот и треск. Она остановилась и прислушалась — сразу удесятились грохот воды в прибое и звон крови в ушах. Тьма по-прежнему была абсолютно непроглядной, только далеко-далеко мерцали огоньки Избербаша — трудно было понять, на сколько верст отвез ее Орест и сколько пробежала она сама.

Послышался нарастающий рокот мотора, затем сквозь кусты разгорелись и померкли фары, — вдоль берега шла дорога, догадалась она. Наклонив голову и прикрывая лицо руками, чтобы не остаться без глаз, она продралась к шоссе и зашагала по едва-едва брезжащему под звездами асфальту. После песка ноги несли удивительно легко, но ощущение, что все это происходит во сне, не исчезало.

Сзади снова послышался шум мотора, все бугорки на дороге налились прыгающим светом, а впереди возникла и, кривляясь, понеслась ей навстречу темная человеческая фигура, и она успела еще раз обомлеть и ожить, понявши, что это ее собственная тень на придорожных кустах.

Она дернулась было поднять руку, но инстинкт травленого зверя резко рванул ее обратно: здесь нельзя было верить никому. Она запоздало вытянулась в струнку и зажмурилась в безумной надежде прикинуться придорожным столбом. И ночь тут же даже сквозь веки воссияла тысячами солнц, застонали тормоза, и ласковый мужской голос нежно позвал: «Такой красивый дэвушка — зачэм адын гуляешь? Давай падвэзу». Не надо, я сама дойду, отговаривалась она тоненьким голоском школьницы, надеясь этим разжалобить божество, спустившееся с небес в солнечных ризах. Пока она в кабине боролась с Алиханом, она была еще в силах радоваться, что надела брюки, а не юбку, но в испепеляющем свете фар чувствовала себя совершенно раздетой, словно в рентгеновских лучах.

Тем не менее, после двух-трех часов препирательств так и не увиденная ею машина взвыла и умчалась. Уже не чувствуя

совершенно ничего, вся во власти одного лишь инстинкта травимого зверя, она вновь пробралась на берег и бесконечно брела в кромешной тьме вдоль мерного буханья прибора, спотыкаясь, падая, поднимаясь, натываясь, обходя, вслушиваясь, глядясь...

Понемногу пена в приборе начала светиться все различимее, зарделась еле живая заря, серый холодный песок тоже начал проступать из тьмы, а впереди засерелся длинный одноэтажный дом. Она хотела было обогнуть его по шоссе, но решила, что в такой час все в доме наверняка спят, а шоссе ей казалось бессонным. Она сняла босоножки и побрела на цыпочках, глядясь под ноги, чтоб на что-нибудь не напоротся. Поэтому новый враг словно вырос перед нею из-под земли. А в следующий миг они уже барахтались на песке (у них что ли всегда наготове, с некоторой даже завистью вспоминал я эту мгновенную, без всякого перехода атаку), и он, обдирая ее щеки проволочной щетиной, остервенело хрипел, как Алихан: «Хочешь, чтоб я еще десять человек позвал?!..»

Кажется, до нее только лет через пять дошло, что хрипел он без малейшего акцента. А в ту минуту она была способна понимать лишь одно: пока она извивается и брыкается, ему ничего с нее не стащить.

И тут он ее начал душить.

Она по инерции еще продолжала бороться, но уже чувствовала, что все от нее удаляется, меркнет, гложет, и тут уж я не выдержал: «Сдавайся, черт с ним, — заорал я, — он же тебя убьет!!!» Я кричал изо всех сил, я надрывался, но она меня не слышала. Зато она из последних сил ухитрилась двумя руками оторвать от горла его левую руку и впиалась зубами в твердый большой палец. И не просто впиалась, а продолжала изо всех сил его грызть, хотя душитель уже выпустил ее и, вопя во все горло, колотил ее по голове свободным кулаком. Боли она не чувствовала, видела лишь белые и желтые вспышки.

Когда он наконец вывернул палец из ее зубов, она мгновенно откатилась в сторону и успела вскочить на ноги и скрыться в кустах, пока он размахивал изгрызенной рукой, как маятником, словно надеясь охладить жгущую боль.

Потом Валька лежала в кустах, иступленно вслушиваясь в треск и в то удаляющиеся, то приближающиеся мычащие стоны преследователя, а когда они сменялись воплями: «Ты где, сука?! Придушу!!» — отбегала на четвереньках еще метров на пять и снова замирала. Наконец стоны и вопли смолкли, но она при разгорающемся солнце еще долго не решалась распрямиться.

Выбрела к ручью, умылась (потекла краска), почистилась, сколь было возможно, но когда она позвонила в дом подружки Оли, открывшая ей мама-адвокат лишь в силу многолетней профессиональной выучки не потеряла дар речи: «Где Орест?!» Зато папа сразу все понял: «Ах, подлец! Значит он тебя с этим бандитом оставил?.. Водится с елдами и сам превратился в елдаша!»

Возможно, слово «елдаш» Валька расслышала неправильно — она невольно произвела его от слова елда.

Но когда Орест, потный, растрепанный и почему-то чумазый, накинулся на нее с матюгами — ты куда делась, я же тебе сказал в машине сидеть, из-за тебя осетры протухли, — то орал он без малейшего акцента.

— Ты... Ты меня оставил с этим бандитом и еще на меня орешь?..

— Алихан хочет перед тобой извиниться...

— Нужны мне его извинения!

— Он хочет *материально* извиниться.

— Денег что ли дать? Да нужны мне его деньги! Я его видеть не могу!

Вальке и впрямь казалась совершенно нелепой мысль, что сволочизм может быть как-то искуплен деньгами. А я вот почти жалел, что она их не взяла — пусть бы купила за них хоть сотню-другую часов сна, она же каждую лишнюю копейку добывала трудами и бессонницами. И еще я ей просто-таки пенял, что она меня не послушалась, когда этот гад тогда на берегу начал ее душить: черт бы с ним, пусть бы потешился.

— Да с какой стати?!.

Вальку совершенно не возмущает, когда животные ведут себя по-скотски, но она из себя выходит, когда люди ведут себя по-человечески.

А меня и до сих пор обдаёт мурашками, когда я снова оказываюсь с Валькой в прикаспийских кустах, слыша то удаляющиеся, то приближающиеся вопли: «Ты где, сука?! Придушу!!.» Господи, да пусть бы он хоть сто раз в нее впрыснул любую гадость, лишь бы она была жива!

И это при том, что я был наделен совершенно заоблачными требованиями к чистоте женщин, к которым испытывал романтические чувства. В идеале мне хотелось воображать их всех невинными голубицами, получившими воспитание где-нибудь в католическом монастыре в Пиренеях под надзором Святейшей Инквизиции, хотя в реальности я готов был довольствоваться какой-то красивой драмой, а лучше трагедией в их прошлом, которая бы смыла, а лучше выжгла из него все некрасивое, а тем более гадкое. Но если бы тот козел излил свои выделения куда только удастся достать, пусть бы хоть с головой погрузил в них Вальку, я бы готов был самолично отмыть ее в семи водах, а потом завернуть в чистенькую пеленку и хоть сутки носить на руках, убаюкивая, покуда она не заснет. Чтобы на-завтра забыть этот кошмар навсегда, как дурной сон. Сохранив память о нем лишь в моей удесятеренной нежности и заботе.

Я не шучу. Если бы Вальку изнасиловали, именно так бы все и было. Но раз уж обошлось, у меня со временем начало зудеть, что же, интересно, чувствует женщина, когда ее домогаются силой. Валька отвечала на мои тонкие заходы с полным простодушием. Я тоже прикидывался, будто не вижу в ее ответах ничего особенного, однако, чтобы отвлечься, как бы в рассеянности оглаживал алый от смущения телефонный аппарат. Смущены мы были по одной-единственной причине: с некоторых пор меня немножко коробила чрезмерная простота в наших с Валькой отношениях — как будто мы приятели одного пола. А мне хотелось, чтобы Валькина женственность всегда витала и просвечивала сквозь наши разговоры, простота же наша ее расплющивала до полной неразличимости. Словом, сам же я подводил Вальку ко всяческим пикантностям и сам же оскорблялся, когда она бесхитростно шла им навстречу.

А чего, казалось бы, проще: Валька возвращалась с вечернего дежурства своей промежуточной зоной через сказочный

зимний ельник — еще даже больничные окна горели за спиной, — и вдруг кто-то, метнувшись из-за сахарной ели, опрокинул ее в обжигающий снежный пух (в больничных отсветах она успела разглядеть силуэт солдатской шинели).

— И что же ты почувствовала?..

— Ничего не успела почувствовать. Просто, когда тебя заваливают, понимаешь, что надо сопротивляться, и все. Инстинкт.

К инстинктам Валька относилась с большим уважением, что меня временами тоже сердило: если собаки лакают из лужи — что, мы тоже должны лакать?

— Бог ты мой — в мороз, на снегу... Не страшны нам ни холод, ни жара. Солдат всегда солдат.

— Да я же еще была в шерстяных рейтузах! И чувствую, что он уже до них добрался и рывками так стаскивает. И вдруг бросил, навалился на меня и как расплещется!.. Я уже давай его утешать, слезы ему вытираю, ну что ты, говорю, ну что ты, а он прямо ледяной, отморожение первой степени... Я говорю: пойдём скорее в приемный покой, я тебе окажу первую помощь, а он плачет как ребенок. Я спрашиваю: что с тобой случилось, почему ты плачешь?

— Это все в снегу?

— Где же еще, он так на мне и лежал. И жаловался сквозь слезы, что он от своей девушки какое-то письмо тяжелое получил, и решил, что раз она ему изменила, то он тоже ей будет изменять. Вот и попробовал...

— Совсем дурак какой-то. Ну и?..

— Ну и встали, он меня отряхивает, я его... Но в приемный покой не пошел, побоялся, так и скрылся в ельнике. Наверно, правильно. Я вернулась в приемный покой и со смехом рассказываю, а Магомед вскочил и как гаркнет: где он?!

Валька изобразила Магомеда с таким воодушевлением, что у меня зазвенело в ухе. А она вновь погрузилась в неспешные воспоминания с улыбкой в голосе.

— Я, когда прохожу это место, всегда его вспоминаю. Там теперь бензоколонка. Мне что-то и правда на военных везет. Как-то вечером возвращаюсь домой, даже не очень поздно,

окна вовсю горели. Темно было, потому что поздняя осень и пасмурно. У меня перед домом, ты, наверно, помнишь, скверик, я иду через этот скверик и слышу, кто-то меня окликает. Я даже не испугалась, я же говорю, еще не поздно было, люди ходят. Я оборачиваюсь и вижу: он шинель распахнул и показывает мне оттуда. Мне кажется, он был курсант.

— Тот, кого он показывал? Да что же можно интересного на холоде показать, от холода все предметы сжимаются, — я представляюсь несколько не задетым, дабы не обнаружить своей уязвленности, своего микроунижения через Валькино унижение.

— Что я, смотрела что ли?.. Я уж всякого навидалась. Больные для меня не имеют пола — больной, больная, и вся разница. Я рот раскрыла и как понесла: ах ты, такой-рассякой, да я тебе в матери жохушь!.. Как тетя Клёпа на того Арона. Он повернулся и как брызнет — только шинель развеивается.

Она уже несколько на него не сердится, ей только забавно: зверюшки, что с них взять! А еще к ним в приемный покой ходил такой мужичонка по имени Никифор. Придет и сядет у стеночки, и ручки сложит на коленочках. Сидит и ждет, пока кто-то из женского персонала не сжалится: что, опять клизму? Он так жалобно кивнет (в Валькином голосе к насмешке и состраданию примешивается умиление), ну, и отведут его, сердешного, вдуют ему клизму, и он тогда недели две не появляется. Любил, чтобы ему женщины клизмы ставили.

— Аристократ, — бормочу я, и Валька смеется без всякого осуждения: одно живое существо любит, чтобы ему пальчики перебирали, другое — чтобы ему клизмы ставили, — всякое дыхание хвалит Господа!

Ну так и чему ж тут было удивляться, тем более беситься, что Гена забрал над ней такую власть? Тоже божья тварь не хуже прочих.

Эпопею с Геной — *Гениану* — постараюсь не затягивать: к чему лишний раз обсасывать остатки яда, и без того отравившего мне целые годы. Я не хочу сказать, что все эти годы я только и страдал от надругательства над васильковой жен-

ственностью — одних наших с Юлей исступленных объятий и остервенелых проклятий хватило бы на десятерых. А ведь как бы мы могли быть счастливы, если бы она не стремилась владеть мною безраздельно! Да и я бы ей не простил «измены», если бы ей не было отказано в умении любить сразу двоих или десятерых. Зато теперь, когда я нахожу счастье не в радостях и наслаждениях, но лишь в забвениях смерти — теперь бы я только спросил: тебе не так больно, не так страшно жить, когда он тебя целует, ласкает, проникает в тебя? Тогда занимайся этим сколько тебе вздумается. И я всегда приму тебя и буду ласкать ничуть не менее нежно и страстно, чем прежде. Единственная просьба — вымойся как следует. Я хочу знать, что ласкаю лишь *твою* телесность.

Но таких чистюль, как Юля или Катька просить об этом излишне. Может, из-за своей чистоплотности-то они и не способны на измену. «Это же *чужой мужик!* Это же чужая слюна, чужой пот... Как можно с ним просто хотя бы лечь в общую постель...» — дивилась Катька разнообразию Валькиной интимной жизни, и я напрасно ей втолковывал, что девчонкой брала же она когда-то в постель любимого кота — вот и Валька спит с разными домашними животными. «При чем здесь кот! Кот это кот, а человек это человек». — «Вот в этом, может быть, глубочайшее наше заблуждение. А на самом деле человек и есть кот. Валька просто догадалась об этом раньше нас». — «Вот и будут ее использовать всякие... Мне же за нее обидно!». — «Еще неизвестно, кто из вас кого использовал — ты кота или он тебя. Но мне за тебя все равно не обидно». — «Что ты пристал с этим котом!»

Юлю же оскорбляла сама возможность обсуждать такую гадость, как постель при отсутствии безумной любви — одна лишь моя готовность рассуждать на эту тему наводила ее на страшное подозрение, что и я способен на нечто в этом роде.

Я и не рассуждал. Допустить, что, не встретившись с нею, я мог бы ничуть не меньше любить другую, было кощунственно. И к тому же это выдавало мою тайную мечту о другой. Она бы просто сошла с ума, случись ей догадаться, что в самые наши нежные, исступленные и высокие минуты мне иной раз

из самой глубокой подводной толщи светят васильки, васильки, васильки...

Именно свет этих васильков как-то незаметно освободил меня от чрезмерной брезгливости. Если бы женщина, которую я люблю, сегодня пришла ко мне пусть даже беременной от другого, я бы только присоединил к нежности еще и деликатность, за версту обходя всевозможные щекотливые предметы, способные пробудить в ней подозрение, что она может быть мне чем-то неприятна. И к ребенку ее я относился бы — ну, не так, как к родному... А, может быть, впрочем, и так, я не пробовал. В теории, по крайней мере, я считаю: тем, кого любишь, прощать нужно все, а от тех, к кому любви не испытываешь, лучше вообще держаться подальше.

Первой части этой премудрости я научился у Вальки, а вот второй ее части она у меня так и не выучилась: ей было отказано в умении не испытывать хоть каких-то нежных чувств ко всякой живой твари. Лишь бы она не кривила душой, чего никогда не делают животные.

Короче говоря, когда в Валькиной жизни — а значит, и в моей, и в моей — солидно расселся Гена, меня преследовали отнюдь не обычные для ревнивца картины Гениных постельных излияний и пыхтений, но одно только зрелище васильков, васильков, васильков, расплющенных его основательной суконной задницей.

Хотя, когда Валька позвала нас с Катькой знакомиться с ее мужем, я, пусть и подстиснув зубы, готов был протянуть ему руку дружбы, ибо я жаждал видеть Вальку не столько любимой, сколько ценимой. Я вас ценил так искренно, так нежно, как дай вам Бог ценимой быть другим.

Но если меня в прежних ее избранных оскорбляла одна только обыкновенность, что же я должен был почувствовать, узревши за ее, как всегда, вдохновенно сооруженным столбом самое настоящее ископаемое. Полезное, стало быть, ископаемое, если Валька ухитрилась его где-то раскопать. Мы с Катькой, еще помнившие микроскопических провинциальных начальников послесталинской поры — я в Сибири, она на Смоленщине и в Ворши, как выговаривала ее мать, — не сто-

вариваясь опознали в нем этот тип вымершего тиранозавра, и когда он принимался неспешно прогуливаться вдоль стола (пять шагов туда и пять обратно), наша память сама собой облекала его в белые бурки — в пятидесятые такой же атрибут микроскопического успеха, как в семидесятые пыжиковая шапка. И костюм на нем был из пятидесятых — микрономенклатурный, суконный, только брови ему выдали в спецраспределителе современные, брежневские. Даже еще пошикарнее, с рысьими кисточками. При хрящеватом носе, нацеленном не на добычу, а на хозяйственные упущения.

Но, поскольку упущений за праздничным столом не наблюдалось, он откровенно скучал, не давая себе труда изобразить даже минимальную любезность. А когда совсем надоело, ни на кого не обращая внимания, начинал неторопливо, по-сталински прогуливаться по пять шагов туда и пять обратно, подметая небогатый, но чистенький Валькин паркетик суровым флотским сукном.

Валька, казалось, не видела в этом ничего особенного, — гуляет себе человек и гуляет, он же не выпендривается, — но отзывчивая Катька принималась вовлекать Валькиного избранника в общий разговор, расспрашивать его о работе, поскольку расспрашивать новобрачного-вдовца о прежней семье было как-то не того. Гена отвечал с полной основательностью — тогда-то я впервые и услышал гордое слово «телетайпограмма» и узнал, что бетонный пол в подвале называется стяжкой.

Если не путаю. Какие-то работяги сделали стяжку, как он подозревал, без гидроизоляции, но его не проведешь! Он изображал тот исторический разговор с видом торжествующим и проницательным: «А вы гидроизоляцию сделали?..» — «У нас бетон специальный». — «Так что, с таким бетоном уже и гидроизоляция не нужна?». — «Почему, нужна». — «Так вы ее сделали?» — «У нас бетон специальный». — «И что, с таким бетоном уже и гидроизоляция не нужна?» — «Почему, нужна». — «Так вы ее сделали?» — «У нас бетон специальный»...

На каком-то витке этой сказки про белого бычка добросердечная Катька, чувствуя, что я могу не удержаться от смеха, деликатно перевела разговор на другую тему, и, как потом

оказалось, Гена устроил Вальке разнос: почему ее друзья весь вечер его перебивали. Валька-то поняла — чтобы ее новый супруг ее не срамил, не выставлял себя дураком, но не скажешь же своему возлюбленному такое в лицо!

Тем более что он правильно угадал: Валька слушала меня с ошутимо большим интересом, чем его. Правда, чтоб у нее при этом каждый раз открывался рот, я не замечал. Впрочем, ревность более пронизательна, чем любовь.

Короче говоря, гневный Гена потребовал, чтобы нашей ноги в его доме больше не было (при том, что он переехал к Вальке с одним чемоданом, как в командировку, все оставив взрослому сыну и еще более взрослой дочери-пьянице). Этот ультиматум я принял с презрительной усмешкой — презрительной не только по отношению к нему, но и к Вальке тоже: с кем связалась! Катька же наоборот пригорюнилась: Валька же такая хорошая, такая красивая, и почему ей всегда какие-то монстры попадают, она никогда не умела себя ценить, но если ей хорошо, так пускай, мы не были на ее месте, будем встречаться где-нибудь на стороне...

Прятаться от этого тиранозавра было не по мне: раз он ей так мил, пускай она с ним и целуется, меня от этой комедии избавьте, однако оказалось, что и Катьке пересечься со школьной подружкой не так-то просто — он до минут отслеживал все ее маршруты. Отпуская ее только на работу и в магазин. А стоило ей задержаться, устраивал скандалы. Все это я узнавал от Катьки, возмущавшейся еще и тем, что Валька таким обращением как будто совсем не оскорблена, — но каждый раз тут же спохватывалась, что мы не были на ее месте, может быть, у Вальки впервые в жизни какой-то мужчина выражает интерес, куда она пошла да что делала, может быть, она так понимает заботу, ведь ее папаша тоже всю жизнь донимал ее контролем, а когда она была маленькая, завел целый кондуит — записывать ее грехи, как-то она ему надерзила, и он возмущенно потыкал издали жене указующим перстом: «Клава, запиши, запиши!»...

Меня от рассказов о Гениных подвигах просто корчило, хоть я и старался изображать безразличное презрение, но однажды и меня проняло.

Валька после суток без сна притащилась домой еле живая, Гена начал ее отчитывать, и она наконец пыхнула:

— Хватит меня воспитывать!

А Гена, не говоря худого слова, хватил ее настольной лампой по голове.

Когда она мне позвонила полузадушенным голосом, я прежде всего перепугался:

— Как лампой, она же стеклянная?.. Он тебя не порезал?!

— Нет, она у нас канцелярская, железная. Не бойся, ты же знаешь мои волосы — смягчили.

Со своей соломенной чалмой она давно рассталась, носила очень густо замешенную пепельно-каштановую стрижку.

— Я не про это, я не знаю, что мне делать, ты же умный, посоветуй...

— Валенька, милая, о чем тут можно думать?.. Гони его в три шеи! Вернее, нет, подожди, я сам приеду и спущу его с лестницы, я на такси минут за... За час доберусь.

Я с наслаждением сжал кулаки — вот к чему я, оказывается, готовился, когда моей правой рукоплескал закрытый стадион “Трудовые резервы”! Только бы не расплескать благородную ненависть, стеснившую мне дыхание, но ничего, дотерплю, надо только не допустить безобразной драки, сразу врубить так, чтоб он лег, сажал же я на задницу самого Черноуса, я и проиграл ему не нокаутом, а за явным преимуществом...

Но Валька прервала этот ликующий полет горестным вопросом:

— И дальше что?

— Как что — ты будешь свободна!

— Да я боюсь этой свободы хуже смерти! Как подумаю, что буду опять приходить домой — а там пусто...

— Так что, ради того, чтобы там кто-то сопел и сморкался, ты готова утираться от любых плевков?!

— Все, извини, что позвонила. Я вижу, что ты меня не понимаешь. Забудь, проехали.

Я достал из чулана окаменевшие боксерские перчатки, повесил на утонувший в трех покрасках гвоздь кожаную грушу,

потрескавшуюся, как старый сапог, и яростно колотил ее, пока с меня не сошло семь потов — даже не знаю, кого я в эти минуты ненавидел сильнее, Гену или Вальку. Но ее васильковые глазки проступали из-за черной мечущейся груши все ярче, все бесхитростнее, и я наконец обессилел.

Набрал ее номер.

Трубку взял Гена. Он был хрипл и нелюбезен.

— Можно... Валентину Александровну?

— А это кто? Я, между прочим, ее муж.

— Очень приятно, я звоню из больницы, нужна ее консультация.

Я был сама любезность — я и не знал, что я такой рыцарь.

Валькин голос уже переливался обычными ее воркующими нотками, будто она говорила с каким-то милым домашним зверьком.

— Да, слушаю.

— Как там у вас?

— Как обычно, ужинаем.

— Помощь не нужна?

— Нет, приезжать за мной не нужно, введите ношпу на дистиллированной воде, и достаточно.

Я хотел было еще немножко поколотить грушу, но лишь вздохнул и засунул перчатки на самую верхнюю полку. А потом еще немножко подумал и вынес их на лестницу.

Наутро их уже не было.

Видимо, я все же не представлял, до какой степени она одинока — Гена ведь даже институтских подруг от нее отшил.

И я, наступив на горло собственной гордости, начал время от времени позванивать Вальке, выдавая себя за доктора Силицына.

— Ну что, как поживаешь, дитя мое?

— Нужно следить за давлением.

— Что, он нас слушает?

— Да, лучше давать усыпляющее.

— Понятно. Если что-то нужно, звони.

— Ничего не нужно. Достаточно прикладывать тепло.

Гена все-таки брюзжал, что этот Синицын нахально звонит ей в нерабочее время, он ревновал ко всему живому. И даже к мертвому. Когда Валька приходила тихая и подавленная: «Больной умер», — Гена саркастически спрашивал: «Что, очень красивый был?»

Свободно удавалось поговорить, только когда Гена уезжал в командировку.

— Валенька-Валюша, как ты вообще проводишь время?

— На работу да с работы, мы вообще нигде не бываем, ему дома хорошо.

«Ему дома хорошо» она произносит с такой воркующей умильностью, что это убивает у меня всякую охоту продолжать, но какая-то сила заставляет меня еще и присыпать ссадину солью.

— А как же он на чужбине обходится без дома, твой суженый?

— У него сейчас понос, он старается далеко от гостиницы не отходить.

В ее голосе звучит столько насмешливого умиления, что я поспешно завершаю разговор, чтобы не выматериться в трубку.

Только если, бывает, сдуру сболтнешь, что где-то что-то кольнуло, она на следующий же день, невзирая на опасности, прилетит как в былые времена — прослушает, обстукает, пропишет, десять раз позвонит проверить, исполняешь ли предписанное, отчитает, если манкируешь...

Мне ужасно не хотелось при ней разоблачаться — торс у меня давно уже не боксерский, но разве от Вальки отвяжешься! Единственное, что утешало — она явно и впрямь не замечала моей голизны, только слышала шумы, хрипы, отмечала чистоту кожного покрова. И к тому же она в ту пору так ужасно растолстела, что я в сравнении с ней был, можно сказать, еще стройным юношей. Ходила она, заметно переваливаясь, миловидная мордашка утонула в раздувшихся щеках — одни только добрые-предобрые васильки сияли по-прежнему.

Эта ее вульгарная толщина тоже представлялась мне особо извращенной формой ее падения — как будто и растолстела она в угоду своему Гене (самое имя его казалось мне

омерзительным). Утешало только, что она все-таки оставалась способной на минутные бунты. Когда она задерживалась на работе, Гена наладился в знак протеста уходить из дому на всю ночь, естественно, и ее лишая сна, и однажды, когда она измученно оправдывалась, почему оказалась вынужденной задержаться на целых сорок минут, а он, отвернувшись, продолжал завязывать шнурки, Валька вдруг подняла с пола туфлю и что есть силы треснула его каблуком по заднице. А когда он изумленно выпрямился и обернулся, добавила ладошкой по роже...

Но эти отрадные эпизоды были только крошечными оазисами в нескончаемых Каракумах, кишящих скорпионами и сколопендрами.

И вдруг Гену сразил инсульт. Хотя по делам его следовало бы сказать «расшиб кондратий». Грешный человек, я ощутил не жалость, но досаду: то он просто плющил Вальку, а теперь совсем раздавит!

Ковылять он понемногу научился, но с мозгами расстался, похоже, навсегда. Когда ей приходилось оставлять его одного, по возвращении она обнаруживала лужу в углу. «Ай-ай-ай, это кто же сделал пи-пи?» — начинала она нежно пенять ему, а Гена, надувшись, сосал большой палец. Но иногда, отвернувшись буркал: «Это Валя сдеяя пи-пи».

Однако Валькина нежность ко всякому дыханию наконец-то и ей что-то принесла в клювике. Валька давно пилила Гену, что его внучка Травиата живет с матерью-алкоголичкой и отцом-алконавтом — чему она там научится? «Значит такая ее судьба», — философически отвечал Гена, но Валька все зудела и зудела — она же встречала Травочку еще из роддома, ездила на Боровую, чтобы с младенцем хоть кто-то погулял. Девчужка была «гипотрофичная», без этих прелестных младенческих щечек, оттого что мать во время беременности пила не закусывая. А когда Травиночка начала ходить, ее посылали подворовывать чего пожрать у соседней по коммуналке; потом она научилась то грызть черемуху в соседнем сквере, то напрашиваться в гости к дворовым подружкам — в садик ее не

брали, поскольку родителям было некогда сделать ей прививки. А потом ее папа, хорошенько заложив за отсутствующий галстук, холодной осенней ночью совершил пробежку вдоль по Обводному при отсутствии уже не только галстука, но даже и трусов, и подхватил пневмонию. Врача не вызывали, предпочитая исцелять следствие породившей его причиной, и недели через две Травиатина мама обнаружила с собой в постели тело такое же холодное, как та роковая осенняя ночь.

Лишь после этого Генина дочка написала формальное отречение от родительских прав, и Вальке было дозволено забрать девчонку к себе в «опеку». Представляю, сколько мурлыкающей нежности она излила на Травиату («Травочка, Травиночка...»), собирая ее в школу, закармливая витаминами и обстирывая, ничего не требуя и не ожидая взамен, но лишь исполняя свое земное назначение, что само по себе для нее было радостью: когда она измученная возвращалась с работы, детский голосок окатывал ее радостью и бодростью, как сначала теплый, а потом прохладный душ. Маленькие детки — они же такие татулики, не делают пакостей, вернее, делают только маленькие, вроде кота Соленко, который вдруг возьмет и насчит на диван (мне не нравилось, что Валька произносила это слово по-поселковому и вообще не нравилось, что она его произносила, — меня коробили рудименты простоты в наших отношениях.)

К слову, только Валька и приучила Травиату просыпаться на горшок, а то, бывало, зайдет к ним на Боровую, а трех-четырёхлетняя девочка спит, «обоссанная по уши». Лет только в пять (Травиатиных, разумеется) Валька узнала, что энурез можно заговаривать, и сама придумала заговор. Перед сном они вместе с Травиночкой затвердили на память: «Ах, писуля, писулица, не дай бог, ты обоссешься, я даю тебе зарок, закрываю на замок — чик-трак». Чик-трак означало поворот ключа.

И уже в первое же утро Травиночка проснулась совершенно сухая. Более того: проснувшись среди ночи, она не могла сходить на горшок, пока не сказала запертой писуле «чик-трак» — то есть отперла ее. Ну не чудо ли ребенок?

И какая Травиночка была послушная, в магазине ничего никогда не клянчила — сказали ей нельзя, значит нельзя. А то

бывают дети как развоются: купи-и, купи-ии!.. (От их поросчьего визга у меня в который раз зазвенело в ухе.) Но когда Гена превратился в домашнее животное, двенадцатилетняя внучка оказалась незаменимым подспорьем — присматривать за дедом, чтобы он чего не поджѣг, подать чашку или утку, вызвать «скорую» или «бабушку»-Вальку, если свалится — на это она вполне годилась.

Превратившаяся в бабушку Валька теперь каждую ночь пребывала на дежурстве, не в больнице, так дома. Но когда я ей звонил и спрашивал, не нужна ли помощь, она только просветленно вздыхала: «Своя ноша не тянет. Да и чем ты можешь помочь, не будешь же ты спать на моем матрасике, на горшок его сажать... Ну, как тут деньгами поможешь, новые сосуды ему не купишь... Нет, не нужно, что такое сиделка на один раз! А больше — вы же тоже не миллионеры...»

Это была сушая правда — Катьке в ту пору платить совсем перестали, а моих доходов Главного Запудривателя Мозгов локотряпочной промышленности едва хватало на своих. Правда и то, что, к чести моей или к бесчестию, никакое бессилие чем-то облегчить Валькину страду (в эту пору и васильки ее как-то померкли) ни разу не заставило меня пожелать ей избавления ценой Гениной смерти. Самое большое, что есть в жизни, это смерть, и моя мысль останавливалась перед необходимостью измерять ее безмерность количеством лишений, принадлежащих все-таки жизни, а не смерти.

И я лишь потупился, не смея судить, когда услышал в трубке бесконечно печальный Валькин голос: «Гена умер». Но откуда-то из глубины все равно пыталось проклюнуться сомнение: нельзя же не испытывать хоть крошечной радости, когда тебе возвращают отнятую жизнь. Невозможно ведь по доброй воле отдавать жизнь человеку, сравнявшемуся с животным. Я был еще не в силах постичь, что лишь человек, сравнявшийся с животным, и становится в Валькиных глазах достойным безоговорочного сострадания.

Как воистину безгрешное существо.

Валька была настолько великодушна, что не пригласила меня на похороны, а я был настолько туп, что не предложил

сам: не могла же она не видеть, что я не питаю к Гене, мягко говоря, теплых чувств! Хотя откуда мне было знать, что она могла и чего не могла — это я не мог видеть мир ее глазами. Словом, встретились мы лишь через несколько недель — на станции метро «Петроградская». Навстречу мне двигалась туманная лавина облитых октябрьским дождем полиэтиленовых накидок, полупрозрачных, словно дачные теплицы, и печальное сияние Валькиных васильков, васильков, васильков я уловил через три десятка переливающихся капюшонов. Она была прекрасна. Печальна и прекрасна в своем монашеском черном платке, из-под которого упрямо выбивалась ее густо замешенная стрижка с заметными нитями седины, делавшей ее еще прекраснее.

Вместо тугих щек под ее скулами наметились темные впадинки. Мы крепко обнялись и надолго замерли в объятии. А потом двинулись по гранитной Карповке, отыскивая уголок, где не теснились бы посторонние, и октябрьский дождь отступал перед нами, оставляя на асфальтовой гидроизоляции причудливые лужи, чтобы нам было на что отвлечься.

Мы устроились в крошечной кафешке наискосок через речку напротив изящного морга Первомедицинской империи и застыли не чокаясь над прозрачными, как Валькины слезки, стопками шведского «Абсолюта», хоть в данном случае был бы уместнее советский сучок. Мы долго молчали, чтобы не испортить словами ощущение драгоценности каждого нашего дыхания в соседстве со смертью.

— Он неплохой был, только *кондовый* — не знаю, как иначе сказать, — слово «кондовый» она выговорила с особенной нежностью. — Он считал, что жена должна сидеть дома. А так он обо мне заботился, всякие советы подавал, как на работе себя вести. Советовал в партию вступить... А один раз повел меня в магазин, в женский отдел — мужики же этого терпеть не могут — и купил мне пальто, сам заранее выбрал, мне только осталось примерить. Мне ж никогда никто ничего не покупал... Зимние сапоги — за них же была вечная битва, очереди, а он мне заказал по благу из натурального меха, и сшили, я примерять во Всеволожск ездила. А когда

он превратился в маленького мальчика, я, бывало, отведу его в ванную, вымою ему попку, писю и спрашиваю: ты меня любишь? А он глазки отводит, стесняется. Только когда я его уложу, в лысинку поцелую, он вдруг кивнет: люблю. И зардеется как пятиклассница. Травиночка один раз даже расплакалась: ты его первого любишь!.. А он ей вдруг говорит очень разумно: я совершил ошибку, я женился на молодой женщине. И вдруг как будто испугался, осторожненько так дотронулся до меня пальчиком и тут же отдернул. Он был просто *кондовый*, не умел нежничать.

— Валуша, а ты знаешь, что ты чудо?

И Валька тоже зарделась, как впавший в детство Гена после ванны:

— Если бы мне кто-нибудь хоть раз что-то подобное сказал... — васильки засияли непролившимися слезами. — Я бы, может быть, совсем другую жизнь прожила. И Гена был бы совсем другой, если бы что-то другое видел, какие-то другие слова слышал. Да все люди были бы другие, если бы с ними обращались по-человечески. Все же от дикости, от непонимания...

Генина мать умерла после войны от криминального аборта — детей, и тех, что были, нечем было кормить. Десятилетний мальчишка на всю жизнь запомнил: мертвая мать лежит на лавке, его младший братишка сосет ее мертвую грудь, а по ним обоим ползают вши. После этого я поклялся, что больше никогда в жизни не скажу про Гену ни одного недоброго слова.

При всем при том деревню он всегда вспоминал охотно — навоз, сенокос, ночное, снежные горки...

Как я понимаю, природа в Архангельской губернии не была очень уж ласковой, и, тем не менее, на остальном своем жизненном пути он встретил ласки еще меньше.

Подростком пошел работать в леспромхоз — все кругом либо вчерашние, либо сегодняшние урки в замызганных бушлатах, в драных ватных штанах, и только начальники иногда спускались с небес в чистых пальто с меховыми воротниками, в белоснежных бурках — кажется, даже пар, валивший у них изо рта, был особенно чист. Как летние сияющие облака.

И ему невыносимо захотелось туда, в небеса. К начальникам. Только он не знал, как к этому и подступиться, куда его не забрали в армию.

Служил он на шпионской подлодке в Грязной Губе, старался изо всех сил и таки выслужился — получил направление в политическое училище: выдвиженец из колхозного крестьянства, член партии, исполнительный, старательный... Но когда его уже увозили с базы на грузовике, спрыгнул, чтобы попрощаться с товарищами, и сломал ногу, загремел в больницу. Училище сорвалось, но по какой-то хрущевской квоте его зачислили в Лесотехническую академию, к короедам, как их называли в мое время, — собственно, к этому он и стремился — быть начальником в лесу. Хотя ему и нравилась математика, он понимал, что это несерьезно, серьезные люди распоряжаются матценностями, и отнюдь не математическими.

В Академии он тоже старался быть *общественником*, с красной повязкой на рукаве отлавливал стилияг; в опорных пунктах Народной дружины им состригали вольнодумные коки, распарывали узкие брюки, фотографировали, потом вывешивали их личности на срамных стендах: «Иностранцы? Иностранки? Нет, от пяток до бровей это местные поганки, доморощенный Бродвей».

«Зачем же ты этим занимался?», — случалось, укоряла его Валька, и он отвечал безо всякой идеологии: маменькины сынки, жизни не нюхали, а чего-то из себя изображают. Как будто они откуда-то не отсюда. (Возможно, это и в нас его раздражало.)

Тем не менее, городские соблазны сделали свое дело — к пятому курсу он женился, чтобы зацепиться в Ленинграде. Жену тоже звали Валькой, и даже тещу тоже. Теща его недолюбливала, она мечтала заполучить для дочери мужа-офицера, от которого ей самой даже в блокаду что-то перепадало по аттестату для маленькой Вальки, хотя как он ушел из Нейшлотского переулка по бесконечному проспекту Энгельса, так она больше его и не видела, — а тут на тебе голодранец, не то что без жилья, так почти что и без штанов, хуже лимитчика. Случись чего, какой от него прок?

Она никогда не думала об этом специально, но урок извлекла железный, замачивая в осклизлых чанах блокадной прачечной заскорузлую от крови, а то и кой-чего похуже одежду, совлеченную с убитых или иссохших от голода: померешь — не то что лопух не вырастет, а и слезинки никто не обронит, — отмочат твоё барахлишко от твоих следов, сольют кровавую бурду, потом простирнут в тех же осклизлых чанах, прокипятят и отдадут тем, кто еще жив. Вот и вся премудрость: в этом мире надо оставаться живым, все прочее литература.

Когда взглядишься, какие уроки дает людям жизнь, перестаешь понимать, брезговать ими нужно или преклоняться. Дивиться, что не все они превратились в животных. А можно сказать, что и никто.

Какое животное, скажите на милость, получая вполне достаточную для прокорма пенсию, стало бы выпрашивать у запивающей внучки маленькую правнучку, обряжаться вместе с нею в какие-то обноски и отправляться к местам скопления иностранных туристов выскуливать милостыню, при появлении милиционера поспешно семеня прочь? Маленькая сухонькая старушонка с крошечной девочкой — у кого на такую рука подымется? Люди ведь не звери! Когда такая побирושка, словно побитая собачонка, подкрадется бочком к прилавку и затынет: «Сыночек, дай косточку, очень мяска хочется...» — самый жирнорукий жлоб снисходительно оттяпает своим палаческим топором увесистый кусман и после этого аж до следующего клиента проживет в душевном умирении.

Какое животное на такое способно? И какое животное стало бы каждый выклянченный грошик откладывать за щеку для запивающей внучки и комсомольствующего внука, заглядывающих к ней за очередной порцией исключительно в пенсионные дни и тут же удалявшихся, ни разу даже не вильнувши хвостом, а тем паче, не лизнувши нескудеющую иссохшую ручку? А для себя кормилице было жалко даже вставить разбитое стекло, так и жила, заткнув дыру подушкой... Впрочем, звери вполне обходятся вовсе без стекол. Но какое животное не оставило бы попыток разорить гнездо своей тоже запивающей дочери, видя, что ее самец уже сумел обеспечить

дочь благоустроенной трехкомнатной норой в старом фонде? А когда хозяин норы перестал бы ее пускать к себе, начало бы раздеваться перед дверью догола и, потрясая коричневыми мешочками грудей, собирать воплями всю лестницу — «позорить» зятя?

Правда, не прийти к матери и бабушке на похороны, а потом еще и затерять могилу — у животных наверняка все бы ровно так и было. Она пеклась о потомстве, словно волчица о волчатах, не видя в них ничего человеческого — они к ней и отнеслись как повзрослевшие волки. Неизвестно, сколько дней мертвая бабка одна провалялась на полу, похоронщики даже отказались открывать гроб: нечего там смотреть.

И все-таки волки не подвержены запоям, никакая волчица не позволила бы себе валяться на паркете в собственном соку, не слыша молений рыдающей дочки, сломавшей ручку на детских качелях — если бы Гена не застал эту картину сам, преждевременно вернувшись из командировки, он бы так и не понял, на что намекают туманные вздохи соседей.

Хозяйственный Гена маялся с женой-алкоголичкой сравнительно недолго: ему удалось пристроить ее прооперировать геморрой в блатную Свердловку, где она не вышла из наркоза. Потом он пытался взять в дом то одну, то другую женщину, но у всех у них был непростительный порок — они никак не желали забыть о собственных детях. Взрослых, вполне способных прожить самостоятельно! Последнюю свою сожительницу он не пустил в свою нору, когда она отправилась навестить внучку — пусть и живет со своей внучкой.

Его же дети обходились без него! Дочка — тоже Валька, они там все были Вальки — вполне самостоятельно спивалась, сын Гарик тоже вполне самостоятельно ладил комсомольскую карьеру, а в девяностые катастрофически разбогател, разбивал один мерс за другим, однажды закатился к бате пьяный с каких-то тайландских островов, завалил всю квартиру лакированными тамошними уродцами, которых Гена на следующий же день снес на помойку, не простив сыну оставленного на прощанье фингала под левым глазом. Что там у них произошло, Валька не видела, Гена лишь со значением сказал, что это

сыночку даром не пройдет, он замечал: кто его обидит, с теми обязательно случается какая-нибудь неприятность. И впрямь, не прошло и недели, как Валька услышала по радио, что на финской границе задержан предприниматель с Гениной фамилией, пытавшийся вывезти незадекларированные пятьдесят тысяч долларов.

Я же тебе говорил, удовлетворенно констатировал Гена, однако потеря для Гарика оказалась не столь уж разорительной, судя по тому шику, с которым он прикатил на отцовские похороны, а когда гроб под заунывную музыку опустил на лифте в огненные недра крематория, Гарик торжественно объявил Вальке: «Помни, у тебя всегда есть мужчина, на которого ты можешь рассчитывать», — и на этот раз исчез окончательно. Но Валька все-таки не забывала его: каждый раз, слыша по телевизору пронизательные разглагольствования про таинственное золото партии, она смекала, что Гарик наверняка как-то причастен к этим сокровищам капитана Флинта.

— Гена не любил нынешних скоробогатиков, он считал, всего надо добиваться своим горбом, — уважительно припомнила Валька. — Но ты не думай, он был не совсем какой-то зануда, он иногда и шутил. Как-то он очень долго в туалете сидел, я даже забеспокоилась. Вышел, я его спрашиваю: ну как, сходил? «Сходил», — Валька очень похоже изображает недовольное бурканье. — И как, много? «Не знаю, я не взвешивал». Я потом эту шутку даже с больными использовала. И все всегда смеялись. А еще он где-то прочитал... Да где, в газете, он книг никаких не читал, только по телевизору новости смотрел... Так он прочитал, что супруги меньше ссорятся, если произносят в день не больше двадцати слов. И я его, бывало, спрашиваю: Геночка, ты что молчишь? — в ее голосе вновь прозвучала мурлыкающая нежность. — А он отвечает: я свои двадцать слов уже сказал. И еще: я однажды вечером — уже темно было, осень — решила покататься на велосипеде. И хотела переехать через лужу. А переднее колесо увязло. Я вильнула рулем туда, сюда, а потом со всего роста как плюхнусь в грязь. Вылезла вся как чушка, покаталась по траве, чтоб хоть самую жирную грязь

обтереть, и так и заявила домой. И как Гена хохотал!.. «Хрюша, хрюша...»

Из васильковых глаз скатились несколько новых слезинок, уже подсвеченных невольной улыбкой — дождик при солнышке мы в детстве называли слепой дождик.

— А еще у нас на лестнице жил котенок. Я все время его хотела домой взять, а Гена не разрешал. Он был такой запуганный — в смысле котенок, я однажды иду с работы, а он спрятался за батарею и вытянулся по стойке смирно, чтоб его было не видно. Ну, после этого и Гена разрешил его взять, раз он такой умный. Я поставила его в раковину, открыла теплую воду, и вдруг с него как хлынет кровь — как из кастрюли с вишневым компотом. Я давай искать рану — ничего. Я прямо мокрого его завернула и помчалась в ветлечебницу. Оказалось, это не рана, это блохи. Они его сжирали, а красное — это их выделения: они же кровососущие. А потом он стал очень веселый. Я комкала бумажку и ему бросала, и он ее гонял. Я Гене говорю: смотри, прямо Пеле. А он говорит: почему Пеле — Соленко, тогда как раз в каком-то матче Соленко забил пять что ли голов. И мы так с тех пор нашего кота и начали звать: Соленко.

— А главное... — на Валькином лице проступила отрешенность, — главное — Гена очень напоминал мне отца.

И я в который раз поразился Катькиной интуиции — я не видел ничего общего между крепким хозяйственником в бурках и поджавшим надменные тонкие губы чопорным советским джентльменом в жилетке с черной атласной спиной. На Валькиных днях рождения он даже с общего блюда брал какие-то закуски, словно делая нам одолжение, ничуть при этом не скрывая, что считает нас всех сиволапым мужичьем. Единственное, чего он нас удостаивал — нравоучений, да и то лишь в общедоступной басенной форме. Образцом в этом высоком жанре служил для него Сергей Михалков, чьи басни прежде мне казались недосягаемой вершиной претенциозной глупости, однако Валькин папаша сумел ее превзойти без всяких видимых усилий.

Когда он откладывал салфетку и, принявши снисходительный вид — ну так уж, дескать, и быть, поучу вас уму-разуму, —

поднимался со стула, Валька безнадежно опускала глаза, а он с видом тонкой пронизательности заводил что-нибудь в этом роде:

— Чем попусту по улицам болтаться, всегда полезнее за дело взяться. Но, чтоб не потерять лица, сперва узнай, с которого конца.

Здесь он обводил нас востренькими глазками и, убедившись, что вступительная мораль произвела должное впечатление — все сидят, потупившись, — смягчался и далее продолжал со снисходительной улыбкой:

— Однажды в тот трамвай, где разъезжали звери, вошла свинья с передней двери...

Мы с Катькой сидели окаменев, страхась встретиться глазами, ибо тогда мы уж никак не удержались бы от смеха — я спасался только тем, что щипал себя за бедро до синяков. Но самое тяжелое испытание оставалось впереди — нескончаемая баллада «Дуресос». Дуресос — это был прибор, высасывающий из людей дурь, подобно пылесосу. Вот у пивного у ларька толкутся два подвыпивших дружка, усмехался сатирик, и ни милиция, ни общественность ничего сделать не могут, — одна надежда на дуресос. А вот на трибуне ООН поджигатель войны клеветает на борцов за мир, еще более саркастично усмехался поэт, — здесь тоже нужен дуресос. Он проходил с дуресосом по всему земному шару, спускался на морское дно и возносился в заоблачные выси, очищая мир от дури, и самое мучительное во всем этом было то, что отхохотаться нам с Катькой удавалось лишь в полупустой полумночной электричке.

Мне хотелось забавы ради обрести рукопись этого шедевра — я имею в виду «Дуресос», — однако на Валькину просьбу папаша помолчал и ответил с тонким видом: «Я всю жизнь под колпаком и не хочу быть дураком».

В ту незрелую пору глупость мне представлялась постыдным пороком, но я бы снизошел даже к рифмоплетству, если бы папаша не плющил Вальку своей мудростью и моралью. А аморальными ему, похоже, представлялись любые признаки жизни, особенно когда он в последние годы увлекся чтением

евангелия и к сарказму присоединил елейность — чего Валька на дух не переносила: в чем в чем другом, но в елейности ни единого зверя или птицу было не упрекнуть. Еще Вальку выводило из себя, что он и на медицинские темы рассуждал с нею свысока, утверждал, например, что после бутерброда с маслом у него сразу начинается побаливать ступня — откладывается холестерин, и чем более темпераментно Валька ему растолковывала, что отложение холестерина процесс многосложный и многолетний, тем снисходительнее он усмехался.

Короче говоря, все, что я слышал от Вальки о ее папаше, это были одни только утонченные способы отравлять ей жизнь. И надобно ж беде случиться — Гена тронул ее тем, что напоминал отца. Не пса, не паука, не кабана — отца!

Он всегда держался с такой бюрократической надменностью, что мне не удавалось вызвать к нему сочувствие, даже напоминая себе, что он уже в начале пятидесятых получил не какой-нибудь детский срок — пять или десять лет, как в положенное время отсидели мой отец и все его друзья, но *двадцать пять*. Я совсем забыл, что ни за что давали все-таки по десять, а не по двадцать пять, но однажды Валька призналась, как ее в пионерские годы мучило, что отец ее — изменник Родины. Что он натворил конкретно, она не знала, но мамина деревенская тетка как-то упомянула, что при немцах он приходил свататься в серо-зеленой форме и охранял с винтовкой на ремне деревянный мостик. Но ведь тогда получается, что и мама вышла за предателя?..

Мать на эту тему ни разу не обмолвилась ни словечком, только иногда вспоминала, как во Франции (это аж туда их занесло с отступающими немцами!) отец ей часто повторял: смотри, запоминай, это же Франция, заграница, больше мы никогда сюда не попадем. Надо же! Не отбили, стало быть, тогдашние ужасы у него интереса к заграницам...

Но если его не посадили сразу, значит явных злодейств за ним вроде бы не сыскалось?.. Не помню уже, откуда нам это стало известно, но мы с Катькой столько оттягивались после дуресоса в полупустой электричке насчет папашиней деятельности в немецкой агитбригаде, что я теперь и сам не знаю,

что там было, а что мы с Катькой выдумали. Катька теперь утверждает, что он через жестяную трубу призывал советских солдат сдаваться, а я настаиваю, что он в агитационном спектакле в тряпичной шапке со спущенным ухом играл дураковатого советского бойца, которому бравый солдат вермахта в надраенном стальном шлеме давал такого пинка, что тот катился до самого Урала. На самом же деле, мы ничего про него не знали.

Тем не менее, раз его Хрущев выпустил, значит вина была сочтена не такой уж важной?.. Хотя и не настолько неважной, чтобы снять судимость...

Похоже, он что-то рассказал Вальке лишь на смертном одре — я не решился спросить, откуда ей это известно: что в окружении глодали кору, а застрелиться уже давно было нечем — патронов ни у кого не осталось; что в лагере на бывшем колхозном стадионе выщипали всю траву, спали — в ноябре — по трое: один ложился вниз, в мокрую ямку, второй на него, а третьим накрывался, — только второму и удавалось подремать, пока двое других отдавали концы от холода — таки и отдавали, только закапывать их и выпускали за проволоку. А чтобы спастись, всего-то и потребовалось сказать, что ты украинец и грамотный — для тех времен Валькин отец был едва ли не пограмотнее тогдашнего политического руководства.

Вот этим Вальке Гена отца и напоминал: в замшелом Пошехонье отец всегда стремился к какому-то свету, а единственным светом в окошке у них был учитель — мальчишка и возмечтал сделаться учителем, и пробился-таки к свету, его забрали на фронт уже со второго курса ленинградского педа, с русского языка и литературы. Он первый раз в Ленинграде помидоры увидел, думал, это такие удивительно красные яблоки...

— А я думал, Пошехонье — что-то вроде Олимпа, местопребывание мифических пошехонцев. Которые заблудились в трех соснах, телушку огурцом зарезали, луну неводом пытались поймать...

— Нет, это город такой есть, я там даже была, там очень красивый Гостиный двор. Я там даже на чужую лошадь вска-

рабкалась, а она как понесет... Я держусь за шею, понимаю, что страшно, а все равно хохочу. Это во мне не пошехонское. Отец мне все время цитировал из какой-то книги, что жители Пошехонья роста среднего, лицом недурны, волосом русые, досужливы, послушны и трудолюбивы.

— Ну, так это прямо про тебя.

— Нет, больше про папашу — он всегда что-то затевал, на обухе рожь молотить. Когда его выпустили, квартиру нам уже не вернули, он при маме состоял, спали в подсобке — вмещалась только их кровать и моя маленькая деревянная раскладушка; когда ее раскладывали, уже некуда было ноги спустить... В школу отцу был путь закрыт, работать тоже было негде, он и перебивался — в санатории истопником, в домах отдыха полотером... Он и там придумал прикрепить к ножной щетке железную мочалку, собирался даже запатентовать. Но его все равно к чему-то высокому тянуло — все время читал какие-то книжки про писателей, покупал всевозможные словари, ходил к евреям дрова пилить, колоть... Красить, белить, чтобы только пообщаться. Он и на скрипке учился играть, всем надоедал, пока начальство не запретило... Но он уже на пенсии все равно купил себе барбоску.

— Какую барбоску?

— Детское электрическое пианино. Как заведет — ну в точности собака скулит. Тогда меня это раздражало, а теперь так трогательно...

Из васильковых глаз скатилось еще несколько капелек росы.

— Он никак не хотел мириться, что больше никуда ходу ему не дадут, все время что-то придумывал. То выдумал кожу выделывать. Поселковые же забьют корову или овцу, шкуру только отскоблят, и она потом гремит как фанера. А он прочитал какую-то книжку, достал специальные реактивы, замачивал, красил, гладил, и она становилась как будто хромовая, мама из нее шила перчатки, и он их кому-то носил на барахолку. Но все это очень воняло, выделялись сероводородные испарения, и ему тоже это запретили, надоело нюхать. Он и огород в лесу на поляне завел серьезный, и раскопал погреб

на финском хуторе — в лесу много было брошенных хуторов, и у нас картошка появилась своя... Да, он же еще вино придумал делать! Сам же он совсем не пил, но, видно, считал, что в доме должно быть вино, может быть, во Франции подглядел... Покупал по дешевке подгнивший виноград, настаивал с трубочками, тоже все по науке... Мы с девочками — я уже была постарше — отпивали, а потом доливали водичкой. Очень вкусно было! Иногда шипучка получалась, вроде шампанского, он разливал в бутылки, запечатывал сургучом — очень серьезно подходил. Построил сарай, чтобы дачникам сдавать — тоже очень фундаментальный, доски собирал на заливе, туда их часто штормом выбрасывало... Но тут маме наконец квартиру дали. Он и за собой следил, уже перед смертью делал ласточку, тянул носок как балерина... Хотя больше уже на лягушку было похоже, чем на ласточку. Но все равно же куда-то все карабкался! И читал все время какие-то умные книжки, афоризмы в основном, он любил, чтобы сразу всю мудрость выкладывали на стол, он везде по букинистам собирал всякие «В мире мудрых мыслей». А под старость стал собирать про духовное, про любовь. Уже свобода началась, он стал выписывать книжки по объявлению. Выписал одну — а она оказалась «Камасутра», да еще с картинками, он прямо со стыда чуть не сгорел...

И мне наконец удалось ответить ее разнеженной улыбке самой искренней растроганностью. Нам удастся презирать кого-то только благодаря своей слепоте, а точнее — тупости.

Вот у него-то были основания презирать нас — выставивших себе круглые пятерки без единого серьезного экзамена.

— Он еще и на всяких курсах все время учился! Машины не было, а права получил — это прямо басня про всю его жизнь. Еще оформительские курсы закончил, плакаты во всех соседних домах отдыха писал — «забота партии — здоровье трудящихся» и всякое такое. И каждую копейку в дом, чтобы у нас с мамой «все было»... Я недавно нашла открытку с его стихами из лагеря, из тайги: бурундучок, бурундучок, пошли орешков доченьке моей... В общем, я решила идти в хоспис работать.

Переход был настолько неожиданным даже для женской логики, что я переспросил: куда, куда?.. — слово «хоспис» в ту пору было еще совсем новое, считалось, что если лечиться советским людям еще нужно, то умереть они уж как-нибудь сумеют и без посторонней помощи.

— Куда, куд-куда?.. — любовно передразнила меня Валька. — В хоспис. Вот и все так пугаются. Как будто вы не знаете, что люди умирают.

— Одно дело знать — другое видеть каждый день. Сама знаешь: с глаз долой — из сердца вон. Раньше же в каждом городке это такое событие было — целая демонстрация, оркестр, все мальчишки бежали смотреть, а я наоборот бежал домой, прятал голову под подушку, хлопал себя по ушам, чтобы не слышать... Я думал, я один такой урод, а вот же весь мир пошел моим путем — прятаться. А ты против течения. Слушай, это тоже символично: ты всю жизнь помогала людям жить, а теперь будешь помогать умирать.

— Ты вот умный, а говоришь глупости. Я тоже буду им помогать жить. Когда люди мучаются, это уже не жизнь. А люди должны жить до последней секунды!

Я даже не понял, что прозвенело в ее голосе — нежность или гнев. Васильковая сталь — это и были Валькины глаза в тот миг. Они заслонили и пустую кафешку перед моими глазами, и античный павильон мертвецкой на другом берегу Карповки перед моим внутренним зрением.

* * *

С этой минуты я охладел к ней — вернее, от нее и даже от телефонной трубки так веяло подземным холодом, что мне после каждого разговора с Валькой приходилось оттирать заледеневшее ухо. Если даже разговор шел о предметах самых посюсторонних.

Или нет. Как всякий порядочный реакционный романтик я готов был поклоняться женщине лишь в качестве слабого, робкого создания, а вот если женщина оказывается сильнее меня, то я ее... Ну, боюсь не боюсь, но стараюсь держаться подальше. И теперь, когда Валька каждое утро спокойно входила

в ту обитель ужаса, к которой бы я не решился даже приблизиться, я косился на встречаемых женщин со смесью почтения и опаски — ведь любая переваливающаяся толстуха или бойко цокающая каблучками козочка могла оказаться героиней...

На что им тогда мое покровительство, а, стало быть, и я сам? Я совсем забыл, что женщинам необходимо опекают мужчин ничуть не менее, чем к ним прислоняться. Впрочем, умиляет женщин только слабость сильных. Или я не прав, и не одной лишь Вальке трогательна всякая беспомощность, роднящая человека с животным? Не знаю, лично меня бессилие человека перед лицом смерти повергает не в умиление, но в ледяное отчаяние. Единственный способ хоть как-то отдалиться от этого ужаса — игра в прятки.

Однако на задрюченного зверя и ловец бежит. Когда мой лакотряпичный босс Угаров, навеки шестидесятилетний бритоголовый Хрущев, взял меня с собой в идилическую Финляндию на переговоры с полиграфическим воротилой по имени Мякинен, которого нам так и не удалось провести на мякине, хитроглазый Мякинен предложил нам ознакомиться с новой формой услуг, которые его фирма оказывает населению в доказательство своей гуманности и бескорыстия. Услугой оказалась смерть в комфортабельном хосписе.

Угарову было некогда заниматься пустяками, его влекла не смерть, а жизнь в лице супермаркета «Stockmann», и на свидание с комфортабельной кончиной он отправил меня. Отказаться означало уронить авторитет, и я принял вызов.

Среди чистеньких, но скучноватых новостроек смерть отвоевала себе весьма поэтический уголок. Подернутая седым сочащимся мхом гранитная полусфера, обсаженная веретеньями остреньких елей, полуобернувшихся кипарисами, — посадить наверху тоскующую Сольвейг — и лучшей декорации к «Пер Гюнту» и выдумать было бы нельзя. А у подножия... У подножия...

Мне едва не пришлось подвязать челюсть — с такой неуклонностью она отваливалась каждый раз, когда я вновь скидывал глаза на резную дачу оскудевших Фаберже, сбросившую со своих башенок и балкончиков полвека советского

прозябания, омывшись в утекших с того молочного утра невозвратных годах. Все рояльные балясины и рушниковые завитушки были выточены словно вчера и выкрашены в жизнеутверждающие, хотя и не кричащие цвета.

Зато интерьеры этой промежуточной зоны были царством сдержанного антиквариата эпохи югендстиля, слегка оживленным лишь редкими прирученными папоротниками да блеклыми акварелями в духе разбавленного Климта. Бесшумно передвигаясь по этому царству невидимок в сопровождении облаченной в обычное партикулярное платье ингерманландской финки, уже начинающей забывать русскую речь, я встретил лишь одну живую душу — десятилетнюю беленькую девочку, неслышно беседовавшую с аристократической бабушкой в седых букольках — тенью викторианской эпохи. Как ни тихо мы старались ступать, девочка слышала наши шаги и повела на нас добрыми-предобрыми глазками цвета васильков, васильков, васильков...

Смотреть на пациентов без их разрешения не полагалось, да не очень-то и хотелось, мне было предложено лишь осмотреть только что освободившуюся палату, из которой еще не успели убрать только что освободившееся от земных страданий тело. Беспокоиться об авторитете здесь не приходилось, и я от осмотра отказался, но через открытую дверь все-таки невольно успел разглядеть больничные белые стены и острый нос, приподнявший белую простыню на обыкновенной больничной кровати.

За все это время я не услышал ни единого звука.

В Валькином же аду жизнь была ключом. В поисках вечно недостающих средств Валькино начальство уступило какой-то угол платной стоматологии, но стоматологические клиенты постоянно обижались, что мимо них возят трупы. Такие капризули — ведь все стерильно, под простыней! Что же делать, если в подвал иначе не проехать? Пришлось накрывать мертвецов стопкой матрацев.

Валька рассказывала об этом со снисходительной усмешкой бывалого фронтовика над необстрелянным новичком, свернувшимся от ужаса в эмбрион (мама, роди меня обратно!)

только из-за того, что снаряд разорвался в соседнем окопе. Разве это страх! Страшно бывает, когда мучается живой человек, а ты ничего не можешь сделать. Вернее, что-то делаешь и не знаешь, то делаешь или не то.

У онкологических же больных иммунитет ослаблен, часто возникают абсцессы — жар, боль, а правило известное: где гной — там нож. А своего хирурга нет, из поликлиники тоже не хотят идти — и ответственность, и страшно, и — вот то самое: чего с ними возиться, если они и так, и так умрут! (Даже по телефону слышно, как Вальку передергивает от такого отношения.) Вот для этого, кстати, хосписы и нужны, домашние, может, и рады, но просто не могут обеспечить нужный уход, гигиену. Больные же писают, какают под себя, их, конечно, оботрут, даже обмоют, но настоящей дезинфекции... Их же, бывает, просто не поднять, один мужчина, конструктор — у него была очень полная жена — сделал под ней в кровати люк; ставил под него ведро, а потом люк запирал. Но это же тоже не дело! Каждая инъекция — инфекция.

В Валькином голосе появляются мурлыкающие нотки, когда она начинает расписывать, как у них в хосписе все промывают, дезинфицируют, перестилают, если бы все мы у них лежали с самого рождения, может быть, абсцессы и вообще были бы уничтожены как класс. Но пока до этого совершенства еще далеко, ей и самой приходилось браться за скальпель. Откладывать невозможно, уже слышно, как гноище плещется в ягодіце.

Вот это действительно страшно! В теории все, конечно, известно, но она же не хирург, она терапевт! (Слово «терапевт» у Вальки, похоже, тоже вызывает нежность.) Сама себе не веришь, когда вонзаешь нож в живое тело (все обезболено, обколото новокаином, все по правилам, но все равно страшно) и режешь, будто мясо дома на обед, — через скальпель рука прямо чувствует, как перерезаются волокна, ужас!.. А куда деваться — надо. Сначала режешь вниз, потом начинаешь удлинять, режешь вверх... А ягодіца большая, тетка толстая, рана уже и так глубокая, как ущелье, а надо еще глубже!..

И наконец гноище как хлынет!.. И надо поскорее эту тещу повернуть, пинцетом поглубже в дыру запихать резино-

вый дренаж, чтобы гной стекал по стебелькам, а не разливался куда попало...

— И как я гордилась, когда у нее и боли прошли, и жар, она садиться стала — так радовала меня! И рубчик образовался такой красивый, я им каждый день любовалась.

— И... и дальше что?..

— Ну, что может быть дальше — умерла.

— Так... Тогда какого черта было ее мучить? Может, лучше впрыснуть было ей чего-нибудь?..

— Я терпеть не могу этих разговоров! Это просто мерзость!! Наше дело бороться за каждую секунду! Тех, кто убивает, и без нас выше крыши! Ты же считаешь, что ради года жизни стоит помучиться, правда? А почему не стоит помучиться ради месяца? Или дня? Откуда ты знаешь, какие мысли она передумала? Сколько раз на солнышко посмотрела? Да даже сны какие ей снились! Я считаю, жить или вообще не нужно — или нужно бороться за каждый вдох!!

— Ты прямо Альберт Швейцер. Благоговение перед жизнью.

— С тобой невозможно серьезно разговаривать! Но я тебе все равно скажу: если бы я не считала, что за жизнь нужно бороться *всегда*, я бы там не работала. А я каждый день иду на работу с радостью! Потому что точно знаю, что я там нужна! А когда не знаешь, нужна ты или не нужна, тогда и жить охота пропадает...

Я слушаю, сжавшись. Но наконец звенящая сталь в Валькином голосе вновь сменяется мурлыканьем — она вспоминает, что разговаривает с несмышленьшем: мужики — они же как дети. А перед лицом смерти люди перестают кочевряжиться. Да, сначала выходят из себя: за что мне это, что я такого сделал?! Сердятся на врачей — да делайте же что-то!.. Но понемногу до них доходит, что и вопросы их детские, и злорадская — жизнь их убивает не за то, что они в чем-то провинились, а просто судьба им выпала такая, и никакие врачи тут ничего поделать не могут. И тогда они смиряются. И даже начинают находить в этой жизни какие-то радости, начинают понимать, что если один миг ничего не стоит, то и миллиард этих мигов тоже ничего не стоит.

— У всех же все по-разному. Никогда не известно, кто сколько проживет, куда метастазы стрельнут. Если в жизненно важные органы, то конец быстро наступает, а если, например, в кости, то это очень болезненно, но живут долго. Иногда и по двадцать лет, это как повезет. Обычно обездвиженно, но лежат и кушают хорошо. Правда, обычно отказывает весь малый таз, вся нижняя часть — ею же распоряжается спинной мозг, а он обычно разрушается. Тогда начинается и недержание мочи, и кровавая моча, бывает, льется, ну и пролежни само собой — глубокие, иногда до кости, на крестце же тканей мало. А там, где мяска побольше, возникают гнойные карманы, их надо чистить — гной имеет свойство растворять здоровые ткани. Бывает, как будто вареное гнилое мясо болтается, а мы его ножницами раз — и нету.

— У Достоевского — в «Бесах», кажется — один прогрессист, когда ему изменила жена, сказал: прежде я тебя любил, а теперь уважаю. Но я тебя не просто уважаю — я перед тобой трепещу.

— Ну и глупо. Совершенно нечего здесь трепетать. Это просто моя работа.

— Работа работе рознь. У летчика-испытателя тоже просто работа.

— Он же рискует. А мы ничем не рискуем.

— Да я бы лучше самолеты испытывал, чем глядеть на это гнилое мясо, трупы под матрацами катать...

— Это так кажется. А поработал бы и привык. Иногда у нас и забавные вещи случаются. На нашем, конечно, фоне. Бывает, у человека метастазы в мозгу или просто интоксикация — он снаружи весь целый, а творит всякие чудеса.

— Метастазы в мозгу — уже смешно.

— Ты ко всему подходишь очень пафосно. Если бы мы так на наши дела смотрели, никто бы работать не смог. Медсестричка мне жалуется: Валентина Александровна, Барбузенко из третьей палаты не хочет почему-то садиться на унитаз, а все пытается сесть на кресло с колесиками. А оно отъезжает. И он гоняется за ним по всей палате. Хотя оно ему не нужно. Мы его передали более тяжелым больным, так он стал писать мимо

унитаза. Мы думали, ему это место полюбилилось, куда он писает, поставили туда ведро — так он начал писать и мимо ведра: влюбился в тележку и больше ничего не желает. Разве не забавно?

— Со смеху подохнешь.

— Бесполезно тебе объяснять. Люди же должны как-то разгружаться!

— Конечно, должны, я же не против. Просто мне это не дано.

— Один больной постоянно отклеивал калоприемник с живота. Кажется, ясно же, что ничего хорошего оттуда не выльется? А сестричкам каждый раз надо все перестилать — дома же, кстати, ни у кого ни сил не хватит, ни стиральной машины... Девчонки у нас тоже есть чудесные, хотя и они, бывает, поставят свечку, и хоть трава не расти. — У меня мелькает дикая мысль, что свечки они ставят в какой-то церкви, но я тут же понимаю, что дело гораздо проще: — Я им говорю: засуньте палец, попробуйте!.. Ну, так вот, все ему поменяли, все перестелили, а девчонки как ни зайдут в палату, так откуда-то дерьмом тянет. А я догадалась заглянуть ему в тумбочку — а там полная миска. «Зачем», «зачем» — спроси его зачем. Такой иногда идет по коридору и сам не знает куда. Особенно ночью — ночь и правда царство темных сил. Тихие, мирные старушки начинают куда-то рваться, швыряться вещами... Одну девку так ногой в живот саданули, что она головой об стенку треснулась. Приходится иногда их даже привязывать. Но я всегда до последней возможности стараюсь брать лаской, мне строгость трудно дается, а ласка сама собой. Почему все люди так не хотят?.. В общем, лежала у нас очень интеллигентная старушка, всегда чистенькая, всегда «с добрым утром», «спокойной ночи»... У нас же бывает народ и беспардонный, ты ему «с добрым утром», а он тебе «пошла ты туда-то и туда-то»... И вот однажды ночью, я вижу, она сидит в коридоре с вещичками. Скромненько так, но решительно. Я спрашиваю: куда это вы, Анна Николаевна, среди ночи собрались? А она мне с большим таким достоинством отвечает: я свободный человек, и никто не имеет права меня здесь держать. Я говорю: конечно, конечно, но куда же вы в

темноте пойдете, давайте лучше пока что чайку попьем. «Давайте». И вернулась в палату. Я заварила ей пакетик, она еще мягче спрашивает: а вы почему не пьете? Я заварила и себе. Попили, поговорили о том, о сем, и она спокойно легла спать.

— Но она же все равно умерла?

— Ну, конечно, умерла! С четвертой-то стадией!.. Ты хочешь, чтобы мы чудеса творили. А если нет чудес, то и стараться нечего. А я считаю, что если мы подарили человеку хоть одну секунду покоя, хоть одну секунду радости, это уже наша победа! Вот так. А когда один больной сам у себя отнял жизнь... Неизвестно, сколько ему еще оставалось, но он не захотел...

— Вернул творцу билет.

— Не знаю, кому он его вернул, но мы все ходили как пришибленные. Обычно на утренней планерке перебрасываются шуточками, а тут все сидят как на похоронах.

— Но вы же и так всегда на похоронах. Или перед похоронами...

— Ты никак не хочешь понять: мы не хороним, мы спасаем! А тут он нам наш труд бросил в лицо — не нуждаюсь-де в ваших услугах. Ничего они значит в его глазах не стоят. И ты тоже на это, кстати, намекаешь.

— Ну что ты, я наоборот преклоняюсь!..

— Преклоняешься-то преклоняешься, но с таким намеком, что ты умный, а мы дураки. Ну и пускай, я согласна быть глупой, только бы чувствовать себя нужной.

— Совсем нет. Я вас считаю не дураками, а благородными безумцами. Безумство храбрых — вот мудрость жизни. Так этот, который вам бросил в лицо, — он что сделал?

— Наточил нож и перерезал бедренную артерию. И раночка один сантиметр — он был патологоанатом, все очень умело сделал. И почти открыто. Нож у сына попросил будто бы консервы открывать и точил на глазах у всех. Только переложил матрац на пол — будто бы жарко...

— А чем на полу лучше?

— Понятия не имею. Но медсестричка именно кровь на полу ночью увидела — блеснула из коридора. У меня из-за этого первая стычка с начальником вышла. Он говорит: давай-

те скроем. Я говорю: не буду. Мы же все соучастниками станем. Правда, переписываться, писать объяснительные целый месяц пришлось.

— Веселая у вас... Вы и правда какие-то сверхлюди.

— Какие сверхлюди!.. Когда нас в институте онкологии первый раз повели больных смотреть, я спряталась под стол и не пошла, там же по головам не считали... А потом по шажочку, по шажочку... В больнице тоже каждую ночь найдут, чем тебя развлечь. Одна больная после операции по поводу опухоли мозга выбросилась из окна. Жухлая трава, а под окном асфальт, и она лежит на асфальте... И что, мы должны все тоже повыбрасываться? Наоборот мы должны искать случая снять напряжение. Недавно у нас в хосписе мужик — три дня до смерти осталось — ходил по женским палатам и взывал: бабы, ну кто мне даст, у меня и деньги есть!.. Инстинкт сильнее всего.

— Да, когда все человеческое убито. Я видел в курской больнице — напротив морга было венерическое отделение. Морг старый, рыжий, вроде гаража, и корпус тоже старый, рыжий, облезлый, да еще жара адская. И в окне напротив морга в венерическом отделении парень с девкой — красные, потные — целуются в засос. Жизнь вроде как сильнее смерти. А у вас же явно смерть сильнее жизни. И мужик этот умирает, и бабы умирают, да и лезет он к ним не от страсти, а от безмозглости...

— Он хоть и от безмозглости, а умнее тебя. Жить нужно и радоваться до последнего вздоха, и ты меня не переубедишь!

— Я знаю. Я хочу, чтобы ты меня переубедила.

— Да как же тебя переубедишь, если ты считаешь, что ты умнее всех!

— Нет, есть кое-кто и поумнее меня. Но они все думают так же, как я. Умножающий знание умножает скорбь.

— Правда, правда. Хорошо, что не все такие умные, а то бы и жизнь прекратилась. Ты бы лучше не у них ума набирался, а у нас глупости.

* * *

Валькино булатное простодушие временами и впрямь придавало мне сил, словно Антею прикосновение к матушке-

земле, — заставляя вместе с тем чувствовать собственную неполноценность в сравнении с нею. Прежняя нежность к ней пробудилась лишь, когда я снова почувствовал Вальку слабой, — только тогда перед моим внутренним зрением вновь воссияли ее васильки, васильки, васильки.

Перебирая Валькину жизнь, я не раз задумывался: а кем бы сделалась чеховская Душечка, если бы мир в ту пору позволял женщинам развернуться во всю их силу? Через свои медицинские знакомства Валька устроила Травиату в английскую школу, сама сочиняла для нее стишата для лучшего запоминания: ай гет ап эт севен о клок, а не лежу и гляжу в потолок, но после смерти Гены ее рассказы о Травочке начали становиться все короче, формальнее, а мурлыкающая нежность стала сменяться надтреснутыми нотками: в школе Травиата ничего плохого не делает, но ни в чем не участвует — как будто ее нет. И на все попытки выяснить, что с ней происходит, реагирует так же мудро — ни с чем не спорит, со всем соглашается, но все делает по-своему. То есть ничего не делает. А когда Валька пыталась ей пенять — ты же видишь, как я тяжело работаю, ты же тоже должна что-то делать, — опускала на свое беличье личико непроницаемую занавеску.

Бедная Валька, думая, что дело в недостатке догляда, пригласила к себе жить Травиатину мамашу-алкоголичку, Вальку — 2, и та даже согласилась посидеть на ее шее, оставив на Боровой своего нового сожителя-вора, и результат не заставил себя долго ждать: однажды, явившись с работы пораньше, Валька застала свою тезку за бутылкой в объятиях красавца с черкесским лицом, а в коридоре была уже приготовлена на вынос стопка нового постельного белья, возможно, уже не первая: я же и сама не знаю, сколько у меня добра, завершила рассказ Валька с мрачноватой усмешкой.

Но больше всего ее поразило, что Травиата крутилась здесь же и явно была в курсе воровских замыслов. В ответ же на упреки начала пропадать из дому, обрекая Вальку на ночные хождения с ее фотографией по милициям и моргам (от дневной работы и ночных дежурств ее, разумеется, никто не освобождал, и давление у нее скоро начало зашкаливать — скоро

сдохну, поняла она). В школу Травиата тем более не ходила, и тамошние добрые тетки умоляли Вальку: пусть она хотя бы на экзамен придет, чтоб хоть девять классов у нее было на бумаге, и Вальке на экзамены ее выволочь все ж таки удалось, отмыв и проветрив от фронтовой прокуренности. Где и у кого она раскидывала свой бивуак, так и осталось невыясненным. Судя по всему, их компашка то перебивалась в брошенных домах, то у кого-нибудь на флэту, а иногда Валька замечала, что, пока она была на суточном дежурстве, Травиата приходила, отсыпалась, отъедалась и снова исчезала, прихватив что-нибудь из Валькиного гардероба, так что в конце концов Вальке пришлось запирать платяной шкаф на замок. И каково же было ее удивление, когда из запертого шкафа пропали самые новые и дорогие одежды типа дубленки и кожаного пальто.

Валька не зря всегда восхищалась смышленостью Травиаты: та отодвигала шкаф от стены и вынимала заднюю фанерную стенку. Ну не умница ли?

Наконец даже Валькиному терпению пришел конец. Однако выяснилось, что от опеки над Травиатой освободиться еще труднее, чем ее заполучить, тем более что Валька-мамаша и ее сожигатель-вор отнюдь не жаждали обрести еще одного паразита в своем нелегком паразитическом существовании. Травиата же вела очень тонкую дипломатическую политику, никому не возражая, но всем наговаривая друг на друга, а милицейским психологам на всех сразу.

Этот гордиев узел разрубила сама Травиата. В один прекрасный вечер Валька обнаружила дома записку: я с тобой жить не хочу, мы с Гошей е...мся (точки в последнем слове принадлежат отнюдь не автору записки), и я выхожу за него замуж. Оказалось, ради такой редкостной удачи, когда влюбленным счастливицам удалось разыскать недостающую половинку души в столь ранние годы, закон позволял регистрировать брак с пятнадцати лет. Впоследствии Гоша был тоже Вальке представлен — дурак дураком, и в этом были свои достоинства: неодушевленные существа не затрудняются поиском не существующих половинок. Гоша занимался тем, что на раздолбанных «Жигулях» бомбил, то есть подбрасывал туда-

сюда всякую небогатую публику, а Травиата целый день каталась с ним.

А потом и след ее затерялся вовсе. Только тогда Валька призналась, что еще и при жизни Гены заботливая внучка могла бросить дедушку валяться на полу в мокрых пижамных штанах и отправиться в веселую компанию.

Валька считала, что всему виной были первые Травочкины вороватые и попрошачные годы, но я думаю, что Травиата просто не выдержала испытания смертью. Пока дома было тепло и весело, почему бы там было и не жить, готовясь в будущем и самой обзавестись таким же уютным гнездышком. А когда в доме поселилась смерть, она тут же и узрела всю тщету земных усилий — чего же естественнее, как не прятаться от собственной беззащитности во всяческое одурение? Какое было под рукой — не у всякого же к услугам наркоз долга и высокий дурман мировой культуры! Это так по-человечески — мимо, мимо, — и к живым.

В ту пору Валька после работы ложилась на диван и поднималась только для того, чтобы улечься спать. Ничего не читала, не смотрела телевизор — просто лежала, без мыслей, без чувств, бессмысленно твердя: ай гет ап эт севен о клок, а ночью лежу и гляжу в потолок. Я старался звонить ей почаще, и голос у нее всегда был совершенно мертвый — оживала она лишь тогда, когда я заводил разговор об умирающих. Этой отрады у нее никому было не отнять — кроме нее, они были никому не нужны.

* * *

А вот им Душечка-2 была точно нужна. Умирающие ее и воскресили — понемногу она снова начала ходить на работу с радостью: лишь в борьбе со смертью она всегда хоть что-то да могла сделать — притушить боль, сказать ласковое слово...

И тут из каких-то канализационных стоков мегаполиса вновь возникла Травиата: нежная, заботливая — бабушка, как ты себя чувствуешь, тю-тю-тю, сю-сю-сю, она-де много раз звонила Вальке, но у нее изменился телефон (почему было не подъехать, адрес же не изменился), она живет уже с братом

Гоши, работает кассиром в супермаркете, ее очень ценят, директор собирается направить ее в техникум, а потом в институт, им в руководстве такие люди нужны... Валька подрамякла, но я ей сказал твердо: денег не давай ни в коем случае, жди развития событий. Через месяц Травиночка позвонила снова, снова тью-тью-тью, сю-сю-сю, но Валька простодушно поинтересовалась: а как же техникум, уже ведь август, — и Травку снова как косой скосило. Приходила, видно, разноухать, нельзя ли у этой блаженной чем поживиться. Но Валька уже нахлебалась досыта — ничего не хочу, устало говорила она, не надо мне ни ее ласки, ни таски, я больше ни от кого ничего не хочу, я хочу только покоя. Единственное, чего хочу — умереть так, чтоб ни мучить ни себя, ни других. Да мне и мучить некого, все, кто ко мне привязываются, тут же и умирают.

Я не знал, что ей ответить. Сказать, что я готов отстригать ножницами вареное мясо ее пролежней? Сам бы-то я хотел, чтобы мое вареное мясо отстригала именно Валька? Пожалуй, лучше, если бы все-таки она... Если она меня переживет.

И вдруг у меня лягнулось само собой:

— А я уверен, что ты бессмертна. Пока люди будут умирать, ты будешь жить.

Долгая-долгая тишина. И наконец бесконечно растроганный голос, чью музыку не сумела исказить даже телефонная трубка:

— Спасибо тебе. Ты такие хорошие слова умеешь находить...

— Это ты их умеешь пробуждать.

И все. Она снова была слабой и доверчивой, а я сильным и мудрым. И мне доставляло несказанное удовольствие купать ее в нежности и производить регулярные инъекции мудрости — царской водки цинизма на подсахаренной водичке смирения. Хотя я все равно никак не мог избавиться от легкой оторопи из-за ее манеры говорить об умерших (буквально на днях и при ее теснейшем участии!), даже не стараясь изобразить какое-то подобие грусти. Но потом понял: мы напускаем на себя постный вид, оттого что чувствуем себя виноватыми перед мертвыми. А она не чувствует. Потому что сделала

для них все, что могла, и знает, что никто не потребует с нее больше.

А жизнь вообще-то и не думала смиряться у врат небытия — пожалуй, даже наоборот вскипала с особой силой, подобно океанскому прибою у прибрежных скал. «Гони доверенность на пенсию». — «Ты ж пропьешь...». — «Давай-давай, а то ходить не буду».

И нельзя сказать, чтоб остающиеся жить кипели в суете сует, а умирающие предавались исключительно думам о вечности. Запомнилась мне старуха, не расстававшаяся с чемоданчиком денег. Вообще-то держать в палатах ценные вещи запрещалось, чтобы не отвечать, если спрут, но у этой бабки чемоданчик было не отнять — она его из рук не выпускала, ночью спала в обнимку. А однажды вдруг Валька увидела, как она раскладывает тысячерублевки по одеялу — сушит. «Что случилось?» — «В горшок упали».

И ни малейшей догадки, что это был намек судьбы на истинную цену денег. Бабка так и отошла в вечность с бабками в обнимку.

А по поводу другой бабки явился этакий Джеймс Бонд в камуфляже: «К ней никого не подпускать». Ни мужа, ни зятя — чтоб дом им не отписала. А как их не подпустишь, на каком основании? «Вы меня поняли? Я два раза повторять не люблю». Такой вот начальник охранного предприятия.

А в другой или в двадцатый раз Валька угодила даже в какую-то газетенку, чуть ли не дочурку «Московского комсомольца». Обгадить-то старались местного депутата и выискали, что прежний хозяин дома, купленного этим самым депутатом, очень уж кстати отправился на тот свет из Валькиного хосписа. К Вальке явился нагловатый журналистишка и начал подкалывать ее ядовитыми вопросиками, демонстрируя миниатюрный диктофончик на ладони: дескать, не увильнешь, все зафиксируем. А Валька вдруг схватила этот диктофончик и спрятала в карман своего белого халата. Журналистик даже обалдел, столкнувшись со столь бесхитростным обращением с четвертой властью. Отнимать свою вертушку силой он не посмел — Валька могла и охрану вызвать, — так что сначала

он угрожал: я-де вам устрою!.. — но потом принялся просить, и Валька, естественно, его пожалела — может, у него какие-то там нужные записи...

Ну, он ей и устроил — статья сплошь состояла из одних только намеков, но крайне зловещих: у мертвеца, скажем, обнаружилась кровь под ногтями. Ясно было, что Валька его пыталась, хотя впрямую так ничего и не было сказано.

Валька нахлебалась столько нервотрепки с этим мусором и грязной пеной, взбиваемой прибоем жизни, что даже когда и не спала, то все равно во сне видела, как бы ей уйти живой со своего главврачества. Особенно когда от нее потребовали заверить вымученное из умирающего завещание — оказывается, главврач имеет право на пороге смерти заменять нотариуса. Но тут уж она уперлась рогом — не буду, и все, — что хотите, то и делайте!

Отстали. Она ведь в главврачихи попала по чистой случайности — не тотчас познанной закономерности, заключавшейся в том, что прежний главврач Кочетков рано или поздно и должен был сесть за взятки и махинации с наркотиками: это был сорокалетний дурак с замашками неотразимого красавца-мужчины и наружностью облезавшего Ваньки-гармониста, а на этом месте мог усидеть лишь очень умный человек.

Он и пришел — отставной медицинский полковник, заслуженный неизвестно за какие заслуги врач и проникновенный оболститель как женщин, так и мужчин: даже в телефонные разговоры он вкладывал столько нежности, что казалось, еще мгновение — и на его посеребренные усы скатится скупая мужская слеза. Экстерьером он был лишь самую малость ухудшенной копией спикера Государственной думы Грызлова, представлявшегося Вальке образцом деловой элегантности. Чем он еще пленил Вальку — необыкновенного изящества руками: тонкие длинные пальцы, граненые ногти... Человек с такими ногтями просто не мог не быть аристократом духа!

Он раскусил Вальку, даже не пуская в ход зубы, но лишь пару раз лизнув: на имитацию доверчивости и простодушия Валька покупается проще, чем щенок на сосиску. (Некстати вдруг всплыла перед глазами замызганная баба с такой же

замызганной собакой в ночном метро: баба сует ей под нос замызганную сосиску и поясняет: у нее ноги больные, без сосиски она не пойдет.) Правда, во время доверительных бесед на кожаном Кочетковском диване, на котором прежний хозяин царства смерти в рабочее время трахал свою осведомительницу Галину, Грызлов–2 допустил пару проколов: про сына, только что окончившего военно-медицинскую академию, сказал, что он за сына спокоен — тот знает, где надо промолчать, а где зубы показать; про доносчицу же Галину, чьи попытки стучать в начале своего главврачества Вальке пришлось резко пресечь, произнес с самой своей изнемогающей от преданности интонацией: «Миленькая вы моя, такие люди тоже бывают полезны». Однако осмыслила Валька эти проколы только задним числом.

Когда же новый хозяин достаточно изучил распахнутую всем теплым ветрам бесхитростную Валькину душу (я же Стрелец, сетовала Валька, а Стрельцы все так прямо и рубят), пришла не вражда — разочарование: Грызлов–2 понял, что бизнеса с ней не сваришь, и доверительные беседы прекратил — до Вальки просочился лишь один его огорченный отзыв: «Инфантильная».

С чем я не мог не согласиться, ибо вечным своим детством Валька и была мне мила.

Разочарование нового босса на первых порах не принесло никаких неприятностей ни живым, ни полумертвым: Душечка–2 оставалась в чине начмеда, сохранив за собой полное право совать нос и пальцы во все естественные и противоестественные отверстия, в которых ей чудилась какая-то недоработка, и высматривать своими васильковыми глазками, не затаилось ли где пренебрежение человеческой болью. И даже босс ее ценил, поскольку все-таки чем меньше кричат умиряющие и их близкие, тем спокойнее и ему самому.

* * *

И тут явилась Валька–3 (у Вальки была способность притягивать к себе других Валек), у которой уже на третьей неделе работы в хосписе сорвалось торжествующее: «Ну все, теперь я знаю, кому здесь и как лизать».

— Мордочка у нее симпатичная, — признавала справедливая Валька, — но остальное во все стороны раза в полтора толще меня. Бабы говорят: она как выложит перед ним на стол свои торпеды... Хотя я считаю, они у нее больше похожи на половинки хорезмских дынь. Но его дынями не возьмешь. Он когда брал ее на работу, иногда еще пускался со мной в откровенные разговоры. И восхищался: она построила двухэтажный особняк в Ушкове! Ты понимаешь? Его не интересует, какой она доктор, а интересует, какой у нее особняк! А какое у нее может быть клиническое мышление, если она в терапию из психиатрии перебежала!

— Зачем же она перебежала, если там особняки раздают? Кстати, за какие заслуги?

— Откуда я знаю! Может, кого-то дееспособности за деньги лишала, а кому-то восстанавливала. Может, справки выдавала о невменяемости для судебных органов. Может, от этих органов и сбежала — я этого не знаю и знать не хочу! Это мерзость!!

Засовывать палец в посторонние задницы, внюхиваться в незнамо чью мочу — это с нашим удовольствием. А поинтересоваться, как серьезные люди делают бабки, — это для нее слишком мерзко.

Наконец-то и Новая Душечка отыскала в мире что-то настоящему мерзостное!

Однако серьезные люди не могли допустить и мысли, будто кто-то может не сгорать от желания что-то пронюхать об их соблазнительных тайнах: Вальку быстро перевели подальше от серьезных дел, на выездное обслуживание — шуку бросили в реку, к страдальцам, которым, кроме нее, было совсем уже не на кого рассчитывать. Единственное, что было плохо — выделили всего одну помощницу, приехавшую в Питер на ловлю счастья и заработка из родного Пошехонья, а транспортное средство приходилось вообще каждый раз выколачивать заново, так что, как она ни выматывалась в качестве приходящего ангела без крыл, спрос на нее уходил от предложения все дальше, дальше и дальше.

И Валька была скорее даже ошарашена, чем оскорблена, когда этот неудовлетворенный спрос ей начали ставить не в заслугу, а в вину. А потом ее помощница буквально упала в

ноги, пытаясь обнять Валькины перетруженные от неработающих лифтов колени, и, рыдая, начала умолять снизойти к ее слабости: Грызлов–2 и Валька–3 заперли дверь на ключ и объявили, что, пока она под их диктовку не напишет на Вальку докладную, они ее не выпустят. Разве что напрямик в родное Пошехонье. И она написала...

Разумеется, Валька не могла не снизойти к бедной девушке, напоминавшей ей сразу и покойного отца и покойного мужа, и не стала поднимать скандал, когда правящий дуэт предложил ей — доктору высшей категории! — перейти в рядовые *дежуранты*: на нее был уже выбит из коллег целый чемодан компромата.

Отнесись к этому рационально, делай только то, что тебе выгодно, каменея от бессильной ненависти, пытался я пробиться к Валькиной расчетливости, но она все повторяла потерянно: «За что?.. Ну за что?.. Я же так старалась...»

— Валушенька, милая, ты же знаешь, что раковые клетки стараются все пожрать ни за что. Просто они так устроены — пожирать, пока есть что жрать. Ну хорошо, хлопни дверью, дай публичную пощечину, но только не сегодня и не завтра, а послезавтра. Договорились? Сделаешь, что хочешь, но только послезавтра.

Я знал, что Вальке с ее васильковыми глазками не по силам бороться с мастерами интриг и склок, и желал лишь отсрочки, чтобы она успела осознать свое бессилие.

Добившись ее полумертвого обещания, я позвонил Угарову и предложил ему продемонстрировать всей России наш лакотряпочный гуманизм, открыв образцово-показательный хоспис — у меня есть для него потрясающий доктор, а менеджера мы поставим сами. Хохот Угарова в трубке звучал абсолютно ненаигранно: ну, ты придумал, да это же такая антиреклама, про нас все конкуренты будут говорить, что мы саваны производим, нет, дорогой мой, надо угождать молодежи, потребителям, а не покойникам, ну, спасибо, развеселил, а то я с утра был на нервах.

Взывая к несуществующей Валькиной рациональности, я прекрасно понимал, что счастье человеку, а женщина человек

вдвойне, приносят не выгоды, а ощущение себя красивым и значительным, и после Угарова я сразу же позвонил Вальке на мобильный, чтобы впрыснуть ей удвоенную дозу значительности и красоты. Но оказалось, что это уже сделал вместо меня маленький армянин по фамилии Тигранян: похоронив мать, он на следующий же день подарил Вальке похожую на баночку из-под чая музыкальную шкатулку с выгравированной надписью «Самому лучшему доктору на свете!».

— То есть мать умерла, а он тебя все равно благодарит?..

— Ну, он же видел, как другие доктора с ней обращались и как я, — Валькин голос звучал совершенно детской мурлыкающей гордостью. — После меня она начала улыбаться, садиться... Я поняла: мне нужно заниматься только больными. А ко всей ихней мерзости просто не прикасаться.

С этой минуты на Валькину душу действительно снизошел мир. Она словно бы спустилась в непроницаемые для взора океанские глубины человеческой боли, а пена и грязь остались на поверхности. Особенно чистой она ощущала себя во время ночных дежурств, когда всю мерзость людской алчности и хитрости уносила ночная тьма и Валька оставалась среди незамутненных страданий и бесхитростного безумия. Но и днем она старалась держаться подальше от той паутины, в которой суетилась и распоряжалась Валька-3, откуда главный паук из своего кабинета целыми днями высматривал, на какой машине подъехали просить комфортабельного упокоения родные и близкие будущего покойника и какую, стало быть, мзду с них за это нужно запросить. (Однако же, на плакате по технике безопасности с изображением толстухи в белом халате кто-то пририсовал только жирную подпись «ВАЛЬКА», на титьках изобразив по знаку доллара — почему-то на главпаука наглядная агитация не покушалась, а разъяснений, какая Валька имеется в виду, тем более не потребовалось.)

Теперь наличие свободных мест в этом преддверии Аида сделалось строжайшей военной тайной, за разглашение которой свободно могли и отправить в расход, — на все вопрошающие звонки полагалось отвечать одно: «Обратитесь к главному врачу». Однако привозили умирающих лишь после

интимной беседы с Валькой–3: умный Грызлов–2 не осквернял своих аристократических пальцев непосредственными контактами с клиентурой. Вальке было совестно, что она все это видит и не протестует, но я разъяснял ей, что видеть она ничего не видит, юридически доказуемых фактов у нее ноль целых хрен десятых, а человеку вообще нужно знать пределы своих сил и не замахиваться на большее.

— Ты же готова бороться за каждую лишнюю секунду, пока человек еще жив, но когда он попадает в лапы смерти ты уже смиряешься, правильно? Вот они и есть точно такая же смерть, тебя обманывает только их человекообразная внешность. Запомни: все животные действительно животные. Но не все люди действительно люди.

Однако совсем не выныривать в царство живых и энергичных Валька все-таки не могла. Иногда ей нужно было заглянуть в чью-то историю болезни, выяснить, какое впечатление страдалец производил при первом появлении, какие симптомы у него разглядели, и если ей приходилось вчитываться в заключения Вальки–3, она каждый раз убеждалась, что та просто переписывала симптоматику из справочника фельдшера.

— Чего она роется в историях моих больных!?. — бушевала Валька–3, но только за Валькиной спиной, чувствуя, что когда речь идет не о бабках и амбициях, а о страдающих людях, эта дурочка может зайти даже трудно сказать, насколько далеко.

Валька под моим пекущимся прежде всего о ее выживании руководством тоже изливала свое негодование лишь в телефонную трубку:

— Ты представляешь, у тетки диабет, а она назначает одно только обезболивающее!

— Но тетка же все равно обречена?..

— Вот ты опять! Да откуда нам знать, как будет протекать ее болезнь, если купировать диабетную симптоматику!! Да даже и не в этом дело — не наше дело рассуждать, кто обречен, а кто не обречен, а наше дело делать ЧТО ПОЛОЖЕНО! Я иногда чувствую себя каким-то муравьем или пчелой — на

что я запрограммирована, то я и должна делать. А эту... не знаю, как ее назвать... как-то не на то запрограммировали!

— Солнышко мое, человека невозможно запрограммировать, он обладает свободной волей. Проще говоря, у него есть своя голова на плечах.

— Значит я не человек. И слава богу. У меня на плечах голова моих учителей. Которые меня учили, что я всегда должна делать то, что должна. И когда я делаю, я чувствую себя спокойной. А когда не делаю, то мучаюсь.

— Значит ты и есть идеальная женщина. Которая до седых волос остается хорошей девочкой. И даже становится еще лучше, когда молодые глупости проходят. Я бы пожелал тебе, чтобы ты всегда такой оставалась, но я уверен, что ты и без меня не переменишься.

— А почему мы с тобой совсем перестали гулять? Помнишь, мы гуляли по Неве, ты мне читал Блока?

— Еще бы не помнить — не так много было таких прогулок. На непроглядный ужас жизни закрой скорей, закрой глаза.

— Разве там так было?

— Было не так. А стало так. Ты такая доверчивая, что просто грех тебя обманывать.

— А все почему-то обманывают...

* * *

В метро среди рекламы бросилось в глаза страдающие личико малыша: «Дети больные раком ждут вашей помощи». И залихватский росчерк: «Помогать легко!» В Валькиной прихожей на тумбочке меня тоже встретил ликующий заголовок «Детская смертность снизилась!» — в этой оптимистической газетенке Вальку и пропечатали как убийцу в белом халате.

Детская смертность так ударила в глаза, что я лишь после нее увидел, до чего же Валька постарела... Но и как же она облагородилась! Только добрые-предобрые васильки, васильки, васильки сияли своим прежним детским светом среди непривычного аристократического увядания. Что она увидела во мне, не знаю, но мы оба смутились и впервые

коснулись друг друга самыми краешками губ. И тут же отпрянули.

Я задержался в проходной комнатенке, чтобы припомнить полузабытые фотографии. Бравый отец в пилотке со звездочкой и военной форме (советской, невольно отметил я), смеющаяся мать в воспитательском халате, юный, но до крайности серьезный пышнобровый Гена в бескозырке, маленькая Травиата в праздничном школьном переднике. Блестящие беличьи глазки ничего не выражают, только смотрят, только поблескивают.

— Правда, хорошенькая? И глазки такие добрые, — пыталась заглянуть мне в глаза Валька, и я ответил «да», указав на ее покоробленную и линияющую черно-белую фотографию в узорчатой рамке гипса под бронзу на новеньких обоях под Версаль, из-под которых все проступали и проступали неумолимые разводы молочного супа.

— А кот — смотри, как по-доброму он на тебя смотрит!

Заматерелый рыжий котяра Соленко недвижно возлежал на вытертом парчевом кресле, устремив на меня тяжелый ненавидящий взгляд, но после этих слов принялся драть линияющую парчу, по-прежнему не сводя с меня ненавидящего взора.

— Ну что ты, что ты, глупенький, это же друг, друг!..

— Я его понимаю. Я тоже ненавидел твоих *друзей*.

— Как твои дети? — перевела Валька на другую тему, но я видел, что она польщена.

— О детях либо хорошо, либо ничего.

— Неужели так плохо?

— А что это у тебя за цветы такие пышные? Прямо лилии полевые...

— Я принесла цветочный горшок с помойки, а из него вдруг росток проклюнулся, из остатков земли. Я стала его поливать, и вот, пожалуйста. Только ни у кого не могу узнать, как он называется.

— Ты и на помойке найдешь какую-то красоту.

В «гостиной» все было по-прежнему, но древесно-стружечная полировка, казалось, всплыла из какого-то полузабытого сна. Где я видел и этих Валькиных подруг, которых, оказалось, все-таки запомнил, несмотря на то, что взгляд мой

приковывали к себе вилки-остроги Валькиных «друзей». Старенькие девочки сидели за чаем, но, увидев меня, тут же засобирались, чтобы нам не мешать. Я, однако, поспешил усадить их обратно: что вы, столько лет не виделись, как же, мол, можно так сразу — я знал, что все они уже целые десятилетия лишены мужской ласки и, один за всех, постарался каждой из них показать, что целые десятилетия каждую из них помню и тайно восхищаюсь: одна мне запомнилась снегурочкой, другая герцогиней, третья умницей, и мне не приходилось лгать — достаточно было осознать чудовищный контраст между тем, чего они заслуживали, и тем, к чему пришли. Каждая из них была драгоценностью собственного рода даже и в своем служении страдающим людям — и каждая была оттеснена на собственную обочину новыми хозяевами жизни.

И каждая по-своему расцвела, увидев, что она по-настоящему интересна такому интересному мужчине, о котором Валька наверняка давно прожужжала им все их аккуратные ушки. Они и до меня были настроены благостно после совместного культурного мероприятия — посещения родительских могил (этих институтских подруг теперь породнило еще и общее кладбище), а после моего воодушевляющего душа они распрощались вообще в прекрасном настроении.

— Слушай, — оторопело обратился я к Вальке, когда мы остались одни, — ведь все они *действительно* интересные женщины, они *действительно* заслуживают любви и восхищения — но где же их мужчины?..

— Где, где — пьют. А к нашим годам еще и помирают.

— М-да, долюшка русская, долюшка женская... И жизнь твоя пройдет незрима, в краю безлюдном, безымянном, на незамеченной земле... Ты хотела стихов — вот тебе стихи.

— А дальше?

— Как исчезает облак дыма на небе тусклом и туманном в осенней беспредельной мгле. Но это не про тебя, ты бессмертна.

И осенняя беспредельная мгла над ржавой осенью была исполнена красоты и значительности, когда мы с Валькой брели под руку (я старался поддерживать ее посильнее, видя,

как она бережет больные колени, немножко даже переваливаясь с боку на бок, подобно добродушной маме-утке) среди множественных новообразований — кирпичных особняков, фабричонок под средневековый замок.

«Правда, красиво?» — пыталась заглянуть мне в глаза своими васильками простодушная Валька, и я проникновенно кивал, хотя архитектурная фантазия ощущалась только в кованых решетках, и впрямь закрученных каждая на собственный лад. Все особняки были обращены к лесу задом, а к нам передом, и потому приходилось дожидаться просвета в их армейской шеренге, чтобы осторожненько высвободить руку и углубиться в лес по тисненым хвойным золотом относительно сухим тропкам среди набрякших влагой настырно, назло осени зеленеющих мхов.

Я старался удаляться с предельной деликатностью, каждый раз быстро догоняя статную переваливающуюся фигуру в черном брючном костюме, но Валька уже после третьего раза начала беспокоиться:

— Ты что так часто бегаешь? У тебя высокая остаточная моча?

— Пусть это останется тайной нас двоих. Меня и ее.

— У тебя ее много выходит за один раз?

— Не знаю, не взвешивал.

— У тебя что, аденома?

— Смотри, какой простор! Полюби эту вечность болот!

— Не увиливай, я же медицинский работник! Аденома?

— Гиперплазия, если тебя это так интересует.

— А это не одно и то же? Ладно, разберемся. И что ты принимаешь?

— Какая ты приставучая. Ну, фокусин.

— Фокусин — это не лекарство, он только симптомы снимает. Тебе нужен другой уролог, твой уролог просто пофигист. Выписывает, чтобы отвязаться, не у него же болит!

— Если бы ты была урологом, я бы пошел к тебе. А остальной мир весь состоит из пофигистов.

— Вот и неправда, нельзя так сразу впадать в безнадежность, нужно искать! Ладно, я подумая, что с тобой делать.

А как ты выходишь из положения, когда нет лесочка под рукой?

Я хотел скаламбурить, что лесочек мне нужен не под рукой, а под кое-чем другим, но воздержался, чтобы наконец перейти к чему-нибудь более возвышенному.

— Солнышко мое, мы так давно не виделись — неужели нам больше не о чем поговорить?

— А что есть важнее, чем здоровье? Терпеть очень вредно, тебе нужно носить памперсы.

— Лучше умру. Вернее, когда буду умирать, тогда и надену. Вернее, ты на меня наденешь. Так мы наконец и соединимся.

— Не болтай глупости. А вот и он, мой дом — узнаешь? Мы тогда шли к нему длинным путем, а теперь пришли коротким.

— Тогда мы шли социалистическим путем, мимо ленинского сарая, а теперь пришли капиталистическим, мимо особняков.

Я еще мог шутить, отыскивая взглядом Валькин особняк Фаберже и не узнавая его в почерневшем двухэтажном бараке, осевшем на все четыре ноги и зиявшем угольно черными дырами выбитых вместе с рамами окон. Только перебитые голени балясин да покосившиеся дурацкие колпаки башенок еще серели какими-то потугами на бывшее изящество. Булыжник дорожек скрылся под грязью, ручей рассосался среди выползших из лесу мхов, а ели, когда-то косившие под кипарисы, разрослись и обвисли мокрой хвоей, словно морской прибрежной плесенью.

Не чуя не только ног, но и руки, на которую налегала моя спутница, чувствуя только, что какая-то сила несет меня к разлагающемуся трупу Валькиного родного дома, я вдруг услышал, как мои губы сами собою беззвучно проговаривают: «Сердце дома, сердце радо, а чему? Тени дома? Тени сада? Не пойму. Сад старинный, всё осины — тощи, страх! Дом — руины... Тины, тины что в прудах...»

Прудов здесь не было, но тиной были увешаны мокрые ели, а мои губы все шевелились и шевелились: «Что утрат-то!..

Брат на брата... Что обид!.. Прах и гнилость... Накренилось... А стоит...»

«Чье жилище? Пепелище?... Угол чей? Мертвой нищей логовище без печей, — вдруг гулко подхватил дом. — Ну как встанет, ну как глянет из окна: взять не можешь, а тревожишь, старина!» Мои губы уже замерли, а дом все гудел: «Ишь заетейник! Ишь забавник! Что за прыть! Любит древних, любит давних ворошить...» Он гудел все строже и грознее: «Не сфальшивишь, так иди уж — у меня не в окошке, так из кошки два огня. Дам и брашна — волчьих ягод, белены... Только страшно — месяц за год у луны...»

Голос дома нарастал и крепнул: «Столько вышек, столько лестниц — двери нет... Встанет месяц, глянет месяц — где твой след?...»

— Что, что ты бормочешь? — встревоженно теревил меня Валькин голос, и я его наконец расслышал.

И приложил палец к губам:

— Тсс... ни слова... даль былого — но сквозь дым мутно зрима... Мимо, мимо... И к живым!

— Это стихи! — радостно догадалась Валька. — А ты знаешь Марка Лисянского?

— Кто же не знает Марка Лисянского — дорогая моя столица, золотая моя Москва.

— Я его ужасно любила, даже сейчас многое наизусть помню. «Возвращаться в те места, где ты молод был, печально» — как тебе?

— Здорово.

— А это? «Человек богат не наследством, а своим босоногим детством».

— Потрясающе!

— Ты не шутишь?

— Ну что ты, очень здорово.

— А вот это? «Был ветер в детстве вкусным, и снегом пахло мыло, и то, что стало грустным, веселым в детстве было».

— Прелестно.

— Я и сейчас во время дождя, бывает, иду и повторяю: а я иду, дышу и радуюсь, и гром, и дождь благодарю, и верю,

что жар-птицу радугу, поймаю, людям подарю. А когда вдруг станет грустно, вспоминаю: просто сумрак в доме, и взгрустнется, просто день как стершийся пятак... Ведь хорошо — как стершийся пятак?

— Изумительно.

— Ты надо мной не смеешься?

— Нет, растроганно улыбаюсь.

— А это на моего папашу похоже, но я все равно часто повторяю: умирает все, что лживо, заживают раны, побеждает справедливость поздно или рано.

— Валенька-Валюша, а ты знаешь, что ты чудо?

Мы стояли лицом к лицу, окруженные могильным дыханием умершего Валькиного детства, и ее васильки, васильки, васильки в надвигающихся сумерках светились доверчивостью и любовью. И мы, словно по команде, порывисто обнялись и принялись самозабвенно целоваться. Ее крошечные губки раскрылись, словно бутон, и, впиваясь в меня страстным поцелуем, казалось, безостановочно что-то бормотали. А в моих ушах продолжало звучать: мимо, мимо, и к живым, мимо, мимо, и к живым...

Наконец мое дыхание иссякло, и я осознал, что грудь моя переполнена нежностью, но страсти уже давно нет. И пробудить ее невозможно.

Мы откинулись друг от друга, с растроганной улыбкой посмотрели друг другу в глаза и не сговариваясь счастливо вздохнули:

— Вот старые дураки!..

А потом Валька припала ко мне на плечо и дважды нежно чихнула, будто кошка: щи, щи.

И, взявшись за руки, мы побрели обратно. Рука ее была очень маленькая и теплая, и мне не хотелось ее выпускать, но я чувствовал, что Вальке больно ступать, и снова предложил ей руку: «Опирайся посильнее, не церемонься. Да, кстати, как поживает твоя Катька Фаберже?» — «Катька давно умерла. Рак груди. А потом метастазы в мозг». — «Нормально». — «Это не так страшно, как тебе кажется. Ты должен у нас побывать — сам увидишь, как у нас все чисто, уютно. Ты же

бываешь в больницах? А это такая же больница, только лучше. У нас в хосписе вообще хорошо — в холле всякие растения, крылечко с вазами, каштановая аллея, вокруг частные домики, яблони, — я сейчас часто яблочками из окна любуюсь — они на солнышке так и светятся. Только труба у нас очень большая — как в крематории. Одна старушка — она уже до последнего все козу доит, в огороде возится, — она никак не хочет к нам переезжать: у вас там, говорит, людей сжигают. Я говорю: откуда вы такое взяли, Клавдия Никифоровна? «А зачем у вас такая труба?» Вот и ты как эта Клавдия Никифоровна.

— Трубу я, пожалуй, еще перенесу. А вот за каштановую аллею не ручаюсь — дорогу в ад нужно оформлять без лицемерия. В Освенциме это понимали.

— Какой Освенцим! Я же тебе говорю: у нас хорошо! Одну интеллигентную женщину на днях привезли, так она попросила носилки поставить на асфальт, подняла каштановый лист и положила себе на грудь. И тихо-тихо так говорит неизвестно кому: я же их больше не увижу... А я ей говорю: ну что вы, Софья Львовна, вы еще в окно и на каштаны, и на яблони насмотрите!

* * *

И я их действительно увидел — и пятипалые листья каштана на аллее, нацелившие когти кто в асфальт, а кто в сумрачное небо, и скрюченные ревматизмом яблони с лакированными вишневыми яблочками за сетчатыми заборами, и квадратную коренастую трубу из почерневшего от дыхания смерти кирпича, — точно такую, как мне и грезилось — прямиком из Освенцима. А сама промежуточная зона меж миром живых и миром мертвых изнутри была и впрямь точь-в-точь маленькая районная больница, только белая-белая, и притом не беленая известью, а щедро выкрашенная под слоновую кость масляной краской, какую в пору моего детства не жалели только на спинки кроватей. А новенький линолеум на полу был почти неотличим от кафеля царскосельской туббольницы номер три в пору его до-революционной юности.

Валька в белоснежном накрахмаленном халатике, уютно переваливаясь, скользила по новеньким шахматным клеткам, раскланиваясь налево и направо. «Валентина Александровна, ну кто мне даст?..» — скорбно воззвал к ней беззубый аскет в дохнувшей нам в лицо нафталином блекло-голубой полосатой пижаме, и Валька ласково погрозила ему своим пухленьким пальчиком, тут же переключившись на бледного одутловатого дяденьку в буро-медвежьем ворсистом халате: «Андрей Семенович, зачем же вы снова калоприемник отклеили? Скажите в сестринской, чтобы вам снова его подклеили». Только после этого нас обдало облаком зловония, и я понял, что Андрей Семенович несет в глубокой тарелке перед собой отнюдь на баклажанную икру. «В туалет, в туалет!..» — помахала ему в нужном направлении своей изящной ручкой Валька и поспешила закрыть дверь в небольшую сверкающую белизной палату, где я успел разглядеть на железной кровати мумию в очках, держащую в иссохшей коричневой ручке мумию пятипалого каштанового листа, нацелившего свои бронзовые когти прямо в ее коричневое личико.

— Клавдия Никифоровна, Клавдия Никифоровна, куда же вы с козой, козу надо оставить дома, Никита, зачем же ты пропустил?.. — уже более строго попеняла она плечистому седовласому ветерану внутренних войск, облаченному в черную форму американского полисмена, чья феминистическая выучка не позволяла ему применить силу к верткой бабке в подпоясанном солдатским ремнем истертом ватнике.

Зато бабка со своей козой нисколько не церемонилась, волоча ее за рог и щедро награждая пинками потрескавшихся резиновых сапожек. И после Валькиного замечания Никита тоже повлек бабку к выходу за ватный локоток довольно уверенно. Бабка не сопротивилась, зато коза гневно заблеяла.

Валька же тем временем завела меня в какой-то закуток, нежно нашептывая мне на ушко щекочущими губками: у нас сейчас уролог здесь, я с ним договорилась, он тебя посмотрит, Игорь Сергеевич, это тот пациент, о котором я вам говорила, не бойся, все будет хорошо — и подпихнула меня дверью.

Урологи, подобно Розе Кулешовой, смотрят пальцами. Опустите штанишки, обопритесь локотками на кушетку, «о, ч-черт!..», ничего-ничего, одевайтесь; вы готовы? Валентина Александровна, можете войти. Ну, что вам сказать — простатическая интраэпителиальная неоплазия, инфравезикальная обструкция, антигены, урокультура, адреноблокаторы...

— Короче говоря, ты у нас должен остаться. Ничего страшного, мы тебе выделим отдельную палату, я тебя буду каждый день навещать, а пока надень вот это, — и Валька, расстегнув две верхних пуговицы, достала из-под халата памперсы, такие же васильковые, как ее глаза.

Теряя сознание от ужаса, я рванулся к двери, но в дверях уже прочно утвердился сторож Никита:

— Не заводите беспорядков! Нехорошо!

* * *

— О чем ты задумался, ты что так побледнел? — наконец расслышал я встревоженный Валькин голос и ощутил ее теребящую руку.

— Так, пригрезилось... Не знаешь, на чем тут можно посидеть?

— Да хоть на крылечке — только подстелить нечего. Я тебе говорю: у нас очень уютно, приходи, сам увидишь.

— Да нет, со смертью нужно встречаться, чтобы с нею бороться. А глазеть на нее нечего. Я уже на твой дом нагляделся. Обопрись-ка на меня как следует да и поплетемся с богом.

Мимо, мимо, и к живым.

ПОДРУЧНЫЙ ОРФЕЯ

Повесть

Хорошо, что я в тот вечер ничего не соображал. Одно дело прокричать, проорать, прохрипеть, что лучше мне ее видеть в гробу, чем на полу в собственной луже, а другое дело и впрямь увидеть ее на смертном одре, опутанную трубками, уходящими в пустоту черных ноздрей, черных как сажа на стеариновом лице с намертво стиснутыми веками. Крепитесь, готовьтесь к худшему — как я мог к чему-то готовиться, если я ничего не понимал! Только у себя на полутемной ночной лестнице я сумел понять, что означает эта понурая фигура у моей двери: бомж зашел погреться. На верхней площадке под чердаком у них было целое гнездо, как-то раз из окна повалили клубы дыма, пожарные — помесь римских легионеров с аквалангистами — геройски ринулись ввысь по лестнице и потом долго вышвыривали на асфальт дымящиеся клочья какой-то черной овчины. Так что даже под толщей одури во мне шевельнулась досада, что и в такой кошмарный час от этой нечисти нет покоя — и тут же укол стыда: на улице каленый седой мороз, ему, видно, так всю ночь и придется простоять...

И тут у меня голова мотнулась от внезапности:

— Хозяин, пусти погреться!

Он что, рехнулся?..

Однако под анестезией шока, кроме досады, я почувствовал еще и оторопелость — уж очень необычный голос был у этого дегранта. Так, бывает, в опере пьянчужку исполняет какой-нибудь дивный баритон — со всякими забулдыжными ужимками, пробуждающими в публике вместо брезгливости лишь ветерок аплодисментов. Но одним только своим странным голосом он бы меня не взял — мне вдруг пришла в голову сумасшедшая мысль, что он послан мне в какое-то испытание

и если я его выдержу, судьба вернет мне Ирку. И я понял, что готов на все, лишь бы она вернулась — в каком угодно облике, — со всклоченной войлочной головой, с заплывшими глазами, в луже, в саже...

— Заходи, — грубовато, но гостеприимно распахнул я дверь перед засаленным камуфляжем и, поколебавшись, добавил: — Те.

Раздеться, однако, не предложил, опасаясь набраться вшей на нашу вешалку, попутно промельком сочинив довольно хитрую для контуженного отговорку: в телогрейке своей армейской он скорее согреется. Я и табурет на кухне ему предложил не без некоторого содрогания брезгливости, но уж накормить его без тарелки и напоить без чашки я никак не мог. Ладно, прокипячу...

— Спасибо, хозяин, — его странный голос пронял меня до глубины, уж конечно, не одной своей удивительной полнотой, но и какой-то совершенно не будничной благородной проникновенностью, заставившей меня впериться в него взором контрразведчика: да бож ли это?..

Его десантный камуфляж при домашнем свете выглядел совершенно чистым, а опухшее лицо с заплывшими глазами тоже было совсем не алкоголическим, оно скорее принадлежало какому-то буддийскому божку, мудрому и всеприемлющему.

— Не горюй, хозяин, все наладится, — ласково щурясь на меня, произнес он своим берущим за душу голосом, — давай лучше выпьем с горя, у меня с собой есть.

Иркины уроки отковали во мне такую ненависть к спиртному, что я скорее с горя окунулся бы в помой, чем стал осквернять пьянкой свое незапятнанное страдание, однако голос моего камуфляжного гостя был столь чарующим, взор столь мудрым и ласковым, что через две минуты на столе уже стояли нарезанный сыр и колбаса, а хрустальные стопки были готовы принять в себя настойку боярышника. Ничего, хоть попробую, что он за боярышник за такой, авось, не последую за Иркой. А если и последую...

Странно, правда, что он выставил на стол не аптечный пузырек, а выпукло-вогнутую фляжку золотистого металла, покрытую идеально круглыми следами шлифовки.

— Ну, давай за все хорошее! — это была не расхожая застольная присказка, но действительное признание в любви ко всему хорошему и не такая уж робкая надежда, что оно когда-нибудь победит.

Когда мы чокались, я заметил, что у него совершенно чистые граненые ногти, и только тогда осознал, что какая-то неубитая часть моей души невольно к нему принохивается и дивится полному отсутствию малейших дурных запахов и даже, наоборот, присутствию в воздухе не то чтобы аромата, но какой-то шири, что ли, которую хотелось вобрать в себя поглубже. И солнечный напиток, проглоченный мною отрезанно и торопливо, как лекарство, дышал тоже не ароматом, это было бы слишком пышно, но не то лесной поляной, не то летней степью... Да, именно степью, до меня донесся едва уловимый запах полыни и далекого пала, как у нас называли выжженные пространства.

Напиток был сладкий, но совсем не липкий, вроде бы и не крепкий, но я забалдел от первой же стопки. Забалдел каким-то странным образом — очумелость вовсе не усилилась, а наоборот отхлынула, я начал ясно понимать, что с нами стряслось, — только понимать с той неправдоподобной разницей, что наша с Ирккой история предстала мне на диво прекрасной. Лишь теперь я понял, какая сила заставляет людей исповедоваться перед незнакомцами — не жажда жалости, но жажда восхищения: никому другому не выпало столько счастья и столько отчаяния.

Мой гость умел слушать еще лучше, чем говорить, — в нужных местах он с редким чистосердечием смеялся, и его голубенькие глазки сияли из щелочек бледными спиртовыми огоньками, где надо замирал, и тогда его глаза округлялись и наполнялись глубиной ночного неба при ясной луне, но и эта лунная тьма не внушала мне ужаса, ибо в его сострадании неизменно светилось алмазное зернышко восхищения, и это означало, что он понимает меня именно так, как должно.

Свою черную вязаную шапочку он сунул в карман расстегнутой камуфляжной куртки, и его золотистые с серебряным

шитьем волосы рассыпались по серому искусственному меху воротника, и это были не засаленные патлы, но промытая отличным шампунем артистическая шевелюра, напомнившая мне не кого-нибудь, а Ференца Листа. Или еще кого-то, кого я никак не мог припомнить...

Бетховена, Рубинштейна? Или моего школьного друга Сашку Васина? Нет, не то, не то.

* * *

В обычных сказках любовь превращает безобразное чудовище в прекрасную принцессу, а в моей три десятилетия волшебной любви не помешали прекрасной принцессе обратиться в безобразное чудовище. А когда у меня наконец достало сил и ненависти стряхнуть его с себя, оно осушило чашу с ядом и на смертном ложе вновь превратилось в прекрасную принцессу.

— Но ведь я же имел право, я же был прав?! — с отчаянием воззвал я к моему странному гостю, и он ответил с бесконечным состраданием, но и с полнозвучной непреклонностью:

— Конечно же, ты имел право, конечно же, ты был прав. Но чего стоит наша правота перед лицом смерти! Я тоже почти всегда был прав в наших ссорах с Эвридикой, но когда она исчезла, оказалось, что важна только одна правда: я не могу без нее жить. Не бледней, не бледней, бледнеть тебе больше некуда, хуже уже не будет. Да, я тот самый Орфей, и я потерял Эвридику из-за того, что усомнился в могуществе любви, захотел убедиться в ее власти собственными глазами. И ты тоже потеряешь свою Эвридику, если мне не поверишь. А я могу тебе ее вернуть. Только для этого ты должен исполнить три мои урока. Я ведь с тех самых пор, как остался один, так и брожу по свету и помогаю другим несчастным, кто теряет своих возлюбленных. Только их такое множество, что одному мне не управиться и с тысячной долей. Поэтому я выбираю тех, в ком есть частица меня самого, в ком есть дар очаровывать людей звучанием слов. И я предлагаю им взять на себя частицу моей работы. Если они справляются, я протягиваю руку помощи им самим. Все справедливо. Вы меня понимаете?

С проникновенного «ты» он внезапно перешел на официальное «вы», и меня обдало холодом ужаса, что он разочаровался во мне.

— Да, да, конечно, я все понимаю, что я должен сделать?

— Я тебе дам адреса трех несчастных, которые теряют своих возлюбленных, и ты им их вернешь.

— А... А я справлюсь?

— Это будет зависеть от тебя. Но данные у тебя имеются, мне есть что в тебе усиливать. Я же не всемогущ, я могу из сильного парня сделать чемпиона, но из пустоты не могу создать ничего. А большинство людей до изумления лишены дара слова. Эти жалкие создания пробиваются на трибуну, собирают все крохи обаяния — и душат свои жертвы скукой. А у тебя был дар певца, пока ты от него не отвернулся. Он сделался тебе не нужен, ты и без этого был слишком счастлив со своей Эвридикой. А теперь я его тебе верну с прибавлением. С довеском, как говорят у нас в бомжатнике. Ты там всегда сможешь меня найти, в ночлежке на улице генерала Федякина. Я не хочу обзаводиться собственным домом, мне там слишком тоскливо, среди бездомных мне не так грустно. Так вот, я дам тебе три адреса... не нужно, не нужно ничего записывать, ты все запомнишь, я тебе обещаю. Это три еще недавно счастливые пары, три еще недавно счастливых дома. И в каждом любимая жена уходит от своего суженого в какой-то собственный туман, в собственный дурман. Одна уходит в телефонные разговоры с подругами, другая в телевизионные сериалы, а третья — третья самая трудная. Она уходит то в актрисы, то в самоубийцы, то в православие, то в ислам... Она сама не знает, кем поднимется с утренней постели, за нее ты и возьмешься в последнюю очередь. Но о ней мы поговорим отдельно, ночлежку на Федякина найти нетрудно, спросишь Артиста, меня так называют из-за шевелюры. Нет-нет, не нужно меня провожать, я сам захлопну дверь.

Если бы не запах полыни и далекого степного пала, еле слышно струившийся из позабытой фляжки, я бы решил, что он мне привиделся. Но его невероятно полнозвучный проникновенный голос продолжал звучать у меня в ушах и на

следующий день, а запах, даже когда я завинтил фляжку, держался до утра, это я знаю точно, потому что у меня до первых мусорных баков сна не было ни в одном глазу — ведь видения это же не сны! И вовсе не отчаяние не позволяло мне заснуть, наоборот, — окрыляющий подъем: раз уж судьба подарила мне возможность вступить в борьбу за Иркину жизнь, я был исполнен решимости хоть бы и на своем примере убедить три любящие пары, что ничего дороже друг друга у них нет и никогда не будет.

Поэтому впервые за десятки месяцев я не отшатывался мысленно от нашего прошлого, так ослепительно много обещавшего и так жестоко обманувшего, но перебирал его в памяти — поначалу любовно, будто первые янтарные самородочки...

* * *

На песке, тускло поблескивая, словно дюралевая ложка, лежал исцарапанный металлический буй с футбольный мяч величиной. На нем проступало слово GDANSK. Потомки, надеюсь, не поймут, сколь волшебным нам представлялся всякий предмет, проникнувший в наш мир из-за границы. Это была не наша скромная Маркизова лужа, а настоящая Балтика, распахнутая холодному норвежскому ветру. Приближался сентябрь, и я имел полное право укрыться в одежду, но продолжал, не чуя под собою ног, в одних плавках шагать — лететь — по твердому мокрому песку навстречу ветру, испытывая наслаждение от своей силы и неуязвимости: если бы мне в лицо хлестал ливень или еще лучше снег, я бы чувствовал себя лишь еще более сильным и неустрашимым. Солнце холодно блистало с холодного синего неба, холодные сверкающие волны с мерным шумом накатывали на песок, и он, насыщаясь влагой, тоже начинал сверкать, а, померкнув, открывал глазу капельки засахаренного меда — янтаря, которого я никогда прежде не видел в таких количествах, а может, и вообще никогда не видел — возможно, те немногие колечки и сережки были только пластмассовыми подделками, и в неподдельном янтаре меня пленяло именно то, что его медовая суть скрыта

под обкатанной морем корявостью, и чем больше она походила на застывшую сосновую смолу, тем сильнее меня чаровала. Сначала я кидался на каждую капельку, потом стал выбирать лишь те, что покрупнее, потом еще и те, что потемнее, но и этих становилось все больше, и я уже начал колебаться, не отсыпаться ли не вмещающийся в руки излишек прямо в плавки, когда передо мной развернулась какая-то грязевая река, растекающаяся по пологому склону, подобно лаве из жерла вулкана.

Я бы, конечно, никогда не ступил в грязь, но переполнявшая меня любовь к миру вдруг открыла мне, что никакая это не грязь, а всего только смесь двух самых чистых сущностей — земли и воды. И я бестрепетно присоединился к их союзу и тут же понял, что своей босою ступней ощущаю совсем не деревяшку, а что-то гораздо более интересное. Я бестрепетно погрузил руку в медленный густой поток и вытащил на холодное солнце пластину янтаря величиной с ладонь. Прополоскав ее в обжигающем прибое, я убедился, что лучшего представителя янтарного мира я бы и выдумать не мог: полированные светло или темно-медовые изломы, смоляные натеки — мне казалось, я попал в сказку.

— Пограничный наряд, ваши документы! — три пограничника в зеленых фуражках словно сошли с образцовой советской картины, не хватало только бдительной овчарки на поводке. Они были вежливы, но неподкупны.

Я растеряно развел руками, как бы демонстрируя, что у меня нет даже карманов, где могли бы храниться документы, и махнул рукой в обратном направлении: я-де все оставил вон там.

— Вы видели объявление — запретная зона?

— Как-то не обратил внимания...

И тут я заметил в прибрежных кустах небольшие остренькие ракеты, напоминающие памятники первым пилотам.

— Можно я это возьму? — я растерянно протянул пограничникам янтарную пластину, и старший, мгновение поколебавшись, кивнул.

Они сопроводили меня к моей одежде — рыжая ковбойка, серобурмалиновые «кеты» и зеленые, как фуражки моего конвоя, хабэшные джинсы, — попутно показав вбитый в

песок метровый плакат: **ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА! ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!** Но как же мне было заметить подобную мелочь, если взгляд мой был устремлен к солнцу и янтарю!

Паспорта у меня не было, был только студенческий билет, и старший, снова козырнув, предложил мне пройти с ними для выяснения личности.

С янтарной пластиной в руке и выдавшим виды тощим рюкзаком за плечами я брел под конвоем сквозь источающий смолистый дух солнечный сосняк не то чтобы в испуге, но в некоторой оторопи. Я понимал, разумеется, что меня не посадят в тюрьму, но если даже только оштрафуют — у меня же в кармане последняя треха... А может, еще и продержат под замком, пока не убедятся, что я это я, — черт его знает, сколько это времени займет...

— Куда это вы его ведете? — девический голос звучал вполне свойски, и лесную дорогу она перекрыла своим велосипедом тоже совершенно по-хозяйски. Так что я не удивился, когда мои сержанты и старшины, откозыряв, принялись чуть ли не оправдываться: карьер, запретная зона, паспорта нету...

— Так он же ко мне приехал! — она не упрекала, она разъясняла недоразумение, ладненькая, крепенькая, в линиях блуджинсиках и облегающей футболке в белую и синюю полосу, заметно пошире, чем на матросской тельняшке, с растрепанной каштановой стрижкой и тем носиком, который в советских романах именовался задорным. — А это у тебя что, янтарь? Да у нас таким на даче дорожки мостят! В общем, ребята, я беру его у вас на поруки.

А через пять минут я уже вез свою спасительницу на раме к местам ее детских игр, вдыхая солнечный запах щекочущих волос (в лесу было почти жарко).

— Пограничники — они что, твои знакомые? — спросил я, стараясь не пыхтеть (песчаная дорога пошла в горку).

— Пограничники? Я их первый раз вижу.

Видеть в каждом встречном друга — в этом заключалось и счастье ее, и несчастье.

Нас затрясло на бульжной кольчуге, могучие деревья вдоль старинного шоссе были подпоясаны широкой белой полосой.

— Это немецкие липы, — требуя почтительного отношения, указала Ирка — она знала по имени каждое дерево в любом лесу. — А вот наша развалка.

Среди прошитого пожухлой травой кирпичного крошева высились звонкие готические зубцы, с которых Ирка единственная из девчонок решалась прыгать на единственный расчищенный пятачок (я прикинул, что и сам бы отважился на такое не вдруг). Играть в развалках, разумеется, строжайше воспрещалось: они могли и завалиться окончательно, и кишели ржавыми гранатами — мальчишки то и дело оставались без пальцев или без глаз, хотя погибали почему-то редко, — но Ирку судьба берегла для меня в целостности и сохранности. Она очень жалела, что не может показать мне подземелье — власти все входы забетонировали, — а то можно было под тамошними кирпичными сводами добраться чуть ли не до самого Кенигсберга, они и забирались черт-те куда в поисках Янтарной комнаты. И колодец тоже забетонировали, а то бы мы посостязались, кто дольше провисит на счет над двадцатиметровой бездной на переброшенной через жерло ржавой трубе. Когда в шестилетнем возрасте папа застал ее за этим занятием, его чуть не разбил паралич — он не мог тронуться с места и потом до конца своих дней страдал невротическим радикулитом.

Хотя колодец вроде бы подходил папе по профилю, ибо высверлен он был как будто для неких ирригационных нужд, — Ирка толком не знала. Немцы при отступлении взорвали какие-то шлюзы, ее папу-гидротехника и направили сюда после Ленинградского политеха заниматься осушением затопленных низин. Восточную Пруссию заселяли только нужными специалистами, поэтому Ирка выросла в удивительном мире, где не было шпаны, где — просто заповедник, если не зоосад! — было некого бояться. И солдаты из соседнего военного городка вели себя на диво благопристойно — маршировали с песней и скрывались за кирпичной оградой, — Ирка многие

годы совершенно буквально воспринимала песню «Когда поют солдаты, спокойно дети спят».

Еще она показала мне взорванный мост — вздыбленный бетон, взывающий к небесам, заламывающий скрученные рельсы, по которым тоже было до жути увлекательно карабкаться, — показала и заматерелые яблони, на скрюченных лапах которых всегда можно было очень уютно разместиться. А вот показать немецкое кладбище ей уже не удалось — его снесли совсем недавно, и особенно жалко было надгробия генерала фон Фока, чугунной пирамиды, на которую тоже не каждому удавалось с разбега докарабкаться до самой вершины. Зато противотанковый ров с перекинутой через него, вросшей в оба берега ржавой швеллерной балкой зиял на прежнем месте. Перед этой балкой уже и самой Ирке приходилось пассивировать: у них только один мальчишка, разогнавшись, ухитрился перелететь по ней ров на велике.

Не мог же я уступить этому мальчишке!

Ирка пыталась меня удерживать, но лишь раззадорила. Ров, хотя и подзаплывший, был достаточно глубок, чтобы сломать шею, но Иркина колдовская власть над моей душой уже начала набирать силу: когда она была рядом, мне десятилетиями казалось, что я бессмертен и неуязвим. Я разогнался с бугорка и, вполне возможно, проскочил бы, но заднее колесо самую малость занесло в песок, я машинально тормознул, тоже слегка, но этой доли секунды хватило на то, чтобы переднее колесо вильнуло не на берегу, а еще над пустотой. Я успел извернуться и упал грудью на балку (черная полоса не сходила недели три, а вдохнуть полной грудью я не мог и того дальше), но чем мне удалось смыть свой позор — я, будто крючком, стопую левой ноги успел подцепить велосипед за раму и выбрался на спасительный мох вместе с ним, Ирка даже ахнуть не успела.

Правда, потом оказалось, что спасла меня она именно тем, что вовремя ахнула, только про себя, зажав рот ладошкой: она вполне серьезно до последних дней верила, что любовь может спасти от смерти. Однако она не сумела спасти нас даже от безобразия...

Известно, что женщины вдохновляют нас на великие дела, но мешают их совершить. Мне кажется, именно благодаря Ирке — не «из-за», а именно «благодаря» — я не достиг тех высот в своем деле, о которых когда-то грезил: она подарила мне счастье, а счастливым незачем еще куда-то карабкаться. Для меня это звучало когда-то неодолимым призывом: ДЕЛО ЖИЗНИ! А Ирка открыла мне, что жизнь и сама по себе уже есть дело, а главная ее драгоценность — беззаботность. Я мечтал когда-то прослушать весь мир — как звучит космос, как звучит океан, как звучит степь, пепельница, кресло, платяной шкаф, но тугоухость счастья не позволила мне расслышать более прочих. Я, конечно, уважаемый человек в своем мирке, да только мирок мой не слишком уважаемый. Может быть, именно поэтому мои дети больше похожи на свое время, чем на меня: три сына, и хоть бы один дурак. Менеджер по кадрам, менеджер по связям, менеджер по продажам, все прочно стоят на своих ногах, при необходимости наступая и на чужие, но без этого в наше время не проживешь, и жены у них прочно стоят каждая на своих ногах, а вот мы с Иркой как-то всю жизнь простояли на общих — я и сейчас не знаю, где у меня мои ноги, а где Иркины.

На чьих ногах будут стоять мои внуки и внучки, пока сказать трудно, но, похоже, тоже на своих. Помню, в одну особенно сумасшедшую ночь Ирка прошептала мне зачарованно: какие у нас должны быть удивительные дети, ведь у нас такая великая любовь!.. Но оказалось, великая любовь не любит делиться, и наши дети, боюсь, как-то почувствовали, что нам и без них хорошо. Нет, не Ирке, это мне для счастья было довольно ее одной: мальчишкам своим я всегда был самым старательным папашей, всякая их беда причиняла мне невыносимую боль, но когда у них все было хорошо, я легко мог о них забыть. А вот об Ирке никогда.

Более того, Ирку-женщину я просто любил, но перед Иркой-матерью я преклонялся — перед чудом преобразования своей девчонки в трепетную маму, выпрыгивающую из постели по первому шороху своего дитяти, готовую питать его и впрямь едва ли не кровью собственного сердца. Уж сколько

бессонных ночей она провела по больницам, именно что склонясь к изголовью до судорог в пояснице. И даже когда наши самостоятельные сыновья приходили к нам на обед со своими самостоятельными женами и воспитанными детками, более всего меня трогала по-прежнему моя Ирка, в чьем голосе немедленно начинали звучать растерянные искательные нотки только что обзаведшейся котятками мамы-кошки.

Но что было особенным чудом из чудес — при всем своем могучем влечении к обихаживанию собственного гнезда Ирка обладала счастливой и вместе несчастной склонностью постоянно расширять его пределы. Если ей поручали подмести пол, она тут же начинала сама вязать веники, растить и резать прутья и так далее — покуда наконец не набредала на какое-то выгодное дело, где уже наталкивалась на сопротивление серьезных людей. Сначала она не могла поверить, что ее теснят исключительно корысти ради, пыталась отыскать у своих гонителей какие-то высокие мотивы, затем впадала в отчаяние, а затем — затем снова с упоением ныряла в какое-нибудь новое занятие, серьезных людей до поры до времени еще не интересующее.

Но даже среди бездн отчаяния довольно было призвать на головы ее притеснителей какие-нибудь ужасные кары, как она пугалась и тут же начинала лихорадочно выискивать для них оправдания — так она верила в силу не только любящего, но и проклинающего слова. А еще через пару-тройку месяцев кто-то из ее преследователей как ни в чем не бывало звонил ей с какой-нибудь просьбой, и она непременно шла навстречу, лишь восхищенно тряхнув своей каштановой стрижкой: ну, наглец!..

К этому времени она уже успевала обжиться на заранее неподготовленных позициях и, как всякий счастливый человек, не нуждалась в мести. Мне и пожалеть ее толком не удавалось. Скажешь ей сострадательно: «Какая ты бледненькая!..» — и она тут же начнет трагически закатывать глаза, заламывать руки, а потом еще месяц будет подходить к зеркалу и сокрушаться: бледненькая я какая, не знаю, что и делать!

Между нами говоря, я и впрямь никогда не мог проникнуться к ней серьезным состраданием — слишком уж несо-

крушимо жила во мне уверенность, что если она всерьез пожелает, то и львы, и гиены послушно лягут к ее ногам.

Только в наше время она наконец забралась в какие-то выси или расселины, откуда не было обратного хода на заранее неподготовленные позиции. Что, где, куда, откуда? «Лучше тебе не знать», — на все был один ответ. Настолько лишенный всегдашнего ее желанья хоть чуточку подурачиться, что я уже не смел спрашивать дальше. Я лишь призывал ее спуститься с безвоздушных высот, выбраться из темных щелей — проживем как-нибудь и на равнине, на свету. «Все не так просто», — роняла она настолько серьезно и не похоже на себя, что любые мои изъявления преданности вмиг оборачивались лицемерными ужимками.

«Так что, все действительно так страшно?» — наконец рещался я спросить, мертвея, и она отвечала тоже внезапно мертвеющим голосом: «Не так страшно, как стыдно». И у меня отваливалась глыба с души: стыд не дым, глаза не съест.

Ирку, однако, он съедал на глазах. Счастье ее и несчастье заключалось в том, что она с беззаветностью пятиклассницы верила в детские сказки — ну, что единожды солгавший обязан застрелиться и всякое тому подобное, — так что я далеко не уверен, что она столь уж глубоко погрузилась в пучину порока — но она-то была убеждена, что ей более нет места среди порядочных людей! И хуже всего или лучше всего было то, что именно за эту ее детскую доверчивость я больше всего ее и любил.

Ввязалась она, как всегда, в благородное и никчемное дело — хижины для бедных, очаги для влюбленных, кому выпала судьба вскармливать детенышей под кустом, как нам с нею когда-то, но почему, когда в грудях перерытого ею песка замерцали искорки золота, ее не отодвинули, как это всегда бывало, а наоборот вцепились мертвой хваткой — одному дьяволу известно. Я уже и не задавал вопросов, зная, что услышу только стон: «Ну за что, за что ты меня мучаешь?!»

Поскольку никакой исход впереди не брезжил, Ирка начала искать забвения, и я довольно долго с радостью шел ей навстречу. Наши вечера даже сделались еще более приятными —

то мы дегустировали неиспробованные сорта сидра или пышные имена коктейлей, то посвящали вечер какому-нибудь валлонскому пиву или нормандскому кальвадосу, испытывая дополнительное удовольствие, что подобные роскошества нам по карману. Мир виски тоже был разнообразен до неисчерпаемости, не говоря уже о вселенной вин — нас забавляло, что эти напитки герцогов и мушкетеров, все эти бургундские и анжуйские всегда готовы по первому слову излиться в наши бокалы пацана и пацанки из советского захолустья, — оставаясь вдвоем, мы разом обращались друг для друга в тех юнцов, какими предстали друг другу когда-то на лесной дороге к погранзаставе.

Это было одним из самых сладостных наших времяпрепровождений — предаваться воспоминаниям о нашей упоительной нищете сначала под кустом, потом в Свиной балке, где ленинградские хитрецы на городской полуокраине придумали откармливать изрядное свинячье поголовье, изводя вонюю окрестное население, — зато цены на тамошние конурки сделались по карману даже таким голодранцам, как мы с Ирккой. Для нас все тогда становилось поводом посмеяться — а теперь еще и растрогаться: вспомнить, скажем, как к негодованию окрестных свиначок Ирка перетаскивала меня на себе через оборонительную лужу, запирающую вход в Свиную балку всяческим соглядатаям, — резиновые сапожки были только у нее, а таскать рюкзаки в походах она умела чуть ли не наравне с мужиками, хотя сложения была не атлетического, но всего лишь спортивного. А в какой мы купались роскоши, когда Ирка могла вдруг устроить вечер с икрой и шампанским, зная, что завтра не хватит на хлеб! Каким-то чудом Ирка внушила мне свою уверенность: будет день — будет и пища.

Когда я разглядывал Ирку сквозь бокал с шампанским, вино представлялось мне насыщенным воздушными пузырьками янтарем, а Ирка какой-то смесью их обоих — легко вскипала и тут же опадала в смех, и была такой же солнечной и прозрачной, как та моя добытая из грязи пластина, матовую поверхность которой я не поленился отшлифовать сначала шкуркой, а после зубной пастой. Теперь и янтарная пластина

казалась мне пронизанным пузырьками воздуха застывшим солнечным светом, единственным земным пятнышком в котором была замершая в полете мушка — Иркина ребячливость. Только к самым краям пластины начинал стгущаться туман, как будто в шампанское с двух сторон вылили топленое молоко.

Моя привязанность к янтарной реликвии явно трогала Ирку, хоть она и подтрунивала, что после войны таким янтарем у них в городке топили печи. А я отвечал, что она так и не освободилась от своего янтарного происхождения: стоит ее потереть, и к ней тут же липнет всякий мусор. Наша дворничиха — для кого Татьяна, для кого Танька и только для Ирки Татьяна Руслановна — во время запоев трезвонила исключительно в нашу дверь, — привадить ее Ирка сумела, а отвадить уже не могла, только умоляла через дверь: Татьяна Руслановна, мне же не жалко, но вы себя губите, давайте я вам дам денег на лечение, но Танька — страшная, опухшая, охваченная фиолетовыми протуберанцами слипшихся завитков — понимала лишь одно: ее не гонят, значит есть шанс.

Когда она запивала, то целыми днями, зимой и летом опираясь на лыжную палку, бродила по двору и по подъездам, а к ней, словно гиены, из каких-то нор стекались еще более страшные зловонные бомжихи и начинали водить вокруг нее загадочные хороводы. А однажды медлительная, словно водолаз, раздувшаяся, как утопленник, баба вдруг вцепилась сзади в Танькины слипшиеся протуберанцы и начала драть их что есть мочи. На что Танька лишь недовольно мычала: ну кончай, ну хватит, ну ладно...

А потом запой спадал, подобно цунами, и Танька, повязавшись платком по моде двадцатых, начинала энергично мести двор, гоняя голубей и алкашей.

Бог ты мой, мог ли я усмотреть в нелепой Таньке предвестие Иркиного будущего! Потихоньку-полегоньку в наших воспоминаниях она начала заходить чересчур далеко, умиляться до слез, и когда до меня дошло, что это пьяные слезы, я стал уклоняться от всяческих трогательных погружений в канувшее, пытался переключиться на что-нибудь бодрящее — какие у нас самостоятельные и успешные сыновья, каким

чудесам света мы поедem дивиться в близящиеся недели отпуска, однако не тут-то было, ее никак не удавалось переключить ни на что, по поводу чего нельзя было бы пустить слезу. Да, да, эта ее пьяная слезливость уже начала меня раздражать до такой степени, что я иной раз мысленно употреблял именно такие выражения: пьяная слезливость, пустить слезу...

Употреблял пока еще только мысленно. Но если я слишком заметно пытался перевести разговор на что-нибудь более бодрящее, она впадала в патетическую скорбь: я понимаю, тебе неинтересно наше прошлое, я тебе надоела, я тебя понимаю, я сама себе противна, — так что лучше уж было неиссякаемое струение слез по поводу Свиной балки, где мы были так счастливы, чем мраморная неподвижность, прерываемая лишь на то, чтобы нетвердой, отнюдь не мраморной рукой налить и опорожнить еще одну стопку, еще одну рюмку, еще один бокал...

У меня ведь когда-то дух захватывало от нежности, когда она любую ласку немедленно переводила в озорство. Погладит, скажем, меня по голове и тут же отвернет ухо проверить, не выросли ль на его изнанке бесконтрольные волосы: «Безобразие, ты уже месяц ходишь неошипанный!» А в последние месяцы (или годы? Да, конечно, годы) придет, бывало, в умиление, да так и замрет с обмякшей рукой у меня на голове, и не знаешь, забыла она про тебя и можно уже высвободиться или надо терпеть, покуда она окончательно не размякнет.

* * *

Когда я не пересказывал Орфею (я не смел сомневаться в его имени, чтобы не убить Ирку окончательно), а перебирал нашу историю для себя самого, мне уже не открывалось в ней ничего особенно ослепительного: да, было трогательное, было радостное, было грустное, — все как у всех. И только присутствие этого удивительного слушателя, подобно философскому камню, обращало наше прошлое в восхитительную сказку. Даже Иркино пьянство становилось пусть страшной, но все-таки сказкой, а не историей болезни, историей погружения в тупость и грязь. Зато когда Орфей покинул меня, опьянение ушло вслед за ним, а воскрешенный рассудок остался, и я

сразу же перестал понимать, какую такую поэзию я ухитрился высмотреть в стареющей тетке, которая от бессонницы выходит подышать ночной свежестью и полюбоваться воздушной громадой Александринки и электрической стройностью улицы Росси и возвращается с фингалом во всю щеку: сначала приложилась к стаканчику виски в какой-то ночной забегаловке, а потом к косяку в подъезде.

Слава богу, у нас теперь разные спальни, но я все равно часами не могу заснуть, прислушиваясь через дверь, как она что-то бормочет, с кем-то объясняется, может быть, даже со мной, но мне так мерзок ее заплетающийся язык, ее пьяный пафос, что я сам бегу прочь из дому и брожу по улицам либо сижу в каком-нибудь шалмане, покуда не придет милосердное отупение. Тогда я решаюсь вернуться домой и обычно мне сопутствует удача: она уже отрубилась и будет отсыпаться до вечера. Но иногда я застаю ее валяющейся в кухне среди разгроханной посуды, часто в крови из рассеченного локтя или лба, иногда у сортира в задранной выше задницы рубашке, а изредка она засыпает прямо на унитазе, не считая нужным хотя бы затвориться — а, чего там!..

Пять лет назад я бы отдал голову на отсечение, что ничего подобного... Да я бы и обсуждать не стал подобный бред. И даже когда этот бред начал повторяться через два дня на третий, ко мне уже к вечеру второго приходила уверенность, что все это мне приснилось. И даже когда этот страшный сон стал занимать больше места, чем явь, все равно одного ее искательного взгляда, одной ее затравленной улыбки было достаточно, чтобы я все забыл и уверился, что весь этот кошмар теперь-то уж точно остался позади. И ненависть, омерзение сменялись невыносимой жалостью — пьяная баба с бесстыдно задранном подолом превращалась в маленькую беспомощную девочку в задравшейся рубашонке. А жалость сменялась заоблачным счастьем, что все эти ужасы наконец-то позади и мы теперь снова всегда будем вместе.

Затеревши синяки, желтяки и зеленяки «телесным» гримом, делающим ее неотличимой от подержанного покойника, для которого служба хорошего настроения сделала все что

смогла (какие это мелочи, когда знаешь, что видишь их в последний раз!), моя Эвридика начинала новую жизнь с таким размахом, словно хотела возместить все упущенные радости. Прежде всего она закупала несколько тонн баранины, телятины, семги, белуги, севрюги, груш, яблок, винограда, смоквы, хурмы, зелени и овощей (огромными пластиковыми мешками зафрахтованный шофер заваливал половину нашей немаленькой кухни), дабы отпраздновать возвращение к жизни с самыми любимыми друзьями, чьей дружбой она гордилась не менее, чем соседством с Александринским театром, Фонтанкой и улицей Росси. Именно ради каждого из них в отдельности она закупала любимые сорта скотч и айриш виски и расшибалась в лепешку, дабы к их приходу изрубить, изжарить, испарить, протушить и сварить ровно четыреста тринадцать блюд, каждого из которых было бы довольно, чтобы прославить ее имя как лучшего кулинара нашей компании и ее окрестностей.

Но что особенно ей удавалось — пышнейшие пироги из белых сушеных грибов, которые нужно было размачивать за сутки, а заготовливать с лета. Прежде, когда были победнее, мы наслаждались лесными заготовками сами, а в последние годы Ирка целыми клетчатými сумками закупала эту труху у какого-то одичавшего интеллигента в перекошенных очках над перекошенной полустеснительной-полублаженной улыбкой. Ты не боишься, что однажды он засушит тебе поганок, время от времени интересовался я, и она немедленно принимала торжественный вид: «Как тебе такое приходит в голову? Сразу же видно, что он порядочный человек!»

— Но он же чокнутый...

— Не настолько же он чокнутый, чтобы белый от поганки не отличить!

Ирка вкладывала в это искупительное пиршество столько души, что по мере приближения торжественной минуты испытывала потребность все чаще и чаще выйти подышать и в итоге встречала долгожданных гостей, едва ворочая языком и с трудом сохраняя равновесие. Наши деликатнейшие друзья и даже их жены с напряженными улыбками выслушивали ее неразборчивые речи о том, как она их всех любит и какая для

нее честь их посещение, а когда огромная фарфоровая миска с салатом разлеталась вдребезги, все бросались кто прибирать осколки и протирать изгаженный пол, кто доставать из духовки обуглившееся мясо в горшочках, но самое невыносимо стыдное заключалась в том, что Ирка никак не позволяла усадить себя в кресло, а, мыча, рвалась в бой, как классический пьяный бузотер в вырезвители.

Гости быстро вспоминали о срочных делах, Ирка засыпала в кресле, всхрапывая и пуская слюни, я, изнемогая от позора, относил переведенные продукты на помойку, а, вернувшись, обнаруживал супругу уже на полу рядом с ополовиненной бутылкой скотча или айриша.

(Еще давно, при возрождении нашего благосостояния Ирка приобрела изящный итальянский столик на колесиках — и однажды ночью рухнула на него так удачно, что разнесла в щепки, — не для нашей широкой души их ренессансная утонченность. Дубовый белорусский держался дольше; собственно, ей и отломать удалось лишь одно колесико от его монументальности, но я его все равно выволок на помойку — уж очень тошно было видеть этого атлета скособоченным.)

В последний год, правда, стало немного легче: на Иркины приглашения наши друзья начали рассыпаться в сожалениях, что именно в это воскресенье прийти не могут. И в следующее, увы, тоже. А на субботу супруга сама никого не приглашала, ибо отсыпалась после пятничного запоя.

Но даже и в эти месяцы одной ее жалкой улыбки было достаточно, чтобы я все забыл и все простил. А взлет счастья и благодарности, что она вновь ко мне вернулась, в тот миг, казалось, искупал все. Я увлекал ее в какие-нибудь волшебные края — и так упоительно было после дождливой балтийской зимы оказаться на сверкающем зеркале Нила, побродить в могучем каменном бору Карнака, посидеть у подножия исполинских пирамид пред не желающим нас замечать каменным Сфинксом, наслаждаясь более всего Иркиной детской радостью: а я-то думала, никогда пирамиды выше фон Фока не увижу, ну скажи, скажи, могли мы подумать в Свиной балке, что когда-нибудь будем здесь сидеть?!.

Для меня же это был сущий пустяк в сравнении с тем чудом, что судьба вновь вернула мне прежнюю Ирку.

А на грузовом итальянском ковчеге с экипажем филиппинцев, кланяющихся каким-то спортивным нырком, подавая тебе блюдо в кают-компани (а какой там был крепчайший кофе на камбузе в любое время дня и ночи!), мы бродили зигзагами по всему Средиземноморью, спускаясь на берег вместе с рычащими по рифленым стальным сходням корейскими автомобилями то в гриновской Каподистрии, где нам было не скучно битый час любоваться сияющим водяным ежом прибрежного фонтана, то в бетонно-корбчатом Пирее, в котором не осталось ни зернышка магии, кроме имени, то в раскаленном Ашдоде, где у нас над ухом с оглушительным звоном лопнула палестинская ракета, — но мы бы могли и вовсе никуда не сходить, а так и стоять рука к руке на баке или как там его лицом к теплему ветру, околдовываясь бескрайней гладью, из которой, к Иркиному восторгу, время от времени то выпрыгивали дельфины, тугие и толстые, как чайная колбаса, то медленно вырастали из моря до небес розовые и пустынные не то Споряды, не то Киклады.

А потом мы снова возвращались в постыдный ад нормальной жизни, и на ее щеках снова начинали разгораться прыщи, как будто не зеленый змий, а какой-то гнойный червь погружал в нее свои зубы. Однако лишь последний всплеск кошмара открыл мне, что той Ирки, которую я так любил, больше нет.

Хотя именно она погнала меня к врачу, когда в моем голосе появилась пленительная хрипотца под Высоцкого: «Мне кажется, что с этим новым голосом ты уже не ты». Я согласился, потому что и глотать стало больновато. И заподозрили — что бы вы думали? — да, да, то самое. Всемирное пугало. А в тот день, когда я сидел в больничном коридоре, ожидая окончательного приговора, мне на мобильник позвонила, не выдержав напряжения, замученная Ирка. Я собрал в кулак все свое деланное безразличие, чтобы ее хоть немножко успокоить, — и услышал в трубке пьяный смех: «Я спылю... И нны рыбботту не ппышшла...» Это же так смешно — спать в четыре часа дня. И забыть, что у обожаемого супруга в эти часы решается судьба — жить ему или умереть.

Тогда-то я и решил — холодно, без всякой достоевичины — с нею расстаться.

И сейчас, средь бесконечной безумной ночи, выискав в памяти все эти картины, я вновь с ледяной решимостью убедился, что был прав. И никакие трубки в черных дырах ноздрей, никакие намертво стиснутые веки не в силах отменить этого непреложного факта: то существо, которое было способно мычать и смеяться, когда я сидел у эшафота, не могло и на смертном одре снова превратиться в ту Ирку, с которой мы целые десятилетия составляли единое мироздание.

Орфей, ответь мне, если ты меня слышишь: ведь ты пытался вырвать у адских сил ту Эвридику, которую любил, а мне предлагаешь спасти другую женщину, с которой у моей Ирки уже давно нет ничего общего, кроме имени!

И у моего исчезнувшего гостя не нашлось ни единого возражения. Одно только эхо его удивительного голоса отозвалось под сводами моей души, и — о чудо! — она из ледяного слитка немедленно обратилась в нежное перламутровое облачко, и янтарно-помойная история нашей любви вновь предстала предо мною сказочно прекрасной.

Хотя даже самому Орфею было бы не по голосу воспеть мои последние поползновения сделаться холодным деловым человеком.

Со стиснутыми челюстями добравшись по асфальтовому крошеву под замызанной аркой до гибкой блондинки, чье сочувствие ко мне оттеснялось ее наслаждением от собственной дальновидности, я узнал, что если моя жена не пожелает пойти на развод, то мне придется тащить ее к мировому судье (адрес неизвестен). А если она пойти не захочет, ее вызовут повесткой. А если она не откроет почтальону дверь, то в эту минуту я должен быть дома и открыть сам. И заставить ее расписаться на повестке. А если она откажется, я должен буду составить протокол об ее отказе и подписать его у двух понятых (понятых желательно постоянно держать при себе). Одновременно нужно следить, чтобы за это время моя жена не потеряла паспорт или свидетельство о браке, ибо свидетельство могу восстановить и я («Вы не помните,

где вы регистрировались?.. Это хуже»), а паспорт должна восстанавливать она сама.

То есть, если она захочет, то сможет саботировать процесс до бесконечности? Хотя бы уходя в запой. И что тогда? Тогда, девушка улыбнулась доверительно, не хуже Ирки в давно утраченные годы, — тогда вам остается ждать, когда она выпьет паленой водки... «Но я вам этого не говорила. Хотя, бывает, непьющие супруги сами угощают пьющих какими-нибудь такими-этакими напитками — ну, вы меня поняли».

Я ее понял, и меня обдало холодом. Случалось, не то из-за стыда, не то из-за страха (да этот страх и был стыдом) Ирка иной раз, напившись, ночевала где-нибудь в гостинице, и тогда я до утра не находил себе места уже не от ненависти и омерзения, а от тревоги за нее, и когда она на следующий день наконец прорезывалась по телефону, в первый миг у меня гора сваливалась с плеч — чтобы в следующий миг навалиться обратно. Но — после этого столкновения со стеной закона ощущение беспомощности перед нею обратило мою холодную решимость в огненную ненависть. И когда, держась за стену, мерзкое растрепанное существо провлачило к себе в спальню и рухнуло мимо кровати, я достал свою священную янтарную пластину и по какому-то наитию начал рассматривать ее на просвет через лупу. И ничуть не удивился, что черненькая мушка оказалась клещом.

После чего я сжег разоблаченную святыню на газовой плите железной рукой. Сначала молочный край закипел и начал ронять на белую эмаль черные слезы рядом с моими прозрачными (я не ее оплакивал, себя), а затем вспыхнул по краям таким стремительным белым пламенем, что мне пришлось разжать обожженные пальцы, и далее, испуская запах соснового костра, сворачивающийся в тоненькую черную нить, янтарь горел белым пламенем на темной конфорке, покуда не превратился в жирно поблескивающую съезжившуюся головешку. Рассыпавшуюся невесомым порошком, когда я попытался взять ее плоскогубцами. Я постарался вдохнуть как можно глубже, чтобы запомнить этот запах погребального костра, —

и так страшно закашлялся, что черная пудра разлетелась по всей кухне. А вместе с нею рассеялись остатки моей жалости и сомнений.

И пепел по ветру развеял...

На следующее утро моя бывшая любовь вышла из спальни с войлочным колтуном на виске, опухшая и пристыженная, и я пошел ва-банк крапленой картой.

Я был в юридической консультации, и мне сказали, что раз у нас нет несовершеннолетних детей, то нас обязаны развести. И если мы это сделаем по доброму согласию, то у нас останется хотя бы что-то неоплеванное, а если нет, будем разговаривать через адвоката.

— Не надо адвоката!.. — она вперила в меня умоляющий взгляд, но я помнил, что жалость меня погубит.

— Хорошо, значит завтра же подаем заявление, — куй железо, пока молот тверд.

— Как скажешь...

Я отвернулся, чтобы не видеть этого взгляда побитой собачонки из-под запухших век, и ушел к себе. Я слышал, как она мыла посуду (любая ее хозяйственная возня всегда приводила меня в умиление, но сейчас я неумолимо читал себе вслух статью о подводной акустике), а потом робко постучала ко мне: их бухгалтерия для какой-то отчетности требует предъявить мой паспорт и свидетельство о браке.

Я протянул свой паспорт холодно, как в поезде, и она, робко попрощавшись, медленно-медленно, чтобы не стукнуть, притворила за собою дверь.

Не выйдет взять меня на жалость, я знаю, чем мне придется платить за минуту слабости.

Но такой расплаты я все-таки не ждал.

Когда вечером я обнаружил ее в любимом кресле в любимой свесившейся позе с отвисшими губами и косо свалившейся на грудь головой, у меня сразу екнуло сердце. Паспорт!.. Брачное свидетельство!!.

— Алё, алё, где мой паспорт? — я тряс ее за плечо без всяких церемоний.

— Чи... Ччито?..

— Где мой паспорт, пьяная свинья? — я произнес это оскорбление с почти нежной проникновенностью.

— Ччево?.. Нне ппыннимыю...

Я вытряхнул на стол ее сумочку — загремели ключи, пудреницы, прочая вечно меня умилявшая мелюзга, — паспорта нету... Свидетельства тем более.

Я наклонился к ней и залепил ей продуманную пощечину, а затем принялся с наслаждением хлестать ее по прыщам: «Где мой паспорт, тварь, где паспорт, гадина, где паспорт, сволочь?..» Я хлестал ее не в яростном самозабвении, но в полным самообладании, не торопясь, со вкусом, покуда не заняла поясница от неудобной позы. Она не противилась, только приговаривала: «Ппырраввильна, ппырраввильна...», — и пыталась ловить и целовать то одну, то другую мою руку.

Я ушел к себе и лег на постель, не сняв даже тапок, стараясь не понимать, что происходит.

Робкий стук. Заглянула румяная как с мороза, даже прыщи слегка померкли. Язык уже заплетается поменьше, я ее немножко отрезвил.

— Мынне пыдаррили этыт кырвыязье. Кыньяк. Кыллега приехал из Фрынции.

Она пыталась улыбаться, словно ничего особенного не произошло, и лед моей ненависти вскипел коктейлем Молотова. Но заговорил я еще нежнее прежнего:

— Когда в следующий раз тебе подарят бутылку — с коньяком, с пивом, с квасом, с рассольником, ты ее возьми и расшиби этому гаду об башку. Они что, не знают, что алкоголикам нельзя дарить спиртное?

Ирка поспешно прикрыла дверь, забыв, где кончается ее голова, прихлопнула себе порыжевшую крашеную стрижку. Попыталась искательно рассмеяться, но я произнес по слогам, собрав все свои нерастраченные за последние годы запасы нежности:

— Ис. Чез. Ни.

Я старался не понимать, что тоже превратился в чудовище.

Закурлыкал телефон. Звонила ее подруга по странной работе Алка Волохонская. С Ириной пора что-то делать. Сегодня

ей нужно было забросить одному человечку порцию налички, немного, тысяч триста. И моя супруга заснула прямо головой на груди банковских пачек.

— Конечно, надо что-то делать. Только я не знаю что. О лечении, о подшивке она и слышать не хочет. Нужно сначала сделать мир моральным, а тогда уже у нее не будет причин пить. Кстати, хоть это и мелочь, какого черта ей все время дарят бухло?

— Да ты что, какое бухло, у нее уже и на корпоративах рюмку отнимают. Я даже, пардон, сама не понимаю, почему ее еще не уволили.

— Я тоже удивляюсь. Она и у меня сегодня паспорт потеряла.

— Как потеряла, он же у меня?..

— Как у тебя, откуда?..

— Так она же мне и отдала.

— И брачное свидетельство тоже?

— И брачное свидетельство тоже.

Чутьочку устыдившись, я отправился на кухню, откуда доносился грём кастрюль — в подпитии ее часто охватывает хозяйственный зуд. Правда, обычно не в столь сильном.

Воздух отсырел от грибного духа — покачиваясь над газовой плитой, она дула на ложку с грибным супом. На столе валялась сплюснутая сосиска в тесте — в подпитии, опять же, она любила закупать нищенские закуски нашей общей юности: готовые холодцы, винегреты, селедку под шубой, вареные колбасы... Теперь вот где-то откопала сосиску в тесте.

— Извини, пожалуйста, — как можно тише, чтобы не провалось отвращение, выговорил я. — Паспорт нашелся, он у Аллы Волохонской.

— Ккыкой пыспырт?.. — она была целиком погружена в грибной суп.

И я пожалел, что снова размяк.

Потом она нажралась окончательно, и даже через дверь было слышно, как ее каскадами выворачивало в сортире, — запирает дверь — к чему такие буржуазные условности!.. В теплой постели я леденел от ненависти. Леденел, леденел,

покуда не очутился на горячем солнечном берегу, и только от прибоя тянуло ледком. Но меня это нисколько не смущало, потому что на границе этого прибоя была зарыта янтарная комната: когда волна откатывалась, нужно было в сверкающей полосе, пока она не успела померкнуть, стремительно выкапывать фигурку за фигуркой. Собственно, это были шахматные фигурки из темно-медового янтаря, только разогретого до текучести сосновой смолы в жаркий день и закрученного в самые причудливые узлы. И эти узлы, чистенькие, как та же лесная смола, я один за другим подавал Ирке, которая каждый раз радостно вскрикивала: «Ах! Ах!». Притом все чаще: ах, ах, ахахахахахаха...

Кажется, я от удивления и проснулся. Это была даже не икота, а изумленные возгласы в себя. Но люди не изумляются так безостановочно, особенно такой глухой ночью, которая ощущалась даже в мертвом безмолвии за окном. Сонную очумелость с меня смыло как ведром ледяной воды. Я распахнул дверь в Иркину спальню и без церемоний включил свет. Из-под свалывшейся, закрывшей половину лица рыжей стрижки ввалившиеся щеки выглядели мертвой белизной, словно незагорелая кожа из-под плавок. Ирка безостановочно вскрикивала в себя, а потом ее чуть ли не на минуту стянула судорога, она перевесилась с кровати и долго вымученно мычала, но так ничего из себя и не выдавила, кроме новой волны пропитавшего комнату пронзительного запаха грибного супа.

— Что ты... пила? — хотел спросить я (паленая водка, пронеслось у меня в голове), но вместо этого по какому-то наитию выкрикнул: — Ела?!

— Поганки, — еле слышно простонала Ирка, когда спазм наконец отпустил ее. — Запаслась... на черный день.

* * *

Когда я вынырнул из последней волны грибного духа на собственную предутреннюю кухню, я снова уже не испытывал ничего, кроме ужаса и ошеломления, и не знаю, что бы со мною случилось, если бы моему бессильному стону откуда-то издали издали не откликнулся эхом мой полнозвучный

гость. Слов я не разобрал, но его едва слышный голос сумел вместо пустого отчаяния, пустого раскаяния, пустого раздражения моих же никому не нужных ран зарядить меня волей к искуплению. Я вновь ощутил уверенность, что сумею исполнить его уроки, ибо тот, над кем слово властно, и сам обладает властью над словом, а до встречи с Ирккой власть слова надо мною была огромна.

Боже праведный, вот же кого он мне напомнил, мой ночной гость — того ночного спутника! Так, может быть, Орфей уже являлся мне однажды, а я лишь по своей тупоголовости и легкомыслию пропустил мимо ушей его призыв, его намек?..

Орфей, ответь, это был ты или не ты?!

Но он ответил мне только перестуком колес из-под пола.

* * *

Опаздывая уже никто и не считал на сколько часов, поезд влачился по диким степям Казахстана. Снежная равнина за окном была настолько лишена хоть каких-нибудь маячков, что если бы не медлительные «тук-дук, тук-дук» под полом, то временами становилось бы непонятно, еще ползем мы или уже стоим. Ко всему прочему в вагоне — плацкартном, разумеется, купейные в ту пору пребывали для меня в каком-то нездешнем измерении — почему-то не зажигали лампы, и народ, давно махнувший на все рукою, даже не пытался узнать, почему нет света и когда зажгут: зажгут, сам увидишь. Доминошники в боковом отсеке держались дольше прочих, но когда у них кончилась вторая бутылка, они тоже заметили, что в мерцании снегов уже давно невозможно разобрать достоинства их костяшек, и наконец-то прекратили свое клацанье, — один лег лицом на неоконченную партию, другой, мотаясь, забрался на верхнюю полку, и оба погрузились каждый в свой мир тревог и битв, изредка вскидываясь и сдавленно вскрикивая в особо драматических эпизодах.

Поскольку в ту минуту я как раз перестал понимать, стоим мы или движемся, мне показалось, что новый сосед подсел к нам с мамой на ходу. Законное мерцание не позволяло разглядеть его лицо, но силуэт поразил меня своей нездешностью —

до этого я видел длинные волосы только на портрете Тургенева в нашем полуспортивном-полуактовом зале, ну а Маркса я вообще не считал за человека. А такой уверенной посадки головы я и вовсе никогда не видел ни у людей, ни у портретов.

При этом в нашем новом спутнике не было ни тени надменности, он был сама предупредительность, но уже по одному тому, что для него требовались никогда прежде не употреблявшиеся в моем мире слова вроде надменности вместо нахальства и предупредительности вместо культурности, то впоследствии я оценил его манеры как аристократические — слово в ту пору мне вовсе неведомое, но я и в свои двенадцать почувствовал, что каким-то подобным образом, должно быть, обращались друг с другом Атос и Арамис (д'Артаньян был слишком задирист, а Портос простоват).

— Надеюсь, я не помешаю? — кто бы стал такое спрашивать, держа в руках пусть и неразборчивый, но, тем не менее, полномостный билет в наше купе, однако ему и мама откликнулась каким-то особенным голосом, каким никогда не разговаривала со знакомыми:

— Что вы, что вы, нет, нисколько!

Теперь бы я назвал их интонации светскими, но и до этого слова мне предстояло расти еще лет десять.

Нет, это у мамы они были светские, а для нашего ночного гостя эта неестественность была естественной. Он, казалось, наполовину вообще говорил как будто сам с собой, размышлял вслух.

Я не берусь пересказать, о чем мы тогда проговорили половину ночи в мерцании бескрайних снегов, тем более что плоский буквальный смысл его слов только исказит их глубину. Наши с мамой слова бродили по обыденности, а он как будто приподнимал то половицу, то пластину асфальта, то кусок дерна, и там открывался бездонный колодец, и оброненные туда его камешки-реплики отзывались гулом бескрайних пространств, и мир из маленького и обыкновенного становился огромным и значительным.

В таком что ли духе?

— Едем, едем, а там — ничего, пустыня... — вздыхает силуэт мамы, словно бы отмахиваясь от мерцающего окна.

— Там вся таблица Менделеева, — как бы для самого себя отзывается гость. — Золото, серебро, уран, висмут, молибден, фосфаты... Не перечислить. Когда-нибудь всю эту Сары-Арки поднимут на дыбы до самого Тянь-Шаня.

После почтительного молчания я вворачиваю формулу фосфорного ангидрида — пэ два о пять, — и гость искренне радуется за меня:

— Вы же химию еще не проходите?

— Он свои уроки учить не хочет, а все вперед забежать норовит, — с гордостью жалуется мама, но гость одобряет меня без всякого взрослого покровительства, он и вообще говорит без малейшей примеси хоть какой-то игры:

— Вот и правильно. Если подстраиваться под самое медленное судно, далеко не уплывешь. А вашему сыну суждено большое плавание.

И в этих его словах не звучит ни нотки лести или даже любезности — он просто говорит, что думает.

Я замираю: я давно об этом подозревал! А мама смущена — как бы я не вздумал зазнаться, в нашей семье это самый страшный порок.

— Плавание-то плавание... Но он совсем не хочет знать слово «надо».

— Его всю жизнь будут учить делать то, что надо. Так пусть хоть сейчас учится делать то, что хочется.

В его голосе звучит искреннее сочувствие ко мне и — да, надежда, что меня ждет впереди что-то настолько прекрасное, что я этого пока что и вообразить не могу. И я тут же загораюсь этой надеждой. Вернее, наконец-то даю ей волю.

— Да всякий бы рад делать, что хочется, — покоряется и мама. — Только за это всегда потом платить приходится.

— Ну и что? Бывает так, что всю жизнь платишь, зато и всю жизнь собой гордишься.

Я никогда ни до, ни после не слышал, чтобы подобные слова произносили с такой простотой. И никогда больше не убеждался с такой очевидностью: разумеется же, это чистая правда.

— Бетховен тоже все время мне твердит: надо, надо... — продолжал размышлять наш невидимый спутник, уносясь в совсем уж недоступные выси. — А Моцарт просто дарит тебе крылья, и ты летишь. И потом всю жизнь помнишь эту минуту. А струсил, усомнишься — и она уже навсегда осталась позади, как Эвридика. И потом будешь всю жизнь умолять ее вернуться, но тебя даже слышать будет некому.

Книгу НА КУН, «Легенды и мифы Древней Греции» я перечитывал без конца, но все больше про войны, про Гектора, которого любил за звучное имя, и Ахилла, которого недолюбливал за хилое звучание, — Эвридика же лишь неявно блуждала где-то на краю моей Ойкумены. И только странный спутник открыл мне, сколь волшебным звучит это имя.

А разглядеть его самого мне так и не удалось: когда вспыхнул свет, сосед из бокового купе, спавший лицом на угловатой доминошной змее, грохнулся на пол, и мы все оцепенело взирали, как он со впечатавшейся в щеку траурной костяшкой ошалело собирает себя на четвереньки.

— Пить надо в меру, сказал Джавахарлал Неру! — торжественно возгласил придушенный бас в соседнем купе.

— Пить надо досыта, сказал Хрущев Никита, — бодро откликнулся суетливый тенорок, но бас тут же его осадил:

— То-то все у вас и пропито, добавил маршал Тито.

И свет погас снова, убив на время даже мерцание за окном.

— Как будто теплом в лицо пахнуло, — простодушно сказала мама в непроглядной тьме про исчезнувший свет.

— Закон Джоуля-Ленца, — поспешил вставить я, и невидимый спутник с удовольствием подтвердил:

— Правильно. Но англичанин Джоуль его открыл все-таки годом раньше нашего Ленца. Хотя начинал как пивовар.

Он все на свете знал.

— Джоуль ведь даже в акустике работал, — слово «акустика» прозвучало почти так же волшебным, как слово Эвридика — столь мечтательно он его произнес.

Чтобы завершить ошеломляющим:

— Ваш сын будет великим человеком: он умеет слушать.

— Это вы умеете говорить! — чтобы он меня не портил, растерянная мама чуть не замахала на него руками, уже проступившими в ожившем мерцании снежной равнины, но удивительный спутник спокойно и уверенно отверг эту суету:

— Умеет говорить только тот, кто умеет слушать.

С тем он и исчез из нашей жизни — возник из снегов и растворился в снегах.

Оставив мне четыре волшебных слова — большое плавание, акустика и Эвридика. И когда я разбивал себе морду сам или мне разбивали ее добрые люди, я всегда повторял про себя: большое плавание, большое плавание... И лучше всего, если бы меня вывела в великие люди акустика, а полюбила за мои подвиги Эвридика.

Однако же я жаждал услышать и неба содроганье, и гад морских подводный ход лишь до встречи с моей реальной Эвридикой, с Ирккой. А после мне из всего мироздания довольно было слышать ее.

Нет, чувствую, мне удалось передать колдовскую силу речей нашего спутника не лучше, чем эдисоновский фонограф передает магию Карузо: это тот самый случай, когда кое-что гораздо хуже, чем ничего. Но, может быть, искажение голоса рельефнее оттенит власть слова, которое было в начале моего обращения к мечте? Конец которой, сама того не подозревая, положила Ирка...

Если бы не Ирка, обладание которой никогда не позволяло мне ощутить себя окончательно несчастным, меня бы ужаснула одна только мысль после похорон мамы в последний раз прокатиться нашим с нею путем. Тем более что в этом заброшенном Богом крае все оставалось прежним, и даже свет в вагоне все так же отсутствовал, и влачащиеся за окном снега мерцали по-прежнему, и только прежним подпольным и медлительным ударам «тук-дук, тук-дук» распадающийся вагон отвечал мучительным дребезгом, да боковой отсек был свободен от доминошников — дорога тоже умирала. Свободен был и я: меня никто не видел, и я не препятствовал слезам катиться до самой пазухи. Это были слезы примирения: я знал, что

меня ждет Ирка, с которой ничего не страшно, и помнил, что сумел скрасить маме ее последние дни, и слезинка выкатилась из ее угасающего левого глаза лишь в первый миг, когда она меня увидела. А потом я все часы, покуда она не засыпала, сидел у ее кровати и смешил ее, так что смеялась вся палата, и женщины потом говорили, что никогда еще не видели таких преданных сыновей, и мама растроганно улыбалась до последней минуты, а я благодарил дар слова, явившийся мне на помощь в эти страшные часы и принесший с собою для мамы дар забвения.

И для мамы, и для меня. Он и в вагоне меня не покинул, так что в темноте рядом со мною сидел мамин призрак, и я совсем не обрадовался новому соседу, явившемуся из тьмы с полномостным билетом.

— Надеюсь, я не помешаю?

Я бы вздрогнул, если бы эти слова не были произнесены совершенно другим — сиплым, пропитым голосом.

— Что вы, что вы, нет, нисколько, — заторопился я, поспешно вытирая мокрые щеки о плечи.

Слабое мерцание не позволяло разглядеть опустившуюся напротив меня фигуру, и я запустил пробный шар — постучал по стеклу и произнес тоном завязтого пикейного жилета:

— Кажется, пустыня, а на самом деле вся таблица Менделеева. Золото, серебро, уран, висмут, молибден, фосфаты... Когда-нибудь всю эту Сары-Арки поднимут на дыбы до самого Тянь-Шаня.

— Да, — неохотно согласился мой не то новый, не то старый спутник. — Пока недра не выскребут, ничего развивать не будут. Не хотите выпить? У меня с собой есть.

— Пить надо в меру, сказал Джавахарлал Неру, — пустил я в ход тяжелую артиллерию, но мой визави и этого пароля не узнал.

— А я пью в меру, — оскорбленно просипел он, и меня бросило в жар: я ошибся, это не он, такую прибаутку он не мог забыть.

— Что вы, что вы, я совсем не про вас, просто лет сорок назад гуляла такая шутка, я думал, вы помните...

— Да кому они теперь нужны эти Джавахарлалы... Значит, не будете?

Он побулькал из горлышка и поставил силуэт бутылки на стол. Даже в темноте было заметно, как его передернуло. Но заговорил он, однако, с подобревшей хрипотцой: куда я еду, почему такой длинной дорогой? Я соврал, что хочу заехать к родне во Фрунзю, как произносила моя бабушка.

— Фрунзе... — мой визави словно бы с сомнением взвесил это слово на невидимой ладони. — Бывший Пишkek. Нынешний Бишкек. Это палка, которой взбивают масло. Посмотрим, какое масло они собьют. А оттуда, значит, в Ленинград? Или теперь уже Петербург? Какой в совке может быть Петербург, настоящие петербуржцы давно в Париже... Вернее, на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

Нет, это все-таки он.

— Хотя в Питере, наверно, и сейчас жить повеселее, чем в нашем ауле. У нас же теперь все государство один аул. Я живу в маленьком ауле, а они в большом, вот и вся разница. Я им не завидую: бывают такие минуты, что нужно решиться на поступок. Чтобы потом всю жизнь гордиться собой. Или локти кусать, что не решился. Ведь главное в жизни самоуважение, правильно? Когда живешь и знаешь, что ни перед кем никогда не стелился, не падал на четыре кости.

Я поспешно подтвердил, грустным вздохом постаравшись показать, что сам-то я на такую высоту духа не замахиваюсь, и он это уловил, заговорил не напористо и амбициозно, как это свойственно неудачникам-алкашам, но доверительно, словно бы рассуждая с самим собой.

Нет, это несомненно был он. Только как же он так пропил свой аристократический голос? Я сделал усилие, чтобы в его голосе расслышать одну лишь составляющую мужественного обаяния «а ля Высоцкий».

— Я никогда никому не завидовал — кто живет в столицах, устраивает карьеру... Стелится перед нужными людьми. А я в своем ауле сам себе хозяин. Дальше юрты не пошлют, меньше класса не дадут. Да и куда они без меня, где они еще найдут такого Леонардо, который бы им все уроки вел от химии до

географии. Хотя и меня иной раз брала тоска, не хочется готовиться, пусть лучше расстреляют. Поставлю учебник уголком перед собой и читаю с пропусками, чтоб успели вдуматься. А когда они начинают отвечать, читаю какой-нибудь толстый журнал под столом, чтоб от их ответов с ума не сойти. На журналы деньги выделяли. Заставляла советская власть комедии разыгрывать. Зато теперь ни комедий, ни химии. А учитель все равно был в большом почете. Зима, вьюга, страшно на улицу нос высунуть, а мои братья-кочевники выводят жеребца и гоняют, чтоб пот выгнать. А потом его ножом в сонную артерию. И меня всегда зовут на бешбармак, мне первому наливают арак в пиалу — обязательно по краям потечет за воротник. А хозяин с превеликим почтением вытрет собственным рукавом. И в этом будет столько искренности, что никакому министру, никакому академику за тысячу лет не выслужить. Ведь я мугалим, большой человек.

В его голосе снова прозвучала оскорбленная гордость, и мужественная хрипотца вновь обернулась пропитой сиплотью. Я, может быть, еще сумел бы это не расслышать, но тут как назло вспыхнул свет, с безжалостным цинизмом осветив изжеванную, испещренную лиловыми червячками физиономию старого алкаша. Свет подержался ровно столько, чтобы разглядеть еще и убожество поношенной, вероятно, списанной уходящими советскими частями полевой формы, на которую особенно нелепо ниспадали немые космы цвета давно нечищеного серебра. Или молибдена. Которого я, правда, никогда не видел.

Похоже, и он понял, что я все понял, ибо даже когда непроядная тьма понемногу вновь рассеялась мерцанием снегов, ни он, ни я долго не решались прервать молчание.

— А вы не помните мальчика с мамой, которому вы в такую же ночь, в таком же поезде когда-то предсказали великое будущее? — так и не решился спросить я, да и какая разница, помнит он это или не помнит. Брошенное семя дало всходы — я долго мечтал и даже время от времени ступал то на одно, то на другое великое поприще, куда любовь к Ирке не открыла мне глаза, что лучшее поприще это счастье, — счастье и заглу-

шило слово Орфея. Если это, конечно, был Орфей. О чем тогда ни я, ни тем более мама, разумеется, и помыслить не могли.

Я пожелал своему спутнику спокойной ночи и, не раздеваясь, отвернулся к стене. Я хотел только притвориться спящим, но представил Ирку и тут же, развежившись (наше-то счастье казалось бесконечным!), в самом деле заснул.

Проснулся я снова в темноте, но в купе уже никого не было. Мой спутник вновь каким-то чудом угадал свой полустанок и, как и в прошлый раз, растаял в снегах.

На этот раз уже навсегда.

* * *

Или все-таки не навсегда? Или все-таки нынешней ночью это именно он снова меня разыскал? Но зачем ему было во второй раз в поезде являться мне в образе ерепящегося неудачника, которого я долго вспоминал со смесью жалости и смущения? Не давал ли он этим понять, что я лучшего не заслуживаю, что служение делу, служение предназначению я променял на любовь к женщине, как мой ночной спутник променял его на гордую позу? А я еще годами жалел его с высоты своего счастья... Хотя надо было, может быть, жалеть себя, обменявшего поиск великого поприща на домашний уют?

Не зря же я никогда не рассказывал Ирке про ночного спутника, посулившего мне великую судьбу, — это я, и живший-то наполовину ради того, чтобы все пересказывать Ирке! А про ночного Орфея никогда даже не заикался. Чтоб Ирка не догадалась, что я каким-то хитроумным способом ее обманул: ведь влюбилась-то она в мечтателя и авантюриста, а получила преданного и счастливого супруга, не нуждавшегося ни в чем, кроме нее.

Ведь она должна была боготворить себя, чтобы довольствоваться паладином, не знающим ничего, выше ее самой... Но уж чего-чего, а самообожания в ней не было ни зернышка. Ни вообще трепета. Даже к смерти она относилась примерно как к пищеvarению: пока оно в порядке, незачем про него и помнить. А если расстроится, нужно лечить.

От смерти, конечно, не вылечишь, значит про нее и во все думать не надо — только выполнять как можно более

тщательно процедуры, придающие ей благопристойный вид. При всем кажущемся Иркиным легкомыслии она умела железной рукой отсекал ситуации, где она оказывалась беспомощной: умела поплакать, поотчаиваться — и переключиться на что-то осуществимое.

А вот я, склонный когда-то замахиваться на невозможное, — почему я никогда ни у кого — даже ужасом и тоской — не просил вернуть мне маму? Считал законным ее уделом послужить навозом нашему цветению и в положенный срок кануть в вечную ночь? Наверно, и не без того, но главное — в нашем с Ирккой счастливом гнездышке я мог прожить без кого и без чего угодно. И без великого поприща, и без отца, и без матери, и без детей, и без внуков — лишь бы они стояли на своих ногах. И даже теперь я был готов вернуть в чужие гнездышки даже не трех, а тридцать трех Эвридик, чтобы только Орфей вернул мне мою.

Я найду, найду для них нужные слова! Если уж моим словам случилось изменить человеческую судьбу, когда я не очень-то и старался.

* * *

Я прикрыл глаза и снова оказался в поезде.

После ночевки под распахнутыми, насыщенными огненной пылью небесами ресторанный скатерка казалась белоснежной. Пустые бутылки от хода поезда перезванивались нежнейшими курантами. В вермишели, курчавой, как борода греческого божества, запутались оранжевые стружки морковного салата.

За окном промелькнул ишак, озадаченно развесивший лысеющие черные уши, — и снова бесконечная спекшаяся глина, лишь кое-где оживленная ржавыми каменными болячками да сверкающими пятнами солончаков, от которых звездными лучами уносятся вдаль серебриющиеся траектории каких-то неведомых не то ручьев, не то болидов. Но стоит появиться ложке воды да согбенной фигуре в цветастом халате с кетменем величиною в грелку, — и скоксовавшаяся преисподняя обратится в сад. Немыслимо...

Распаренная буфетчица, перехватив мой взгляд, вынула изо рта коричневый леденец, обсосанный ею до заостренности ампулы с йодом, и подивилась как бы сама с собой:

— А нацмены на такой же чего-то растут...

И продолжала укладывать сосиски, сросшиеся гроздьями, как бананы.

А за такыром — рукой подать! — вставали прихваченные кое-где на живую нитку колючками такие же скоксовавшиеся горы. Хребты их оскаливались камнем, словно спины допотопных ящеров. От их ковриг осыпи отхватывали исполинские ломти, обнажая розовое, фиолетовое горное мясо. Начинаешь понимать, до чего они громадные, только когда видишь на откосе миниатюрный двухэтажный дом, который какой-то Левша сумел приладить двумя пальчиками, ухитрившись не раздавить.

Горные лбы изрыты чудовищными оврагами, на склонах которых мог бы свободно разместиться целый город. А еще подальше вода, проливаясь с небес три раза в году, успевает так навывмывать целую толпу многослойных индийских пагод, увеличив их раз в десять-двадцать. Захватывает дух, как они возносятся ввысь — пагода за пагодой...

На изъязвленной вершине помаячила высоковольтная паутина — невольно представилось, каково было ее там ставить на этом раскаленном камне...

Теперь я знал, что это такое — бесконечные муки жажды и лопающиеся виски. Знал и выдержал. И набил полный рюкзак спрессованных прекрасностей. И через каких-нибудь пару недель сложу их к ногам моей возлюбленной. А без этого я даже не вполне понимал, зачем мне на что-то смотреть, чем-то восхищаться, что-то запоминать, если хоть когда-нибудь не смогу рассыпать свои сокровища перед моей Ирккой.

А покуда от избытка счастья я дарил как бы заинтересованные взгляды юной замухрышке, одиноко стывшей перед нарзанной бутылкой (пусть и замухрышкам кажется, что они кому-то нужны), и подливал портвейна новому знакомцу, позволившему называть себя Жекой, хотя представился он очень солидно:

— Евгений. Хотя и не Онегин. Но оно и к лучшему — Ленского не убивал.

И торжествуяще рассмеялся:

— А ты думал, все тут серые, как валенок? Я же сам коренной ленинградец! А ты в Ленинграде на кого учишься? Ну, что, сказать тебе, в какой четверти синус возрастает? Я же все знаю, а тут поговорить не с кем, никакой культуры нет — только и знают: бифштекс рубленый и бифштекс натуральный. Что у вас еще на второе? — внезапно повернулся он к буфетнице.

— Бифштекс рубленый.

— Видишь?.. — Жека захохотал с горьким торжеством. — А Ленинград — да-а... Город-памятник... Через каждые сто метров кафе, все есть, люди все такие вежливые... Хотя сейчас тоже понаехал весь Скобаристан, в кафе рукавом утираются...

Жека с отвращением вытер подмышку салфеткой и сунул съезжившийся комочек под тарелку с треугольным хлебом (тарелка уже заметно накренилась).

От бисеринок пота Жека был весь пупырчатый, как огурец, но красной физиономией, обрамленной простодушными белобрысыми кудряшками, напоминал бы деда-мороза, если бы не внезапно породистый горбатый нос.

— Им меня не сломать, понял-нет? Думают, если расконвоировали, я им буду жопу лизать? Какой-нибудь Ванек с пятью классами мне будет указывать? Я скобарей учил и учить буду! Я не посмотрю, партийный ты, беспартийный, с погонирами, с херонами, а будешь наглеть — получишь промеж глаз!

Жека за свой гордый нрав и попал в эти края.

— Да-а, раньше были мужики... Володя Маяковский... Написал: в столе лежат две тыщи, пусть фининспектор взыщет, а я себе спокойненько умру — и лег виском на дуло. Видишь, я же все знаю, а с кем мне тут разговаривать, с тобой с первым культурно разговариваю. Я говорю — ты понимаешь, ты говоришь — я понимаю. Не понимаю — ставлю тебе мой контроллинг. Да, Володя... А еще был Серега Есенин — читал? А здесь спроси кого хочешь — ни одна сволочь не читала!

Я бросил на юную замухрышку невольный испытующий взгляд и в который раз поймал ее на том, что и она на меня

поглядывает. Но я-то дарил ей взгляды от щедрот своих, а она, конечно же, по заслугам моим — если она и сама тут явно белая ворона, на кого ей еще смотреть, как не на меня — совсем уж нездешнюю птицу.

— Серега был, как я, хулиган... Написал кровью: но и жить, конечно, не новей — и повесился в «Астории»... А здесь про это ни одна сука не знает! Сейчас кого уважают? У кого капуста в кармане. Не веришь? Ты по книжкам судишь, а сейчас только один писатель жизнь знает — Вася Шукшин. И Володька Высоцкий. Ну, Володька сам сидел, Володька понимает... Ты не слышал? Высоцкий и Шукшин в детстве жили в одном доме — крутой такой барак... Его потом специально не стали сносить. Прораб доложил, что снесли, а сами кругом обстроили пятиэтажками, чтоб с улицы было не видно... А теперь что — все только за бабками. Видишь, мужик пѣхает, думаешь, за чем — за бабками! Доску тащит... Тебе-то начхать, а я знаю, что он ее где-то упер! Вон узик гонит... Тоже за бабками. Вон, вон, смотри!

Я посмотрел в окно и увидел самый настоящий мираж: на горизонте разливалось мелководье, в нем отражались телеграфные столбы, стоящие по колено в воде, и белое крыло чайки трепыхалось над водным зеркалом, будто газетный лист на ветру. Но поезд приближался, приближался, и из-под воды снова проступала запекающаяся глина, а мелководье вновь отступало к горизонту, и уже новые столбы стояли по колено в воде, и косо взмахивало новое крыло чайки...

Будет что рассказать Ирке!

— У нас с тобой интеллект, — тем временем долбил Жека, — а кому тут оно надо?.. Видал — официант. Постарому лакей. Будка — с похмелья не обдрищешь. А девки не возле нас — возле него трутся. Потому что у него башли в кармане, а у тебя крошки в бороде.

Я поспешно отряхнул бороду и как бы по другому поводу оглянулся на мордастого официанта, который и до этого вызывал у меня неясное беспокойство. Ибо, по моим представлениям, именно я с моей выгоревшей рубахой, хемингуэевской бородой и бронзовой шеей должен был вызывать интерес

женского персонала, однако под безразличными взглядами официанток, явно лгнувших к этому лакею, я начинал ощущать весь свой мужественный набор чем-то глубоко несолидным. На меня поглядывала только одинокая замухрышка, а они обращались с этим господином Чего Изволите так, словно он был лихим рубакой. И, еще раз взглядевшись, как он сидит, ухарски развалиясь, я ощутил смутную тревогу: а, может, я и правда чего-то недопонимаю, что здесь почему в мире взрослых людей?..

— Мы с тобой проблемы обсуждаем, — яростно промокал подмышки Жека, — а он нас сейчас подойдет и острижет. И правильно — раз мы бараны! А если бы мы этих жучил били промеж глаз, они бы не нагтели! Только мало таких, как я, — кто за справедливость. Вот ты можешь какому-нибудь жучиле всадить промеж глаз? — Жека внезапно выкатил глаза, белые под белыми бровями на красном лице, будто на фотонегативе.

— Да они меня как-то не очень волнуют... — пробормотал я, и это оказалось роковой ошибкой.

— Ах, тебя не волнует! Чистенькие ручки боишься запачкать? Сильно культурный?! Картошку картофелем называешь?! Или, может, ты сам жучила?! Что, не нравится? А я всем правду говорю! Ты что, думаешь, за два пузыря портвяги всю жизнь мою купил?!.

— Ничего я не думаю, чего ты на меня-то накинулся?

— А того накинулся, что ты барыг защищаешь!

И вдруг скривился презрительно:

— Я думал, ты ленинградец... Ну-ка, скажи, где Друскеникский переулочек? А где Кирочная? А Соловьевский гастроном? А Комаровский мост?

— Я же не автобусный кондуктор...

— А я, значит, автобусный?!.

Поезд замедлял ход.

Внезапно Жека через стол ухватил меня за грудки. Я оторвал его руки и прижал их к столу. Он рванулся из-за стола, сметая бутылки; я услышал визг буфетчицы, но не понял, что это такое.

В проходе Жека сделал еще одну безуспешную попытку вырваться и вдруг — как поклонился — вlepил мне лбом по

зубам. Я запоздало отпихнул его, и он, прокатнувшись на пустой бутылке, шлепнулся на четвереньки, тщетно попытавшись удержаться за свисающую замухрышкину скатерть, но лишь стащил ее на пол вместе с нарзаном. Однако, не теряя ни мгновения, он тут же взбесившимся мотоциклом ринулся на меня, — я едва успел засветить в его плававшую фару. Жека загремел стульями, угодив рукой в курчавую бороду вермишели.

Наступила передышка. Жека с криком «Жучилы жучил охраняют!» бился в объятиях лихого лакея, из левой ноздри его породистого носа бежала алая ленточка. «Вот почему у него такой нос», — мелькнуло у меня в голове.

— Этот первый задирался, носастик белобрысый! — оглушительно вопила буфетчица. — Верочка, зови милицию со станции!

— Не надо милицию, ему срок добавят, дураку! — перекрикивал я. — Это его станция, ссадите его, я за все заплачу!

— Ты за них заступаешься, а они за тебя! — бесновался Жека, но мордатый официант слово «заплачу» расслышал безошибочно. Он поволок Жеку к выходу, но тот напоследок ухитрился-таки пребольно достать меня ногой по голени. Однако я сумел не дрогнуть ни единым мускулом.

Я дернулся было собирать битую посуду, но, встретившись с исполненными ужаса глазами словно бы подернувшейся пеплом замухрышки, сообразил, что моей хемингуэевской бороде это не к лицу, и принялся рассовывать по беленьким передникам официанток синенькие пятерочки. Уборочный механизм завертелся, а я почел за лучшее удалиться в тамбур, противоположный тому, из которого был высажен мой собутыльник.

Поезд тронулся, и я, растирая отбитый кулак, осторожно приблизился к пыльному окну. Растерзанный Жека, отплывая назад на мазутной щебенке, промокал ноздрю салфеткой — когда только успел ее прихватить... Одичавшим взглядом он озирал уходящие вагоны, и я на всякий случай отодвинулся от стекла. Жека достал из штанов еще две салфетки и вытер подмышки, пустив комочки по ветру не глядя. Заправил рубашку и побрел к щитовым домикам, среди которых уныло серел единственный шлакоблочный барак с вывесками «Милиция»

и «Столовая» — вероятно, та самая, с бифштексом рубленным и бифштексом натуральным.

В полуметре от него прогрохотал самосвал — Жека даже не глянул. Пыль от самосвала ступенями возносилась все выше и выше, а Жека становился все меньше и меньше, и у меня многие годы сжималось сердце, когда вдруг из тьмы всплывала понурая фигурка, покорно бредущая вдоль шлакоблочного барака с вывеской «Столовая» и «Милиция», одиноко сереющего среди кучки сборных домиков, таких маленьких под десятиверстной пыльной кометой...

Иногда я с вымученной улыбкой, давая понять, что отдаю отчет в нелепости своего поведения, обращался к Ирке за помощью: «Ну что я сделал не так?.. Что, надо было после губы подставить еще и глаз?.. Или надо было поддакивать всей его дури?», — но Ирка, если видела, что дело уже сделано и поправить ничего нельзя, всегда выгораживала меня до абсолютной безупречности: все я сделал совершенно правильно, и хватит себя травить, Жека мой небось уже сто раз забыл, как какому-то студенту расквасил губу, а тот ему нос, для него это дело привычное.

Скорее всего, так оно и было. Но в ту далекую минуту он был до того бесконечно мал и одинок, что от жалости у меня даже перестали вздрагивать пальцы, и я почувствовал, что могу вернуться в ресторан, не роняя достоинства.

Удалому официанту я пожаловал розовый чирик с отвернувшимся от нас Лениным (в кармане хабэшных джинсов для Ирки у меня были заколоты английской булавкой еще три сотенные бумажки) и уже по-свойски, словно к товарищу по испытанию, подсел к замухрышке, оставшейся еще и без нарзана. Перед ней тоже лежала новая скатерть, и сама она уже вернулась к телесному цвету, тронутому общей воспаленностью от пустынного жара.

— Испугались? — сочувственно спросил я и заказал сразу целую бутылку советского шампанского, и Ирка одобрительно покивала мне за то, что я не оставил бедную девушку без внимания: на наших вечеринках она непременно указывала мне потихоньку то на одну, то на другую гостью:

«Потанцуй с Верой, Леной, Томой, а то их никто не приглашает».

А тут я вдруг сам оказал такую чуткость по отношению к обиженному природой созданию.

— У вас губа распухла, — пролепетало создание, и я, будто вишню, пососал посторонний бесчувственный желвак во рту и еще раз под столом помассировал костяшки.

В награду за мою щедрость подавал мне сам владыка гарема, каждый раз по-новому обругивая бедного Жеку, и я каждый раз по-новому за него вступался, похоже, именно этим великодушием и тронув мою невидненькую собутыльницу. Она ехала в Москву **поступать** и захмелела удивительно скоро (правда, и шампанское здешнее отдавало бражкой). На пустыню спустилась тьма, а я, машинально посасывая уже сделавшуюся привычной вишенку, все дарил и дарил своей случайной спутнице ту сказку, которая должна была ей запомниться на всю жизнь, а она все не смела и не смела ей поверить. Я из женщин-мальчиков, осторожно промокая салфеткой редкие слезинки, горько сетовала она на судьбу, ими все умиляются, но никто не влюбляется, а я оскорбленно протестовал: да я глаз от тебя не мог оторвать, как только ты вошла, ты была такая загадочная и одинокая, такая нежная и удивительная...

А Ирка, одобрительно улыбаясь, все подбадривала меня и подбадривала: «Давай еще! Да поконкретнее!»

Мне тоже хотелось отыскать комплимент поконкретнее, но все у этой бедняжки было не рыба не мясо — глазки не большие и не маленькие, носик не востренький и не кругленький, волосики не густые и не жидкие, не темные и не светлые... Что-то в ней было от деревенского пастушка, но ведь это ее и терзало — сходство с мальчиком... И я решил обойтись без низких подробностей: ты просто царица Савская в изгнании! Ты увидишь — через десять лет Москва будет у твоих ног! Ты только должна не забывать, что ты царица! Никогда не забегай первой, ни к кому не выказывай интереса — только отвечай. И только тихо, пусть напрягаются, чтобы услышать — не должен царский голос на воздухе теряться по-пустому. И никогда не сутулься, голову носи высоко, не иди, а выступай.

Пусть все чувствуют, что у где-то у тебя за спиной лежит твое собственное царство! Да, плебеев это будет злить, они будут сплетничать: чего, мол, она из себя строит, но ты иди своим путем и помни, что это лакеи сплетничают о властителях, а не наоборот, — и в толпе простолюдинов рано или поздно отыщется рыцарь, который так же мечтал о принцессе, как юные девушки мечтают о принце — поверь, ни одна царица в изгнании не остается без своего паладина, только нужно ждать, не размениваться на мелкие подачки судьбы — нужно ждать рыцаря, и рыцарь придет!

Я даже тонко давал понять, что я отчасти и есть тот самый рыцарь (Ирка с сомнением, но проглотила), однако сейчас меня влекут иные подвиги, и это оказалось очень стильным финальным аккордом — сойти в непроглядную жаркую тьму на неведомом полустанке, откуда я рассчитывал добраться до Великого шелкового пути, сделать вдоль него хотя бы один верблюжий шаг (посвятив его, разумеется, Ирке).

— Через десять лет Москва будет у твоих ног! — крикнул я ей вслед, не смущаясь удалого лакея, заслонявшего ее в ослепительном тамбуре, и она унесла эту сказку в далекую чужую Москву, а мы с Иркой остались вдвоем в духовке ночной пустыни.

И эти десять лет прошли. И к ним прибавились новые десять. И портреты Хемингуэя смыло глянец всех разновидностей услужения, и в конце концов даже мой дар располагать людей к откровенности оказался востребованным. Редактор институтской стенгазеты, обратившийся в издателя, решил тиснуть книгу великого финансиста-реформатора, ставшего каменной стеной на пути бюджетного дефицита, замкнувши слух для плачей о вдовах, сиротах, пенсионерах и прочих паразитах и дармоедах.

Этот Великий Финансист представлял Россию то в ООН, то в МВФ, то в КВН, но по-настоящему он прославился в борениях с красной от негодования Думой — или еще Верховным Советом? — за секвестр бюджета, который его противники называли обрезанием, намекая на еврейско-ритуальное про-

исхождение борьбы с долгами. Однако Несгибаемый Монетарист с этого конца был совершенно неуязвим: мой издатель-стенгазетчик, подобно многим евреям компенсировавший частичное поражение в правах язвительным всезнайством, посмеиваясь, рассказывал, что будущий Финансист Года, Века и Тысячелетия из рабоче-крестьянского подвала приклепал в Москву в лаптях и **поступал, рос и защищался** без самой хилой **руки**. И если бы не революция, так и просидел бы не то в завлабах, не то в заводделах.

Но он и теперь вряд ли долго усидит в верхах — рожденный летать стелиться не может, он наверняка скоро вылетит отовсюду, надо ковать книжку, пока он еще интересен Западу, тамошние наивные спецы видят в нем чуть ли не кандидата в президенты, а он на свою голову всерьез помышляет о величии России...

— А он же знает до хера и больше, — инструктировал меня б/у редактор стенгазеты, — но сразу начинает плющить таблицами, графиками... Ты его должен разговорить насчет личной жизни.

Мне было и самому интересно взглянуть на Великого Финансиста, когда он приехал в Петербург совершить паломничество по местам боевой славы своего кумира Столыпина. А получится ли разговорить — я не умею этого делать специально. Если человек пробуждает во мне желание его воспеть, он начинает и сам идти навстречу песне. Ибо всякий человек, хоть сколько-нибудь возвысившийся над животным, в глубине души больше всего на свете тайно мечтает быть воспетым.

Великий Финансист настолько походил на мальчика-толстячка, что лишь вблизи было заметно, какой он огромный. В нежной английской дубленке ему было жарко среди раскисшей петербургской зимы, и он шагал нараспашку, держа в руке нездешнюю замшевую ушанку, сам казавшийся на шоссе обочине какой-то заморской птицей в голубом ореоле трудовых выхлопов замызганных ревуших трейлеров. К анонимному обелиску кто-то из предыдущих почитателей прислонил посылочную фанерку, на которой забытым химическим карандашом было намусолено: «Здесь находилась

дача великого государственного деятеля-реформатора Петра Аркадьевича Столыпина».

На крупном детском лице его наследника проступило страдальческое недоумение: «Ведь великий человек был... Неужели трудно по-человечески сделать?..» И пока мы, балансируя между Сциллой водосточной канавы и Харибдой автомобильных брызг, чавкали по раскисшему снегу, Финансист, перекрикивая рев проносящихся над ухом грузовиков, рассказывал, как он обустроит для начала хотя бы Московскую область. Он намеревался сделать из нее Новую Англию, но на меня произвели более сильное впечатление его гарун-альрашидские замашки: разъезжать по области в замызганных «Жигулях» при затрапезном водиле, а когда гаишники начнут вымогать бакшиш, восстать с заднего сиденья во всей славе своей, под телекамеру сорвать погоны...

На прощание я спросил его, в чем он видит свои главные государственные заслуги. Он ответил коротко: «Не прогибался». И отбыл на скоростном Эр-двести обустраивать Московскую область. Мы же не австрийцы, на прощание поделился он сокровенным, мы не можем так вот взять и засесть в красивых кафе...

Однако, покуда мне на неторопливой дешевой «Юности» удалось добраться до стольного града Московской области, она уже успела отказать в доверии моему будущему соавтору: его рейтинг составил 0.003%. В возмещение, правда, он был приглашен в правление какого-то нефтегазового концерна, дабы своей негибкостью компенсировать чью-то излишнюю гибкость. Он возник из нефтегазовой мраморной утробы все в той же нежной дубленке нараспашку и с тою же самой замшевой ушанкой, которую при мне так ни разу и не надел. На его большое детское личико легла тень неудачи, но в своем оскаленном джипе об ослепительном будущем России он рассуждал более чем оптимистично. Его западных друзей пугали разговоры об особом русском пути, и я советовал ему почаще повторять, что особый путь — это путь к достойной капитуляции.

Он казался тугодумом, но все подсекал на лету, и мы добрались до его загородной резиденции, почти не заметив дро-

жащие огни печальных деревень рано темнеющего ненастного Подмосковья.

Яркий свет вернул меня к реальности, тут же обернувшейся ирреальностью: передо мной сиял двухэтажный дом английского эсквайра — белые колонны, плющ... Обширный двор, обнесенный краснокирпичной стеной, был вымощен керамиковой плиткой, вроде той, какой в хрущевках когда-то мостили ванны. Но наверняка тоже чисто английской. И, похоже, подогретой, судя по тому, что на них не белело ни единой снежинки, хотя в черных полях охапки снега были разбросаны в неопрятном изобилии.

В просторном холле нас встретила худенькая женщина в немарком свитере до колен (в неге и в холле, вдруг стукнуло мне в голову) и — ни здравствуйте, ни до свидания — почти не разжимая губ, обращаясь к одному лишь Финансисту, проговорила что-то едва слышное, вроде «Тыпыкаты?»

— Я... — растерялся великий человек, — я ему сейчас скажу...

— Тыпытыкаты, — она не принимала извинений.

И огромный мальчуган в развевающейся английской дубленке ринулся в свой английский двор и тяжело затоптал по английской плитке вслед за выезжавшим в неудобное Подмосковье оскаленным джипом, страстно взывая: «Слава, слава!»

Слава женщине моей...

Что-то взволновано растолковав водителю (зеркальное дверное стекло обладало идеальной звукоизоляцией), он вернулся в дом, сияя от радости: я ему все объяснил, он съездит, привезет...

— Тыпытыкаты...

По-прежнему не замечая меня, она исчезла. Вынудив Несгибаемого Финансиста развернуть удвоенную гостеприимную хлопотливость. Самолично совлекши с меня мой китайский пуховик беззащитного цвета и пресекши мои попытки переобуться в домашнее, он повел меня на второй этаж в свой кабинет. По галерее, обрамлявшей холл, мы прошли в просторный кабинет, где за викторианским столом спиною к нам сидел у компьютера шуплый подросток. По экрану среди

страшных черных развалин метались какие-то фигурки, обмениваясь друг с другом тархтящими трассирующими очередями.

— Мой сын, — с застенчивой нежностью словно бы в чем-то признался великий реформатор.

— Кирюша, — обратился он к щуплой спине, — нам здесь надо поработать.

Спина не отозвалась ни движением, ни звуком.

Убедившись, что ни движения, ни звука так и не воспоследует, Реформатор смущенно объяснил:

— Он приехал из Англии, на каникулы. Пойдемте в бильярдную, нам, собственно, компьютер сейчас и не нужен.

Он разложил свои таблицы и графики на зеленом сукне бильярда, самолично заварил и принес английский чай в стеклянном цилиндре, только предложить мне поесть не догадался. Впрочем, сытое брюхо к ученью глухо, а мне нужно было освоить много нового материала: Великий Финансист в своих воззрениях на человечество явно переоценивал роль таблиц и графиков.

Разговорить его о личной жизни мне не удалось — слишком уж выразительной она предстала мне воочию.

Когда мы расставались, за окнами царила непроглядная тьма, — только плиточный двор сиял как наважденье неземное.

Как истинный государственный Реформатор естественно забыл, что народ надо кормить, но когда в холле появилась худенькая женщина в длинном свитере, мой желудок отозвался безумной надеждой получить хотя бы сухую корочку. Однако разум оказался прав: она на меня даже не взглянула.

— Вытыкытыкутэкэ? — не разжимая губ, спросила она, и Несгибаемый Финансист испуганно захлопотал, захлопал себя по карманам, а потом тяжело затопал вверх по лестнице.

Мы остались вдвоем. Постояли, помолчали. Я твердо решил не заговаривать первым и даже не смотреть на нее. Но, подобно Хоме Бруту, не вытерпел и глянул. К удивлению своему, поймав на себе ее тут же похолодевший и удалившийся прочь изучающий взгляд.

И это мне что-то странным образом напомнило...

Неужели я где-то ее видел?

Прикрыв как бы от света как бы усталые глаза, я бегло, но внимательно посмотрел на нее сквозь пальцы. Пища для воспоминаний была небогатая: глазки не большие и не маленькие, носик не востренький и не кругленький, волосики не густые и не жидкие, не темные и не светлые... Что-то в ней было от увядающего деревенского пастушка, но... Но...

Но не может ведь быть, чтобы это оказалась царица Савская?!

И, тем не менее, это была она.

Похоже, ей тоже что-то пыталось припомниться, однако приглядываться ко мне она почла ниже царственного достоинства. Так мы и промолчали, покуда по лестнице вниз не топотал сияющий наследник Столыпина. Только что не припав на колени, паладин радостно протянул повелительнице какую-то красивую бумажку, в чем-то оправдываясь по поводу какой-то ночной премьеры.

Даже не кивнув, в том же длинном сером свитере, ничего более на себя не накинув, маленькая хозяйка большого дома направилась к выходу. Морганатический супруг поспешил преобразиться в привратника, но не был удостоен даже чаевых.

Снег не смел коснуться царственной особы. Дверь в оскаленный — вечно эти катафалки мне хочется назвать кроссинговерами — распахнулась сама собой.

— Моя жена вас подбросит, — жалобно улыбнулся огромный толстый мальчик и сам помог мне натянуть немножко уже лезущий китайский пуховик.

Пуховик оказался весьма кстати — моя спутница была окружена крещенским холодом. Но что было хорошо — ее холод убил мой голод. Через тонированное стекло я пытался послать унылому Подмоскovie укоризненный вопрос, отчего оно не пожелало обратиться в Новую Англию, но черным полям и силуэтам роц было до меня не больше дела, чем моей безмолвной спутнице. Однако забрезжившее зарево мегаполиса пробудило во мне замороженную любознательность. Мне хотелось дознаться, а вдруг полного мальчика из народа превратили в несгибаемого финансиста тоже какие-то пустые слова случайного попутчика (откуда мне тогда было знать, что

в обличье случайного спутника может явиться сам Орфей), но начинать следовало издалека.

— Ваш муж очень неординарный человек, — как бы не сдержав восхищения, обратился я к неподвижному силуэту моей соседки. — Вы ведь с ним с юности знакомы — он всегда таким был?

— Да, он всегда хотел быть начальником, — презрительно ответила она.

Она разговаривала в точном соответствии с моей инструкцией: мне пришлось напрячься, чтобы ее расслышать. И долго собирать силы и подбирать слова, чтобы еще раз обратиться к ней (мы уже мчались среди одноразовых вавилонских башен огненной новорусской Москвы).

— Мне кажется, я вас где-то видел. В вагоне-ресторане. Вы ехали в Москву поступать в институт...

— Не могу же я помнить всякую шушеру, с которой оказалась в вагоне-ресторане, — я заранее расслышал ее ответ и порадовался, что не задал ей свой вопрос.

Может быть, лучше так?

— Вы не помните молодого человека с хемингуэвской бородой, который угощал вас шампанским в вагоне-ресторане?

— Тогда все косили под Хемингуэя.

А если сказать: «который внушил вам, что вы царица Савская»? Но в итоге я решил произнести лишь одно:

— Остановите, пожалуйста, поближе к метро.

И она умчалась прочь, держа голову именно так, как я ее учил.

А мне перед поездом все-таки нужно было перекусить, хотя аппетит у меня полностью отшибло. Можно, конечно, было чего-нибудь перехватить в вокзальном буфете, но что-то очень уж захотелось посидеть там, где чисто, светло...

Ведь Ирку я увижу только завтра, а без нее мне всюду не хватало света и тепла.

В кафе было не только светло и чисто, но еще и пусто, лишь у входа разговаривали целых два охранника, оба в незнакомой черной форме с многочисленными нашивками, наводя-

щими на мысль об оккупации (Ирку постоянно преследовал этот бред). Один, похоже, давал другому какие-то последние наставления. Невысокий, с крупной обритой головой он напоминал Муссолини, а второй... Иссохший, с фанатически втянутыми щеками, вообще сведенными на нет узенькой полуседой бороденкой (навверняка из бывших, вроде меня) он был похож на кого-то еще более странного...

Батюшки, это был Дзержинский Феликс Эдмундович!

Муссолини наставлял Дзержинского строго, но покровительственно:

— Я вас оставляю за себя.

Дзержинский отвечал шутливо, но почтительно:

— С диктаторскими полномочиями?

— Без полномочий, — в делах службы шутки были неуместны. — Но если что, сразу бей промеж глаз.

Я обомлел: после царицы Савской встретить еще и Жеку... Я даже встал, чтобы подобраться к нему поближе, но тут из кухонно-административных глубин появился истинный хозяин — мордатый, величественный, при бабочке, — и мое взывавшее воображение немедленно опознало в нем удалого лакея, чтоб собрать вместе всех участников разом.

Однако это ему не удалось. Это был другой лакей.

Но тоже строгий.

— Ты куда намылился? — без церемоний обратился он к Жеке, и я замер, ожидая, что сейчас последует знаменитый удар промеж глаз.

Однако годы и жучилы сломили этот гордый дух. Так официанты же, забубнил Жека, но барственный лакей отмел эти увертки:

— Ты что, не знаешь? Если нет официантов, должен ты подавать!

Когда Жека разворачивал передо мною отполированное до блеска, словно бы вырезанное из казачьего седла кожаное меню, я опустил глаза на глаженую клетчатую скатерть, чтобы он меня не узнал. Однако не вытерпел и глянул.

Разумеется, это был не Жека. Хотя если бы кто-то в свое время догадался обрить его белобрысые кудряшки да

хорошенько откормить, да обрядить в черную рубашку, он бы тоже начал смахивать на покойного дуче.

Цены были проставлены в у.е. Я только глянул на них, и вечер встреч был окончен — я принялся снимать со стоячей вешалки свой пуховик, уже начинающий становиться белым и пушистым: прежде чем изображать хозяина жизни, надо сначала хотя бы получить аванс.

Ох и влетело бы мне от Ирки: она не выносила, когда я сэкономил на еде — на своей, разумеется: чуяла, я как-то себя наказываю за то, что акустика не вписалась в рынок. Исключая, разумеется, подслушивающие устройства.

Но о своем посещении английского дома российского реформатора я не мог не рассказать.

Ирка вскипела как шампанское:

— Ты должен был плюнуть им в лицо и уйти! Да, пешком по полям. Подбросил бы кто-нибудь. Да, хоть и на телеге. Пусть бы почувствовали... Нет, с этого недоумка взятки гладки, но чтобы ЖЕНЩИНА не предложила гостю поесть!..

Ирка произнесла это так, словно речь шла о святотатстве.

— Ничего, я поеду в Москву, очень хорошо оденусь, пойду туда, где она бывает, и оболую ее вишневым киселем. Жалко, что ты такой интеллигентный, надо было дать ей сто рублей и попросить продать половинку батона. По монопольной цене, чтобы она почувствовала, кто она такая. В общем, с тобой все ясно: твоей ноги там больше не будет. Пусть знают, что не все покупается за деньги.

Но когда я в дышащем на ладан либеральном листке прочел занудно-пламенный некролог о безвременном уходе нестигаемого реформатора, из Иркиных глаз одна за другой покатались слезинки:

— Так бедняжка и прожил, не зная любви. Он, наверно, был сирота, не знал, как по-настоящему любят женщины. Да еще и считал, наверно, свою мымру свехутонченной, он же, ты говоришь, из простых... Что же она теперь одна будет делать, кому она теперь нужна?.. Слушай, позвони ей, вырази сочувствие. Пусть знает, что на свете есть благородные люди. Если разобраться, она тоже несчастный человек, это ведь

ужасно — жить с человеком, которого презираешь... Если бы ты тогда ее взял в Ленинград, она бы, может быть, так не ожесточилась...

— И Жеку надо было взять на поруки. Он бы нам показал, где Соловьевский гастроном.

Шутки шутками, но если бы тогда в поезде со мною и впрямь была Ирка, мы с Жекой наверняка расстались бы лучшими друзьями. Ирка и ответила вполне серьезно:

— Ты зря смеешься. Если бы он встретил женщину, которой бы он сделался дорог, он бы и сам начал себя беречь, не бросаться на все амбразуры.

— Понятно, дело клонится к объявлению Черноморска вольным городом, — так я называл многолетнюю Иркину мечту выдать замуж свою лучшую школьную подругу Вальку. — А эту замухрышку мы бы выдали за Сережу...

Сережа был пожизненно влюбленный в Ирку однокурсник, за которого она много лет тщетно пыталась выдать то одну, то другую не занятую свою знакомую, оберегая от него только Вальку.

— Нет, Сережа бы ей не подошел, он очень хороший, но зануда. Вообще-то несправедливо, что замечательных мужчин на всех не хватает, мы, кому повезло, по-хорошему должны бы делиться.

Я и до сих пор не знаю — может, она и впрямь была бы способна поделиться мною, если бы видела очень уж горькую нужду. Но я-то собою уж точно делиться был не способен — мне было просто нечем, Ирка заполняла во мне все.

А вот много ли заполнял в ней я в эти последние страшные годы? Пустота, которую она пыталась залить, — выело ее разочарование, быть может, не только в мире, не только в себе, но и во мне? Уж очень мелководным оказалось плавание моего корабля...

Я снова ощутил, что мне есть куда бледнеть. Если Ирка наконец почувствовала, что я не тот, за кого себя выдавал, вернее, не тот, кем когда-то грезил стать...

Нет, ни за что! Если я усомнюсь, что я для Ирки так же бесценен, как она для меня, я не смогу ей помочь. Ибо лишь

безграничная уверенность в себе может породить всевластное нужное слово! Вспомни, ведь твоя красивая неправда перевесила однажды даже слово Сына Человеческого!

* * *

Хотя в начале были неприятности.

Неприятности начались еще на кряжистой галерее Гостиного. Сновавшая с независимым видом по второму этажу фарца не глядя бросала мне короткие, как плевки, «чего надо?», «чего надо?» так отрывисто и презрительно, что я хотел сразу же уйти. Но цыганка, цветастая, будто клумба, глядя прямо в душу своими печальными индийскими глазами, говорила до того проникновенно, словно предлагала не «техась», но себя самое. Техасами в ту пору называли джинсы, и все, что я о них знал, а стало быть, и желал, это были выстроченные **W** на задних карманах и красные молнии на них же (клепки полагалось добавлять по вкусу), — я был уверен, что нашей Паровозной, которую я намеревался ослепить, тем более сравнивать будет не с чем.

Если уж ослепленным оказался я сам. Хотя из недр приоткрытой кирзовой сумы лишь на миг успели просиять и желтые пунктирные **W**, и красные молнии, и никелированные клепки, насаженные гуще, чем на паровозном котле. Когда у меня появилась Ирка, желание красоваться покинуло меня в считанные недели: та единственная, на которую я желал производить впечатление, и без того мне принадлежала, да ее было бы и не взять ни молниями, ни громом. Но в тот год меня еще можно было пленить этим дикарским бисером.

Зачем мерить такому стройному красавцу, я и так вижу, что прямо на тебя пошиты, изнемогая от любви и скорби, внушала цыганка, не сводя с меня печальных индийских глаз, поедешь к папе с мамой (как она узнала, что я нездешний?..) — все девушки будут вслед смотреть, не скупись, красавец, тебя много счастья впереди ждет, что такое пятнадцать рублей для такого молодого?

Я не скуплюсь, оправдывался я, у меня правда только десять, ну, хотите, возьмите авторучку, она стоит три рубля.

Только ради меня она взяла авторучку, сунула мне подмышку джинсы — и округлила свои индийские глаза в смертном ужасе:

— Милиция! Беги, красавец!

И исчезла. А я остался на внезапно опустевшей галерее, сияя из подмышки алыми молниями.

Не верьте этому предрассудку — толстогубые люди с водянистыми глазами и бесцветными ресницами вовсе не обязательно добродушны, — этот милиционер повел меня в пикет не просто по долгу службы, но прямо-таки с нескрываемым сладострастием. «Что с того, что не продавал, — все равно участвовал в спекулятивной сделке. Студент? Значит все, отучился. Послужишь родине в стройбате». Я даже не пытался его о чем-то просить — слишком уж очевидно было, что это только обострит его наслаждение, — лишь старался не понимать, что происходит. (Вот и зря, впоследствии пеняла мне Ирка, к людям всегда нужно подходить с открытой душой, даже к самым противным.) Бежать уже было невозможно — не пробиться сквозь толпу.

То-то мать порадует, сладострастно разглаживал мой убийца на убогом канцелярском столе какие-то протоколы, а где она, кстати, живет (тоже как-то понял, что я нездешний...) — неправильно, надо говорить не рабочий поселок, а поселок городского типа. А на какой улице? На Паровозной? Вот ни хера себе, а я жил на Тепловозной.

Я изобразил почтительное удивление: паровозам-де, конечно, за тепловозами не угнаться, не всем так везет — уродиться на Тепловозной! Но электровозы все же будут почище...

— А вот тут я с тобой не соглашусь. Для электровоза напряжение тянуть надо, а тепловоз на любой автобазе может заправиться!

Если бы я уступил ему электровозы без сопротивления, он бы ни за что не проникся ко мне такой нежностью. Он мне даже дал старую газету «Труд», чтобы я не привлекал своими алыми молниями опасного внимания. И еще напутствовал меня крамольным анекдотом о газетном киоске: «Правды» нет, «Советская Россия» продана, остался один «Труд».

Когда он произносил слова «Россия продана», в его голосе прозвучала неподдельная горечь.

Этим «Трудом» мне и надо было бы накрыться, когда за галечными осыпями и порожистыми речушками Южного Урала меня под утро разбудила сотня прапорщиков. Вернее их было только трое, но галдели они за целую роту, обращаясь друг к другу по званию: прапорщик Иванов, прапорщик Петров, прапоушчик Куксенко. Ат-ставить! Я свесил голову, чтобы они меня заметили, и они отреагировали с предельной благовоспитанностью — мы вам-де не мешаем? (Всего-то три бутылки на столике, а шуму...)

— Конечно, мешаете, — сердито ответил я и перевернулся на другой бок, еще не отдавленный полированным деревом (в ту пору я не тратил скудные рублевки на такую глупость, как постель).

Один из прапорщиков поднялся на ноги и потрогал меня за плечо:

— Может, и ты к нам?

— Куда его к нам, ты что не видишь, он красножопый? — раздался голос снизу, и всякие церемонии были окончательно отброшены.

Что в пору Питеру, то рано для степей, куда я направлялся, но убедиться в этом мне еще предстояло. Сползши с полки, я побрел в тамбур, — там хотя бы не было самых противных в мире звуков — бесцеремонных человеческих голосов, один только ничего о себе не воображающий честный лязг тормозной площадки, дверь на которую не удавалось захлопнуть никакими усилиями.

Я прижался лбом к стеклу, и оно тут же исчезло, осталась только степь.

Через год я бы сказал: осталась степь за стеклом и моя Ирка во мне. Но тогда я смотрел и смотрел для себя одного.

Мягкая оранжевая трава лежала до горизонта, причесанная в одну сторону, словно речное дно, а из-за горизонта выдувался огромный приплюснутый пузырь, вырастая и расправляясь с каждой минутой... У меня и сейчас сжимается сердце, когда — где угодно, хоть в метро — на миг прикрыв глаза, я

оказываюсь в нашей степи. Кажется, что там ничего нет, но это неправильно — там есть она, степь.

Я вернулся в вагон, уже расправившийся, как солнечный шар, и не испытал ни досады, ни злорадства, когда обнаружил в купе возню вокруг раскисшего прапорщика Куксенко: «Прапоушчик Куксенко, устать!» Куксенко сидел, свесив слюни (бог ты мой, мог ли я подумать, что буду так когда-нибудь поднимать мою Ирку!..) на белые подштанники из той же рубчатой холстины, что и мои техасы, только они были синие, как спецовки в нашем железнодорожном депо.

Тем не менее, когда мы с моим другом Сашкой Васиным отправились по старой памяти покататься на товарняках, ему сошли с рук даже длинные золотые волосы, а меня окликнул первый же работяга: «Эй ты, красножопый, ты чего тут отираешься?» Я оглянулся — мой оскорбитель стоял на груди ржавого металлолома со ржавой железякой в руках, облеченный в спецовку того же цвета техасского неба, щедро помазанную мазутом и ржавчиной, от крещения коими я так легкомысленно отрекся.

Сашка, мудро избравший умеренный технический вуз в отчих краях — не то в Челябинске, не то в Омске, не то в Барнауле, — деликатно потупился; я тоже хотел сделать вид, что не расслышал, однако не на того напал. «Я тебе, тебе — какого хера тут отираешься?» Из полумрака кирпичного цеха, с недобрый любопытством посвечивая африканскими белками, подтянулась еще парочка-тройка таких же чумазных помазанников, вооруженных исполинскими гаечными ключами.

Год спустя, когда у меня появилась Ирка, окажись она здесь, я бы пошел на этих африканцев с голыми руками, — правда, Ирка тут же все бы и утрясла, вооруженная главным своим орудием — открытой душой. Только при Ирке у меня и лихачить прошла охота, — та единственная, ради которой стоило рисковать, и без того мне принадлежала. (Сам наутро бабой стал, внезапно прогремел у меня в ушах грозный оперный хор, и ему немедленно откликнулся скоморошистый тенорок: «А зачем бабе баба?» — и меня в очередной раз обдало особым морозцем.)

А в ту паршивую минуту лишь готовность пойти на риск увечья спасла меня от унижения: на мое счастье подкатил грозно полязгивающий товарняк, слишком даже быстрый, чтобы вскакивать на ходу, но я не колеблясь ухватился за ободранную скобу у тормозной площадки. Рвануло так, что чуть не выдернуло руку из плеча — я и не заметил, как из тexasов вывалилась последняя клепка (теперь они казались простроченными из пулемета), зато отчетливо почувствовал, как они затрещали в шагу, и ощутил там приятное веяние прохлады, хотя мазутный воздух был по-степному горяч. Сашку я втащил уже за руку — товарняк внезапно нагнал. И не притормозил даже у светофора, где мы обычно спрыгивали.

Он так и молотил по рельсам с серьезной крейсерской скоростью — спрыгивать было бы чистым самоубийством, и мы довольно скоро оставили шуточки, а, спустившись с тормозной площадки на ступеньку с двух сторон, принялись махать машинисту.

Вотще. Ты не помнишь, где следующая станция, как бы небрежно прокричал Сашка со своей ступеньки, и я как бы небрежно прокричал в ответ: «Где, где — в Караганде». И мы как бы непринужденно засмеялись. На самом деле мы уже были черт-те где, а поезд все надавал и надавал. Я теперь старался лишь не понимать, что происходит, но только следил за мелькающей ржавой щебенкой у себя под ногами.

Наконец я выкрикнул Сашке: «Давай!» — и изо всех сил оттолкнулся против движения: мне показалось, что этот тепловозный садист сбавил ход до терпимого. Но показалось только по контрасту — я лишь чудом удержался на ногах, и не в последнюю очередь благодаря тому, что тexasы уже не стесняли мой бег. Если бы я сумел выдержать такой темп на стометровке, меня наверняка взяли бы в олимпийскую сборную.

Когда мне удалось остановиться, товарняк уже прогрохотал в неведомую даль, открыв мне Сашку, неспешно отряхивающего степную пыль со своих отглаженных брюк цвета кофе со сливками. К нему удивительно быстро вернулись манеры британского лорда (и все-таки красные молнии оказались бо-

лее враждебными... Ба, вот он на кого был похож — на Ференца Листа! Не догадывался я, что и это сходство было предвестьем...).

Перешучиваясь еще более оживленно, мы зашагали обратно по отполированной до глянца, мелко растрескавшейся грунтовой дороге. День клонился к вечеру, солнце припекало все более и более снисходительно, и наши длинноногие тени шагали перед нами, утягиваясь все дальше и дальше. И мы добрались бы до дома еще до темноты, если бы слева не вырос Красный Партизан.

Странные, неведомо кем и для чего расставленные среди степи ряды бетонных коробок, не оживленные ожерельем одноэтажных домишек с огородами, были населены свирепым племенем красных партизан, из чьих когтей и зубов еще ни один чужак не ушел живым. Рассуждая по-умному, нам следовало бы перебраться через железную дорогу и обогнуть партизан по степи, но для этого мы слишком долго перешучивались. Поэтому мы продолжали идти навстречу опасности, перешучиваясь, правда, уже вполголоса, хотя до окраины Красного Партизана, которой почти касалась наша дорога, оставалось еще не меньше километра. И наши шуточки вполголоса делались еще более принужденными, когда мы увидели, что нам навстречу катит велосипедист.

Это был жилистый, ошпаренный солнцем паренек в линялых синих трениках со штрипками и еще более линялых красных «кетах». По-хозяйски тормознув, он спросил нас: «Ну? Что?» — только что не добавив: «Допрыгались?». «Ничего», — юмористически пожали мы плечами, переглянувшись так, словно нам очень забавно. И будто ни в чем не бывало двинулись дальше, чувствуя, как он оценивающе смотрит нам вслед, стараясь решить, что сильнее оскорбляет здешние обычаи — длинные золотые волосы и благородное выражение чистого лица или мои техасы? «Красножопый», — наконец услышал я свой приговор, и злой вестник просвистел мимо нас, припав к рулю.

— Поехал оркестр готовить, — пошутил я и сам почувствовал, до чего это не смешно.

Нас встретили и впрямь с народными инструментами — кто с гаечным ключом, кто с обрезком свинцового кабеля, а уже знакомый нам велосипедист и на этот раз был с ржавой велосипедной цепью. Все они, человек шесть, были похожи как двоюродные братья — небольшие, жилистые, прокаленные, в обвислых майках и попугайских рубашках навывпуск — «расписухах». Они и сюда уже добрались, и длинные волосы, как я заметил, тоже, но техасы...

— Это ты красножопый? — без экивоков обратился ко мне паханок, самый жилистый, самый перекаленный и самый расписной. — Какого хера тут отираешься?

И здесь меня осенило.

— Батю ищу, — проникновенно сказал я.

— Какого батю?..

— Батя нас бросил, когда я еще маленький был. А мне сказали, что он живет в Красном Партизане.

— А чего не из города идете?

— Хотели на товарняке подъехать, а он разогнался, соскочить не могли.

— А твой батя — он какой из себя? Как зовут?

— Николай, — наобум брякнул я, и мой собеседник, с каким-то словом смягчающийся, задумался:

— Николай, Николай... Как моего. Моего тоже Николай звали.

— А где он? — с робкой надеждой спросил я.

— Батя? Где ему быть, — одобрительно усмехнулся он и гордо повел глазами на своих дружков. — Сидит.

— Мой тоже сидел. Матушка говорит, его как посадили, так он уже к нам и не вернулся. А за что твой сидит?

— По бакланке. За драку.

— Клево, и мой за драку. Матушка говорит, как выпьет, обязательно должен кому-то в ухо заехать.

— Вот и мой то ж самое.

— У моего, матушка говорит, было на пальцах выколото Кы-о-л-я...

— И у моего Коля! Слушай, а когда его посадили?

— Лет двадцать назад. Я родился, и его тут же посадили. Всего на год, но он к нам уже не вернулся. Соседи говорят,

обиделся, что матушка сама милицию вызвала. Он грозился, если она не даст добавить, он меня придушит.

— Мой тоже всегда грозился, но матушка всегда ему давала.

При слове «давала» по рядам красных партизан пробежала ухмылка, но засмеяться никто не посмел ввиду торжественности минуты.

И тут меня снова озарило.

— Братан, — шагнул я к паханку, подергиваясь морозцем от проникновенности собственного голоса. — Так это ж он и есть, наш батя!

И мы в едином порыве по-братски обнялись. Под расписухой спина у него была жилистая, как трос, а щека, прижавшаяся к моей щеке, шершавая и раскаленная, словно кирпич на солнцепеке.

Дальнейшее помню слабовато — такое чувство, что наливаться начали прямо тут же, на дороге. А потом какие-то бетонные лестницы, тесные кухни, потные и радостные парни и девахи, мужики и бабы, и везде жмут руку, везде хлопают по спине, везде наливают. Мой братан, мой братан, в Ленинграде учится, всюду представляет меня Гоша и радостно добавляет: «А мы его чуть не отхерачили!»

А когда на том же месте под огромной степной луной мы на прощание трясли друг другу руки, с трудом выловив их из ускользающего пьяного пространства, Гоша вдруг выдохнул потрясенно:

— Ты понимаешь, как может получиться?.. Ты кого-то херачишь, а он, может быть, твой брат?..

— Один чувак сказал, — проникновенно ответил я, — что вообще все люди братья.

Гоша напряженно задумался и после долгой паузы, во время которой нас в разнобой водило из стороны в сторону, озбоченно спросил:

— Охуел что ли?

* * *

Когда я впоследствии пересказывал это приключение Ирке, она пришла в торжественный настрой:

— Вот видишь, что бывает, если идешь к людям с открытой душой!

— С какой открытой душой — я же его обманул!

— Ты по форме обманул, а по сути сказал правду: люди же и правда все братья. Только ты выразил эту правду в доступной им форме.

Ирка была так довольна и благостна, что даже заговорила в лекторском тоне.

* * *

Вот и с моими безвестными Эвридиками мне нужно будет отыскать такую ложь, которая в какой-то глубинной сути окажется правдой. И я найду эту ложь! Удалось же мне однажды исторгнуть алмазно чистые слезы из бесхитростной души фальшивыми, крадеными звуками.

Случилось это у бабушки. Не помню, сколько мне было лет, но меня еще занимало, как далеко я сумею дотянуться ногой со стула, подбоченясь сплетенными с его плетеной спинкой руками. И мне еще никак не удавалось оторвать взгляд от проплетенных черно-фиолетовыми корнями бабушкиных рук, споро сматывавших в один большой клубок мохнатые нитки из нескольких клубков поменьше, вертевшихся у ее ног в облупленной эмалированной миске. Один, покрупнее прочих, смотанный и сам из двух ниток — коричневой и белой, — штриховано-рябой, как колорадский жук, вел себя еще посolidнее, зато остальные, мелкота, прыгали бесенятами, скакали друг через дружку, кидались на стенку, пытаясь выскочить наружу.

Поведение клубков отбрасывало и на бабушку некий отсвет легкомыслия, но лицо ее, как всегда, выражало одну только примиренность. Непонятно было даже, что ей все-таки подарить на сегодняшний день рождения.

Кажется, лицо у нее было темное, иконописное, высветлявшееся лишь светлым его выражением. Выражение помнится еще и сейчас, а лица давно уже нет. Да, подзывала, да, наливала, да, любовалась, да, будто бог весть какое лакомство, совала конфетку-подушечку, выдирая ее из поллитровой банки, — все это было, а лица уже нет...

Самый маленький черный клубок ухитряется-таки выскочить из миски и беснуется на полу. Я бросаюсь ловить его — я еще недалеко ушел от котенка, — и тут меня озаряет совершенно взрослая мысль: я напишу бабушке стих!

Про что, с какой такой стати, сумею ли — что за пустяки! Кому и писать стихи, как не мне? И через минуту я уже пятился к выходу, пряча за спиной лист бумаги и огрызок химического карандаша.

В дверях я напоследок окинул бабушкину склоненную фигуру оценивающим взглядом портного, намеревающегося шить без примерки. Позади бабушки на оконном стекле, на ниточке, как прищепки, сушились грибы — черные против света. Нотные значки, запятые, холерные вибриончики — арабская вязь.

На мой взгляд бабушка подняла седую голову, и в глазах ее тут же ожило неотступное беспокойство, не захворал ли кто, не проголодался ли, — безнадежное беспокойство, всю жизнь она беспокоилась, а никого ни от чего не уберегла — ни от голода, ни от горя, ни от смерти.

И я из дверей покровительственно сделал ей ручкой: не тушуйся, мол, я сейчас все устрою, — шагнул в сторону, чтобы она не заметила моих поэтических орудий, и рванул напрямик за сарай: овладевшая мною стихия и без моего ведома знала, что творцу необходимо уединение.

Лица бабушкиного не помню, а вот стол так и стоит в глазах: сколоченный наспех, но надолго, кособокий, но кряжистый, трава вокруг вытоптана в прах, а окурки в него тщательно втерты, образуя странное тиснение, — так выражают свое волнение болельщики, образуя два-три слоя вокруг вечернего домино. На столе еще валяются несколько черных извивающихся червяков — до конца сгоревших спичек, — это Закутаев так прикуривает: спичку не гасит, а ждет, пока обнажится из пламени меркнувшая головка, потом берет ее, пшикнувшую, послунявленными пальцами и, заслоня ладонью, ждет, торжествуя и тревожась, когда пламя сойдет на нет.

Бабушка называет его соболезнующе — Закутаюшка, но в лице его нет ничего от умильных суффиксов «ушк»-«юшк»,

когда он шагает со службы в своей черной форменной тужурке — настоящая ветчина в форме. А когда он рассказывает, зловеще супя брови и хватая невидимую трубку: «Охрана мебельной фабрики слушает!» — то совсем уж непонятно, при чем тут Закутаюшка.

Меж тем я готовился к сочинительству так сноровисто, будто занимался этим всю жизнь. Прежде всего следовало погрузиться в поэтический транс, отрешиться от всего мирского, уйти из его плотной плотской атмосферы, густой, как в столовке или на автовокзале. Удалиться от мира за сарай — даже этого было слишком мало, что-нибудь все равно за тобой потащится.

Вот куст — хоть и совсем сквозной, а ухитрился-таки поднять, да так и держит на себе тень сарая, которая без него лежала бы на земле. Вот бочком проскользнула черная собака, угнетаемая стыдом и общим презрением, но прикидывающаяся, будто она всегда готова хоть жалко, но огрызнуться. Где-то с гулким звоном, словно из железной бочки, лают другие собаки. Из сарая слышны полувздохи-полустоны — это дедушка шаркает рашпилем по дереву.

Звучит все, не только хваленая раковина: прижмись ухом покрепче к коре любого дерева и услышишь, как где-то в глубине разогревают могучий авиационный мотор.

Все начинает звучать, только прижмись покрепче. А может, это ты сам начинаешь звучать. И если хочешь отсечь от себя весь этот мирской галдеж, ни к чему не прижимайся, ни на что не засматривайся, ни во что не вдумывайся. И грубая телесная сторона мира понемногу станет меркнуть, умолкать...

Но сам ты внутри себя еще опаснее. Память, только ее зачерпни, всколыхнется, словно бак с кислыми щами, — и так шибанет оттуда мирским духом — хоть топор вешай. Отрешись и от себя, и голова потихоньку наполнится пустотой, станет легче, больше, воздушнее, подобно аэроплату, и понемногу обнаружится, что атмосфера заряжена поэтическим электричеством — рифмами, ритмами, мелодиями читанных и нечитанных, и даже неписанных стихотворений, песен и ба-сен, и какие-то внутренние антенны уже прощупывают этот

поэтический эфир, какие-то переменные емкости пытаются подстроиться к нужным частотам, — минута, и стихи свободно потекут из-под моего карандаша.

Пока еще только подступал гул мировых поэтических пространств, врывались куски чужих передач — что-то вроде: «Неси меня ветер за дальние горы» или «О чем шумите вы, колосья?», — но пробудившийся во мне инстинкт медиума отвергал их с порога. Настройка все уточнялась, шумы отфильтровывались — вот сейчас, сейчас...

Вещание началось так внезапно, что я едва не прозевал божественный глагол и лишь в последний миг успел схватить карандаш. Атмосферные разряды мирской суеты проникали в мое общение с небом только в виде плохо оструганного стола, на котором рельефно проступали древесные волокна, превращая прямые в дрожачие, да еще карандаш угодил в щель и прорвал неуместную дырку, через которую сразу же попытался просунуть нос житейский мусор, так что у меня само собой вырвалось: «Гад ты, а не стол!». Но это был маломощный разряд, передача лилась практически бесперебойно. Очевидно это было знаменитое автоматическое письмо сюрреалистов, вскрывшее мое небогатое подсознание.

На последней строке порыв вдохновения, как былинку, переломил мой химический грифель, но я, будто циркульным держателем, стиснул крошечный кончик и, словно Паганини на последней струне, довершил финал и в сладостном изнеможении принялся читать, что получилось.

Там в степи, от солнца опалённой,
Там, где не смолкает ветра вой,
Полз боец, сам весь окровавленный
И с осколками пробитой головой.
Вот главу он уронил на руки,
И глаза вот устремились вдаль.
А в глазах его как бы светится
Никому не ясная печаль.
Только птичка-невеличка, что над ним кружилась,
Донесла до наших весть, что с бойцом случилось.
В атаку шла бойцов бесстрашных рота,

И дрогнул, отступает враг-фашист,
Но тут раздался выстрел миномёта,
И ухо режущий снаряда свист.
Хоть миномёт теперь уж завоёван,
Но все-таки один снаряд ведь в цель попал,
И тот боец, что с русыми кудрями,
Взмахнув руками, на землю упал.

Я пошарил еще немножко в мировом эфире, но божественный глагол уже прекратил диктовку. Я сунулся под стол за скатившимся туда, чуть его выпустили из рук, карандашом, схватил его вместе с горстью серой пудры и бросился к дому, но у дверей затормозил и вошел, задумчиво глядя в свой продырявленный лист, словно в раскрытую книгу, ступая медленно и беззвучно, похожий одновременно на Гамлета и на тень его отца.

Узнав, что в подарок ей изготовлен стих, бабушка надела стальные очки и приготовилась слушать: она привыкла, что ее просвещенные внуки и читают лучше нее, и пишут, и толкуют о таких вещах, чьих и названий ей не выговорить. Вероятно, она не видела особой разницы между поэзией и, скажем, географией, и меня это несколько задело — в броню моей недостаточной начитанности тщетно стучалось что-то вроде: «Голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом, меня искали, но не нашли».

Я прочел свое сочинение, отчасти вновь впадая в сомнамбулическое состояние, с торжествующей скромностью поднял глаза — и обомлел: по темному бабушкиному лицу катились до оторопи светлые слезинки. А она потихоньку вытирала их кончиком своего белого платочка. Плакала она так же, как занималась всяким одной ее касающимся делом — стараясь не привлечь к себе внимания сверх минимальнейшей необходимости. Кажется, я ни разу не видел, как она ест, и совершенно точно не видел, как она умывается.

Я мог бы возгордиться, что моя лира способна исторгать слезы, ничуть не отличающиеся по своему составу от слез, исторгнутых лирой Пушкина, но что-то мне в этих ее слезах не понравилось. Что-то низменное, мирское...

— Что? Чего ты плачешь? — спросил я с досадой, и бабушка, подбирая последние слезинки, прошептала:

— Убили ведь его...

— Кого? — чуть не спросил я, поскольку в точности не помнил, про что я там навалял — я ведь писал под диктовку высших сфер.

Однако, пробежавшись по волнистым строчкам, быстро разыскал в них убитого.

И тогда снова сделал бабушке ручкой, бодрой припрыжкой ускакал за сарай, выкрасив фиолетовым угол рта, обгрыз конец карандаша, чтобы оголить грифель, — бегать за ножом было некогда, — и, как зрелый профессионал, уже без участия дилетантских высших сфер, всяких там муз и граций, сотворил новый, оптимистический финал, в котором, прослышав в его груди последние удары, бойца уж подобрали санитары, и теперь уж он здоров, благодарит всех докторов, что жизнь ему спасли, благодарит и санитаров, что с поля боя унесли.

Но когда я явился за добавочным триумфом, бабушка уже почему-то лежала на кровати — лежала как-то косо, ноги касались края, — наверно, потому, что только прилегла, а чуть «полутчует», так тотчас же и встанет.

Я благодушно зачитал бабушке новую концовку и покровительственно взглянул на нее: ну, что, мол, — а ты боялась! Но бабушка смотрела на меня обычным своим взглядом — ласково-ласково, но как будто в последний раз.

— Молодец какой, умничка! — похвалила она меня слабым голосом (видно, и впрямь ей было худо, — впрочем, иначе она бы и не легла) и, подтянув меня к себе, неловко, краем губ поцеловала в лоб. — Ну, иди, поиграй.

И осталась лежать — одна, в своем беленьком платочке, — прилегла переждать боль, чтобы, как полутчует, снова приняться за дела.

Она всегда так лежала, как будто прилегла на минутку. Она и в гробу так лежала.

И вот теперь у нее уже нет лица.

А я так никогда ни о чем ее и не спросил — ведь у стариков в жизни и не могло быть ничего интересного.

А спросил бы — может, во мне бы что-то и откликнулось, не такая гулкая пустота, что отозвалась эфирному мусору.

Ведь петь может только тот, кто служит чьим-то эхом. Кто слышит и отзывается.

Когда-то я хотел слышать и отзываться всему на свете, но после встречи с Ирккой мне довольно стало отзываться ей одной. И тому, чему отзывалась она.

И больше мне ничего не требовалось — только служить эхом эха.

Но от этого я каким-то чудом сделался богаче. Когда я со смущенной усмешкой однажды рассказал Ирке тот стих, который на меня нашел, к изумлению моему, на ее темно-янтарных глазах тоже выступили слезы.

— Слушай, ты прямо как моя бабушка! Как можно плакать над такими фальшивыми стихами?..

— Люди никогда не плачут над чем-то фальшивым. Они плачут только над правдой. Которую угадывают под фальшью.

* * *

Вот это и будут мои три урока — отыскать три лжи, под которыми будут угадываться три правды, неизвестные, может быть, мне и самому. Но все, надо хотя бы полежать с закрытыми глазами, иначе завтрашний... какой завтрашний — сегодняшний день наполовину пропал. А кто их знает, сколько дней мне отпустит Орфей.

Я закрыл глаза и оказался на полузабытой станции, не то Сарышаган, не то Кашкентениз — ах, как и доньше чаруют мой слух эти звуки: Моинты, Чаганак, который в детстве я называл Чугунок... Впереди плоский серый Балхаш, позади плоская серая Бетпак-Дала, добравшаяся под самые колеса своей пустынностью, после нашей шелковистой хотя бы на глаз степи представляющаяся каким-то строительным пустырем. Беленый станционный барак здесь тоже выглядит строительной временкой, и по этому пустырю, поджимая пальцы на горячей щебенке, в одних семейных трусах понуро бродит голый человек с вафельной чалмой на голове.

Мы каждый раз видим здесь эту фигуру, и мне чудится, что она так вечно здесь и скитается среди железнодорожных путей, однако на самом деле она обновляется едва ли не ежедневно одним и тем же приключением. Поезд здесь калится на адском солнцепеке чуть ли не час, и народ из своих духовок радостно бежит купаться. А куда он плещется в не то пресных, не то соленых водах (папа с мамой так ни разу меня и не отпустили, и я до сих пор не знаю, какая половина Балхаша горькая, а какая сладкая), подходит другой поезд, из которого бежит купаться новая истекающая потом волна, и кто-то самый легкомысленный так и не замечает обновления декораций: поезд стоит? — стоит, таблички на нем прежние? — прежние, народ купается? — купается, а народ знает, что делает. И когда несчастный замечает, что это другой народ и, что гораздо ужаснее, другой поезд, оказывается уже поздно, родное купе успело крадучись растаять в пустынных даях...

Однако на этот раз я катил полузабытым путем уже более чем взрослым, прекрасно понимая, что унылая фигура в портьерных трусах и вафельном тюрбане на плоском балхашском берегу меня больше не ждет. Хотя духовка в купе была еще пояростнее прежней, и это при том, что пеклось нас здесь всего трое.

Щуплый ветеран был до того иссохший, что не потел даже в своем коричневом дешевом костюмчике, а мы с прелестной юницей в невесомом голубом платье предпочитали подставлять лица горячему ветру возле открытого окна в коридоре. Тем более что в купе наш сосед немедленно начинал делиться своими планами на отдых в тьянь-шанском горном санатории, куда он получал регулярные бесплатные путевки в награду за увечье: правая кисть у него всегда оставалась скрюченно-растопыренной, как у горного орла, нацелившегося на добычу. Правда, пускаясь в разговоры, он уже напоминал мне заботливого мужа, который нес в растопыренной пустой пятерне размер бюстгальтера своей супруги.

— Подберу себе старушку, — деловито размышлял он, — и в бокс на всю ночь, там на это не смотрят, хоть всю ночь трамбуи.

Наша спутница заливалась нежным румянцем, и я деликатно останавливал потрепанного жизнью боксера: ну-ну, не будем смущать девушку, — и снова уводил ее от греха подальше. Я был в достаточной мере старше ее, чтобы уже не обременять себя мыслишками о тягостном долге заигрывания, но и не настолько древнее, чтобы это вызывало грусть о навеки канувших возможностях, а потому мог без всяких задних мыслей любоваться, как ветер пустынь перебирает ее каштановую стрижку, грубовато ласкает ее прелестное, еще не замкнувшееся от низостей мира тронутое нежной испариной личико — славные, должно быть, нравы царили в том образцово-показательном скотоводческом совхозе, откуда она ехала учиться на зоотехника — в ссуз, как теперь чья-то глухота переименовала бывшие техникумы, — и я временами даже завидовал быку-производителю Юпитеру, которого в нашем же поезде везли в специальном вагоне на сельскохозяйственную выставку.

— Он красивый, как культурист — весь шелковый, мускулы играют, нафуфыренный, как Софи Лорен...

Но я тут же чувствовал себя отмищенным, когда ее восхищение сменялось ласковой насмешкой:

— А трус такой! Кто-нибудь нарочно чихнет, а он сразу так и затрусит подальше. Он только с виду страшный, а ты только скажи ему: Юпка, Юпка, а ну, стой смирно! — и он сразу голову опустит, стесняется...

И я уже разглядывал ее без всякой ревности — откуда только берутся такие чудные создания?.. Даже быки ее стесняются — людям бы у них поучиться.

Он и на стоянке, где его вывели погулять по раскаленному строительному пустырю, не только опустил перед нею кучерявую, как борода греческого бога, тяжеловесную голову с налитыми кровью глазами и яростно раздутыми ноздрями, но после этого еще и пал пред нею сначала на колени, а потом и на брюхо. Что, однако, не заставило собравшуюся публику подойти к нему поближе — слишком уж мощно вздувался его мышечный горб, слишком яростно раздувались ноздри, слишком серьезно, без малейшей театральности торчали короткие рога...

— Не бойтесь, он добрый, — утешала нас моя спутница, поглаживая Юпитера по золотистой шелковой шерстке, обливающей мышечную громаду, но желающих воспользоваться его добротой не находилось, а кое-кто уже и потянулся к недалекому берегу.

Пепельное зеркало Балхаша в белесой дымке так незаметно сливалось с небом, что, если скользнуть взглядом сверху вниз, возникала полная иллюзия, будто небо подходит под самый берег, и начинала брать оторопь: на какую же высоту нас занесло, если горизонт оказался прикрытым краем пропасти!..

— Не бойтесь, не бойтесь, — продолжала приговаривать укротительница Юпки и для большей убедительности грациозно присела ему на спину, да еще и потянула его короткие рога на себя, словно летчик руль высоты.

Руль, однако, не подействовал — Юпитер не двинул даже устрашающей головой.

— Похищение Европы, — пробормотал я, смущаясь своей образованности, которую здесь было некому...

Которую оценил только бык — внезапно он вскинулся и тяжело затрусил к берегу. Это было настолько неожиданно, и всадница до такой степени не проявила ни малейшего страха, что я еще успел состричь вполголоса: что дозволено-де Юпитеру, то не дозволено быку.

— Юпка, Юпка, прекрати, не хулигань, — тщетно пыталась изобразить строгость чуточку нервно смеявшаяся Европа, однако бык трусил все быстрее и быстрее, а последние шаги уже промчался галопом, взрывая черную гальку.

И вот он с ирреальной быстротой скользит над пепельной бездной, почти поглотившей нагромождение и сплетение его мышц и даже край голубого платья всадницы, припавшей к его могучей холке, устремляя недвижный взгляд туда, где некогда обрелся горизонт...

И только теперь я понимаю, что похищаемая Европа — это моя Ирка, что я просто не узнал ее, забыл, какая она юная и прелестная, но теперь уже поздно, бык уносится прочь со скоростью торпедного катера. Я в отчаянии пытаюсь стащить хотя бы туфли, в них я точно плыть не смогу,

я когда-то пробовал, но с ужасом вижу, что туфли мои превратились в копыта.

И тут до меня доходит, что я теперь тоже бык, и не какой-нибудь, а тот самый, что несет Ирку над бездной... Да, я чувствую спиной Иркину тяжесть, совершенно для меня пустяковую, оглянуться на нее, я, правда, не могу, очень уж неповоротливой сделалась моя могучая шея, но я и так знаю, что это она.

И мною овладевает ни с чем не сравнимое счастье: мы теперь всегда будем вместе! Я буду вечно нести и нести ее над бездной, а куда — да не все ли равно!

* * *

Хоть я и спал одетым, чувствовал я себя вполне выпавшимся. Только руки, примостившиеся на подлокотниках, так очугунели, что я с трудом их оторвал от полированного дерева, а ноги и вовсе продавили две ямки в паркете. Да еще странно было после ночи раздеваться для умывания.

В зеркале, однако, я увидел совершенно незнакомое, но очень старое измученное лицо, и без малейшего страха или отторжения понял, каким я буду в гробу: вот таким. Но отошел от зеркала — и снова обернулся добрым молодцем, каким я всегда себя ощущаю, покуда чувствую на себе Иркин взгляд. Я его чувствую, когда ее и нет рядом. Лишь бы она была где-то. А сейчас она была, потому что я твердо знал, что сумею ее спасти. Я даже не поспешил немедленно звонить доброму доктору Бутченко — мне уже был известен набор его заклинаний: синусовая брадикардия, токсическая нефропатия, гипербилирубинемия, гипопропротеинемия, гипергликемия, лейкоциты, лимфоциты, моноциты, эритроциты... Я предпочитал верить Орфею.

Хотя в прежней жизни я набирался бесстрашия только у моей собственной Эвридики. Нет, это была штука куда более драгоценная, чем умение совладать со страхом, — легкомыслие. Ирка еще раньше меня замечала темные тучки на горизонте моего воображения и сразу же советовала от всей души:

выкинь ты эту ерунду из головы. Но как же, пытался защищаться я, нужно же готовиться к испытаниям, и она, становясь на мгновение не только проникновенной, но и мудрой, отрицательно качала своей уже подкрашенной, но все такой же забиячливой стрижкой: «Не надо готовиться. Вот стукнут по голове, и сразу подготовишься. А может, еще и вовсе убьют, и готовиться не придется». Ее очень забавлял анекдот про надпись на распутье: налево пойдешь — убьют, направо пойдешь — вовсе убьют. И я немедленно понимал, что это правда — ведь вполне возможен и такой счастливый исход. И выбрасывал черные мыслишки прочь из головы.

Зато ее освободить от них не сумел...

Эти подлые личинки давно протачивали ее кольчугу, сплетенную из великодушия и легкомыслия. Как будто именно с тех пор, как битва за жизнь была выиграна, ее начали всерьез мучить первые, еще тоненькие присосочки подступающей старости. Из-за мелких родинок, в последние годы рассыпавшихся по ее груди, — словно разорвавшееся ожерелье темного янтаря, словно мушки, вырвавшиеся из него на волю, — она не только перестала носить открытые платья, но еще и принялась жалобно переспрашивать меня: «Тебе не противно?.. Тебе не противно?..», вынуждая меня приникать к этим мушкам губами, что было уже лишнее — не нужно перемешивать в одном бокале то, что мы любим, и то, что мы только принимаем. Ирка была все-таки не более чем человеком — восхитительно в ней было не все. Все было только трогательно.

Теперь, когда Ирке случалось забытья и она представляла в смешном виде, нисколько об этом не беспокоясь, к моей растроганности уже примешивалось сострадание. Когда она перед умыванием собирала волосы на макушке, к моему всегдашнему любовно-насмешливому: «Чиполлино...» — уже примешивался грустный вздох. Поэтому теперь я начинал таять от счастья, когда в ней просыпалась прежняя безалаберность — вера, что жизнь серьезно мстить не станет из-за такой мелочи, как завалившаяся в неизвестную щель бумажка, пусть даже она носит пышное имя «документ». Это раньше я начинал ее распекать — как можно-де быть такой разгиль-

дядкой, наживешь неприятностей и так далее, а она лишь повторяла покаянно: разгильдяйка, разгильдяйка, наживу неприятностей, — пока я не махал рукой с показной безнадежностью и скрытой (не для нее) нежностью: горбатого-де могила исправит. Сейчас же я только радовался, когда она — редко, очень редко — что-то теряла: лучше неприятности, чем тусклая озабоченность.

Поэтому, когда она начинала грустно оглаживать округляющийся второй подбородочек, сокрушаясь, что никак у нее не хватает сил отказаться от свежих булочек с медом, я не только никак не старался увести ее на путь аскетизма, но еще и любовался ее полными запястьями, на которых уже намечались младенческие перевязочки, любовался ее ямочками на локтях, умилялся тому, как, зачарованная телевизором, она начинает уминать пальцем во рту очередной кусочек любимой булочки, забыв проглотить предыдущий.

Можно ли помнить о таких пустяках, взирая на людей, покрытых волосами с головы до ног!

— Интересно, что было бы, если бы ты сделался таким волосатым? — разнеженно размышляет Ирка. — Я думаю, у тебя была бы очень шелковистая шерстка, я бы тебя гладила, как кошку, причесывала бы... Косички заплетала... Сегодня утром была передача про детей-маугли — оказывается, они усваивают язык тех животных, которые их воспитывают. А если птиц, то чирикают. А один мальчик — его мать подбросила на кладбище — сделался главарем собачьей шайки. Когда его приходили забирать в детский дом, собаки на полицейских накидывались.

Таких матерей, конечно, надо расстреливать, можно же было не доводить до этого, правда, может, и мамаша какая-нибудь маугли, — но мальчишка-то, мальчишка каков!

Ирка везде найдет, чем восхититься. Наблюдая телевизорное идиотство через магический кристалл ее простодушия и великодушия, я начинаю прощать своих телесоотечественников, догадываться, что это не ротозействующее дурачье, а дети. Дети-маугли.

К этому-то источнику бесстрашия я прежде и припадал — к ее святой убежденности, что все ужасы мира не могут иметь

к нам ни малейшего касательства. Что за дураки эти детективы сочиняют, негодует она по поводу какого-то милицейского сериала, у трупа находят икру карпа в легких, а карпы в этой реке не водятся! Значит и ежу понятно, что утопили его на рыбзаводе, а в реку потом подбросили. А они две серии до этого додумывались!

Если сериалы сочиняют дураки, то кто тогда их смотрит, деликатно интересуюсь я, но Ирку такими штуками не утратить — нравится, и будет смотреть, а не нравится, не будет, хоть бы весь высший свет повторял: «Это все читают, это все смотрят!» — скучно, так и не буду.

И мне с нею было ничего не страшно, ничего не стыдно, всюду уютно.

Как-то мы с мальчишками, собравшись навестить моих папу с мамой, под Новый год пропадали в Пулкове, — и самолет не выпускали из-за наших степных буранов, и нас в город не выпускали, заставляли ждать у поля погоды, — и тут явилась Ирка — для одного с заводной машинкой, для другого с книжкой, для третьего с настольной игрой, для всех четырех с бодростью, с термосом и пирожными, — свила гнездо за пять минут, уходить не хотелось, когда объявили посадку. У нее и сейчас в постели уютно, как в мышинной норке, — аккуратный платочек, книжка с заложенными очками, полированная пластинка телефона...

Вогнутая стеклянная фляжка хорошего коньяка...

Меня бы эти Иркины вещички — включая и фляжку, да, фляжку! — сейчас убили бы наповал, если бы я не знал, что в моей власти ее воскресить. Не так-то вроде бы и давно, когда мы еще спали вместе, она забралась в постель со ступнями-ледышками, и я, выбравшись из-под одеяла, принялся их растирать — сначала одну, затем... Но другой-то и не нашлось, я спросонья даже оторопел. Оказалось, она ее поджала, как цапля. И сейчас мне вдруг подумалось: а что, если бы она и впрямь осталась без ноги? И понял — да ради бога, для меня она оставалась бы все той же Иркой. А если бы она лишилась уха, носа, глаза? Наплевать — я бы только старался не смотреть, а про себя бы точно знал, что ухо, нос, глаз, рука, нога — это не Ирка.

Но что же тогда Ирка? Ясно что: голос. Пока у нее сохранится прежний голос, произносящий прежние слова — с прежней музыкой, с прежним смехом, с прежними дурачествами: «отсюда», «оттуда», «животные» — это будет прежняя Ирка.

В человеке и вообще самое прекрасное, самое чарующее — это голос. Не глаза, а голос зеркало души. Глаза могут лгать, но голос всегда несет на себе какую-то правду. Люди никогда не бывают такими прекрасными, как их голоса, все мраморные Венеры и Аполлоны лишь полуотесанные чурбаки в сравнении с голосами великих певцов, — откуда не видишь их лиц, откуда от взгляда сокрыт слишком человеческий источник этих божественных звуков. Люди не стоят своих голосов.

Зато, когда мы слышим великих, оттого и счастье нас возносит под самые небеса, что мы узнаем в этих голосах свой собственный внутренний голос, которому никак не удается пробиться вовне сквозь мясорубку носоглотки.

Человеческое величие немислимо без голоса. Уж на что величав доктор Бутченко, но чего бы стоили его распирающие белоснежный халат аршинные плечи и вислый горбатый нос благородного разбойника Олексы Довбуша без таинственных рокотаний из-под седеющих гуцульских усов: гепатотоксическое, нефротоксическое, энтеротоксическое, диурез, глутаргин, билирубин, мочеви́на, коагулограмма...

Но как-то же и мой голос проник сквозь его ученую броню, если этот небожитель, проводивший на тот свет тысячи душ, одарил меня номером своего мобильного телефона!

На этот раз в его голосе слышалась растерянность: билирубин... коагулопатия... печень... желчный пузырь... поджелудочная железа... селезенка... почки... И далее подавленное изумление: без видимой патологии.

— Так что же, чудо? — я не мог скрыть уверенного торжества.

— Ну, мы таких слов не любим говорить, но наметилась некоторая...

— Положительная динамика?

Я подсказывал ему слова помягче, чтобы не заставлять его отказываться от роли небожителя.

— Ну, об этом еще рано говорить, но наметилась некая стабилизация. Или даже я сказал бы так: наметилось некоторое снижение отрицательной динамики. Но уже можно сказать: состояние стабильно тяжелое. Попробуем добавить этамзилат натрия, рантак внутривенно, для стабилизации мембран гепатоцитов гидрокортизон миллиграммов триста в сутки, эспалипон миллиграммов по шестьсот. А для церебральной протекции добавим гепа-мерц миллиграммчиков сорок. И будем наблюдать.

— А она что-нибудь говорит?

— Ну что вы, полная церебральная недостаточность, глубокая кома.

Что ж, пусть поспит, пока я буду выводить ее из преисподней. Я был совершенно спокоен и даже снисходителен к человечеству. Только пол вдруг с чего-то дрогнул под ногами и тут же снова замер. А книги на полках внезапно сделались маленькими, словно записные книжки. Но когда я попытался взять их в руки, они опять выросли.

И я вдруг вспомнил, что перед моим сидячим пробуждением Ирка мне снова приснилась: она прошла мимо холодная и неприступная, какой я ее никогда в жизни не видел.

В жизни...

Поэтому я не стал пить пакетный чай, а заварил напиток из просмоленного корабельного каната, который где-то доставала Ирка. И даже не стал скрывать досады, когда меня оторвал от чая звонок одной из моих невесток. Она робко интересовалась, как дела в реанимации, а я в ответ дал телефон справочного бюро, прибавив, что все сведения у меня оттуда. Нуждаться же я ни в чем не нуждаюсь, я человек вполне самостоятельный, — и больше мне практически никто не докучал, изредка только проверяли, не требуется ли мне смирительная рубашка.

Их забота и впрямь рождала во мне подавленную ярость, ибо их сострадательные голоса расшевеливали мой дремлющий страх.

А мне требовалась вера.

* * *

В каленый континентальный мороз варяжская Балтикадохнула ледяным паром — с неба сеялся мелкий невесомый иней, тусклый, как пепел, — мир был матовым. Ледяной Геркуланум. Мои промерзшие резиновые каблуки стучали как деревянные молоточки.

Маленькие женские личики едва проглядывали из огромных инквизиторских капюшонов — Ирку было бы не высмотреть, если бы даже она была здесь. Но слезы у меня сочились только от мороза — вера, подаренная Орфеем, не иссыкала.

Почти все тетки переваливались из-за своей вульгарности, — Ирку при любых искривлениях позвоночника и перерождениях суставов все равно несла бы над землей ее легкая душа. Не может быть, чтобы ее одолели какие-то бледные поганки! И я уверенно стучал деревянными каблуками, покуда не замер перед оранжевым плакатом: «Звонкая песнь металла. На нашем складе самый широкий выбор стальных металлоконструкций». Поэты, блин!

А вот и еще: ресторан «Орфей», по вечерам живая музыка, рок-группа «Бледные поганки». Черт, а вдруг и мой Орфей какой-нибудь чокнутый эстрадник? Они с женой пели Орфея и Эвридику, он ее все время теребил: не опоздай, не опоздай, она побежала на красный свет и попала под машину, а он с тех пор повернулся на этом и спасает Эвридик...

Я поспешно прикусил жальце своему скепису: любая циничная мыслишка могла погубить Ирку окончательно.

Перед величавой венецианской аркой я выжидательно замер: мой покровитель выслал мне навстречу католического епископа в черном облачении и черной митре. Епископ опустил митру на лицо и отвернулся к стене, исторгнув из нее каскад сверкающих искр.

Это был сварщик. Пока я стоял, отдавая должное остроумию постановщика, меня обогнал на ксилофонных каблуках бравый крепыш в короткой черной курточке. Он еще и раскачивался по-морскому от собственной лихости, а руки как бы от избытка мускулов держал на растопырку — у нас на Паро-

возной некоторые пацаны даже бинтовали руки подмышками, чтоб они так держались.

Я потянулся за его ксилофонным перестуком, но куда!.. Я еще только вошел в подъезд, а его каблуки уже проксилофонили где-то в вышине и были разом прихлопнуты громовым ударом двери.

Как я и предчувствовал, именно эта дверь и была мне нужна. Крепыш открыл мне уже без курточки, но в чем-то таком же энергичном, как бы флотском и выжидательно вперился мне в глаза, снизу вверх, но как бы сверху вниз.

— Простите, пожалуйста, я из телефонной компании, мы проверяем качество связи. Можно, я войду? Спасибо. У вас телефон хорошо работает?

— Хорошо... Лучше бы не работал. А то она трендит по нему целыми вечерами, — крепыш, будто старому приятелю, указал мне на выглянувшую из комнаты супругу в зеленом, как весенняя травка, халатике. Супруга была беленькая, миленькая, похожая на кошечку с вышивки.

— Значит на связь жалоб нет. А то сейчас появились такие помехи — ты говоришь «здравствуйте», а телефон тебя посылает на три буквы.

Крепыш радостно расхохотался:

— Вот бы нам такой! Ты звонишь Зинке: Зиночка, добрый вечер! — он постарался придать самое слащавое выражение своей скуластой курносой физиономии. — А она тебе в ответ: пошла на х...!

Последние слова он произнес рыкающим басом и без купюр. Кошечка скрылась, а крепыш без церемоний принялся растегивать молнию на моей куртке:

— Пойдем посидим, у меня есть.

— У меня тоже есть.

Кухня была просторная и вполне благоустроенная. К ветчине и крошечным, словно пупырчатые мизинчики, огурчикам Толик выставил бутылку «путинки», а я фляжку Орфея, которую Толик тут же принялся недоверчиво и ревниво разглядывать своими глубоко сидящими, синими, будто у младенца, глазами.

— Это где так отфрезеровали?

— Это старая работа, сейчас так не умеют.

— Почему не умеют? — он был явно уязвлен. — Если б нас не подгоняли: быстрее, быстрее — мы б тоже делали не хуже. А то и получше. Ну что, вздрогнули?

— Давай лучше с моей начнем, пока вкус не притупился. У меня выдержанное, импортное. Не-не, не паленое, прямо из бочки в Греции брали.

— Слабовато... Но забирает, ничего не скажу.

— Так а я про что? Напиток богов. Греческих. А они в этом толк знали — в вине, в женщинах... Кстати, у тебя жена на редкость красивая, — вдруг само собой вырвалось у меня. — Только ты это, не обижайся, я от души...

— Да чего тут обижаться, — польщенно улыбнулся Толик, — я сам знаю, что красивая.

— И ужасно любит тебя, прямо в глаза бросается. Хотя я уже заранее знал. Мы ведь, когда проверяем связь, подключаемся к разным разговорам... Нет-нет, ты не думай, если какие-то секреты, мы сразу отключаемся... И бабы обычно мужиков ругают, а твоя всегда только хвалит. Какой ты красивый, храбрый, добрый...

— Еще б не добрый! Другой бы за ее трендеж уже давно бы этим телефоном по голове отоварил. Знаешь, что больше всего достает? Она уже кончает — ну, все, до свидания, спокойной ночи, и уже начинает со стула вставать, — Толик привстал, стараясь изобразить свою Эвридику со злостью, но изобразил с нежностью, — и вдруг опять: ой, правда?.. — и Толик опустил обратно на стул совсем разнеженно.

— Ты не понимаешь, ей же хочется похвастаться перед подругами своим счастьем, это ж женщина, нам мужикам не понять...

— Да нет, я понимаю, — Толик уже не пытался скрыть счастливой улыбки. — Но не каждый же вечер!

— А ей нужно каждый. Она все еще не может поверить своему счастью, что ты ей достался. Если б моя так про меня разливалась, я бы каждый вечер ей сам номера набирал, — я не сдержал горького вздоха. — Ладно, давай теперь твоей светленькой, покрепче чего-нибудь хочется.

К газовой плите проскользнула беззвучная старушка, затрещала гусиным клювом электрического зажигателя, но тут же, воровато оглянувшись, попыталась ускользнуть.

— Куда вы, Елизавета Потаповна, оставайтесь, оставайтесь, — гостеприимно захлопотал Толик, но старушка лишь что-то пискнула и растаяла.

— Видишь, какая хрень получается, — искательно улыбнулся Толик. — Когда мы въехали, она все время Галку пресовала — не так ходишь, не туда кладешь, а я набрал полную ванну холодной воды, зазвал ее и говорю: или мы будем жить нормально, или вы будете жить на улице.

— А воду зачем набрал?

— А чтоб она подумала, что я ее топить собираюсь. Теперь самому неудобно...

— Ладно, я тогда пойду. Можно я с твоей женой попрощаюсь?

— Даже нужно.

Когда мы вошли, кошечка с вышивки дернулась было сунуть руку с телефонной трубкой под журнальный столик, на котором стоял телефонный аппарат, но Толик сделал великодушный благословляющий жест:

— Тренди, тренди, гость попрощаться зашел.

— А если подруги уж очень достанут, ты сделай как я, — уже натягивая в прихожей куртку, напоследок напутствовал я Толика. — Я их начал зазывать в гости и за ними приударять. Вечер за одной, потом вечер за другой. На жену ноль внимания, а только им подливаю, ставлю музыку, приглашаю, потом иду провожать... За три сеанса как отрезало, уже года два ни одной не видать.

— Ну ты даешь... — Толик взглянул на меня из своих норок яркими младенческими глазами с некоторой даже тревогой — видно, не ждал от меня такого коварства.

* * *

На следующую операцию я направился уже без огонька, с ощущением некоторой рутинности и даже известной причастности к той язве, от которой мне требовалось исцелить вторую

Эвридику. Ибо в неприступную крепость телесериалов года два назад удалось проникнуть моему приятелю-стенгазетчику, хорошо приподнявшемуся на женских романах, которые за тюремную пайку ему намолачивали бесприютные гуманитарные девушки и тетушки под псевдонимами Джен Айрис, Айрис Вирджен и Вирджен Вольф, эротические сцены списывая друг у друга, а сюжеты черпая в собственных одиноких грезах. Однако на выделенной ему жиле почему-то дозволялось развлекать только занудством. Сам он по-прежнему ничего не продуцировал, но лишь продюсировал, иногда полшутки ради позванивая мне в поисках новых сюжетных ходов: «Как ты думаешь, что мне сделать с Лерой и Дашей?» — «Лера пусть делается сто второй женой султана Брунея, а Даша поставит об этом сериал», — отвечал я, но бывший стенгазетчик никогда не соглашался: «Нет, это будет гротеск, а нам надо, чтоб было скучно, как в жизни. А что делать с Ириной и Лобановым?» — «Пусть Ирина станет шахидкой, а Лобанов вампиром». — «Нет, это будет уже мистический триллер, а мне надо, чтоб было все как у всех».

Ему я и позвонил, томясь, насколько позволяла моя мобилизованность, стыдом перед не то что забытой, а почти незамеченной мною бабушкой.

— Есть идея — давай сделаем сериал про мою бабушку. Про ее жизнь.

— А что у нее было такого особенного?

— То-то и хорошо, что ничего особенного — все как у всех. В двадцать первом изнасиловали дочку и сожгли дом, в тридцать втором сын и дочка, уже другая, умерли от голода. В войну один сын пропал без вести, другого убили, один внук спился, другого посадили, припаяли червонец... Ну и муж регулярно запивал, все семейство разбегалось кто куда... В общем, то что надо, сплошная рутинка.

— Нет, это тоже не годится, надо, чтоб героев было не жалко.

Ну и чем же я буду пленять убогую, которая способна интересоваться чужой жизнью и при этом не жалеть?

Я намеревался вновь выдать себя за представителя телевизионной компании: «Как работает телевизор?» — «Да

лучше бы не работал — давно собираюсь утюгом в него запустить!» — «А в чем дело? Помехи? Бывает такой фабричный дефект: герои сериалов выходят из ящика и поселяются в доме, не дают хозяевам жить». — «Во-во», — и так далее. Но от хозяев ординарнейшей хрущевки сразу дохнуло такой унылой скукой, что мой певческий дар увял еще в носоглотке.

Чтобы воспеть, надо влюбиться, а как влюбишься в длинный кляузный нос и жиденькие крашенные кудерьки немолодой гипертонической супруги, в словно бы намокшую от слез бороду геморроидального супруга, — придающую ему, впрочем, хоть сколько-то бодрящее сходство с водяным. У них и от книг веяло скукой (я только тут сообразил, что у Толика не видел ни единой).

Но я, притворившись, будто сморкаюсь, на мгновение закрыл глаза и вслушался. И услышал.

Супруг уже целые десятилетия размышляет, как нам обустроить Россию, и, начавши от истоков, никак не может опуститься до устья — все разбирается с полянами, древлянами, северянами и радимичами, с варягами, половцами, хазарами и монголами, с византийством, славянством, иудейством, язычеством, евразийством, атлантизмом... Супруга же глубоко чтит в нем великого мыслителя и ни разу за сорок три года не решилась войти в его кабинет без стука, и детей начала приучать к такому же почтению — «тс-с, папа работает!..» — едва ли не раньше, чем к горшку. Она шла по пустыне за этим Моисеем сорок лет и наконец оказалась в пустыне еще более безжизненной. Ей наконец стало ясно, что мир так и не признает гений ее кумира, а нормальная женская жизнь ее, и прежде до крайности скудная, теперь иссякла окончательно: дети, в свое время очень охотно покинувшие отчий дом — храм одного божества, — наносили только редкие вымученные визиты, а подросших внуков и вообще удавалось загнать лишь на самые священные торжества — дни рождения Дедушки.

Она и не заметила, как встречи с жизнерадостными разведенками Лерой и Дашей, обменивающимися рецептами витаминного салата и комплексами упражнений против живота, сделались единственными ожидаемыми ее радостями, а слад-

кими тревогами — причудливые отношения Лобанова с Ириной, в которых она и сама уже не знала, кому сочувствовать — Ирине или лобановской жене Лидии Аркадьевне, которая, похоже, всерьез решила уехать в Канаду. Хотя так тоже нельзя — надо же и о дочери подумать, она ведь ужасно привязана и к отцу, и к матери (везет же некоторым!), да и сам Лобанов не настолько уж и виноват: если бы Лидия Аркадьевна принимала его работу так близко к сердцу, как это полагается в хорошей семье, то его бы и не потянуло к Ирине, вот сама она всегда жила делами мужа, его никогда никуда налево и не тянуло...

Зато от мужа не укрылось, что единственную жрицу его культа тянет куда-то прочь, и это стало для него самым настоящим душевным потрясением — для косноязычного Орфея, сумевшего из целого мира околдовать одну только глуповатую Эвридику. И теперь единственная ниточка, еще связывающая его с жизнью, грозила оборваться...

Когда я их услышал, я тут же сумел и увидеть их, какими они были друг для друга — отгороженный от всего мирского паренек с Электровозной, сжигаемый жаждой какой-то неведомой правды, и девочка с мордочкой доверчивой лисички, мечтающая на своей Тридцать второй Красноармейской посвятить жизнь неведомому герою, нестигаемому и бескорыстному...

И во мне послушным эхом тут же отозвалась нужная песня. Я поведал супругам о том, что наша компания жаждет припасть к источнику семейного сериала, в котором бы предстал какой-то из ликов России. Бывают такие выдающиеся семейства, в которых, как в капле росы (я знал, что этот образ — капля росы — покажется им особенно красивым), отражается вся история народа — и его подвигов, и его... Я хотел сказать: злодеяний, но вовремя успел отозваться их уже напрягшейся настороженности и произнес: несчастий — злодейства пусть творят наши враги. И вот, из десяти миллионов вариантов компьютер — главное, компьютер, он никогда не ошибается! — выбрал именно их семью. И теперь мы крайне нуждаемся в их помощи: нужно собрать как можно больше фактов, даже самых мелких — в искусстве нет мелочей! — из жизни их родственников, даже самых далеких, — в истории близки все!

Я излагаю так сухо и сжато, чтобы не пытаться пересказывать песню — все равно только испортишь. Главное, когда ко мне вновь вернулось зрение, супругов было уже не узнать — она казалась веселой рыженькой лисичкой-сестричкой из сказочного мультика, а он из унылого водяного обернулся вдохновенным лешим.

И когда мы прощались за руку, мне в ладонь уперся его скрюченный безымянный палец, острый, словно коготь.

* * *

Улицу генерала Федякина городские власти хранили в неприкосновенности для музея блокады — черные дома, обведенные вокруг угасших, но еще что-то выдыхающих окон жирным барашковым инеем, подтекали скупыми слезами от дыхания Балтики, клубившегося по узкой, непроезжей из-за снежных брустверов улочке холодным взбаламученным туманом — ледяная парилка Деда Мороза. Бомжатник легко распознавался по самому мясистому инеевому хомуту под наброшенным на здание ради имитации ремонта маскировочным неводом. Вокруг дыры в непроглядную пещеру приюта для бездомных медленно, будто водолазы, бродили его обитатели, обряженные во все такое же пухлое, как они сами, а наиболее обессилевший, на коем я опознал свой китайский пуховик, превратившийся за эти годы из блекло-салатного в черный и пушистый, сидел у стены, уронив на колени голову в солдатской тряпочной шапке, из-под которой перли упрямые седые космы моего таинственного спутника из двух ночных поездов.

Я выбрал наименее деградировавшего из водолазов, облеченного в жирную лоснящуюся дубленку с чужого плеча, и спросил, как мне найти Артиста.

— А, Артист... Он там, внутри, его Алевтинка-сучка не выгоняет, в тепле отсиживается, — серебряная щетина своим божественным мерцанием заслоняла даже лиловую одутловатость, но сиплого голоса заглушить не могла.

— А вы почему в тепло не идете? — меня больше беспокоил мой таинственный спутник, отключившийся у стены.

Если, конечно, это был он.

— Санитарный час. Считается, клопов морит. А сама отдыхает. Алевтинка-сучка. Постучись, городских она иногда пускает, — он сипел беззлобно: что поделаешь, раз мир так устроен.

Пещерный мрак дышал затхлостью, но я, задержав дыхание и включив в мобильном телефоне его маленький, как светлячок, но довольно пробивной фонарик, отыскал отливающую вороновым крылом стальную дверь и постучал по ней домашним ключом. Раздалась звонкая песнь металла, которой никто не откликнулся. Я постучал еще раз и, с приличествующими почтительными паузами, еще много, много раз, покуда мне не ответил свирепый женский рык:

— Какого херра?

— Херра Артиста, — почтительно прокричал я, мучительно ощущая крайнюю неуместность взявшей меня за горло сиповатости — с нею мне никак было не изобразить джентльмена.

Имя Артиста открывало и железные двери — мне в лицо ударило теплом и светом. И даже уютом — уже и столь краткий карантин в пещере резко снизил мои требования к миру. Я шагнул через порог и оказался в кубрике. Нет, в казарме, но уходящие вдаль казенно поблескивающие двухэтажные койки не перевешивали капитанского зыка встретившей меня морячки, еще отдающей по мобильнику последние команды: «Не надо нас грузить! Пусть выплывает сам!» Ее пышные тела облегла сухопутная тельняшка с блеклыми полосами чуть пошире, чем у нормальной, матросской, но под ней угадывались роскошные татуировки, сплетения якорей с русалками. И жесткие волосы ее, крашенные, похоже, сапожной ваксой, ниспадали на пышные плечи жесткой, но все-таки отчасти русалочьей волной. Даже тесный янтарный поясок на упитанной шее отдавал тельняшкой — полоска темная, полоска молочная, темная, молочная...

— Здравствуйте, мне Артист назначил встречу, — словно сигнал SOS, послал я ей заветное имя, чувствуя, что лишь оно может послужить мне спасательным кругом.

И сработало — выражение непримиримости стекло с ее мясистой физиономии с такой волшебной быстротой, слов-

но рыночная торговка увидела перед собою санитарного инспектора.

— Сейчас я вас к нему провожу, — и, обметая сизый линолеум черными суконными клешами, зашагала в перевалку меж по-казарменному обтянутыми чем-то серым железнодорожными койками до тусклого железнодорожного титана, у которого над трехлитровой банкой с огромным кипятильником внутри (титан очевидно не работал) печально стыл мой ночной гость, воззrivшийся на мерцающие сугробы за окном. Мы вновь оказались в зимнем поезде, которому теперь уже никогда было не выбраться из снегов.

Орфей сидел в застиранной до серой голубизны растянутой майке, из-под которой меж сильных, словно прогибающиеся крылья, лопаток синели две церковные луковки с православными крестами. Руки, плечи принадлежали подзаплывшему, но сильному мужчине, а волосы — да, златовласому юноше: такую могучую волну мне приходилось видеть лишь в рекламе шампуней, а серебряные нити были добавлены только для отвода глаз. Как и кресты, понял я, — чтоб не слишком выделяться.

— К вам пришли, — робко обратилась к нему морячка, и он обратил нам от снегов лицо печального, но всеприемлющего восточного божка.

— Благодарю, — своим полнзвучным голосом одарил он надзирательницу, проникновенно, как король в изгнании благодарил бы сохранившего ему верность оруженосца.

— Ну, я не буду вам мешать, — оруженосица подвинула мне трубчатый стул почти подобострастным жестом и поспешила прочь по вагонному коридору чуть кокетливой семенящей походкой юной влюбленной провинциалки.

Я откашлялся, чтобы не ронять свой облик сипением, но Орфей меня опередил:

— Не надрывай связки, я все равно слышу твой настоящий голос.

— Прямо как сифилитик, — смущенно пожаловался я. — Хоть бы уж была... Мужественная трещинка, что ли. Как у Высоцкого. Как он вам, кстати?

— Неплохо. Душа, прорвавшаяся сквозь материю, изуродованная, но еще прекрасная. Только всего прекраснее душа, не ведающая о материи.

— А... А вы бы не спели?... Сами... Хотя вполголоса. Если, конечно...

— Спой, светик, не стыдись? И прилегли стада? Сегодня и стада другие. Пение Орфея вам вообще не показалось бы музыкой. Сегодняшние стада отбирают в любимцы только безголосых кривляк. Меня бы расслышали, может быть, десять душ. Это совсем не мало, это очень много, ради этого стоит петь. Но мне без Эвридики больше не поется. Для других. Хотя в душе я все время пою.

Я не решился сказать, что хорошо его понимаю. Потому что мне наоборот пелось только для других. А оказавшись наедине с самим собой, я не решался хоть глазком глянуть в Иркину спальню: ее смятая постель отняла бы мой голос окончательно, я не сумел бы им приманить и бродячего пса, если бы даже тянул к нему руку с полукольцом ароматной копченой колбасы. Все, на что я решался, — побродить по просторному супермаркету «Перекресток», походами в который она когда-то мне досаждала: словно жизнерадостный щенок, она должна была все обнюхать, прежде чем двинуться дальше. Тоску по досаде я еще мог выдержать.

Я подождал, не добавит ли он что-нибудь, но мой собеседник так засмотрелся на городские снега, что я почувствовал опасение, не забыл ли он обо мне. Я старался не смотреть на его тюремную луковичную татуировку, однако, невольно скосив глаза, без особого удивления обнаружил, что ее больше нет. Я хотел откашляться, но вспомнил, что притворяться здесь не нужно, и заговорил как умел.

— Так я хочу отчита... Рассказать о своих...

— Да, успехи неплохие. Не каждый бы справился. В Толике ты пробудил тщеславие, в его жене жадность собственности — этим можно скрепить их союз. Но союз невысокого разбора. Высокий союз рождается тогда, когда любящие живут пред ликом смерти, каждую минуту помнят, что им предстоит потерять друг друга. А потому дорожат каждым

мгновением и прощают друг другу все, как мы прощаем умерших.

— Но это же убьет всякую радость?..

— Не убьет. Обострит. Потому что любящие на самом доньшке души все равно будут верить, что они бессмертны. Любовь и есть вызов, брошенный смерти. Отчаяние придет только тогда, когда один из них и впрямь покинет другого. Но оставшийся сумеет это перенести, потому что он сразу же начнет складывать песню об их великой любви. Она будет звучать лишь в его собственной душе и все-таки станет утешать его, как может утешить только песня.

— И... И вас она утешает?

— Да. Только поэтому я и не могу отправиться к моей Эвридике. Песня не может умереть, если даже сама того возжелает. Она по своей природе тоже перчатка, брошенная смерти.

— А у нас пишут, что вас растерзали вакханки. За то, что вы вроде бы отказали им во внимании, что-то вроде того.

— Это придумали мои безголосые завистники. Чтобы убедить себя, что для женщин секс важнее, чем песня. Или верность, даже чужая. Но вернемся ко второму моему уроку. Когда ты пытался внушить этим жалким супругам, что их жизнь достойна воспевания ничуть не менее, чем жизнь героев и героинь убогого сериала, ты действовал совершенно правильно. Ты уже до нашей встречи открыл, что каждый человек, сам того не зная, жаждет быть воспетым. И ты им подарил эту надежду, и они еще очень долго будут воспевать себя своими слабенькими дребезжащими голосами. Но ты бы мог дать им гораздо больше — указать, что все они участвовали в грандиозных исторических событиях, а тоска по грандиозности — еще более неутоленная жажда твоих современников. И даже твоя, как ни заглушала ее любовь к твоей возлюбленной. Но она была такой солнечной, что заставила тебя забыть: жизнь великая трагедия, а не сентиментальная сказка. И твоя любимая почувствовала это раньше тебя. Существование, в котором великая борьба за жизненное предназначение оттеснилась жалкой грызней за достаток, невыносима для высоких душ.

— Я что-то в этом роде и сам почувствовал. Иногда и мне хотелось чем-то взбодриться, что-то заглушить, но я же держался?..

— Ты привык бороться с соблазнами. А она никогда их не знала. Она из тех светлых душ, для которых желание и долг всегда совпадали. А когда они однажды разошлись, когда ей пришлось изо дня в день терпеть боль и отказываться от обезболивающего, она в конце концов не выдержала. У нее не было никакого опыта бесцельного страдания.

Певец не позволил мне долго проникаться этим, как я почувствовал, не столь уж неожиданным для меня открытием и вернулся к повелительному тону.

— Но мы отвлеклись. Перейдем к последнему, самому трудному случаю.

.....
— Я понял, — наконец сумел очнуться я, понимая, что ничего еще не понял.

— Ничего, потом поймешь, — проникновенно улыбнулся чародей и, забыв обо мне, вновь устремил застывший взор в потемневшие снега.

Церковные луковки снова вынырнули из-под серо-голубой майки, и я только тогда решился спросить:

— Скажите, а вы не являлись мне когда-то в ночном поезде? Даже дважды...

— Мне не обязательно всюду являться самому, — последовал холодный ответ через плечо. — Имеющий уши расслышит меня и в старческом кашле.

Я пристыженно откланялся.

Морячка по-прежнему энергично мела свой капитанский мостик суконными клешами, и даже мобильный ее телефон отдавал все те же команды: «А я тебе говорю: не надо нас грузить!»

Однако, увидав меня, Алевтинка сразу же разнежилась:

— Ну, что, поговорили? — и окончательно умилилась: — С ним поговоришь — как будто к маме на могилку сходила.

— Там у выхода, один гражданин сидит — как бы не замерз, — дружески поделился я с нею, и она было сдвинула

наваксенные шерстяные ниточки бровей, но привычный рык застрял у нее в широкой налитой шее, удержанный янтарным пояском.

Она вышла вместе со мной на потемневшую улочку генерала Федякина и, не обращая внимания на клубы ледяного пара, склонилась к моему ночному спутнику:

— Ты это... Можешь заходить.

Тряпочная шапка не шелохнулась. Я просунул руку подмышку своего пуховика, морячка, поколебавшись, просунула под другую, и мы поволокли несчастного в пещеру, а потом в застывший в снегах вагон. Ногами он все-таки перебирал.

Пока доволокли, у меня свело судорогой бицепс, и я уже был рад свалить бедолагу на первую попавшуюся шконку. Лицо его сплошь заросло диким седым волосом, как у тех волосатых людей, которыми когда-то в исчезнувшей жизни любовалась Ирка. Поэтому разглядеть его мне так и не удалось. Да и не мог это быть он — не похоже, чтоб он был из породы долгожителей.

* * *

Эхо прослушанного мною повествования начало нарастать во мне лишь на улице. Только я не сразу это заметил, ибо рассказ Орфея пробудил во мне какой-то новый слух. Я брел по снежному пуху безвестных переулков, по которым не ступала нога человека, и слышал скрежет и хруст снежинок, как будто это были ледовые торосы. А под снегом в голосе асфальта я различал грозное молчание подземных битумных озер, в хоре подснежных песчинок завывание ветра и шум прибоя, в скрытых от глаза диабазовых подсолнухах яростное клокотание магмы, а обнаженный ветром гранит Фонтанки встретил меня цокотом конских подков. Я уже начал тревожиться, что это вначале восхитительное, а затем уже и утомительное звучание мира не оставит меня и в собственных стенах, и, напрягшись, расслышал скрип навалившихся друг на друга сосен в столешнице моего кухонного стола.

Мне стало страшно, что этак я наверняка провалю последнее задание Орфея: слышать все, значит не слышать никого.

Но, к счастью, нарастающее внутреннее эхо, откликающееся чужой тоске, в конце концов оттеснило давящий снежно-каменный хор.

Сначала эхо принялось возводить свой воздушный замок из привычных блоков: простой честный парень влюбляется в невыносимое существо — в женщину с исканиями, взявшую от обоих полов самое худшее: от мужчин апломб, от женщин капризность — что хочу, то и правильно. Первым из прошлого откликнулся Сережка Кашаев: то он понуро томился в коридоре у чертога своей повелительницы Марьяны Горобец, то влачился за нею, похожей на встрепанного грачонка, надменно вскинувшего слишком большой для ее субтильной фигурки носище, — рядом с нею и сам невысокий Сережка казался крупным и плечистым, а его подсвернутый набок нос почти аристократическим... Теперь я еще и расслышал его одышливое дыхание — череду безнадежных вздохов, его старческое шарканье, как будто он брел не в туфлях, а в растоптанных домашних тапочках. И о том, что он наглотался иголок, я только слышал, а как его увозили, видела одна лишь Марьяна: к пяти утра в общаге унимались и самые неугомонные. Потом до меня донеслось, что они поженились, и в следующий раз я встретил его лет через десять в морозной вечерней электричке.

Мне помешала узнать его не дворянжъя шапка с опущенными ушами и даже не чеховская борода, но выражение полного приятия вселенной. И обрадовался он нашей встрече раз в тридцать сильнее, чем требовало наше отдаленное знакомство, — он просто сиял, ничуть не смущаясь отсутствием пары-тройки зубов.

Он живет в Комарово, то есть не в самом Комарово, нужно еще пилить сорок минут на автобусе, но это ничего, если топят, хотя если не топят, тоже ничего, дома своя печка, если с осени напилить да наколоть дров, вообще рай. Дом свой, то есть жены, жена умница, на шесть лет старше, три ее девочки ему как родные, я сам все увижу, когда приеду, тут главное не попасть на отмену автобусов, тогда можно прождать часа два, но зато жена так меня примет! У них все свое: картошка в подполе, квашеная капуста, брусника, грибы, все сами собирали,

он теперь даже не хочет в город переезжать... Он, правда, по дочке скучает, но все равно бы он не смог с нею видаться — «ведь ты же Марьяну знаешь...»

При имени Марьяны по его сияющему лицу чеховского интеллигента с подсквернутым носом пробежала тень ужаса и тоски, но через мгновение он снова был само жизнепринятие: приезжай, жена, все свое, девочки воспитанные, на собаку не обращай внимания, она только кидается, но укусить не укусит...

Мороза ли ему бояться или каких-то жалких собак после надменного грачонка!

Марьяна позвонила мне на пике митингов, как нам обустроить Россию. Держалась она повелительно: она слышала, что у меня имеется кое-какой дар слова, а у нее есть идеи — вот она и будет снабжать меня идеями, а я их буду проповедовать перед народом, — у нее самой слишком большая харизма, это ей и на работе всегда мешало, начальство, особенно женщины, сразу понимали, что они ей в подметки не годятся, и начинали строить козни, а у вот меня харизма невидненькая, мне никто завидовать не станет...

Другая гениальная женщина, откликнувшаяся на призыв Орфея, была художница, умевшая вырезать из рокошущей шепотом черной бумаги действительно забавные фигурки, тронутые легким безумием. Она пыталась склонить меня к любовным утехам, когда ее муж писал диссертацию в соседней комнате: «Не бойся, он ни за что ко мне не войдет!», — страстно шептала она, однако я бы не только не стал подвергать столь чудовищному надругательству даже и незнакомого человека, но и вообще, с тех пор как я обрел Ирку, считал подобные развлечения такой же нелепостью, как если бы кошка, которой я в сентиментальную минутку полюбовался или погладил, начала тащить меня в постель.

А повелительница нашего альпиниста была всего лишь томной: Виталик, подай это, Виталик, подай то... Виталик, член сборной по альпинизму, со своим стетоскопом покоривший и прослушавший все заоблачные вершины, во время отпусков валил лес на Северах, чтобы купить своей

повелительнице шубу. Не только женская, но и мужская половина нашей лаборатории исходила желчью, слушая, как он чеканит в трубку: «О цене не думай! Я заработаю!» Нас бы это так не раздражало, если бы она использовала его лишь на героических поприщах, для которых он был рожден — двухметровый нордический атлет с античным профилем, который лишь слегка искажался вытянутым кончиком носа, за который его водила супруга, — но она его гоняла по таким прихотям, по которым передовая барыня не стала бы утруждать и лакея.

Помню, во время конференции «Звучащая раковина» в жаркой Одессе (чернильные пятна раздавленной шелковицы на тенистом асфальте, мальчишка, гнавший по ракушечной лестнице арбуз вместо футбольного мяча) мы млеем на раскаленном пляже Аркадия, и обмахивающаяся соломенной шляпой королева томно просит своего пажка: «Виталик, сходи за мороженым». Мороженого на пляже нет, но Виталик отвечает: «Есть!», — одевается и широким мужественным шагом отправляется по жарнице в город. Через полчаса, отмахав три километра по расплавленному асфальту, он возвращается с подтаявшим мороженым, однако властительница впадает в еще большую стенающую томность: «Виталик, это же ванильный пломбир, а я хотела крем-брюле!» «Будет сделано!» — щелкает каблуками Виталик и еще более мужественным шагом отмахивает по расплавленному асфальту новые три километра.

Разумеется, я бы тоже прошел шесть километров по жаре, если бы Ирка меня попросила, но в том-то и дело, что это была бы уже не Ирка, она всегда стремилась больше отдать, чем взять, и когда я лет через пять после ухода нашего альпиниста в свободное плавание встретил его царицу в буфете Публичной библиотеки, то был слегка раздосадован: придется как-то вписываться в ее томность. Однако она была уже не томной, а скорбной: «Виталик оказался подлецом». Как, с надеждой вскричал я, он же вас так любил! «Все это была маска. Под которой скрывался развратник. Вы представляете, он докатился до продавщиц, до парикмахерш!» Какой ужас, невозможно было представить, радостно сокрушался я: хоть отведаст бедный покоритель гор простого человеческого счастья!

Правда, когда я его встретил на Мойке, со сверкающей американской улыбкой преуспевающего черепа спускающегося из сверкающей черной машины... опять забыл, как они называются, «кроссинговер», не «кроссинговер»... я пожалел, что он уже не альпинист на побегушках, а крутой мэн, владелец собственной подслушивающей фирмы: о нашем общем прошлом он отзывался как о потешной нелепости — какие же мы были дураки, чем занимались, что ели!

Мужественно шагая по расплавленному асфальту с подтаявшим крем-брюле для своей богини, он был куда симпатичнее... И мой последний страдалец, полюбивший женщину с исканиями, был тоже — теперь я это хорошо расслышал! — отнюдь не прост, но очень даже сложен, если сумел откликнуться таким порывам, которые представились бы всего лишь истерическими вывертами душе попроще.

Даже моей собственной еще минуту назад. Но сейчас она наконец-то сумела откликнуться чему-то новому, незатасканному — столкновению туманной грезы о выси с безоглядным стремлением ввысь.

* * *

Рослый крепкий парень с Первой Рессорной отличается от дружков простительным чудачеством — годами одну за другой проглатывает книги из деповской библиотеки, так что библиотекарша сначала не верит, что можно читать столь быстро, и заставляет его пересказывать даже те книжки, которые и сама не читала. Глотает он, разумеется, всякую белиберду, но в белиберде-то как раз и можно набраться вдесятеро больше благородных чувств, чем в полном собрании Чехова и Пруста. Одна только серия «Подвиг»...

Но у Андрея все-таки хватает ума не обнаруживать свои возвышенные грезы в низких буднях, а только готовить себя к будущему миру, которому нужно было явить себя не только высоким, но и красивым. Он так упорно ходит на бокс при ДК «Железнодорожник», что его даже посылают на область, где он выколачивает третье место и первый разряд в более чем среднем весе.

А затем поступает в мурманскую мореходку: путь в высший мир пролегал через шторма и заморские страны. И в этом высоком мире на высоком берегу его будет ждать какая-то неземная девушка, неясная, но прекрасная.

Девушки его отнюдь не обходили, да и он их не чурался — в нелепой надежде каким-то чудом отыскать среди них ту, неземную, — ну, и еще не хотелось прослыть чокнутым. Не говоря уже, что просто хотелось, и Андрей не видел причин отказывать своему сильному телу — в будущий высокий мир он должен был вступить бывалым во всех отношениях, в этом, он понимал, и будет заключаться его единственный козырь. Что вот только плохо у него получалось — ему было легче переспать, чем поцеловать: в койке он ничего не обещал, а поцелуи, казалось, обещают неизмеримо больше того, чем они с партнершей намеревались друг с дружкой поделиться.

Когда он после пробного рейса в лихой моряцкой форме вышел прогуляться по мурманской увеселительной стометровке, из какого-то палисадничка его окликнула разлегшаяся там пьяная баба и принялась зазывать нескладными русалочьими жестами, надолго ввергнувшими его во мрак: да неужели же он так жалок, что она считает его способным ею заинтересоваться?.. Вот и после нормальных девок в нем каждый раз пробуждался отголосок той первой тоски.

Однажды он даже решил поделиться со своим наставником, выдавшим и заграничные виды морским волком. Старый морской волк понял его по-своему: да, мол, что верно, то верно, за бугром бляди чистые, культурные, а у нас обязательно обоссанные...

Он безнадежно скривился. Был у него случай в Вальпараисо, еще при совке — он был уже «дедом», старшим механиком: тогда на берег выпускали только по трое — один ответственный, он, дед, он был и годами постарше, и двое безответственных. И эти козлы увидели блядужник и вцепились: зайдем да зайдем, сбросим давление, подлечимся от спермотоксикоза, сколько можно идти на ручных насосах! Он им: да вы что, визу закروют, партбилет отымут, а они: да кто узнает, да мы мигом, ну, раз ты ссышь, так подежурь у дверей, мимо

тебя не проскочим, — он и сдался. Стоит на вахте, а их нет и нет. Он сунулся было внутрь: френдс, френдс!.. — а ему в ответ одно: тикет! Ну, купил он тикет на кровную валюту, входит — а эти козлы полуголые разлеглись среди таких же полуголых мулаток и уходить ни в какую: тут, оказывается, первый раз за полную цену, второй за половину, а дальше начинается полный коммунизм. И они как раз остановились на пороге коммунизма — кого ж из светлого будущего вытащишь! Он плюнул и решил дожидаться, пока они иссякнут, а тут какая-то мулаточка потащила его с собой — все равно типа уплочено. Он лег, и сразу как из брендспойта... Но она отнеслась очень сочувственно, как родная жена...

От этих рассказов о заморской любви Андрея брала совсем уже злая тоска.

На летней практике они шли из Охотска на Магадан, море холмилось зеркальной мертвой зыбью, а по палубе лениво прогуливались два милиционера, сопровождавшие подследственного для последней очной ставки. Стеречь его было незачем, бежать здесь было некуда. Так всем казалось, покуда подследственный не махнул за борт. И даже еще погреб в сторону Сахалина, до которого оставалось миль четыреста-пятьсот. Но пока троекратно давали три положенных долгих сигнала звонками и судовым свистком, пока давали «полный назад» и спускали шлюпку, человек за бортом, как записали в судовой журнал, перестал быть виден на поверхности моря.

Да если бы его и вытащили, все равно его было бы уже не спасти от переохлаждения. Даже самым надежным местным способом: растереть и завернуть в тесном объятии с кем-то тоже голым в три-четыре ватника.

Иногда и Андрея стала посещать безумная мысль, а не махнуть ли и ему за борт, ибо жизнь явно везла его не туда, куда ему мечталось.

Однажды после учебного похода на барке «Крузенштерн», в германском девичестве «Падуя», он сидел за стопариком совершенно не нужного ему коньяка в полупустом и полутемном питерском кафе на Моховой и томился по той нежной и высокой женской душе, с которой можно было бы поделиться му-

зыкой слов: рангоут, бушприт, фок-мачта, бизань-мачта, ватерштаг, румпель, фор-марсель, бом-брамсель, кливер-шкот, гаф-топсель, фор-стень-таксель, грот-брам-стень-таксель... Рассказать, что он совершенно не боится высоты и на рее чувствует себя так же уверенно, как на ринге. Что он теперь заглянул в око урагана, — за стеной ока беснуется осатаневший воздух, а ты можешь любоваться безоблачным небом среди сшибающихся волн.

А глаза его то и дело сами собой останавливались на изящной темноволосой девушке в легком голубом платье с большим вырезом, открывавшим хрупкие ключицы, невольно указывающие направление томившей его безысходной нежности. С нею за столиком сидели два волосатика, похоже, даже крашенные — уж очень один из них был бел, а другой рыж, — и оба нагло вато болтали с неземным видением, явно и не догадываясь, какое счастье им выпало.

Внезапно один из них, белый, оттянул ей вырез платья и громко спросил: «А ты почему сегодня без лифчика?» Еще даже не успев ничего осознать, Андрей шагнул к наглецу и хотел отвесить ему благородную пощечину, но по рессорско-боксерской привычке так засветил ему по скуле, что тот вместе со стулом с громом и скрежетом улетел под соседний столик, сдвинув даже и его примерно на полметра. Рыжий вскочил, но, встретившись с бешеными глазами Андрея и оценив его устремленную в бой внушительную морскую фигуру, бросился поднимать приятеля, пребывающего в нокдауне, — до Андрея донеслось: сумасшедший, сдурел, но в ту минуту он защищал не свою честь.

Буфетчица засвиристела в милицейский свисток, и хрупкая фея повлекла его прочь за рукав форменки: «Бегите, бегите, вас арестуют!..» «Визу закроют!» — вспомнил он уроки своего наставника, но если бы его не торопило это неземное создание, он бы спокойно зашагал прочь, уже привычно покачивая широкими плечами.

Защищенная им защитница повлекла его под арку в просторный сквер на Литейном, удивительно безмятежный и повесенному зеленый среди городского камня и асфальта, и там

на гнутой белой скамейке под мраморной вазой на гранитном постаменте объяснила ему, как он был неправ. «Вы напрасно так рассердились на Шурика, он просто входил в роль Дон Жуана, а я ему объясняла, что он ее неправильно понимает. Он играет короля дискотеки, а Дон Жуан — это поиск неземной высоты, которой не могут дать обычные женщины».

Андрей никогда не слышал подобных выражений и просто обмер, с такой ирреальной точностью они выражали его чувства, столько лет томившие его, не находя не только исхода, но даже нужных слов.

И вдруг они нашлись. И произнесла их именно та, по которой столько лет изнывало его сердце.

* * *

Я так хорошо расслышал эти слова, потому что мой слух был напрямую подключен к душе Андрея. Да я бы и без этого его понимал, мне Иркин мир тоже долго казался нездешним.

* * *

А нездешний мир его феи носил имя Институт театра и еще чего-то, столь же невероятного. Однако и там была своя хозчасть, своя обыкновенность. В Академию пробивались и никчемные красотки, думающие, что за длинные ноги им простят отсутствие таланта, и самовлюбленные нарциссы. Мало того, что при поступлении надо читать стихи и прозу, да еще и танцевать — могут вдруг предложить: а ну-ка, рассмешите нас! А теперь растрогайте! А теперь удивите!

Андрей только поражался, чего их туда несет, обычных людей, вроде него самого: никогда бы он никого не сумел ни рассмешить, ни растрогать, ни удивить. А ведь даже и при этом недостижимом таланте начинается муштра почище, чем на «Крузенштерне»! Учат так владеть своим телом, что позвонки трещат! Вытянутую ногу заставляют держать над зажигалкой, — Белла такого, правда, сама не видела, но ей рассказывали. Зато ей за талант прощали нехватку спортивной подготовки, она играла душой, а не телом, она голосом стремилась преодолеть тело, заставить зрителей забыть о нем.

И ее учитель, гениальный режиссер это понимал. Андрей однажды видел, как он выходил из машины — с огромным пузом и огромным носом, на котором восседали огромные очки, — Андрей осмотрел все эти атрибуты с таким благоговением, словно именно в них и заключался гений режиссера.

А потом тот вдруг, помимо голоса, заметил и ее тело, которое она так стремилась превзойти.

Андрей к тому времени — по особому приглашению, а не через нормальный крутинг — уже ходил под либерийским флагом третьим штурманом на балкере, по причине ветхости проданном Финляндией гамбургской компании, нанявшей в качестве сеньёров русских старпомов и стармехов, а в качестве матросни филиппков — филиппинцев, и получал больше двух тысяч евреев, из которых половину прозванивал в Питер, изнемогая не столько от ревности, сколько от тревоги за свою неземную возлюбленную.

Он не имел права на вульгарную ревность, чтобы не оквернить тот высокий мир, с которым ему каким-то чудом удалось прийти в соприкосновение. А главное, ее голос и впрямь заставлял его забыть обо всем земном — службу он только отбывал, добросовестно, но отбывал в ожидании той упоительной минуты, когда он услышит в Равенне, что гениальный режиссер вдруг открыл у нее сияющие глаза и теперь она должна играть глазами, а в Александрии обнаружит, что ей необходимо избавляться от зажатости, а в Гибралтаре скорее с изумлением, чем с ужасом расслышит в ее голосе отчаяние пополам с восторгом: мы не имеем права судить гениев, если он считает необходимым растоптать личность артиста, чтобы наполнить ее новым содержанием, значит так тому и следует быть, нужно довериться и отдаться...

Здешний мир был окончательно забыт ради нездешнего — Андрей уже не замечал ни штормов, ни штилей, ни муссонов, ни пассатов, ни рифов, ни гольфстримов — он жил лишь от голоса до голоса, а в памяти оставалась только грубая сталь подъемных кранов да потрескавшийся бетон причалов.

Перед Буэнос-Айресом они бесконечно ползли по Ла-Плате, а потом еще и стали колом на якоре, так что лишь чув-

ство долга перед товарищами не позволило ему пуститься вплавь на аварийном плотике. И его окатило не только ужасом, но и счастьем, когда в ее голосе вместе с отчаянием прозвучала радость: «Это ты?.. Как я рада тебя слышать!.. Я уже стояла на балконе и смотрела вниз — и тут ты меня позвал!»

Она больше никогда не переступит порога театра. Это мир тщеславия, зависти, пошлости, жестокости, где тебя только и стараются унижить...

— Это что, твой режиссер? Хочешь, я его убью? — он спрашивал совершенно серьезно, словно получал задание у старпома.

— Нет-нет, он гений, мы не вправе его судить, он должен питаться чужими судьбами, он иначе не умеет... Как я счастлива тебя слышать! Только твой голос мне снова открыл, что существует верность, существует любовь...

Сколько же она должна была перемучиться, чтобы усомниться в этих очевидностях! Он прямо обмер, когда увидел ее ссохшееся личико размером чуть ли не в кулачок.

И он отовсюду, откуда только мог, посылал ей свидетельства любви и верности — его голос говорил о них в тысячу раз яснее, чем его усилия зарабатывать как можно больше (он не боялся менять «шипы» и ходил уже старпомом на контейнеровозе): раз уж он не мог дать ей того высокого, без которого она задыхалась, то по крайней мере она должна была оставаться свободной от забот о низком, — свои труды он рассматривал как чрезвычайно снисходительное искупление собственной примитивности и толстокожести, он представлялся себе каким-то носорогом, до которого снизошла бабочка.

И разве имел право носорог судить бесконечно более воздушное и прелестное создание? В редкие нежные минуты, припав к его плечу, она лихорадочно шептала: какой ты сильный, какой ты благородный, любая женщина отдала бы полжизни за твою любовь, но для меня ты слишком мужчина, твои плечи, твои мускулы, твоя бычья шея — это так влекуще для всех, но только не для меня, для меня любовь должна быть преодолением пола, а в тебе все дышит мужским началом...

И Андрей благоговейно замирал, не смея даже и дышать.

Пожалуй, самыми счастливыми в его жизни были те минуты, когда он слышал ее голос в телефонной трубке и знал, что счастье и нежность в его голосе наконец-то пробиваются сквозь его носорожье мужское начало. И наслаждался тем, что далеко не всякий мужик (а, может, и никто!) принимал бы ее искания — нет, не с пониманием, не с его носорожьей шкурой было понять ее, — с верой, что никто во всем мире не достоин ее судить.

Он всегда воровато оглядывался, не слышит ли его часом кто из подчиненных, этак весь авторитет потеряешь, как после таких серенад станешь порывивать: «Нажирайтесь, хоть хрюкайте. Но на вахте должны быть как стекло». Да еще и догадаются, что он не для себя бережет каждый еврик: лучше считаться скопидомом, чем подкаблучником. Как-то в Дакаре капитан заказал горючки до Тулона, а фирма урезала, пожамотничала. И, как положено по закону бутерброда, сначала пришлось идти против сильного ветра, так что топливо почти все выжгли, когда на траверзе была еще только Барселона, а потом дожгли в трехдневном урагане. Капитан даже подал сигнал SOS, но берег по нынешним благородным законам запросил по контракту о помощи такие серьезные бабки, что пришлось ставить на голосование: платить придется из своего кармана. Струхнувший экипаж был уже согласен и раскошелиться, но Андрей так презрительно всех высмеял, что они готовы стали скорее лечь на грунт, чем оказать слабину. С тем их, когда улегся ветер, пара буксиров и доставила в Барселону. А пока они там ремонтировались, Андрей не побрезговал подработать по-черному простым подметалой.

* * *

Я тоже бывал ужасно горд, рассыпая перед Ирккой рублевки, полученные за черную работу, и чем чернее, тем лучше. Но мне случалось гордиться и кое-чем еще, а моему Андрею, похоже, кроме денег, было нечем прихвастнуть перед своей богиней.

Которая в каждом порту ввергала его в благоговейное изумление каким-то новым неземным устремлением.

Разочаровавшись миром театра, она пошла в добровольные помощники к православному психоаналитику Сосницкому, протягивавшему руку помощи тем несчастным, кто решался навеки погубить свою душу самоубийством. Злые языки говорили про него, что он пытается наложением рук исцелять тех, кто и без него хочет наложить на себя руки, но Белла всегда презирала сплетни завистников. Она считала, что у Сосницкого очень оригинальная собственная парадигма — православная синергетика, а кроме того, она была уверена, что именно ей удастся войти в духовный мир самоубийц, потому что она сама была в шаге от самоуничтожения. Андрей узнал об этом в Парамарибо. Те, кому не для чего жить, должны жить для других, повторяла она.

Может быть, нам завести ребенка, осторожно спросил Андрей, заранее зная, что вопрос его наивен и примитивен, и тут же убедился в этом. «Для меня важна в человеке только его душа, только то, что способно болеть без всякой причины, — с горечью ответила Белла. — А дети всегда веселы. Для меня главный голос души — это слово, а дети, даже умеющие говорить, любят твердить всякую бессмыслицу: бя-бя-бя, мя-мя-мя... Когда младенец «гулит», а мать умиляется — в этом есть что-то нечеловеческое, дочеловеческое...»

Больше Андрей на эту тему не заикался. Главное, чтобы его богиня наконец отыскала ту высоту, на которой ее сердце успокоится.

Но уже на Барбадосе она едва шевелила губами: Сосницкий сказал, что ее нельзя подпускать к самоубийцам, что она сама несет в себе тьму...

Андрей даже не рассердился: если человек — пускай не на солнце, пускай на луну говорит, что она несет тьму, значит он просто слепой.

— Нет, нет, я поняла, мне и правда нужно смирить гордыню в каком-нибудь монастыре.

Голос ее был совершенно стертým, почти раздавленным — какого смирения им еще было нужно?.. Но не носорогам рассуждать о бабочках. И Андрей сумел вынести ее молчание до самого Кейптауна.

Поскольку он числился и у последней шведской компании на очень хорошем счету, а со шведами работать было вообще одно удовольствие, ему легко предоставили отпуск по домашним обстоятельствам, тем более что он улетел бы домой в любом случае, он этого не скрывал.

Богиню он дома не застал, храм оказался пуст.

На видном месте лежал белый лист А4, на котором единственным в мире почерком было написано: «Я не могу жить в мире, где нет ничего подлинного. Не ищи меня, я сама дам о себе знать, когда придет срок».

Андрей перевел дыхание и опустил на диван, вполне надежный, как и все в этом доме с тех пор, как он в нем поселился, и тем не менее не заслуживающий имени подлинного. При всей недоступности для него той высоты, на которой пребывала она, в чем-то он ее понимал. Ему и самому портовые краны казались более подлинными, чем мобильные телефоны: своей грубо выкованной мощностью они как будто давали знать, что сколько ни тренди про хай-тек, в основе мира все равно остается перемещение громадных тяжестей. И обоссанные бляди с мурманской стометровки представлялись ему более подлинными, чем лощеные шлюхи на телеэкране. А сомалийские пираты более подлинными, чем банкиры. Он всегда пресекал — «Вы одни что ли жрать хотите?! Вы видели, как они живут?!» — мечтательные разговорчики, поднимавшиеся в команде все чаще по мере приближения к Африканскому Рогу, что хорошо бы-де всех этих черножопых повесить за яйца на козловом кране добрым людям в усладу. Хотя он не задумываясь перестрелял бы тех же пиратов из старого доброго К-47, если бы они попытались вскарабкаться к нему на борт, и его серьезно возмущало, что пиратам иметь оружие разрешается, а честным морякам нет. Иной раз он и вправду готов был согласиться с понимающими людьми, что законы пишутся либерастами для черножопых. Хотя и не понимал, чем он, собственно, хуже пирата в глазах пускай даже и либерастов.

Утешало его, что пиратские лодки издали выделялись на экране радара из-за их бессмысленного рысканья, а спугнуть их можно было, просто наняв охрану хоть из тех же местных;

они перевесятся через борт с автоматом в руке: «Шалам-балам?» — те им в ответ: «Балам-шалам», — и разъехались. Этак и я умею, решил Андрей и приказал механикам наварить муляжей «калашников», а раскрасил их сам, и если черненькие подкатывали под видом рыбаков и пытались заводить перекрикивание, он тоже перевешивался через фальшборт со своей игрушкой и кричал по-простому: «Уот из зэ мэттэ?» — и те тут же отчаливали. Смотри, сшибут они тебе чердак, пытались его стращать, но он отвечал совершенно спокойно: хер с ними, пускай сшибают. Он иной раз холодел при мысли, что его богиня каким-то макаром может услышать, как он общается с экипажем, — с ней у Андрея и голос был другой, не то что сами слова. Но на борту они звучали бы невыносимо фальшиво. Зато погибнуть, защищая судно, было так же подлинно, как махать метлой, чтобы бросить к ногам возлюбленной лишнюю пригоршню золота.

Он установил такой порядок, чтобы в Аденском заливе и ночью вдоль каждого борта по освещенной палубе прохаживались как бы вооруженные люди, и ничего, пока хранил Николай Угодник. Андрей даже усвоил манеру креститься на его икону — подстраховаться никогда не мешает. Ему с его носорожьей натурой можно было креститься и без веры, на всякий случай. Но высокие души, он понимал, так не могут.

И, проведя над листом А4 полубессонную ночь, он отправился в Центр синергетического православия, адрес которого нашел в интернете.

В прихожей его встретил сцепивший невидимые пальцы на отсутствующих коленях черный страшный Достоевский на огромном листе ватмана. Зато в чистеньком небогатом холле он увидел знакомого Николая Угодника, но креститься не стал — на людях это было совсем уж неловко. Похоже, это была обычная квартира, хотя Сосницкий называл ее офисом.

Сам Сосницкий был миниатюрен и осанист, благодаря окладистой бороде, разлегшейся на всю его узенькую грудку. Он разговаривал с Андреем как лечащий врач с не в меру разволновавшимся родственником, но в глазах его плясали веселые бесенята: он все делал по последнему слову, при первом

же подозрению о порче начал читать молитву священику Киприана; но только он дошел до слов «кто убо стяжав молитву сию во своем дому да будет соблюден от всякого ухищрения диавольского, потвора, отравы злыми и лукавыми человеками, от заклинаний и всякого колдования и чародеяния, и да бежат от него бесы и да отступят злые духи», как порченую охватили корчи, ее вознесло на воздух и стало носить по комнате, ударяя о стены выше человеческого роста — Сосницкий совершенно серьезно указал на те места на обоях, где при старании можно было разглядеть и следы этих ударов, и в его востреньких глазках бесенята плясали еще веселее.

И тогда он, Сосницкий, понял, что ему не по силам изгнать овладевших супругой гостя бесов, — однако он и тут не устранился. Но когда у его дочери внезапно поднялась температура до сорока и трех десятых, ему стало ясно, что он не имеет права рисковать еще и невинным ребенком. Хотя он и тогда не отказал одержимой бесом страдальце в надежде на спасение — он назвал ей старца в Кингисеппе, умеющего отчитывать беса (Андрею представилось, как его самого за что-то отчитывает директор школы, методически покачивая у него перед носом указательным пальцем); правда, старца этого найти очень трудно, он живет в скиту, адрес которого меняет чуть ли не ежедневно.

Тем не менее, Сосницкий не почувствовал в одержимой особенно глубокой признательности, она даже презрительно усмехнулась. Но лишь только она переступила изнутри наружу порог его офиса, как у дочурки температура мигом упала, и ожившее дитя принялось играть и резвиться.

Делать было нечего, и Андрей догнал свой контейнеровоз уже на Мадагаскаре. И промолчал — хозразговоры теперь не казались ему человеческой речью — до Мельбурна. Даже когда в Карачи при подтягивании к причалу лопнул трос и концом уложило на месте двух индусов или кто они там, Андрей высказывался исключительно по делу, а доказывать самим себе, чем целые сутки занималась вся команда, что индусы или кто они там сами не должны были подходить так близко к кнехтам, он считал слишком неподлинным. Только когда в Мельбурне он получил

электронное письмо из Приволжского Свято-Преображенского монастыря от отца Виктора, заклинавшего его Христовым именем помочь им как-то разобраться с его супругой, — лишь тогда он впервые заговорил на неслужебную тему.

Андрей понимал, что вторым отлетом за один рейс он ставит крест на своей морской карьере, но для него было немислимо даже помыслить о том, чтобы не прийти на помощь своей возлюбленной. Хотя его уже прочили в капитаны, и ему очень этого хотелось; он знал, что справится, тут главное следить, чтобы за бортом всегда была вода, а внутри не было, но еще главное — явиться пред ликом королевы капитаном совсем не то, что старпомом, оно и звучит куда роскошнее. Однако что могло сравниться с тем счастьем, что она нашлась и он — кто знает! — может быть, как-то наконец сумеет серьезно ей послужить.

Повидаться со своими стариками на Первой Рессорной ему опять не удалось, но земные-то существа всегда и сами сумеют о себе позаботиться, — Андрей снова заглушил спазмики совести, отправив им вдвое больше того, что могло прийтись их соседям-пенсионерам.

Самолетик летал до Приволжска самый зачуханный, подниматься в него приходилось по откидной лесенке под хвостом, а внутри было так тесно, что толстые тетки с клетчатými баулами напозлали друг на дружку, и сам он во время полета ни разу не пошевелился — не столько из деликатности, сколько из отталкивания от женского тела, которое не принадлежало его богине, слишком высокой для этого низкого мира.

На центральной площадке перед бывшим райкомом бросился в глаза огромный стенд «Лучшие люди города»; на месте бывших портретов зияли черные дыры. Тоска почета, подумалось Андрею.

Среди замызганных ларьков, набитых убогим китайским ширпотребом, он легко, поскольку не торгуясь, зафрахтовал такси до Свято-Преображенского монастыря, где так и не сумела преобразиться для убожества земной жизни его любимая, которую он ощущал уже не богиней, но беспомощной дочуркой, обожаемой особенно мучительно оттого, что настоящих

дочерей, равно как и сыновей, у него, как он теперь это хорошо понимал, уже никогда не будет.

Долгий путь до последнего прибежища его любимой девочки очень ясно открыл ему, что в этом мире тщетно искать какого-то высшего покровителя. Если кто-то когда-то и держал людей на своей исполинской ладони, то он исчез в самые незапамятные времена, а ладонь иссохла и растрескалась до грязно-белой щербенки, и только в складках ее, куда забились кое-какая земля и застоялась кое-какая водица, пылали бесполезным осенним золотом густые кустарники.

Зато для водителя, — похоже, из инженеров, которых жизнь смайнала в таксёры, — вся эта земля наполнилась святыми источниками и местами сражений с татарами. И все это были победы, а если поражения, так еще и покруче всех побед: там здешние три богатыря истребили три тумена монгольской конницы, сям какая-то княгиня зарубила мужа, пытавшегося сдать татарам без боя... Видите эти курганы, радостно показывал таксист на редкие вздутия, это могила знаменитого воина! «Батый думал что на хвосте у него никого нет, а он в одиночку кривыми мечами изрубил триста человек, есть у нас в характере такой приволжский экстремизм, недаром мы считаемся родиной десантных войск! Но он был не просто экстремал, он владел восточными техниками. Есть такая техника — цвигун, она делает человека неуязвимым, монголы уже думали, что это какой-то дух, и начали в него швырять каменные глыбы из китайской машины... Потом Батый сказал, что всю бы свою гвардию отдал за одного такого инструктора».

А к Свято-Преображенскому монастырю Батый не посмел и подступиться, ибо ему во сне явился Никола Угодник и приказал: не замай. Андрей хотел спросить, почему Никола не приказал Батыю вообще валить отсюда, но пожалел портить красивую картину.

Тревогу он давил решимостью: если его бедная девочка нуждается в помощи, он не имеет права думать о чем-то еще.

— Знаете, как еще монахов называют? — радостно спросил таксёр, когда за буграми разошедшей ладони замерцали золотые луковки. — Чернецы. А женщин черницы.

Черница... Андрею никак не удавалось приложить это мрачное имя к своей нездешней бабочке. Он старался ни о чем не думать, чтобы сохранить в себе готовность ко всему.

Монастырь был окружен по-фабричному почернелой кирпичной стеной, а над воротами устремлялась ввысь чуть ли не еще одна кирпичная церковь, и Андрей невольно прикинул, умели ли делать такой кирпич во времена монгольского нашествия.

Гордившийся монастырем водитель отправился провожать его даже не ради щедрых чаевых: видите, какая чистота, осень, а сколько цветов, за ними сама братия ухаживает (вдалеке передвигались несколько серьезных бородатых фигур в самых настоящих рясах, которые Андрей до этого видел лишь по телевизору, и только тут он вспомнил, что монастыри делятся на мужские и женские, и, стало быть, его любимой девочки здесь быть не может), а вот это трапезная, тут они питаются, а вот это гостиница для паломников, раньше называлась — гостиница для черни...

Опять что-то черное... Как пугающе оно не шло его бедной страннице! Зато храм под золотыми маковками сиял такой белизной, что Андрей, пожалуй, был бы и не прочь увидеть там свою возлюбленную — только уж, пожалуйста, не в черном, а в чем-то светлом, струящемся... И где-то немножко золотом.

Но отец Виктор, хотя и тоже был в черной рясе, выглядел, несмотря еще и на черную бороду, добрым и смущенным, и икона у него в кабинете была всего одна, правда, не родной Николай Угодник, а кто-то другой. Расположившись за обычным канцелярским столом, отец Виктор, словно бы извиняясь, долго объяснял, что здешние монастыри расположены в зоне рискованного земледелия и требуются усердные труды не только послушников и послушниц (до этого Андрей думал, что надо произносить: послушник, послушница), но и трудников-волонтеров, однако это труды богоугодные, о них нельзя говорить такие кощунственные слова: православный колхоз, это называется, уж вы не обессудьте, приходите со своим уставом в чужой монастырь, послушание дано от начальствующих, а значит и от Бога, у послушников и послушниц своей воли нет,

преподобным Ефремом Сириным сказано: кто исполняет свою волю, тот сын диавола, если послушник трудится до пота, то эти капли сверкают пред престолом Господним, аки перлы, тело изнемогло, а на душе мир и покой...

Андрей изо всех сил старался понять, к чему он клонит, и мучительно ждал, когда наконец дело дойдет до Беллы, но видел только, что его грузят какой-то мутотенью. Чувствуя, что еще миг, и ему уже будет не удержать поднимающиеся флотские матюги, он резко встал:

— Извините меня, святой отец, но где она сама-то? Моя жена?

— Она в затворе.

— ?..

Снова пошло что-то полупонятное: есть малая схима и есть великая схима, в прежние времена великая схима требовала не только полного отчуждения от мира ради соединения с единым Богом, но и вселения в затвор, дабы еще при жизни умереть для мира, однако ныне затвор перестал быть непременно для схимонахов...

— А ваша супруга, не примите в обиду, принялась произносить хулительные речи, что если-де кто не готов умереть для мира, то и вера его не совершенна есть. И по наущению собственной гордыни вселилась в здешние пещеры, кои и сами отцы-пустынники давно оставили. И еще ввела в обольщение трех сестер, кои без игуменского благословения носят ей туда тайно черствый хлеб, а по воду она сама ночами выходит к святому источнику...

Андрей без сил снова опустился на стул и перевел дух: слава те, Господи, она жива. И впервые в жизни перекрестился на людях.

А черный бревенчатый домик издалека и вообще выглядел довольно уютно, и у него еще больше отлегло от души. Внутри, однако, оказалась лишь очень чистая и как-то по-особенному ясная прямоугольная яма. Вот из этого источника она и берет воду, указал отец Виктор, и Андрей понял, что яма эта наполнена какой-то невиданно прозрачной и спокойной водой. И душа его, не размыкая губ, возопила к небу: Господи, успокой ее душу, как эту воду!

Но они уже входили в дышащий погребом курган. Отец Виктор зажег тонкую и кривую желтую свечу, какими, Андрей думал, только поминают покойников, и двинулся впереди, шарканьем подошв ощупывая дорогу. Еле живой огонек — то потухнет, то погаснет — ухитрялся все-таки метаться, то выхватывая из непроглядной тьмы, то отдавая ей обратно куски обросшего грязным корневым волосом свода, кем-то притоптанного наподобие земляного пола, а каждые десять-пятнадцать шагов то справа, то слева открывались низкие проходы в еще более непроглядные отсеки.

— Так что же, люди здесь так и умирали — в холоде, в темноте? — не выдержал Андрей, и отец Виктор бросил через плечо не то сострадательно, не то презрительно:

— Лучше с Богом в темноте, чем без Бога в вашем хосписе.

Кажется, он и сам устыдился своего тона, потому что в следующий раз обратился почти ласково: «Где-то тут наша затворница», — и позвал очень осторожно, словно боялся рассердить каких-то вампиров: «Сестра Агния, за вами ваш супруг прибыл...»

— Почему Агния — Белла, — окончательно ошалев, напомнил Андрей беспросветной спине, и отец Виктор, совсем уж как ребенка, сюсюкающим голосом погладил его по головке:

— При крещении христиане получают новое имя.

Андрей, однако, пропустил его слова мимо ушей.

— Беллочка, Беллочка!.. — дважды воззвал он.

И ему отозвалось что-то вроде слабого стона. Стон раздавался из отсека справа, и отец Виктор указал туда откачнувшимся пламенем свечи. Андрей успел разглядеть только блеснувшие глаза на чем-то вроде земляной лежанки, и тут же сам накрыл их своей огромной тенью (ему показалось, что он входит в разросшуюся и одичавшую русскую печь). Она лежала на каком-то тряпье и прильнула к нему, словно и впрямь маленькая девочка к отцу. Лицо у нее было до ужаса холодное, особенно нос. И Андрей на несколько мгновений замер перед нею на коленях, зажмурив глаза и повторяя скороговоркой одними губами: слава те, Господи, слава те, Господи, слава те, Господи!..

А когда он поднял ее на руки, ему вспомнилось полупонятное слово «мощи» — она была невесома, как пушинка. Головкой она припала ему на плечо, и он боком, чтобы не задеть за стену ее ножками, следом за отцом Виктором понес ее к отдаленно белевшему выходу.

На солнце их обоих ослепило, и она уткнулась глазами ему в грудь, а он просто зажмурился, но успел разглядеть, что ее темные волосы слиплись и потускнели, и сердце его сжалось особенно больно, когда он заметил в ее волосах несколько серебряных нитей.

Она не просилась с рук до самого монастыря, да он бы ее и не отпустил. А когда отец Виктор спросил, повенчаны ли они, он так на него глянул (если речь идет о человеческой жизни, даже в нынешних торгашеских морях сигнал SOS принимают без торгов!), что ему без разговоров предоставили самую большую спальню в гостинице для черни.

Он отогревал несчастную затворницу охотским способом — под десятью одеялами с десяти кровати прижимал к себе ее ледяное обнаженное тельце, не чувствуя решительно ничего, кроме невыносимой нежности. Зато она покрывала его лицо холодными одержимыми поцелуями, иступленно шепча: как я тебе благодарна, что ты любишь не мое тело, а мою бездомность, мою неприкаянность!..

* * *

Хлебнул он-таки с нею... И все же я лучше бы выносил Ирку из затвора, чем выволакивал из сортира. Но ведь чем она всегда меня восхищала, так это своим приятием здешнего мира. И равнодушием к нездешнему.

Не он ли за это ей и отомстил?

А андреевской Агнии-Белле за враждебность к нему мстил мир здешний...

* * *

Каким-то чудом она не заболела. Только и впрямь сделалась тихой, как вода в святом источнике. Целыми днями, обхватив худенькие коленки ручками-соломинками, сидела на диване перед плазменной панелью с диагональю 60 дюй-

мов и, как будто давая себе какой-то жестокий урок, смотрела, смотрела, смотрела, смотрела одни лишь «реалити-шоу». В которых Андрей никак не мог разглядеть никакой реалити — нигде реальные люди так не живут. Во-первых, здесь никто не занимался своим делом — если что-то жарили или парили, то не повара и даже не домохозяйки, а не то певцы, не то артисты, не то хер их знает кто, но явно было видно, что здесь жарят-парят не для того, чтобы есть. Ну, где и кто так восхищается едой — «все натуральное!»?

А во-вторых, когда люди готовят еду, они делают это на кухне или на камбузе и стараются приготовить побыстрей, чтоб заняться чем-то поинтереснее — поесть, потравить за обедом про разное завлекательное... Короче, люди всегда стараются поскорей переделать нудное, чтобы перейти к интересному, а здесь пытались выдать за интересное самое занудное. То какой-то жизнерадостный мудака в поварском колпаке все ликует и ликует по поводу того, что к керамиковой сковородке ничего не пригорает, а шустрая бабенка косит под дурочку: да не может быть, да ах какое чудо, да неужели и мыть не надо?.. Ей же уже пять раз показали, что достаточно протереть, а она все ахает: как, и баранина?!. Да неужели?!. Что, и свинина тоже?!!. Не может быть!!! Что, и овощи?!!!!!....

И так, похоже, сутки напролет.

Они там все сходили с ума от счастья из-за всякой дребедени — от майонеза, от электробритвы, от овощерезки, от женских прокладок, от поддельных брюликов...

Или раздражались деланным хохотом от приколов, которым в кубрике не усмехнулся бы последний придурок.

А то наоборот сидели и нудили — молодые пацаны, нормальные девки! — про то, что Рома неправильно строит отношения с Лизой, а какая-то классная руководительница, строгая, как будто тут обсуждают успеваемость и посещаемость, всех наставляла, а на самом деле стравливала, иногда до потасовки (тьфу!), но и тут никто никому не засвечивал настоящему, реально...

Только бесконечно выясняли отношения. Вообще-то и в любой команде кто-то с кем-то дружит, кто-то на кого-то косится,

но все это преодолевается ради общего дела. А если бы никакого дела не было, отношения строились бы неизвестно ради чего, так, наверно, и вправду все круглые сутки сидели бы в кают-компании и орали друг на друга: «Ты меня достал, понимаешь, достал!!!» — «Заткни пасть, я тебе говорю: заткни пасть!!!»

И он с тревогой подумал, что у них с его любимой девочкой нет никакого общего дела...

Зато качество изображения спутниковая антенна давала издевательски четкое и многокрасочное. Андрей дольше минуты такой реальности выдержать не мог, а вот она, кому так не хватало подлинности, смотрела часами... Нет, ее нынешняя тихая вода не была прозрачной, что-то варилось в этом тихом омуте. Андрей даже боялся устроить какую-нибудь аварию — до того ему никак не удавалось сосредоточиться на работе, все время томило: что же еще она может учудить, что его ждет после вахты? Хорошо еще, ответственность тут была не та, что на прежнем просторном мостике с мониторами, он теперь ходил на бодающемся буксире, который, как умный бычок, прижимал к причалу огромные неповоротливые суда, вроде тех, которые Андрей еще недавно водил сам.

Но его не томила тоска по океанским просторам — ни на что, кроме любимой бабочки, душевных сил у него не оставалось. Он лишь старался не зачухаться на нынешней чумазой работе и оттого превратился едва ли не в щеголя, так что женщины теперь на него заглядывались даже еще больше чем раньше, и он был рад, что его повелительнице по-прежнему завидуют, пусть даже она никогда не выказывает удовольствия по этому поводу.

Он пытался переключать свою несчастную страданицу на другую реальность — на виноделие в Хорватии, на оперы в Италии, на замки в Испании, но она слишком хорошо знала, что требуется ее печальным темно-янтарным глазам: фальшь. В которую еще и детей припутывали. Он, казалось, слышал, как она твердит самой себе: смотри, смотри, в каком мире ты живешь!

Помни! И никогда не забывай.

Она и не забывала. И не позволяла забыть ему. Как-то, на пробу щелкая пультом, он услышал загадочные слова: тараканий хирург, тараканья хирургия — и задержал на огромном

экране что-то красное и пульсирующее. Оказалось, это не тараканья, а торокальная хирургия, хирургия на легких. И все зачем-то делали четыре разреза, а один мастак сумел делать три. И только Андрей хотел поделиться с нею своим восхищением, как она взяла у него пульт и переключила на чей-то семейный скандал, в котором почему-то должна была участвовать вся страна.

— Молодец мужик, — попытался он вернуть ее к тараканьему хирургу, — людям жизнь спасает.

— И зачем? — еле слышно спросила она. — Если людям не за что умирать, им незачем и жить.

Ну что на это скажешь? В принципе и он так считал. Только немножко наоборот: умирать стоит, когда пытаются отнять то, ради чего живешь. Если бы у него попытались отнять ее, он бы пошел на смерть не фиг делать. Но жить ради того, кого любишь, — это же куда лучше, верно?

А вот она никого и ничего не любила, в этом была ее беда. Такое вот на нее пало проклятие — оказаться выше всего, что могла предложить жизнь. Это ему, носорогу, хорошо, а поди полюби что-нибудь, если ты прелестнейшая бабочка или нездешняя птичка!..

И тут на экране с чего-то вспыхнуло печальное, освещенное едва заметной грустной улыбкой лицо Усамы бен Ладена.

— Пророк в камуфляже, — почти не слышно прошептала она. — Единственное человеческое лицо. У меня с ним больше общего, чем с нашей фальшивой цивилизацией. В его мире люди готовы умереть за свою мечту.

Чудовищный, нездешний вой отбросил Андрея...

* * *

Нет, уже меня. Утратив посюсторонний слух, я едва не шагнул на набережной Обводного под колеса огромной мусоровозки. Нет, этак я еще и не доживу до третьего урока — тогда и бедной Ирке конец!

Ну и ладно, ведь это будет уже без меня. Черт, опять я!.. Я вновь испытал серьезный страх, что могу убить ее какой-то циничной мыслишкой.

Я побрел по матовому тротуару в сторону порта, и ко мне тут же вернулся слух, подключенный к душе моего товарища по несчастью.

* * *

В его доме я уже обнаружил **КОРАН**, темнозеленый до черноты. И, возвращаясь даже и с ночной вахты, Андрей почти всегда заставал ее погруженной в чтение этой веской книги, установленной на черный деревянный поупитр, хотя прежде она всегда читала, забравшись с ногами на диван. Она и реалити-шоу теперь изредка смотрела, твердо установив стул перед экраном и взирая на него надменным взглядом опытного следователя, которого пытаются провести на мякине.

Андрею однажды тоже захотелось посмотреть, что же так поглощает ее в черно-зеленом томе, но она остановила его нежным и печальным прикосновением:

— Не нужно. Ты слишком естественный. И слишком русский.

Имея в виду, конечно, что-то в тысячу раз более сложное, чем запись в его свидетельстве о рождении, — ясно же, что в этом простейшем смысле он русский, какой же еще? И оттого что ему не следовало читать коран, Андрею, наоборот, еще больше захотелось. Но ее просьба — это было свято, ему отрадно было сделать для нее хоть такую мелочь.

А потом в их доме появился хиджаб. Андрей видел их и в Александрии, и в Бейруте, и в Джакарте, немножко вроде бы разные, но суть та же, однако только сейчас он узнал, что хиджаб этот — двуслойный: нижняя, коричневая косынка плотно обтягивает голову, как у колхозниц на току, а верхний блеклоголубой платок с разводами уже располагается свободно, хотя укладывать его и закалывать Агнии-Белле пришлось учиться несколько дней.

Впрочем, к тому времени она уже произнесла шахаду и звалась более не Агния и не Белла, а Муслимат, и Андрей решительно ничего не имел против этого — лишь бы она была довольна. Только язык у него все равно не поворачивался называть ее по-новому. Хотя мысленно он и прежде не называл

ее по имени — она была в его мире единственной, а зачем единственному имя?

Ко всем этим непривыčnostям он относился с полной почтительностью — не носорогам судить бабочек, а ее новые одежды — светлые, струящиеся — ему даже нравились, и когда она уединялась в спальне для намаза, он никогда не приближался даже к двери, опасаясь как-нибудь ненароком оскорбить ее чувства. А к ее новым исламским друзьям из культурного центра «Рассвет» он заочно проникся прямо-таки нежностью — настолько его тревожило, что она всегда, всегда, всегда одна. Ну, а когда руководительница «Рассвета» Зульфия Обручева разъяснила ей, что аллах не имеет ничего против брака с немусульманином, если брак был заключен до обращения и супруг относится к исламу с уважением, к его нежности присоединилась и безмерная благодарность: может, в их жизни и вправду наконец наступит какой-то рассвет? Любимое личико из-под голубого хиджаба и впрямь начало источать какое-то сияние, и Андрей просто-таки не мог поверить своему счастью.

* * *

И правильно делал. Неприкаянность — она, похоже, что-то вроде алкоголизма. Когда Ирка временами вдруг резко завязывала и развивала кипучую деятельность, я нисколько не радовался — я знал, что будет только больнее, когда она снова сорвется.

То же самое ждало и Андрея. Очень скоро ее сияние стало меркнуть, меркнуть, любимое личико начало темнеть, опадать, а когда Андрей пытался оживить ее разговорами о рассветных друзьях и подругах, она еще больше мрачнела и уходила в себя.

А человеку нечего в себе надолго задерживаться, считал Андрей, и таки сумел постоянными восторгами по адресу «Рассвета» вызвать ее на откровенность. Когда он в очередной раз высказался в том духе, что если уже рассвет так осветил их жизнь, то каково же будет сияние дня, — ее личико окончательно потемнело. Нет, это было не презрение, это была скорбь.

«Рассвет» учит жить в гармонии со здешним миром, с миром лжи и пошлости, хотя каждому мусульманину должно быть известно, что соблазн хуже, чем убийство. Андрей замер, боясь спугнуть ее порыв к откровенности, но она уже спохватилась и остаток вечера провела в молчании за чтением корана. Так и пришлось отправиться в постель в одиночестве: завтра ему нужно было идти в утро, а он еще не смыкал глаз после ночи.

И оказался на таком громадном контейнеровозе, что с палубы ему еле-еле удавалось разглядеть причал — будто с самолета. И все-таки он сумел рассмотреть, что она подошла слишком близко к кнехту, а натянутый для швартовки канат, он это явственно чувствовал, уже вовсю потрескивает и вот-вот лопнет. Перевесившись через фальшборт, он изо всех сил кричал ей: «Отойди, отойди, тебя ударит концом!..» — но из его горла вырывалось лишь бессильное сипение.

И даже проснувшись, он все еще чувствовал, как ему в живот врезается горячий от солнца фальшборт, через который он перевешивался. Зато он совсем не удивился, увидев на пюпитре прогнувшийся поверх корана лист А4.

Постарайся забыть меня. Ты рожден для жизни, а я для смерти. Мне нет места в этом мире. Я поняла: мне тоже нужна какая-то неземная высота. Но если я не сумела красиво прожить, может быть, я сумею красиво умереть.

Ради всего святого не обращайся в левоохранительные органы — это было бы осквернением тех высоких минут, которые у нас все-таки были.

Ничья Муслимат

Он перечитал это письмо дважды, потом трижды. Затем раскрыл черно-зеленый коран. Начинался он так.

1

ОТКРЫВАЮЩАЯ КНИГУ

(1). Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

1 (2). Хвала Аллаху, Господу миров

- 2 (3). милостивому, милосердному,
- 3 (4). царю в день суда!
- 4 (5). Тебе мы поклоняемся и просим помочь!
- 5 (6). Веди нас по дороге прямой,
- 6 (7). по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, —
7. не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших.

Андрей ощутил тоскливое предчувствие, что не сумеет здесь найти разгадку, какая сила овладела его возлюбленной: если даже эта разгадка где-то там и таится, он все равно не сумеет ее распознать. Он был не слишком высокого мнения о своем уме и до сих пор не особенно переживал по этому поводу: ему казалось, есть вещи поважнее ума. Но сейчас он почувствовал мучительное раскаяние, что никогда не пытался выучиться каким-нибудь хитроумным штукам, которые сейчас, может, и пригодились бы!

Следующая главка начиналась еще более загадочно:

2

КОРОВА

Почему корова? Он перевернул страницу и прочел, уже не замечая цифр:

«Наложил печать Аллах на сердца их и на слух, а на взорах их — завеса. Для них — великое наказание!

И среди людей некоторые говорят: «Уверовали мы в Аллаха и в последний день». Но они не веруют.

Они пытаются обмануть Аллаха и тех, которые уверовали, но обманывают только самих себя и не знают.

В сердцах их болезнь. Пусть же Аллах увеличит их болезнь! Для них — мучительное наказание за то, что они лгут».

Сердце Андрея захолонуло — а ну как это про нее?.. Конечно, она никогда не лжет намеренно, но здесь же и говорится о тех, которые обманывают самих себя...

А вот и еще: «А когда говорят им: «Уверуйте, как уверовали люди!» — они отвечают: «Разве мы станем верить, как уверовали глупцы?»».

Нет, она точно не станет верить как все прочие, не из такого теста она родилась, да и не из теста она вовсе, а из света и воздуха!

Андрей раскрыл книгу наугад — богобоязненным там были обещаны сады, где внизу текут реки, — они там пребудут вечно.

Нет, это не для него. Он не понимал, как можно блаженствовать, если у тебя нет никакого дела. Если бы он даже встретил в раю свою бедную любимую девочку — ну, и на сколько лет хватило бы их счастья? На год, на два? А ведь впереди была бы вееееееееееееееееееееееееееееееечность!..

Нет, без общего дела любые отношения зацветут, как застоявшаяся вода в трюме...

Он написал заявление об уходе, а потом отработал полную смену — сколько можно кидать людей!

Дома же он набрал номер ее мобильного телефона, и тот заиграл под диванной подушкой. От нечего делать он начал смотреть, кому она звонила, и наткнулся на знакомое имя: Зульфия Обручева.

Ее голос был таким нежным и сострадательным, что у него впервые за много лет навернулись слезы. А то он как-то окаменел в бесконечном ожидании чего-то непоправимого. Конечно, вы можете зайти, говорила она, посидим, выпьем чайку, все хорошенько обсудим...

Она говорила с ним как мама с ребенком, и оттаявшее сердце сжалось, что он так давно не бывал у стариков на Рессорной, только слал бабки да отписывался, что его бросают из рейса в рейс. Но решишь он их навестить хоть на три дня, он бы извелся, каждую минуту представляя, что она там еще сотворит без присмотра, а они бы изводились, не понимая, что такое на него нашло. Да и сейчас как им покажешься — щеки ввалились, желваки окаменели, глаза горят безнадёжным мрачным огнем... Это ж для них будет тихий ужас.

«Рассвет» был затерян среди унылых блочных коробок на улице Дерюченко и походил на серую авторемонтную мастерскую без вывески. Но на беззвучный звонок коричневая стальная дверь немедленно открылась. Зульфия под своим

хиджабом цвета лилового подснежника оказалась еще более милой, чем ее голос, что с женщинами бывает чрезвычайно редко. У нее было совершенно русское доброе лицо с чуть заметными материнскими морщинками у очень светлых, почти светящихся глаз.

— Легко нас нашли? — дружески, словно они были двадцать лет знакомы, спросила она. — Мы на всякий случай вывеску не вешаем из-за скинхедов.

В прихожей на цветном коврик стояли две пары пляжных пластиковых тапочек, и он с тревогой сообразил, что нужно разуться, а в целостности своих носков он не был уверен, поскольку следил за ними сам. К счастью, носки оказались в приличном состоянии, и он поспешил влезть в холодные тапочки, дабы показать, что умеет уважать чужие обычаи.

Однако Зульфия смущенно сказала, что тапочки эти только для туалета, у них принято различать чистое и нечистое.

— Вы не бойтесь, у нас везде ковры, не простудитесь, — ободрила его Зульфия, и он заторопился сообщить, что совершенно не боится никакой простуды.

Идти действительно пришлось исключительно по коврам через большие комнаты, обставленные скромно, но чисто. Первая из-за ярких пластмассовых игрушек была похожа на детский сад, вторая из-за школьной доски — на классную комнату. Странно было видеть нездешние узоры арабского письма написанными мелом неумелой рукой.

В обычном канцелярском кабинете (только книги на полке стояли непривычные: Аль-Бухари Сахих, «Сады праведных», «Поминания Аллаха», «Права человека в исламе»...) Зульфия усадила его в кресло за стеклянный журнальный столик и в своем просторном лиловом облачении принялась его потчевать — ставить электрочайник, заваривать пакетный чай в цветастых чашках с блюдечками, расставлять чашки, подвигать ему вазочку с простеньким печеньем... Он и забыл, сколько теплоты может излучать самая незатейливая женская забота, и ему хотелось, чтобы она хлопотала и хлопотала, а что-то обсуждать — глядя на нее, он окончательно понял, насколько дела важнее слов.

И тоже не слова, а звучание ее голоса убеждали его, что она верит в то, что говорит. Уютно расположившись в кресле напротив, не притрагиваясь к своей чашке, она объясняла ему, какое это несчастье, что Муслимат не хотела по-настоящему вчитаться в суры корана, тогда бы она избавилась от своей нетерпимости, ведь в коране ясно сказано, что если бы пожелал Господь, то все люди уверовали бы, мы не делали тебя хранителем их, говорил Всевышний, и ты над ними не надсмотрщик, призывай к вере в Аллаха с мудростью и добрым словом, не ругай их богов, иначе они будут ругать твоего...

Наверно, в черно-зеленой книге все так и было сказано, да только кто же живет книгами. Если человек хочет рубить головы, он ищет топор; если хочет строить, ищет... Да тоже топор, топором можно и рубить головы, и обтесывать бревна. Вот и любая книга такой же топор.

— Вы не представляете, куда она могла отправиться? — неожиданно прервал он Зульфию. — У мусульман бывают монастыри?

Получилось даже невежливо, но Зульфия смотрела на него с прежней теплотой.

— Нет, нет, лучший мусульманин тот, кто живет с людьми и терпит от них, лучшее служение Богу — через служение людям. Один человек все время находился в мечети и молился, а пророк спросил: кто же его кормит? Ему сказали: его брат приносит и ему еду, и кормит его семью. Тогда пророк сказал: его брат и есть лучший мусульманин.

Андрею страшно не хотелось уходить от этих светящихся глаз, от этого убежденного и вместе с тем мягкого голоса, от этой маленькой, но все-таки женской заботы — словно от теплой русской печи на безжалостный мороз, но когда-то же надо было подыматься!

* * *

На мгновение я вновь вынырнул на матовой набережной Обводного и порадовался, как же я был прав, все эти дни без Ирки избегая женщин: я чувствовал, что они могут каким-то образом поколебать мою волю.

Вот и Андрей покосился уже каким-то особым взглядом, пересекая соседнюю комнату. За длинным столом там весело болтали другие молодые женщины в самых разнообразных хиджабах. Ближайшая к нему была в черном с лазурными цветами и новогодними блестками, попадались и веселенькие в цветочек, а один вообще красовался как-то даже залихватски, можно сказать, набекрень. Есть же счастливые люди — их женщины и в хиджабах, и смеются...

Однако тут до него дошло, что если не половина, то каждая третья из них — русские. Так что же получается — мы такие уроды, что нам наших женщин и удержать нечем?! На что же тогда мы вообще годимся?..

В нем впервые за все эти годы проснулась гордость: раз такое дело, мы можем и перебиться. Одно дело, ты летишь к любимой женщине, которая ждет твоей помощи, другое — она выбирает других.

И когда за ним с лязгом захлопнулась стальная дверь, он внезапно обнаружил, что в мире еще сохранилась весна с ярко-синим небом и ослепительными облаками, со сверкающими зелеными звездочками молодой листвы на деревьях, с детским гомоном на сохнувших песчаных дорожках. Один пацанчик ревел во все горло над опрокинутым самокатиком, и охваченный такой же забытой нежностью Андрей положил руку на его теплую стриженую головенку: что ты плачешь, голубчик, чем тебе помочь? Но мальчишка злобно отбросил его руку и принялся вопить еще пуще прежнего, адресуясь по-видимому к кому-то поважнее и понужнее.

И с Андреем приключился внезапный конфуз, какого с ним не случалось лет, может быть, с двенадцати — он разрыдался. Он стремительно зашагал прочь, стараясь спрятать мокрое лицо себе за пазуху, но содрогающееся тело спрятать было невозможно. Он уже хотел перейти на бег, как вдруг на его пути вырос зачуханный мужичонка:

— Слышь, друг, помоги на пиво...

— Отъебись!.. — зарычал на него Андрей, и только чудом не отправил его в нокдаун.

Мужичонка испуганно шарахнулся, чем немедленно привел Андрея в чувство. Он нашупал в кармане сторублевку и, не глядя, протянул ее назад.

— Куда ж так много, — растроганно прозвучало оттуда, и Андрей почувствовал, как купюру осторожно тянут из его пальцев.

Сразу вот так взять и уехать ему показалось все-таки не очень красиво, он отдал ключи от опустевшего дома своей любимой ее замужней сестре, с которой его богиня на его памяти встречалась только раз, да и то очень кратко и холодно, и отправился на побывку к старикам на Рессорную. А оттуда на Охотское море.

Когда-то еще на практике он разговорился на ветреной вечерней палубе с очень серьезным очкастым парнем во фронтальной плащ-палатке, и тот рассказал ему, что на биологической станции всегда требуется водитель катера наблюдать за косатками. Тогда это ему показалось не очень интересно, а теперь вдруг забрало, хоть он почти все и забыл. Вроде как косатки, облеченные вроде бы в один и тот же черно-белый камуфляж, бывают при этом нормальные и ненормальные; нормальные всегда плавают стаями, одними и теми же маршрутами, что отцы-матери ели, то и они едят: привыкли пожирать тюленей — значит человека уже не тронут, разве что он разляжется на тюленьем лежбище, — ну и все такое. А бывают косатки-одиночки, которые все время ищут нехоженых-неплаванных путей и перекусить могут кого им на ум взбредет. Они могут вести себя совершенно по-разному, иногда даже как акулы — заранее никогда не угадаешь. И прослушивать их очень трудно — они больше слушают сами.

Бродяги и домоседы настолько чужды друг другу, что даже и не скрещиваются. Вот за домоседами наблюдать и не очень трудно, хоть и опасно: нужно все время идти параллельным курсом как можно ближе, а десятиметровые самцы, бывает, примут за врага, кинутся и носом опрокинут катер. Нет, домоседы человека не тронут, тут обычно убивает холод, а вот как наблюдать за косатками-бродягами, — их, кстати, англичане и называют китами-убийцами, — еще никто не придумал.

Так теперь он этим и займется, опыт у него уже есть.

* * *

Это было последнее, что я расслышал в его душе. А от его одинокой косатки до меня не донеслось ни единого звука, — лишь напрягаясь изо всех сил, я еле-еле сумел разобрать, что она плещется где-то на Северном Кавказе.

* * *

Доктор Бутченко начинал меня даже забавлять: с первых слов обычно прорывалось простое человеческое удивление — ничего не понимаю, давления нет, а пульс есть. Но он тут же спохватывался и пытался восстановить свой жреческий авторитет потоком заклинаний: токсический гепатит, токсическая нефропатия, токсическая энцефалопатия, токсическая кардиомиопатия, печеночная дефицитарность, билирубин в плазме, щелочная фосфатаза, холинэстераза, протромбиновый индекс, фибриноген, эуглобулиновый лизис, зондовое питание...

— Вы замечали у нее нарушения памяти — двадцать раз рассказывает одно и то же, и ей тоже можно двадцать раз рассказывать одно и то же?

— Да, было такое.

— Вот видите — алкогольная энцефалопатия.

Наверно, и не без того. Но когда она мне жаловалась, что никак не может запомнить, кто умер, а кто жив, мне это казалось нежеланием мириться со смертью, и более ничем.

* * *

В сверкающем аэропорту Минвод я долго стоял, облокотившись на круглый столик и уже не понимая, в какой я стране. Если бы передо мной на тарелке лежал чиз-кейк, а не плоский бледный пирожок с сыром и какой-то зеленой веточкой, я бы окончательно забыл, что я на Кавказе. Я не хотел доедать этот пресный вкусный пирожок, ибо, доевши, необходимо было что-то предпринимать, а что — я не знал.

Если я даже каким-то чудом отыщу эту вечно неутоленную бабочку, каким таким словом я ее оболещу? Ведь никакого дара слова у меня нет, брал я только хитростью и удачей, и покровительствовал мне никакой не Орфей, а всего

только Гермес. Разве что Орфей за меня перед ним походатайствовал...

Среди озабоченной толпы одиночество всегда ощущается острее, но здесь меня окружали люди, среди которых даже по случайности не могло оказаться никого своего. И я воззвал к Орфею: помоги мне сделаться здесь своим хоть для кого-нибудь!.. Нет, для того, кто мог бы мне помочь!

Внутри я обращался к нему на ты, без условностей.

И сразу...

— Почему такой грустный, отец? — меня бы покорило от такой фамильярности, если бы в этом голосе вместе с сильным кавказским акцентом не прозвучало столько искреннего сочувствия и почтения.

На мой столик напротив меня оперся юный, однако небритый до крайности мужественно горный орел в круглой черной тубетейке и черной же кожаной куртке. Он походил на абрека, но голос его сразу вызывал доверие. Я вообще люблю кавказский акцент — он всегда вызывает у меня представление о чистосердечии и вере в какую-то высшую справедливость.

— Идрис, — он протянул мне твердую руку через пирожок более чем уважительно.

Я назвался тоже по имени, однако он почтительно, но твердо потребовал присоединить отчество, и с этой минуты называл меня только так.

— Я смотрю — такой культурный отец стоит такой грустный, никого не встречает, никуда не идет, ничего не кушает... Я подумал: наверно, какие-то неприятности. Вы же не местные?

— Нет, из Ленинграда, — я побоялся, что девичья фамилия Петербурга будет воспринята как попытка возвыситься — и только тут до меня дошло, что из моего голоса после разговора с Орфеем исчезла осточертевшая мерзкая сипота.

— О, такой культурный город! Не был никогда, только в Москву-Шмоксу катаюсь туда-сюда. А в Ленинград — нету времени. Потом документы-шмокументы начнут спрашивать... — он безнадежно-презрительно махнул рукой, словно речь шла о не заслуживающих внимания склочниках. — А вы зачем к нам приехали? Какие-то неприятности, правильно говорю?

— Правильно, — вздохнул я и, с недоверчивой радостью прислушиваясь к звучности своего голоса, рассказал историю бедного Андрея, выдав его за своего друга.

Да он и вправду сделался мне другом за те часы, пока я вслушивался в его судьбу.

Идрис сочувственно покивал, проникновенно поцокал языком, ответственно подумал. И просветлел в своей непроглядной щетине:

— Здесь один только человек может помочь. Мухарбек. От него никто не ушел с пустыми руками. Вдова, сирота — всем что-то дает. Как, Мухарбека не знаете? А говорят, Ленинград культурный город... Вы не обижайтесь, вырвалось.

— Нет, это вы не обижайтесь. Но я вообще далек от политики, а тут с этими неприятностями совсем отстал... Это что, президент?

— Какой президент-шмузидент!.. Президента сегодня назначили, завтра отчислили, а Мухарбек всегда Мухарбек. У нас так рассказывают: стоит на остановке девушка без платка. Мужчина ее спрашивает: ты почему без платка? Она говорит: ты что, отец мне, что замечания делаешь? Он говорит: а если бы отец сказал, ты бы надела платок? Она говорит: не надела бы. «А если бы Мухарбек сказал?» — «Если бы Мухарбек сказал, и ты бы надел платок».

Я грустно посмеялся — мне было совсем не до смеха. Идрис тоже это понял.

— Все, докушайте ваш пирожок, допивайте ваше кофэ — пойдём к Мухарбеку. Я в его эскорте сопровождения. Через весь город прошли на сто восемьдесят.

Я выразил унылое восхищение.

В углу провинциальной площади столпились лакированные, как гондолы, черные иномарки величиной с прежнюю карету скорой помощи — опять забыл, как их называют, эти кроссинговеры... Идрис поставил меня у одного из них и куда-то исчез. Я некоторое время ждал в полном отупении, как привязанный пес у магазина. А потом снова взмолился: Орфей, родной, шепни за меня словечко!.. И тут же Идрис вновь возник передо мной окончательно просветлевший:

— Я же говорил: Мухарбек никого не оставит без рука помощи.

Раздался различимый лишь своими сигнал «по коням!», во главе колонны возникла милицейская мигалка с сиреной, прокладывающая нам дорогу среди плебейских жигулей и самосвалов, и мы рванули. Я хотел пристегнуться, но Идрис остановил меня со снисходительной улыбкой: это у вас в России надо пристегиваться...

Замешкавшиеся на спуске в кювет самосвалы просвистывали в сантиметре от моего локтя, да еще и сами кроссинговеры иногда вступали в состязание друг с другом, и то мы принимались кого-то медленно обгонять, то нас кто-нибудь, но если в эту минуту начинала маячить встречная машина, выбившийся из ряда кроссинговер запрыгивал обратно в колонну, хотя место для него там не всегда отыскивалось. Однако в сантиметре от чужих бамперов все пока что хоть с трудом, но втискивались. Я понял, что если буду напрягаться и обмирать каждый раз, когда окажусь на волосок от гибели, то доеду до места уже совершенно седым, и решил положиться на судьбу. Тем более что скорость ни разу не дошла до гордых ста восьмидесяти, а колебалась в районе скромных ста шестидесяти пяти.

Мимо проносились начинающие темнеть холмы, из которых время от времени вырастала мохнатая гора до неба, но все-таки не до снегов, а иногда за окном оказывалась равнина с унылыми полями пожухлой кукурузы. В обычные советские городки мы не заезжали, пронзая разве лишь их обочины.

— Это ничего, — ободряюще улыбнулся мне Идрис сверкнувшими из черной щетины зубами. — Вот когда я из Москвы иду на новой машине — за один ден доезжаю.

Я почтительно покивал, стараясь не отвлекать его от дороги, но он не удержался, чтобы еще раз не прихвастнуть:

— Последний раз за шестьсот тысяч машину взял, а продал за миллион.

— Да-а... Мне год надо работать.

Все же голое восхищение показалось мне слишком формальным, и я поинтересовался сочувственно:

— А милиция в Москве не цепляется?

Мой вопрос доставил Идрису двойное удовольствие:

— Если, бывает, цепляются, я звоню нужный человек: я от Мухарбека. Он спрашивает: какой район? Потом звонит начальник милиции: ты что, хочешь себе какие-то неприятности? И все, выпускают. Но я больше люблю, когда все цивилизованно: ты человеку даешь денги — он к тебе не привязывается. Надо чтобы — как это по-русски? — авторитет какой-то люди уважали. Он сказал: ты вот так делай, ты вот так — и все тихо-мирно. А то что бывает? Твой родственник кого-то убил, его родственники тебя убили — кому хорошо? Мой дядя еще при советской власти был очень большой человек — главный инженер, с московский диплом, паритийный, и получился такой случай: у них на фабрике наградили комсомольскую бригаду, что они хорошо план перевыполнили. Наградили поехать на автобусе куда-то не помню, я еще маленький был. И они, эти комсомольцы ждут автобус, а у шофера в этот ден кто-то умер, и он не приехал. А комсомольцы подумали, это мой дядя виноват, они сидят, пьют и его ругают. А тут идет его сын, мой двоюродный брат. Они на него напали: твой, говорят, отец такой-сякой, и начали его бить. Бьют, бьют, он видит — сейчас упадет, тогда совсем убьют, он вытащил ножик-складिशок, такой, как мой мизинец, и ударил одного в живот. Тот даже не посмотрел, моего брата только мать одного этого комсомольца у них отобрала, объяснила, что мой дядя не виноват. И этот раненый еще пошел пить, а оказалось, у него... Как это называется по-русски, когда кров не из живот течет, а наоборот в живот? Да, правильно, внутреннее кровотечение. И он начал падать. Пока вызывали доктора, шмоктора, пока кров искали — у него была какая-то неправильная кров, — он умер. Суд присудил как неумышленное убийство при самооборона, дал год условно, а родственники того сказали, что кого-то убьют из дядиной семьи. И дядя с моим двоюродным братом уехали скрываться в Казахстан, строили коровники. Как такое может быть — с московский диплом чтобы строил коровники! Пока младшему сыну исполнилось четырнадцать лет. Тогда к их дому подъехали три человека в масках и застрелили его из ружья, моего двоюродного брата, и уехали. Тогда дядя написал

Мухарбеку, что не хочет больше кров. Написал: они потеряли сына, мы потеряли сына, хватит искать кров. Мухарбек собрал две семья и сказал: кто простит кров, это самый дорогой человек для аллаха. Так и закончили, цивилизованно. Мухарбек всегда был в большом авторитете, он же из рода святого шейха...

Идрис произнес какое-то имя из двух частей, но я расслышал только вторую — Хаджи, а переспросить постеснялся, чтобы окончательно не уронить репутацию Ленинграда как культурного города. К тому же Идрис больше не называл святого по имени, но именовал просто Устазом явно с большой буквы. Устаз, как я догадался, означало учитель: у кого нет Устаза — у того устаз шайтан, разъяснил мне Идрис. Он так увлекся рассказом, что даже отстал от колонны, сбавив скорость до жалких ста пятидесяти.

И вдруг у меня перед глазами плеснуло желтое пламя. А в следующую секунду я уже снова откинулся на сиденье, держась за лоб, которым впилился в переднее стекло, и не вполне понимая, что такое гневное несет мой сосед: он же не имел права там ставить машину, ишак, без задние огни, еще за мостиком, хорошо, успел тормознуть, если бы мы врезались, он был бы виноват!..

— А что, нам бы на небесах от этого было легче?

— Зачем сразу на небесах? Я уже переворачивался, и ничего. Только ключица сломал, и нога треснула. Ну, еще туда-сюда, голова немножко сотряслась...

Идрис оказался прав: не надо драматизировать, уже назавтра лоб у меня почти не болел. Но для разрядки бесстрашный джигит все же поставил какую-то современную тупейшую эстраду. Я потерпел-потерпел и попросил чего-нибудь местного. Идрис послушно включил захватывающую дух необъезженную музыку, под которую задыхающийся от страсти мужской голос повторял и повторял какое-то слово — наверняка «Любимая! Любимая!», — я был готов впивать его и впивать без конца, а когда голос все-таки умолк, я сумел выговорить лишь после длинной паузы:

— Про что эта песня? Про любовь, наверно?

— Нет, про Мухарбека. Он за нее тот, кто сочинил, машину подарил. Он сам и поет.

— А что за слово он повторяет?

— Отец, отец.

Подъехали мы к резиденции Мухарбека в полной темноте, которую не могли разогнать даже бесчисленные горящие окна, — я совершенно не представлял, что нас окружает. Зато три длинных двухэтажных здания из светлого кирпича, окруженные неприступной кирпичной стеной, были видны яснее ясного.

Листовые железные ворота медленно отворились, и мы въехали в театрально сияющий двор, такой длинный, что столпившиеся в дальнем конце кроссинговеры заняли только половину. Нас встретили приветливые женщины в платках и, отделив меня от Идриса, повели, мне показалось, в банкетный зал, окружив такой нежной заботой, что я уже не знал, куда деваться, — мне нечем было им ответить — оставалось утешаться тем, что на меня работает обаяние Орфея. Бочком, бочком я отправился искать туалет, и они тут же выпустили меня из своей ауры, деликатно намекнув, что мне нужна дверь возле лестницы. В этом интимном уголке все было абсолютно по-европейски, только на полу стоял кувшинчик с изящным носиком из тысячи и одной ночи.

Чтобы прийти в себя, я поднялся на второй этаж, где у входа в сверкающий зал с дворцовым паркетом стояла корзина с голубыми больничными бахилами. Натянув бахилы, я вступил в дворцовый блеск. Вдоль стен шли застекленные книжные шкафы, и я прильнул к ним как к восточке из прежнего мира. Похоже, сюда была целиком закуплена какая-то районная библиотека — в алфавитном порядке шли сочинения Бабаевского, Гегеля, Гюго, всех Ивановых, Каверина, Нексе, Проскурина, трех Толстых, Митчелла Уилсона, Эренбурга, Языкова и Бруно Ясенского. Его роман «Человек меняет кожу» был популярен у нас на Паровозной. Могли вдруг напористо предложить: «Скажи: человек меняет кожу!» А когда ты в растерянности повторял, тебе отвечали с торжествующим смехом: «С моего ... на твою рожу!»

Идрис, однако, не позволил мне долго бродить по этим Елисейским полям — он почтительно сообщил, что меня хочет видеть Мухарбек.

Мухарбек был в расширяющейся кверху круглой твердой папахе из серого шелковистого каракуля, и лицо его с коротко стриженной серебряной бородой выражало такое приветливое достоинство, что все бесчисленные президенты, каких мне случалось видеть по телевизору, годились ему разве что в шустрые референты. Как он только сохранил все это в казахстанском изгнании?

Не сохранил — где почерпнул?

Уж не знаю, что здесь действовало — чистое великодушие или обаяние Орфея, но прежде всего хозяин заверил меня, что я могу оставаться в его доме сколько мне пожелается и о малейших неудобствах должен тут же сообщать лично ему (я изобразил невозможность желать еще чего-то сверх благ, уже мне дарованных). Что же до беды моего друга, он попробует что-то сделать, но обещать невозможно (я изобразил, что понимаю это как нельзя лучше и буду бесконечно благодарен даже и за бесплодные усилия).

Потом меня накормили за отдельным столом вкуснейшей вареной бараниной с горячими полулепешками-полупирогами, — мне показалось, с творогом и зеленью. Черноглазый парнишка лет шестнадцати ухаживал за мной с такой проникновенной заботой, как будто я был... Даже не могу подыскать, кто — у нас так не ухаживают и за родным отцом.

А, оказавшись в своей комнате, я снова перестал понимать, в какой я стране — хорошая европейская гостиница, и все тут.

Мухарбек внушил мне такую надежду, что тревога даже не приближалась к моему ложу: я заснул, чувствуя себя почти счастливым. И, что еще более удивительно, таким и проснулся. Не сразу вспомнив, что ночью я уже просыпался от выстрелов — не столько пугающих, сколько вызывающе бесцеремонных, — палили то одиночными, то очередями, то соло, то дуэтом, то трио. Я было поднапрягся, но, видя, что никакой суматохи в доме не наблюдается, а значит отбивать штурм не требуется, заснул снова.

Завтрак мне был подан, чуть я высунул нос, — опять горячие лепешки и воздушное печенье, напоминающее наш хворост, только очень крупный и незакрученный. Парнишка — его звали Иса — снова ухаживал за мною так, что я чувствовал себя жуликом, которого принимают за кого-то несравненно более заслуженного: мне снова приходилось утешать себя тем, что служат не мне, служат Орфею.

После завтрака Идрис предложил мне навестить могилу Устаза, которую он назвал не то зерат, не то зиерат. Разумеется, я согласился.

— Да, а почему ночью стреляли? — спросил я как можно более небрежно, чтоб не подумали, что я испугался.

— Праздник вчера был. Свадьба. Ребята немного посалютовали, туда-сюда.

На улице было пасмурно. Двор Мухарбека восстал на вершине каменистого холма, который не сразу решишься назвать горой. Остальные дома крепкого красного кирпича, окруженные садиками и подворьями, в которых ощущались коровы и овцы (кое-кто из них бродил по склонам, пощипывая наметившуюся первую травку), расположились пониже. Среди них виднелась и мечеть, не слишком большая, но очень красивая — с золотящейся кровлей, синеющими изразцами и, чувствовалось, совсем новенькая. Другие холмы позади нее таяли в тумане.

— Мухарбек построил, — с гордостью указал на мечеть Идрис.

Когда мы на нашем кроссинговере миновали вторую компанию мальчишек в тюбетейках, я сообразил, что, может быть, неприлично являться к святыне с непокрытой головой, и спросил у Идриса, не найдется ли у него лишней тюбетейки. Вместо ответа он притормозил у третьей компании и, приоткрыв дверцу, подозвал ближайшего пацана; затем, не говоря худого слова, снял с него головной убор и спокойно газанул. Мальчишка пытался за нами бежать, но не человеческим ногам тягаться с автомобильной промышленностью Запада.

Поколебавшись, я решил-таки уважить местные обычаи и пристроил черную бархатную шапочку у себя на макушке.

К могиле Устаза от мечети вела прямая эспланада, мощенная керамической плиткой; сама могила была окружена просторной кованой решеткой и тоже покрыта позолоченной выпуклой кровлей с полумесяцем на вершине. Надгробие же было очень скромное — узкая заостренная стела темного мрамора с арабской вязью и золотым полумесяцем.

Засмотревшись, я снова пропустил начало и уже не решался спросить, когда это было — при Советах или при государе-императоре: «...Начальники сам банидитничал хуже абреков... Сами банидитничал, а всегда кто-то наш виноват — то абреки, то боевики, то вакхабисты, сами хуже вакхабистов... Народ стал прятаться в горы... Устаз стал за них заступаться...»

— Что интересно — он сам знал, куда его отправят. Пришел, сказал жене: собирай вещи, поедem Сусольск... есть такой город?

— Наверно, Усть-Сысольск? — мне показалось, на родине акцент у Идриса усилился.

— Да, наверно. Усть-Сусольск. Приехал и сам пошел в тюрьма. Они говорят: как, мы ничего не знаем. И тут пришла бумага: взять в заключение. Но во время намаз он всегда молился во дворе. Камера закрыта, а он во дворе. Чтоб небо было сверху. Начальник бежит, охрана ругает: ты такой-сякой, я тебя самого посажу — а Устаз уже сидит на нары, четки перебирает. И сейчас, из могилы помогает народу. К нему приезжают больные, парализованные, слепые, всякие, и он всем помогает. Иногда даже обидно бывает: про это им говоришь, а люди думают, ты какие-то сказки рассказываешь. Можете сами у него что-то попросить — увидите, обязательно подаст рука помощи.

И я взмолился со всей страстью: «Пускай Ирка воскреснет!» И только на следующий день сообразил, что я имел в виду не просто «выживет», а сделается такой, как раньше. В сказках всегда так — в просьбе открывается какой-то второй, издевательский смысл. Есть анекдот: муж и жена попали в аварию — на муже ни царапины, жена в реанимации. Выходит врач: «Ну, что — лобные доли разрушены, говорить не будет, будет мычать, пускать пузыри. Позвоночник сломан, ходить не будет, только под себя. Зато остальные органы в по-

рядке, лет двадцать еще проживет». Муж начинает сползать со стула, и тут доктор ободряюще треплет его по плечу: «Да пошутил, умерла, умерла».

А что, если бы Ирка ожила и сделалась трезвой и деловой бизнес-вумен?.. Что тогда?

Лучше уж положусь на Орфея, он издеваться не будет.

— ... Распорядился снести, — вновь услышал я голос Идриса. — Зачем такое — народ ходит, чудеса происходят, приказал: снести. Прислали бульдозер. И только бульдозерист взялся за рычаг, его самого разбил паралич. Так и умер.

— Что ж он не попросил, чтоб святой исцелил?

— Наверно, не догадался. А святой всегда учил: надо прощать. Он был ужасно мудрый. Его один раз спросили: что такое воровство? Он сказал: если берешь и оглядываешься, значит воровство.

В его голосе звучала такая уверенность в своей правоте, что, подогреваемый затлевшей тубетейкой, я решился проверить давно блуждающий слух, что у немусульман красть-де разрешается.

— Какой ишак такое сказал?! Устаз говорил: украдешь у мусульманина, он тебя еще может простить на тот свет. А немусульманин уже никогда не простит. Хотя хороший человек и немусульманин может попасть в рай, — поспешил успокоить он меня.

— А как же мы у пацана забрали тубетейку?.. И даже не оглянулись.

— Так это мой племянник! Нет, у чужой нельзя. А вы хотите посмотреть фотография Устаза? Мухарбек дал ученым денги, они собрали целая книга святых шейх.

Книга оказалась не толстая, но роскошная, с золотыми тисненными узорами. Зато фотографии были подлинные, черно-белые, не огламуренные даже слишком шикарной глянцеваы бумагой. А уж лиц такого благородства и достоинства у нас и отыскать невозможно — у нас просто-таки нет миссии, в которой бы человек мог ощутить такую свою высоту.

Нельзя просто возвыситься духом — нужно, чтоб было куда возвышаться. А если возвышаться некуда, если ты

сам мера всех вещей — тогда и пеняй на себя, что остался карликом.

После этого я тоже поднялся на второй этаж и собрал все, что писали о Кавказе наши классики от звонкого Марлинского до богоравного Толстого, — и уже к полуночи держал в руках изумившее меня открытие: у кавказцев, как мы их изображали, отсутствовала метафизика.

Если выражаться по-умному. А если по-человечески, горцы были гордые, меткие, бесстрашные, но они никогда не размышляли ни о чем высоком. Даже Толстой расщедрился на одни только детские воспоминания. Этот богоискатель и богоборец, духовные искания русских героев изливавший десятками страниц, прорезая прозу неразбавленными дозами евангелия, на Кавказе не расслышал и слабого эха корана.

Можно людей, оказывается, воспевать и так — как тигров, как ланей, как татарник, — не слыша главного — мечты о чем-то неземном, без которой человек невозможен.

На следующее утро стыд за нашу глухоту мешал мне смотреть в глаза не заботливым — нежным хозяевам. И незримо присутствующий всюду Мухарбек немедленно это почуял. В мой еврономер, откуда я старался не казать носа, почтительно постучался Идрис и осторожно спросил, не хочу ли я отдохнуть в «Горный ключ». При советской власти партийные начальники отдыхали, а теперь Мухарбек кого хочет посылает бесплатно.

Мучительно ощущая, сколь далеко моим благодарностям до горского чистосердечия (одно утешение — они служат Орфею, а уж он-то заслужил!), я поспешил согласиться.

До «Горного Ключа» мы успели промчаться через несколько миров. То нас выносило на обледенелую дорогу, слева от которой бешено мчалась обмороженная трава с забившимся кристаллическим снегом, а справа, будто с самолета, открывалась меж невесомыми облаками изумрудная долина, прорезанная поблескивающими паутинками речек; то мы неслись не ущельями — щелями, стены которых уходили неизвестно в какую высь, заходя друг за друга, нависая над нами то одной, то другой стороной, — каменная халва сменялась круто за-

мешенным каменным тестом, распахиваясь в осыпи, над которыми чудом удерживались прозрачные рыбы хребтики еще не одевшихся листвою деревьев. А бешеная речка, взбитая, словно безе, сумевши отыскать защищенную заводь, отпечатывалась в памяти неземной прозрачностью и покоем...

«Горный ключ» встретил нас гвардейским строем торжественных кремлевских елей, за сетчатой оградой сменившихся тонкими, солнечными даже в подступающем сумраке совершенно летними соснами.

— За территория лучше не надо ходить, — извиняющимся тоном попросил меня Идрис, как будто чувствуя себя лично за это ответственным. — Правда, если что, всегда надо сказать: я гость Мухарбека, не надо всякие неприятности искать, можно так и здоровье потерять... Но бывают такие ишаки — никого не уважают, туда-сюда...

Ему было совестно, что среди его соплеменников встречаются подобные уроды.

— Конечно-конечно, везде бывают дураки, — поспешил утешить его я, про себя-то думая, что Орфей не даст меня в обиду.

Но может быть, его власть на ишаков не распространяется?

Партийные начальники были по-ленински скромны: полированная мебель и сама-то по себе сегодня смотрелась довольно убого, а уж в возрастных язвах, обнажающих ее опилочную природу... Но зато в окне!...

На первый взгляд казалось, что это наш простой среднерусский холм, приходящий в себя после жестокостей зимы, покрываясь по черно-рыжему легким зеленым напылением. И только когда взгляд замечал ближе к макушке четырехгранную каменную башню величиной с мизинец, до тебя доходила огромность этого склона. А когда я вышел на противоположную веранду, я обмер, чтобы так больше и не ожить.

Это были сияющие изломы вечных снегов. Громадность, изящество, тяжесть, легкость, неземная чистота снега, подкрашенная еще более неземной чистотой заката, — что тут могут слова! Сразу после завтрака (здесь кормили тоже в стиле партийного ретро — без выкрутасов, но и без надругательства,

здесь сохранился даже полузабытый компот из сухофруктов) я садился на венский стул, чью неудобную сквозную спинку переставал ощущать уже через мгновение, и исчезал, оставались только они, горы.

Но во мне, даже исчезнувшем, немедленно прорастали два разных слуха — первый слышал все, что стоит слышать, а второй — только то, что было обращено ко мне. Первый слышал даже грозное шуршание снежных лавин, для второго и тектонические катаклизмы, громоздившие эти хребты, совершались в абсолютном безмолвии, — зато первый был глух для вульгарного тарахтения поселкового мопеда, в котором второй отчетливо разбирал мечту о гордом верном скакуне. Но они оба, слух здешний и слух нездешний, подобно верному скакуну, вскидывающемуся на посвист хозяина, разом подбрасывали меня с венского стула при первых же звуках необъезженной музыки, которую в пору моего детства именовали то кабардинкой, то лезгинкой.

Я так и не понял, что здесь делали эти школьники и школьницы, но когда гордый горский танец захватывает не сценических красавцев и красавиц в роскошных одеяниях, а обычных девчонок в платицах и туфельках и обычных мальчишек в джинсиках и кроссовках — только тут-то и раскрывается его собственная красота: в танце открывалось столько восхитительных мелочей, которых никогда не разглядишь на сверкающей эстраде. Вот какими они приоткрываются в собственной мечте: мужчина — огонь, напор, полет, женщина — царственность, невесомое скольжение и ускользание, — и его огненный вихрь каждый раз разбивается о ее нездешнюю кротость...

Я готов был забываться перед этими танцами так же бесконечно, как перед горами. Не уставая дивиться, что, покинутые духом танца, огонь и царственность немедленно обращаются в обычных мальчишек и девчонок. Хотя и не совсем обычных. Поднимаешься по лестнице и слышишь, как мальчишки гурьбой с воплями катятся сверху, — заранее хочется прижаться к стене, чтобы не сшибли. Но в последний миг они видят взрослого и даже, по их меркам, может быть, и пожилого человека,

и — мгновенно рассыпаются, осторожно проходят мимо, почтительно здороваясь.

Девочки, конечно, по лестнице не носятся, но если столкнешься с ними в дверях — даже с большими, почти девушками, — никакими любезными ужимками не заставишь их пройти первыми: старшего надо пропускать, и никаких галантных гвоздей.

Мы давно стараемся их развить до нашей высокой цивилизации, а сам-то я где бы предпочел жить — в мире, где у каждого есть по три мобильных телефона, или в мире, где уважают старших? В мире, где моя жена ходила бы в платке, или в мире, где она валяется у сортира с задранном подолом?

Моему обращению в ислам, кажется, воспрепятствовал только Идрис. Он явился утром столь ранним, что наверняка выехал глубокой ночью, и поинтересовался, как мне здесь нравится, без обычной сердечности.

Возле Мухарбека кто-то... Как это называется, когда слушает и про все докладывает? Да, вспомнил: стучит. Кто-то настучал, и жена моего друга куда-то ушла, спряталась. Мухарбек еще будет ее искать, но мне надо уехать. Прямо сейчас. У меня ведь мало вещей — надо сейчас же все собрать и уезжать, если что, он поможет. А то эти вакхабисты могут подумать, что я хочу чего-то разузнать про их базу, а им, если вобьют в голова, ничего не докажешь.

И прощаться тоже не надо, выходим через задний дверь.

Я решил не испытывать пределы влияния моего покровителя и последовал совету Идриса. Хотя и тревоги особой не испытал.

Так я снова оказался в сверкающем аэропорту, тут же переставши понимать, выезжал я отсюда или мне все это только привиделось.

Мы снова стояли за тем же самым столиком, ожидая объявления. Билетов до Петербурга не было, но для гостя Мухарбека местечко, разумеется, нашлось.

— Идрис, простите, вы не забыли передать тубетейку вашему племяннику? Чтоб у него не осталось обиды против меня.

— Нет-нет, он спасибо просил передать.

И тут раздались выстрелы. Два подряд. Они были не столько громкие, сколько пугающе бесцеремонные. Все замерли, и тут же многие, подхвативши детей и вещи, ломанулись к выходу. А я во главе немногих неверной рысью устремился туда, где только что раздавалась стрельба, не слушая Идриса, умолявшего: не надо туда ходить, что я скажу Мухарбеку?..

Два охранника в черном что-то делали с распростертой на полу женской фигурой, укутанной во что-то еще более черное, крошечное, как ненастная ночь в погребе. Видны мне были только полуприкрытые глаза, но я и так знал, что это моя искательница подлинности в мире подделок.

И пуля оказалась неподдельной.

А прежде чем нас оттеснила милиция, мой обострившийся слух разобрал:

— Что за херня — пластилина нет!..

— Как нет, она ж провода при мне соединяла, я еле среагировал!..

— Провода есть, а пластилина нет.

— Вообще нет, ни одного сникерса?

Я сразу понял, что речь идет о взрывчатке.

* * *

Мне казалось, я был готов к такому финалу, и все-таки пальцы не сразу попадали на нужные кнопки, когда я звонил Беллиной сестре прямо из аэропорта, представившись сотрудником эфэсбэ и, чтобы не сорвался голос, изображая удвоенный служебный напор. Она была потрясена, но не удивлена. Выразив беглое официальное сочувствие, я спросил, не знает ли она, кто такой Андрей.

— Ваша сестра звала его перед смертью. Может быть, это ее соучастник? Мы должны его допросить. Вы знаете, о ком идет речь?

— Н-не знаю...

— «Нне знаете» или не знаете? Если скрываете, вы тоже становитесь соучастником.

— Так звали ее мужа, он теперь где-то на Охотском море. Он сам ее потерял. Он мне иногда звонит, спрашивает...

— Вот так-то лучше. У вас есть его телефон?

— Нет, он сам мне звонит. Там мобильный не берет.

— Когда позвонит, скажите, что мы его разыскиваем. Как его отчество, фамилия?

— Я даже не знаю — Андрей и Андрей, мы почти не общались.

— Муж сестры, и вы с ним не общались?

— Если бы вы знали мою сестру... Я и с ней почти не общалась.

— Так вы поняли? Когда он вам позвонит, непременно передайте ему, что случилось, и скажите, что мы хотим его видеть, он может обратиться в местное отделение эфэсэб. Иначе вы подпадаете под статью о неоказании помощи следствию.

— Я обязательно передам.

Кажется, я немножко отвлек ее от потери сестры и мог уже не сомневаться, что она все ему передаст.

Проваленная операция была успешно завершена.

* * *

Или я сотворил еще одну глупость? Так у несчастного Андрея оставалась хотя бы надежда, а теперь... Я плохо соображал. И, не отходя от автомата, набрал доктора Бутченко. На этот раз я действительно был готов к худшему.

Однако голос доктора вибрировал оптимизмом и нескрываемой гордостью. Лейкоциты изумительные, нейтрофилы просто зашибись — хочешь сегментоядерные, хочешь палочкоядерные, лимфоциты, моноциты, эозинофилы, соз — те вообще хоть на выставку. Но после выписки все-таки не помещает сирий в таблетках недели три-четыре.

— Как, речь идет уже о выписке? — безнадежно переспросил я: мне было ясно, что Орфей еще не знает о моем провале.

— Да, можете ее забирать хоть завтра.

— И она что, в сознании, разговаривает?..

— Разговаривает как мы с вами, все помнит. Смотрит телевизор, читает газеты. Про вас постоянно спрашивает.

— Неверо... Так что же, все-таки чудо?..

— В медицине чудес не бывает. А бывает правильно и своевременно оказанная терапия.

Что еще выдумали — чудо!.. А инфузионная терапия? А комплекс аминокислот? А введение глюкокортикоидов? А глутаргиновая гепатопротекция? А коррекция электролитного баланса аспаркамом? А витаминотерапия? А сирин в качестве гепатонепроцеребропротекторного средства?

— В общем, можете ее забирать.

* * *

В нашем опустевшем доме холодильник урчал, как разнежившийся кот. Он тоже верил, что она скоро вернется. Но я-то брел за смертным приговором на улицу Федякина, едва передвигая ноги, так что меня было легко принять за одного из обитателей тамошнего бомжатника. Единственное, что помогло мне отвлечься от безнадежности подступающей минуты, это затверживание где-то по дороге занозившего память объявления: «Требуются продавцы кваса с российским гражданством». Я никак не мог понять, какое гражданство может быть у кваса, и откликнулся моим бесчувственным поискам лишь квасной патриотизм.

Музей блокады пребывал в целости и сохранности, затуманенный водной пылью, казалось, просто висевшей в воздухе, никуда не двигаясь. Но все-таки почерневшие дома были заплаканы от крыш до фундаментов, а бомжатник в строительном неводе напоминал затонувший дредноут, обросший ржавыми водорослями, — бродившие вокруг по просевшим сугробам водолазы на этот раз были вполне у места.

Морячка Алевтинка встретила меня как родного и, подметая нищенский, но довольно чистый линолеум своими матросскими клешами, сразу же повела пустым вагонным коридором к наверняка уже отвернувшемуся от меня покровителю.

Все в той же застиранной майке Орфей сидел у того же окна, недвижно глядя на черный лед за немывтыми стеклами, и его густые золотые волосы с едва заметной примесью тончайшего серебра все той же пышной волной ниспадали к церковным маковкам неумелой размытой татуировки.

— К вам, — с фамильярной почтительностью обратилась к его сильной подзаплывшей спине Алевтинка громким голосом прислуги-фаворитки.

— Я знаю, — не оборачиваясь ответил он, и она ускользнула царственной походкой танцующей горянки — и татуировка немедленно исчезла.

— Я провалил ваше задание, — произнес я голосом просевшим и тусклым, как заплаканные блокадные сугробы.

— Нет, ты все сделал как нельзя лучше, — не оборачиваясь ответил Орфей своим полновзвучным голосом. — Теперь она уже не будет мешать ему боготворить ее образ. Ведь мы все любим не человека, а свою мечту, которую стараемся им накормить. Но наши любимцы редко годятся ей в пищу. Однако твой подопечный из тех счастливым, кто способен насытить свою мечту собственным воображением, от их любимых требуется одно — не мешать. И теперь она ему больше мешать не станет. Он до конца своих дней будет носить ее фотографию у сердца, а к другим женщинам, которые его полюбят — а их окажется еще много, — он иногда будет лишь ненадолго снисходить, а со временем и сам становится лучшим, поэтичнейшим воспоминанием их жизни. Словом, можешь отправляться за своей Эвридикой в дом скорби.

Синие церковные маковки вновь возникли на прежнем месте, и я понял, что аудиенция окончена.

Он так ни разу и не оглянулся.

Я бы даже почувствовал сострадание к нему, если бы он не казался мне таким несокрушимым.

И не казался таким сокрушимым я сам. Я должен был воспарить, но почему-то был растерян.

— Да, — уже за дверью спохватился я, вспомнив своего ночного спутника. — А что с тем... ну, помните, мы его с вами с улицы тащили?

— Да что ж я их запоминаю что ли! У них жизнь как у тех матросов — нынче здесь, а завтра... — Алевтинка сделала движение показать пальцем в небо, но вовремя спохватилась и ткнула им в сизый линолеум: — Там.

* * *

Мне казалось, улица Федякина и без того местечко мрачнее некуда, но оказалось, покуда Орфей окончательно от меня не отвернулся, я еще не знал, что такое настоящий мрак. Орфей как будто вернул мне Ирку, но погасил свет. Ну что бы ему стоило улыбнуться, пожать руку, пожелать счастья... А то не по-людски как-то: заработал — получи. И гуляй. Я-то думал, мы друзья, а с нездешним миром, оказывается, не подружишься.

Мне даже его слова на этот раз не показались такими уж проникновенными. Потому что он меня не слушал, а очаровывать может только тот, кто сам умеет слушать. Нет, наверно, все это было мудро, но чего стоит мудрость без света!

А главное — это было не просто удивительно, но даже страшновато: мысль о том, что я скоро вновь обрету мою Ирку, света тоже не зажгла...

* * *

Дворничиха Танька за последние месяцы спилась окончательно и лишь изредка, опухшая и страшная, в раскорячку появлялась во дворе, опираясь на две лыжные палки. Зато новый почтительный дворник-таджик уже отскоблил обледенелую плитку до почти такой же чистоты, как путь к могиле Устаза. На этой выскобленной арене меня и встретил богемствующий сосед по площадке.

Немолодой, примерно мой ровесник, он ходил с жидковатым полуседым хвостом на затылке и всегда здоровался со мною холодно, чтобы я не вообразил о себе лишнего, а может, и вообще презирал буржуазию. Зато жена у него была очень приветливая и разговорчивая, по виду черноглазая хохлушка без высшего. И каково же было мое удивление, когда я узнал, что она виолончелистка из Малой филармонии, а они — теперь завхозы называются менеджерами. Мне это открылось, когда черноокая соседка перед полночью позвонила к нам в дверь одолжить триста евро: в Ганновере им все вернут, но нужно что-то там срочно... Я не дослушал, чем, видимо, особенно ее купил: вернув деньги, хипповатый менеджер начал обращаться со мною как со старым приятелем. А сейчас заговорил прямо-таки по-родственному, на ты:

— Что же ты нашу Ирочку не бережешь? Давно хотел тебе сказать: после Нового года возвращаюсь с концерта, а она лежит на лестнице. Я думал, с сердцем плохо, но нагнул-ся — слышу, храпит. Я хотел поднять, а у нее ручек ведь нету, я привык все носить с ручками. Знаешь такой мультяшник — все пытаются поднять колобок, а у него ручек нету?

Он был уверен, что мне так же приятно его слышать, как ему рассказывать.

— Но тут она прочухалась, начала сама подниматься, вместе уже доковыляли. Ее же лечить надо, нельзя так легкомысленно.

— Алкоголизм не лечится, — прятать свой позор для меня еще унизительнее, чем признаваться в нем; если бы можно было, я бы объявил по радио, чтобы только избавиться от намеков и прощупывающих вопросов.

— У меня есть знакомый — много лет пил, а потом завязал. Так он в бывшем дэка жека собирает алкоголиков и алкоголичек и травит им байки, он слова не может сказать без анекдота. А они сидят вокруг него, как куры. Может, ей к нему пойти?

— Нет, она в курятник не пойдет.

Я попытался произнести это с достоинством, и до самого донышка прочувствовал, насколько достоинство неуместно в моем положении. Оно и не произвело ни малейшего впечатления.

— Я могу телефон дать. Смотри, если что, обращайся.

То-то он и перешел со мной на ты. Я больше не имею права на уважение.

Холодильник урчал зловеще, словно о чем-то предупреждая, и я невольно втягивал голову в плечи.

Поскольку я отвозил ее в больницу в халате и ночной рубашке, уже дома приведенными в негодность, мне приходилось собирать ее вещи, начиная с нижнего белья. И трусики-лифчики ее я впервые в жизни брал в руки без растроганности, хотя даже после самых отвратительных ее запоев мне всегда достаточно было увидеть их на сушилке, чтобы грудь мою залило жаром нежности. Но сейчас мне и в них чудилось что-то зловещее.

Когда Орфей назвал больницу домом скорби, у меня мелькнула мысль, что для меня он теперь окажется домом радости, но когда такси взлетело на пандус, сердце замерло от тяжелого предчувствия. И не в том было дело, что идти пришлось мимо хирургического отделения, мимо ожогового отделения, мимо инфекционного отделения — я и без них знал, что наш мир юдоль страданий. Но — страданий с просветами, а я, даже надевая по торжественному случаю пальто вместо куртки, не мог освободиться от чувства, что ввязываюсь во что-то беспросветное.

Только Бутченко меня как-то взбудрил: он был прямо-таки счастлив, что вернул живую душу в эту юдоль, — гуцульские усы безостановочно приподнимались радостной улыбкой, которую он тщетно пытался погасить начальственной серьезностью, аршинные плечи под белым халатом сами собой расправлялись как на параде. Он был действительно очень славный мужик. Нарушая инструкцию, он даже оставил меня одного дожидаться в своем кабинете с компьютером и множеством папок, хранивших врачебные тайны.

Я посидел-посидел, посмотрел на папки, тщетно пытаюсь понять, что написано на их корешках, однако оказалось, что читать я разучился: буквы знал, а слов не понимал.

Тогда я принялся пялиться в огромное окно, но тоже ничего понять был не в силах. Предметы я видел и даже, если бы кто-то потребовал, пожалуй, сумел бы назвать их по имени, — это грузовик, это асфальт, это слежавшийся снег, — но что они означают, я решительно не понимал.

Потом в какой-то момент я удивился, что Бутченко отсутствует так долго, хотя и не представлял, сколько прошло времени — десять минут или два часа. Вернул меня на временную ось только таксист, предусмотрительно спросивший номер моего мобильного. Он интересовался, поедем ли мы сегодня вообще и знаю ли я, что за простой положено платить отдельно. Я пообещал расплатиться аккуратно и щедро.

И только тогда до меня наконец дошло, как я был счастлив, борясь за Иркину жизнь... И какое это было бы счастье — бороться и бороться без конца!

Чтобы она не мешала ее любить.

А что, если бы сейчас вошел Бутченко и, рассмеявшись, потрепал меня по плечу: «Да пошутил, умерла, умерла!»?..

Я ужаснулся этой подлой мыслишке.

Что уж я так вовлекся в эту борьбу за ее жизнь, почему бы и не вернуться нашему прежнему мирному счастью? После этого страшного урока Ирка, разумеется, бросит пить, и...

И что я ей предложу? Себя? Да такая ли уж я большая ценность, чтобы посвятить мне остаток дней? Ведь жизнь сама по себе и не может иметь смысла — смыслом, все оправдывающей целью может быть только какое-то дело. И какое же дело я ей предложу — я, который сам его не имею? На невозможное она замахиваться не станет, а возможного для нее не осталось.

К счастью, нарастающую безнадежность отбросила распахнувшаяся дверь, и на пороге возникла ИРКА!

На этот раз она была уж бледненькая так бледненькая, на голове во все стороны топорщился полуседой приютский ежик, щеки, подглазья темнели впадинами, приспадающие джинсики она по-арестантски поддерживала обеими руками, но это несомненно была она — именно ее единственный в мире голос робко спросил меня:

— Страшная я, да?

Кажется, она не забыла, как мы расстались, и я первым шагнул ей навстречу. Мы обнялись и надолго замерли под умильно-хозяйским взглядом Бутченко.

За всю дорогу мы не произнесли ни слова, держась за руки, как влюбленные подростки. Я и правда боялся ее выпустить хоть на миг.

Мы разъединили руки только перед распухшей Танькиной образиной.

— Ируся, — прохрипела она, — ну, поддержи!..

— Мы только что из больницы, — с ненавистью ответил я и не отпихнул ее, боюсь, лишь потому, что побрезговал до нее дотронуться.

Однако отравить нам встречу она все-таки сумела. Едва раздевшись, Ирка слабым голосом принялась сетовать, что вышло нехорошо, что надо бы дать ей хоть рублей пятьдесят...

— Но она же их пропьет! Твоя Татьяна Руслановна.

— Пускай пропьет. Хоть напоследок порадуется.

Я уже напрягся, женская это логика или алкоголическая. Но не выпустить ее я не мог, нахлынувшая безнадежность лишила меня голоса. Единственное, на что у меня хватило сил, — отправиться на розыски не через пять, а через пятнадцать минут.

Мой хвостатый доброжелатель еще на лестнице с насмешливым сочувствием подсказал мне, что «Ирочка» с Танькой удалились в подвал:

— У них там целый клуб.

Мой хиленький фонарик мне не понадобился — под пыльным кишечником труб камуфляжные вакханки сидели на прокисших овчинах при каком-то блиндажном каганце. Заплывшими физиономиями они напоминали неведомое племя, открытое в дебрях Амазонки отважной путешественницей, — Ирка с квадратной бутылью виски смотрелась такой путешественницей, приобщающей дикарей к благам цивилизации. Увидев меня, она вскинула бутылку с возгласом: «Йо-хо-хо и бутылка рому!»

Мужчина, мужчина, садитесь с нами, закричали менады, и две ближайшие уже начали тянуть меня за полы вниз. «Пойдем домой», — просипел я сквозь зубы, потеряв голос от бессильной ненависти, и вырвал полы своего пальто из этих мерзких клешней. «Девоньки, да на что он вам, — эхом отозвался еще более сиплый голос, и из темноты выступила Танька, — мы ж для него хуже дерьма». Она подняла лыжную палку, и я понял, что она собирается делать, только когда она с размаху всадила ее мне в горло. Я не столько ощутил боль, сколько услышал мерзкий хруст, и упал на колени как будто больше оттого, что, когда в тебя вонзают клинок, полагается падать. Второй удар опрокинул меня навзничь, и я еще успел почувствовать боль в выворачиваемых коленях.

А потом я уже ничего не чувствовал, только слышал, как страшно кричала Ирка, когда ее подруги стеклами от разбитой бутылки с хрустом отпиливали мне голову. И еще видел уже с высоты вороньего полета, как они расползающейся процессии-

ей отволокли мою голову к Фонтанке и плюхнули ее в воду. И моя голова медленно поплыла к заливу, распевая во все перерезанное горло: «Мы вышли в открытое море, в суровый и дальний поход»...

И я снова очнулся в кабинете доктора Бутченко.

Господи, зачем я ее воскресил?! Ведь было так хорошо, пока она спала в стеклянном гробу!..

Дверь приотворилась, я обреченно поднялся.

Однако никто не входил. Я подошел и выглянул в коридор.

Как будто не смея войти, за дверью высился Бутченко, весь в каплях, а возле растрепанных усов даже в струйках пота, но при этом белый, как его халат. Мраморно голубел вислый гучульский нос.

Непонятно что случилось, совершенно непохоже на себя забормотал Бутченко, систолическое, диастолическое, паренхима, билирубин, лимфоциты, тромбоциты, дуореверсивный диализ...

— Скажите одно — она жива?!

— Мы ее потеряли. Не удалось вывести из комы. Она уже переодевалась, и тут внезапная гипогликемическая кома...

— Но ведь я этого не хотел! — в отчаянии завопил я. — Я же только на секунду струсил!!! Орфей, ну сделай же что-нибудь, я больше не буду, я исправлюсь!..

Но Орфей молчал, говорил только Бутченко. На мою голову опять хлынули дефибрилляция, коагуляция, интраспектрация, эманация, эманипция, и, к своему изумлению, я почувствовал, как под этим тоскливым ливнем в моей душе вместе с ужасом и отчаянием вновь воскресает та моя Ирка, которая, покуда я жив, теперь уже навсегда останется во мне.

Та Ирка, моей любви к которой теперь уже ничто не угрожает.

ВЕСЫ ДЛЯ ДОБРА

Повесть

ЕЩЕ В ЛЕНИНГРАДЕ

1

До электрички оставалось полчаса. Уже с утра день был пасмурный, по-ленинградски влажный и прохладный, хотя был уже май, — в городе еще кое-где висели флаги. Толчая на платформе удивила Олега, и он сообразил, что выбрал для отъезда субботный день, хотя вполне можно было бы уехать и в пятницу и не толкаться ни на вокзале, ни в поезде.

Никакие неприятности так не раздражали его, как случившиеся из-за собственной глупости (и то сказать, глупость — непреходящая твоя черта, это хуже невезения). Настроение упало как подкошенное, словно только этого и ждало. Олег расстегнул рубашку на потной груди и стал продираться к залу ожидания: на платформе скамеек не было. От быстрой ходьбы ему было жарко, подмышки были скользкими от пота, но грудь холодило. Конечно, можно было пойти погулять, так сказать, проститься с городом, но сейчас ему был противен весь район, прилежавший к Московскому вокзалу: и Лиговка, и Старо-Невский и особенно сам Невский, где пришлось бы идти в принудительном темпе толпы празднующихся, плетущихся по тротуарам по тем же законам, каких придерживались автомобили на проезжей части. Чего шляться-то, ведь им же скучно! Или они не знают, что такое скучно, потому что им скучно всегда? Даже сейчас всякая вещь, на которую падал его взгляд, вызывала десяток вопросов.

Пытаясь переplавить злость в сарказм, Олег продолжал двигаться к зданию вокзала, но злость не переplавлялась, и он испытывал желание стукнуть по шее еле ползущего впереди дачника со сложенной детской кроваткой в одной руке и двумя газовыми баллонами в другой. «Ну, не хочешь идти быстро, так уступи дорогу», — думал Олег, с ненавистью глядя на его потную жилистую шею, хотя, конечно, понимал, что каждый вправе двигаться, как ему удобнее. Обойти дачника было невозможно, а в то же время и справа, и слева его обгоняли, причем некоторые («Особенно женщины!») — как будто злорадствуя, отметил Олег), натолкнувшись на Олега, возмущенно его отпихивали, как уже окончательно осточертевшего наглеца.

Олег, разумеется, не позволил бы себе вступить в препирательства, тем более — отпихиваться локтями или бедрами, но едва уже не бормотал ругательства себе под нос и даже заметил, что шевелит губами. Тут он вспомнил дружка своего среднего школьного возраста Ваську Душака — как тот перекрикивался на пустыре со своим старшим братом, автослесарем, вернувшимся с работы и, очевидно, заставшим дом на замке.

— Васька, где ключи?! — заорал старший брат, еще не доходя до них метров ста и грозя кулаком.

— Рви, давай, корочки, пока не заработал, — мрачно пробурчал Васька и закричал со всей возможной в крике вежливостью: — Я на место положил!

— На какое место! Нету там!

Тихо: — Слепая корова! — и громко: — Я половиком прикрыл!

— Каким половиком, нету там!

Тихо: — Совсем ослеп! — Громко: — Есть, есть! Наверное, под порог задвинулись!

— Не знаю, ищи иди!

Тихо: — Сейчас, брошу все и побегу, дурак слепой! —

Громко: — Ну посмотри еще раз!

— Я тебе дам «еще раз»! Ну-ка беги сюда!

Васька побрел, продолжая вполголоса ворчать.

— Я что сказал, бегом!

И Васька побежал.

«Вот так и я всю жизнь», — растравляя себя, подумал Олег, но все-таки повеселел, найдя удачный образ своему пессимистическому мироощущению.

Васька предстал перед ним как живой в своей истасканной и застиранной до белизны некогда зеленой вельветке; в выгоревших волосах сияла пролысинка (кто-то плеснул кислотой). Да и у него самого, наверно, волосы были такие же, но в зеркало он тогда смотрелся крайне редко. Чем хорошо детство в маленьком городке — так это свободой. Шляйся где хочешь в одних трусиках под азиатским солнцем, а можешь даже отправиться в холмистую степь, полазить по сопкам, поросшим редкой и жесткой, как бороденка кочевника, травой, на которой не повалешься без рубашки и, может быть, увидишь чем-то похожего на маленького медведя (не на медвежонка, а именно на маленького взрослого медведя) сурка. Даже удивительно, что эта степь, такая облезлая, могла прокормить и людей, и коров, и овец, и лошадей, и верблюдов, не говоря уже о всякой мелочи, и не только сеном, но и пшеницей.

Душный зал ожидания гудел от голосов, но все куда-то шли: и туристы с огромными рюкзаками, и рыболовы в плащ-палатках, и дачники с узлами и детишками, — был один из первых теплых дней, и многие, не успев отреагировать, были одеты довольно тепло и выглядели распаренными, — все куда-то двигались, и свободных мест было достаточно. Наверно, никому не хотелось сидеть в духоте. Олег пробрался поближе к окну, поставил на пол рюкзак, наклонив его так, чтобы не испачкать прилегающую к спине сторону, на которую в будущей походной жизни собирался, как на подушку, класть голову, и сел на скамейку.

Рюкзак был невелик: лучше лишний раз померзнуть, чем быть связанным чем-то малотранспортабельным, да и какие сейчас холода. Там лежал ватник, шерстяные носки, вязаная шапочка, старый свитер, неизвестно чей, валявшийся в шкафу в общежитии, тельняшка, трикотажные брюки от тренировочного костюма, плавки, мыло, полотенце, зубная щетка, кружка и «Избранные произведения» Писарева.

«Неужели женщины в самом деле толкаются больше мужчин? — подумал Олег, глядя на медленные людские потоки в проходах. — Или меня толкнули одна-две, а моя злость норочит сожрать за это их всех? Одной-двух ей мало. Или в обобщении — «все они!» — злость ищет себе идейной опоры — ей тоже нужна комедия ввеличной справедливости? Закон алчности антипатии. А может быть, женщины слабее, их чаще отовсюду оттесняют, и им поэтому кажется, что если не толкаться, то и вовсе затопчут. Или мы хотим видеть женщин более возвышенными, и от этого чаще видим отклонения от идеала? Все беды от романтизма... И с Мариной из-за него же так получилось. Господи, опять Марина! «Не мучь меня, прелестная Марина...» Да плевать я на нее хотел! «Царевич я! Довольно, стыдно мне пред гордою полячкой унижаться! Прощай навек, игра войны кровавой, судьбы моей обширные заботы тоску любви, надеюсь, заглушат...» Да нет у меня никакой тоски! Я бодр, весел, собираюсь в увлекательное путешествие, а пока с огромным интересом собираюсь ревизовать Д. И. Писарева. И вообще, у меня огромная программа самообразования — необходимо восполнить пробелы... даже не пробелы, а наоборот: мои познания — сами островки в белой пустыне. В белом безмолвии... Если я дойду до чего-нибудь стоящего, обязательно начну считать себя самоучкой. Хотя всегда считалось...»

Считалось, что он читает очень много, и серьезные книги, но теперь он понимал, что всю жизнь только и делал, что валял дурака. В институте он тоже валял дурака предостаточно, но все же читал гораздо больше и, главное, целенаправленнее, и тем не менее у него кружилась голова при мысли о кошмарном книжном море, которое он должен проглотить, чтоб хотя бы мало-мальски приблизиться к тем, кто пишет эти книги. Он даже преувеличивал этот разрыв, потому что, не замечая того, состязался не с кем-то одним из писавших, а со всеми сразу: с беллетристами, философами, искусствоведами, историками и физиками, и когда он приходил в Публичку заниматься, ноги сами несли его в гуманитарные залы, а он делал при этом рассеянный вид, как будто собирался в случае чего изумиться: «Куда это я забрел?» Но, в конце концов, он имел право,

он был почти отличник, а по *серьезным* предметам вообще не получал четверок. При этом он мог неделями не вылезать из библиотеки, но потом неделями пошлейшим образом предаваться обычной в студенческих общежитиях глубокомысленной трепотне по ночам, с кофе и сигаретами, хотя вообще не курил, а также выпивкам и танцам в полумраке с их последствиями: сон до двух часов, потом поход к пивному ларьку, потом столовая, потом неопределенное слоняние и потом все сначала. И это казалось приятным и почтенным из-за доброкачественных острот и некоторой эрудиции собутыльников.

Но потом он спохватывался и, чувствуя себя едва ли не преступником, начинал новую жизнь с железной дисциплиной, имевшую приблизительно ту же продолжительность.

Довольно много времени пропадало еще из-за того, что, прочитав у одного писателя, к которому тоже нужно было бы еще присмотреться, восторженный отзыв о другом, опять-таки не из самых видных, он с профессиональной скрупулезностью принимался изучать похваленного, и только гораздо позже заметил, что в предисловиях к книгам второстепенных писателей всегда говорилось, что в отношении данного автора сложилось неверное мнение — отчасти из-за отзывов такого-то и такого-то, — но не следует забывать, что он был приятелем такого-то и тот жил у него на квартире, а также известны лестные отзывы о нем такого-то и такого-то, и сейчас настала пора восстановить справедливость, — все до одного были забыты незаслуженно. Может быть, авторам предисловий просто было неприятно, что они изучают второстепенных, но он воспринимал их слова вполне серьезно и поэтому иногда оказывался сведущим в столь специальной области, что мог бы показаться невиданным эрудитом тому, кто не знал бы, что его осведомленность не глубокое озеро, а глубокий колодец.

Но Писарев... Кумир двухлетней давности. Это было великолепно: все самое благородное ставилось на почти торгашеские разумные основания. Вот только почему именно эти основания считать разумными? Каковы основания у оснований? Где самые первые три кита, и на чем они стоят? На каком первознании — абсолютно достоверном первоначальном

знании? Пафос Писарева был ему ужасно по душе: бей налево и направо, что устоит — только то и годится. Но вдруг ничего не устоит? Да нет, дело в другом: бить — это да, но чем? Каким абсолютно прочным первознанием? Ведь всякое такое первознание есть предубеждение — слово для Олега самое отпугивающее. А ведь все равно они, предубеждения, у тебя есть — хочешь не хочешь. Если ты ни в чем не уверен, то все-таки уверен в том, что ни в чем не уверен. Как сказал Люцифер, кто не склоняется перед богом, тем самым склоняется передо мной. Всегда есть ядро убеждений, в которых ты *не способен* усомниться, потому что ими судишь остальное. И складывается это ядро, наверно, где-то до пятилетнего возраста, а дальше только шлифуется. Так потом и живешь убеждениями пятилетнего возраста. Но где же взять настоящее, *объективное* первознание?

«Только что я злился на женщин — и не сомневался, что прав. А чуть остыл — и уже нахожу тысячу разных возражений. Надо злиться всегда — тогда и не будешь знать сомнений. Но если всерьез, то — истину нельзя постичь, пока злишься: злость убивает объективность. Объективность — ведь это безразличие? И любовь убивает объективность. Вот обожал я Марину и тоже был абсолютно уверен, что все идет правильно. Как же я мог ее обожать? Дурак был, вот и обожал. Это вернейшее средство добиться несомненности — стать дураком».

2

Место занять удалось, и не было поблизости ни стариков, ни женщин с детьми. Можно было бы почитать, но настроение снова сделалось препаршивым. Когда раскиснешь — комариный укус может вывести из равновесия. Но в этом раскисании почему-то есть своя сладость — сладость слабости: уже хочется не бороться, а наоборот — капризничать. И вот сейчас его не на шутку злили пассажиры, которые только что изо всех сил рвались в вагон, но, войдя и увидев, что место им достанется, тут же начинали медленно идти

вперед, с необыкновенным достоинством осматриваясь, выбирая. В узком проходе обогнать их невозможно, а в это время те, кто вошел из противоположной двери, занимают лучшие места. В другое время это, скорее всего, его только рассмешило бы, но сейчас чувство юмора отказало напрочь. Справедливости ради он попытался подумать, что места все равно пустовать не будут, — те, кто вошел в другую дверь, ничем не хуже его, — но это соображение только рассердило его еще больше. Все дело было в том, что сейчас окончательно выступило на первый план чувство, которое с самого утра являлось как бы фоном всех его поступков: тревога.

Кажется, невелико событие: взять академический отпуск, *академку*, и уехать на Север, но тем не менее это был самый решительный поступок в его жизни, в том смысле, что решение было самым нестандартным, то есть настоящим решением. Он сейчас и разрабатывал методику принятия собственных решений. Его прошлое представлялось ему случайным и предопределенным чем-то внешним, и теперь он не знал, был ли в этом какой-то смысл. Даже выбирая факультет, он, собственно говоря, ничего не решал: было совершенно ясно, куда идти ему, призёру разных физико-математических олимпиад, не очень, правда, крупных, но и не очень мелких. И науку себе он не сам выбрал: в то время, ему казалось, ни один номер газеты или журнала не выходил без статьи о физиках, этих Прометеев, титанах мысли и в то же время дьявольски остроумных и веселых ребятах, любящих и умеющих пожить, кроме того, эрудитах и знатоках искусств и, конечно, спортсменах («он любит теннис и Дебюсси»). Экстравагантность их чудачеств была восхитительна. Элегантность их хобби была грандиозна.

Вероятно, статей было даже и не так много, скорее всего, он сам же их всюду выискивал и, оценив все это — элегантность и экстравагантность, — вообразил, что его призвание — точные науки («математик» тоже звучало неплохо). Он и прежде шел в этих науках первым, но даже не сознавал этого, а больше любил читать книжки, где попало шляться с друзьями и ходить на секцию борьбы (что оказалось вполне совместимым с его идеалом). Но, вообразив точные науки своим при-

званием, он стал читать, кроме учебников, которые тоже читал не очень регулярно, более серьезные книги, приналег на задачи повышенной трудности, и, конечно, за этим должны были последовать некоторые результаты, приблизительно такие же, как в спорте: второй разряд. Это означает, что ты поборешь почти каждого, кто никогда этим не занимался, если он будет действовать по правилам и не особенно джуж от природы. А если он на пяток сантиметров тебя повыше и на десяток килограммов потяжелее, то с ним, скорее всего, не совладаешь, и таких было сколько угодно, потому что даже сейчас Олег весил семьдесят два килограмма и имел рост сто семьдесят пять сантиметров. Он выполнял несколько разрядных норм и для своей комплекции был хорошо развит физически, но, к сожалению, только для своей комплекции. (Боясь впасть в самодовольство, Олег был склонен даже несколько сгущать краски).

И города он не выбирал. В свое время его родители учились в Ленинграде, поэтому всегда подразумевалось, что и он будет там учиться. А на его факультете когда-то учились и в недавнее время работали очень многие из обожаемых им академиков.

Словом, теперешний выбор был самым значительным из его выборов, зависящих лично от него. Теперь он хотел наконец *стать самим собой*.

Призвание? Он считал для себя установленным, что явление, которое обычно считают призванием,— врожденная тяга к чему-нибудь, — если и встречается, то очень редко, а, вообще говоря, призвание — это призыв, исторгнутый спросом на данный род деятельности и идущий, разумеется, не изнутри, а снаружи. Иначе чем объяснить, что какой-нибудь захудалый итальянский городишко, вроде его родного райцентра, или тонюсенькая прослойка русского населения, дворянство, за какие-нибудь два-три десятка лет высыпает десяток гениев, в то время как есть целые пустые эпохи. Чем объяснить это массовое внутреннее призвание? Солнечной активностью? Или в другое время гении не выявлялись из-за плохих условий выявляемости? Что же это за гении! У многих из выявившихся тоже были условия не дай бог, но их призвал и вел некто,

кому они были нужны, призвал спрос, и они пошли. Он призвал и других, но другие отстали. Как на уроке физкультуры: весь класс бежит стометровку, и кто-то приходит первым, а кто-то последним, — но не будь урока, все сидели бы в классе или пошли домой. Но если кто-то пришел первым — значит ли это, что он должен бегать всю жизнь?

«Знаем ведь, как моды или реклама двигают миллионными толпами, — наивно же думать, что одна из этих толп движется по другим законам — разумного выбора — только потому, что ты к ней принадлежишь».

Олег был уверен, что таковы почти все его сокурсники: каждый с тем же успехом мог бы заниматься и чем-то другим, чем сейчас занимаются те, кто мог бы заменить их. Нет, конечно, большинство ребят с их курса поспособнее среднего школьного уровня, почти каждый в своем классе когда-то был малюсенькой звездой, но сколь низко нужно ценить себя, свое Я, чтобы довольствоваться этой микроскопической разницей и считать, что именно она и должна определить твой жизненный путь. Научно обосновать свой выбор профессии он не мог, а другие и вовсе не задумывались.

Среди его знакомых большинство были просто славные ребята, которые учились себе и учились, и ничего из себя не строили. С ними он всегда был приветлив, дружелюбен и в любое время готов битый час объяснять что-нибудь неясное, даже радуясь полезному применению своих знаний, хотя как будто и не знал в точности, что такое «полезное», — во время сессий у него бывало по двадцать человеко-заходов в день. Но хватало и таких, которые, как ему казалось, могли считать высшей жизненной целью превзойти соседа по аудитории и, превзойдя его, становились до того самодовольными, что это можно было бы простить разве что гению.

Олег не сознался бы, что его раздражало не только то, что они относятся без должного уважения ко всему на свете, но и то, что они относятся без должного уважения к нему лично, уж им-то не уступавшему; однако ему было и само по себе противно индюшачье самодовольство, как бы заключающее их в бронированную скорлупу. Противно до того, что

многими из своих последних открытий он был обязан опасению походить на них.

Держался он с ними надменно, едва ли не до глупости, часто, из-за непривычки к этой роли, сбиваясь с нее и чувствуя, что они все-таки сильнее: им было в самом деле наплевать на него, как и на каждого, кто, по их убогим представлениям, недостаточно преуспел, таких они — не притворялись, а по-настоящему в упор не видели; он же, как ни старался, не мог быть вполне равнодушным к мнению о себе едва ли не каждого встречного. Да, одним из источников его презрения к ничтожности их мерок была обида за себя — но не только за себя, а как бы еще и за всех, с кем провел детство, с кем учился, с кем жил в общегитии, за родителей, теток и чуть ли не за все человечество. Думая о них, о тех, кто ни за что ни про что считает себя солью земли, он готов был как угодно принизить свои способности, чтобы только, имея вид объективности, проделать то же самое и с ними. Из-за них он и оценивал себя вторым разрядом, хотя, в сущности, мог бы претендовать на мастера спорта. Он как будто чувствовал, что у него и кроме мастерского звания останется еще что-то, как раз самое главное, с чем можно жить, и радоваться, и нравиться людям, а у них не останется ничего. Если бы он не боялся высокопарности, то сказал бы, что этим главным была его способность чувствовать чужую радость и боль, хотя, опять-таки, не мог бы научно обосновать, почему именно в этом главное.

А из них каждый, казалось ему, целиком заполнен искреннейшим и непосредственнейшим ощущением себя главнейшей и единственной ценностью вселенной. Все они были так серьезно и открыто озабочены своей карьерой, как никогда не смог бы ни сам Олег и никто из его друзей. Казалось, они с младенчества купались среди вообще-то более или менее понятных, но далеких от жизни слов вроде: «ученый совет», «тема», «научный руководитель», «оппонент», «рецензент» и т. п. И карьеру они сделают, потому что, во-первых, очень этого хотят, а во-вторых, уже в школьные годы получили представление о том, что такое серьезные занятия, — представление, которое стало для Олега проясняться лишь в самое последнее

время. И они железно следовали этому представлению, а он не мог: слишком сильна была инерция школьного разгильдяйства — отсутствия зримых маяков, — и было неясно, стоит ли выигрыш издержек. Конечно, сообразительность, как и всякая способность, развивается от упражнений, но сколько раз он решал задачи, каких не мог решить никто из этих умников. И здесь — как в спорте: каждый следующий шаг дается все с большим и большим трудом, и нужно уметь вовремя остановиться, чтобы не платить слишком дорого за ничтожные приобретения.

Многих из них, кроме карьеры, заботило лишь желание не выйти из некоторой роли, причем сами роли были довольно разнообразными, но вместе с тем достаточно тривиальными. Один постоянно стремился доказать, что не уступит никому из королей танцплощадки по бесстрашию и виртуозности кулачного боя, другой старался показать, что не уступит самому поганому из бабников. Вероятно, эти контрасты были призваны резко оттенить их интеллект либо подчеркнуть широту их натуры, однако у Олега вызывали живейшее омерзение, причем не тогда, когда слушал их, а когда вспоминал, хотя не верил им и на десятую долю. Уж слишком они были непохожи на тех королей танцплощадки и бабников, которых он знал прежде. Не мог он поверить, что таким, *на самом деле*, может быть человек, знающий, что такое равномерная сходимость и кто такой Монтедь. Все эти завитушки были лишь украшением центральной роли — роли молодого талантливого ученого. Они с первого курса именовали себя учениками каких-то молодых профессоров, о которых Олег никогда до этого не слышал, причем называли их Витя, Толя, хотя те едва ли толком знали их в лицо, и рассказывали о них истории весьма интимного свойства. Было очевидно, что каждый из них ожидает той прекрасной поры, когда такие истории будут рассказывать о нем, и загодя готовит материал для биографов. Но, хотя многие преподаватели ему очень даже нравились, Олег почему-то не мог относиться к этим историям, как к анекдотам о великих людях, невольно видя в них что-то лакейское. Однажды он с изумлением заметил, что именно они, наименее симпа-

тичные из всех его однокурсников, по всем внешним данным ближе всего стоят к его прошлому идеалу ученого-эрудита-спортсмена-острослова.

Выражаясь фигурально, они казались ему законченными, то есть мертвыми, а он хотел жить. Кстати, возможно по тому же закону алчности антипатии, ему казалось, что большинство из них окончили специализированные школы, и был противником таких школ как прививающих сословную и даже личную ограниченность, уверенность, что твои нехитрые умения — да хоть бы и хитрые! — единственно стоящие. Каково, в самом деле, формироваться душой среди людей, которые все единогласно восхваляют одно и то же, одно и то же считают добром, в данном случае — умение манипулировать математическими символами. В этом сословии были и неплохие ребята, но тоже абсолютно убежденные, что верховная цель бытия — приписать к стотысячному списку формул еще одну. Но здесь-то и споткнешься: ладно, пусть их идеалы мелковаты — ну а твои? В чем они? И чем ты докажешь, что они лучше? И что такое «лучше»?

Откровенно говоря, Олег не выпускал из виду и того, что наука может оказаться совсем не плохим средством зарабатывать кусок хлеба, но он уже понял, что, как ни крути, он должен чувствовать себя полезным. Зачем это нужно — он не мог объяснить рационально, но когда он представлял себе жизнь, даже вполне комфортабельную, в которой, кроме близких, ему ни до кого и никому до него нет никакого дела, его охватывало промозглое чувство страха и одиночества, которое он однажды испытал в детстве, отстав от матери на Казанском вокзале в Москве. Нет, очевидно, так уж он устроен, что должен иметь хотя бы иллюзию служения человечеству. (Неизвестно почему, но сейчас эту иллюзию он имел, возможно, безотчетно принимая за служение свои мысли о нем.) Но стоит вдумать-ся — и все начинается сызнова.

Он должен приносить пользу, делать добро... Но что такое «польза», что такое «добро»? Ясно, что идеал «ученого-спортсмена» — убожество... Но в чем тогда *настоящий* идеал? И если даже его найдешь, как убедиться, что он *настоящий*?

Что есть истина? И как доказать, что именно она истина? Доказать строго, как математическую теорему. Вывести формулу добра.

В институте он открыл для себя Льва Толстого, в школе почти погубленного отбитыми против воли поклонами, без конца перечитывал его, прямо-таки физически трепеща от чудовищного напора толстовской мысли (это тебе не «ученый-эрудит», это действительно грандиозно), и абсолютно уверился, что главнейший в мире вопрос — это «что есть добро и что зло?». «В чем смысл человеческой жизни, который не уничтожался бы смертью?»

Однако, смущаясь перед Толстым, он никак не мог посчитать естественные и точные науки утехой праздных умов, — напротив, именно они должны были на эти великие вопросы дать великие ответы, столь же достоверные, как законы физики. А иначе что же получается — спрашиваешь себя: «Почему то хорошо, а это плохо?» — и обязательно утыкаешься в ответ: «Потому что первое мне нравится, а второе не нравится». Ну или там, они нравятся или не нравятся кому-то еще, может быть даже тысячам, миллионам людей, а мне *не нравится* расходиться с ними — вот и опять приходишь к своему «не нравится». Что это за ответ? Еще Писарев смеялся над «эстетиками», что у них в основе всего лежит «мне нравится».

Про закон Ома никто ведь не скажет: он верен потому, что мне так нравится. Тут все твердо доказано. А не веришь — бери вольтметр, амперметр и убеждайся.

Значит, для добра и для зла тоже должны быть какие-то приборы, какие-то весы, — бросишь на их чашку поступок, а стрелка покажет: добра в нем столько-то, остальное — зло. Бросишь чью-нибудь жизнь — покажет: в этой столько-то смысла, а в этой его и вовсе нет. И все строго научно. Без всяких личных симпатий и антипатий.

Однако довольно долго вопрос о смысле жизни был не так уж актуален, — вполне мог откладываться на потом. И только в самое последнее время вдруг оказалось, что, не зная научно обоснованного решения этой проблемы, жить просто-напросто невозможно.

В последнее время, когда на него часто нападала смертная тоска, ощущаемая как почти физическая боль, и он не двигаясь часами лежал на кровати, слушая, как утекает песок в его часах, — ничего не хотелось делать, только лежать и слушать эту боль, — в это время он повторял про себя, что жизнь бессмыслица, и к тому же мучительная бессмыслица, раз она кончается смертью, и толстовское «жизнь имеет несомненный смысл добра» казалось издевательством, поскольку не могло быть глупостью. Какой же смысл, если и те, кому делаешь добро, тоже умрут! Ну, тридцатью-сорока годами раньше-позже, — и все.

Ему казалось, что именно ожидание смерти и мучит его, но мучила его сама тоска, а она всегда вызывалась жизнью, а не смертью. Разумеется, у него и раньше бывало плохое настроение, поэтому он не обратил внимания, что эти приступы, в ослабленном виде посещавшие его и прежде, стали играть по-настоящему заметную роль в его жизни, когда появились первые нелады с Мариной, и во время приступов мысли о жизненной тщете, о смерти сразу же начинали звучать особенно убедительно, став почти дежурными. Но тоска проходила, а он все-таки повторял те же слова, как утративший веру, но еще не осознавший этого, повторяет слова молитвы, которая, по привычке, еще создает религиозное настроение. А тоска могла пройти от чьей-нибудь улыбки, от удачно решенной задачи, от выжатой штанги и вообще неизвестно от чего: иногда надо было только чем-нибудь заняться. Однако он все-таки считал, что его томит именно бессмысленность жизни, считал еще и потому, что это было гораздо серьезнее банальных любовных терзаний, постыдных для мужчины, как он усвоил с детства. Притом все неизменно подкреплялось логикой, а сомнение в правильности логических выводов было для него чем-то хуже малодушия — глупостью.

Как часто бывает, скверное настроение, то есть расположение к отрицательным оценкам, вызывало пессимистические теории; но настроение в любой момент смывалось приливом телячьей радости бытия, а теории, из-за большей их устойчивости (словам он верил больше, чем ощущениям),

сохранялись, повторялись, развивались и даже становились способными вызывать прежнее настроение. Заметить это было тем труднее, что плохое настроение могло быть вызвано пустячной мелочью или просто нервной усталостью, и объяснить его подобными причинами было затруднительно, — не только потому, что такое ему не приходило в голову, но еще и от унизости таких объяснений: это значило бы признать свою слабость, зависимость от всякой ерунды. А всплески беспричинного счастья (в сущности, не более беспричинного, чем всплески тоски) почему-то не рождали в противовес оптимистических теорий, на которые можно было бы опереться в минуты плохого настроения, а оставались только преходящими ощущениями, — то ли потому, что создавать оптимистические теории труднее, то ли он чувствовал в самой их идее нечто низменное и заурядное.

С Мариной он не делился своими мыслями, потому что она часто говорила, что очень тонко чувствует человеческое притворство, а он уже довольно точно установил, что она под этим понимает, и поэтому обо всем, что не касалось ее лично, говорил при ней иронически, хотя о многом ему хотелось бы говорить восторженно, потому что, считая себя твердым рационалистом, он вообще был склонен увлекаться, а после знакомства с нею — особенно. Он не мог бы объяснить словесно, что ей по вкусу и что не по вкусу, но очень быстро усвоил это практически и в первое время говорил только то, что ей могло понравиться, и так удачно, что она считала его умным и не раз в хорошие минуты говорила ему об этом. Он видел, что она искренне так считает и ей льстит, что он умный, и ему нравилось и то и другое, хотя в то время он уже подумывал, что главное в человеке не ум, а что-то такое, что раньше называли словом «душа», которое теперь стало непригодным из-за его неопределенности. Может быть, это просто способность страдать и радоваться за других? Во всяком случае, что-то в этом роде он чувствовал, однако ему понравилось бы в себе все, что могло бы понравиться ей. Словом, в отношениях с Мариной он был эквилибристом, не знающим законов равновесия.

Но теперь, когда все уже кончилось, ему стало казаться, что главный ее закон формулировался так: эlegantность во всем — а) в одежде, б) в образе мыслей. А поскольку эlegantность несовместима со скованностью (человек в моднейшем костюме от лучшего портного не будет хорошо выглядеть, если держится недостаточно свободно), то второй пункт закона практически выражался в том, чтобы знать достаточно для поддержания любой культурной беседы, обо всем судить вполне оригинально, но *ничего не принимать всерьез*. Поэтому обо всем говорить следовало либо панибратски, либо свысока.

Старательно притворяясь, он пытался соответствовать этому пункту. С первым же было еще проще. Хотя он ходил в туристских ботинках, джинсах и свитере, но это в сочетании с его спортивной фигурой было неплохо, он это знал, и, главное, *современно*. Но в самое последнее время у Олега забрезжила смутная догадка, что главным духовным двигателем Марины было заурядное мелкое тщеславие. Мелкое — потому что ей хватало, например, того, что она чувствовала себя центральной (в действительности или в воображении) фигурой сравнительно небольшой компании ее сокурсников и сокурсниц, в свое время закончивших вместе с ней физико-математическую школу, — все они были из тех самых эрудитов и острословов. Остальной же мир как будто вовсе не существовал для нее: частью потому, что был слишком низок для нее, частью наоборот — слишком высок, — одних недостаточно уважала она, другие недостаточно уважали ее.

По мнению же ее приятелей, мир был создан исключительно ради их развлечения, для каждого из них единственным предметом, достойным серьезного отношения — зато очень, очень серьезного! — был он сам.

Но она-то — он долго был уверен — не имела со своей компанией ничего общего, досадное соседство было совершенно случайным, как, например, квартирное, или же говорило о ее неумении удалить от себя недостойных. Это соседство было даже выгодным для нее, потому что она, действительно, высказывалась намного интереснее и остроумнее других. И проще,

без ломания. Бывая в их компании, Олег держался непросто, больше молчал, а говорил чаще всего преувеличенно резко и независимо. Но ей это нравилось: она догадывалась, что он ведет себя так из-за ее присутствия, и не совсем в этом ошибалась. А Олег, ловя ее мимолетные смеющиеся, казавшиеся влюбленными взгляды, таял от счастья, чувствуя, что только они двое понимают здесь друг друга. В эти минуты она казалась ему удивительно красивой.

И невозможно было до конца поверить, что именно тщеславие заставляло ее, начисто лишенную художественного чувства, посещать выставки и труднодоступные спектакли, доставать книги модных поэтов и прозаиков и, из неосознанной зависти, отзываться о них пренебрежительно, иногда отмечая с одобрением только что-нибудь малозаметное и второстепенное. Это говорило об изощренности ее вкуса и позволяло чувствовать превосходство не только над окружающими, но и чуть ли не над авторами. Хотя иногда она тонко давала понять, сколь значительную роль играет искусство в ее жизни. Однако о литературе она судила, как, наверно, адвокаты или профессиональные проповедники судят о речи своих коллег: отмечают занимательность, остроумие, приемы использования лирики или пафоса, но никому и в голову не придет задуматься, *правда ли* то, что он проповедует. Взволновать ее не могло ничто. Ее весы для добра взвешивали только элегантность; интерес к искусству весил примерно столько же, сколько у мужчин бритве. Словом, ему хотелось благоговеть, ей — снисходить.

Однако же остановиться на тщеславии как главном двигателе ее поступков ему мешало вот что. Ведь она была неглупа и поэтому не могла надеяться в каком угодно отношении превзойти все человечество, а вместе с тем, опять же как человек неглупый, не могла бы удовлетвориться превосходством над кучкой малозначительных личностей. (Олег, хотя и как-то неявно, но все же считал, что если человек неглуп, то должен думать и чувствовать так же, как он. А если думает иначе, то это частное недоразумение, которое наверняка можно легко разъяснить.) Кроме того, занимаясь учебными делами очень

аккуратно, она всегда с насмешкой отзывалась о научных способностях женщин и, следовательно, была лишена главного из мелких тщеславий — научного. Он не понимал, что она очень желала бы первенствовать и здесь, но для этого пришлось бы идти на слишком явные искажения фактов; поэтому пренебрежение к себе и заодно к самой науке было выгоднее, так как в этом пренебрежении демонстрировались ум и прямота. Он не замечал, что при всем том она ужасно любит рассказывать о мельчайших своих успехах, о малейших похвалах преподавателей. Сам Олег одно время отзывался о науке свысока из подражания Толстому: она не решает вопросов о добре и зле; правда, потом он додумался, что в конце-то концов она их и решит по-научному, но во время первого знакомства с Мариной сходство их суждений склонен был трактовать чуть ли не как тождество душ.

Поэтому он ни за что не поверил бы, что приобрел для нее интерес только тогда, когда одна из ее подружек издала указала на него в столовой и спросила, по-детски сюсюкая, с принятым в их компании всевозможным жеманством, которое при обращении женщины к женщине было вдвойне нелепо: «Ты знаешь этого мальчика? Говорят, он очень умный». Она хотела, чтобы Олег разъяснил ей что-то в ее же собственном докладе на спецсеминаре. И подружка долго ахала, — вероятно, из благодарности преувеличенно, — когда он в течение десяти минут (без всякой подготовки!) внес в вопрос полную ясность. Олег не смог бы поверить, что это дурацкое аханье способно решить его судьбу, потому что, хотя подобные вещи бывали приятны и ему, он никогда не позволил бы себе серьезно отнестись к такой чепуховой истории. От знания десятка теорем человек не становится ни хуже, ни лучше!

Однако именно после этого Марина нашла его достойным своего внимания и только потом обнаружила в нем и ум, и эрудицию, и понятливость, и остроумие, тем более что он был высокого мнения о ней и был е е, то есть принадлежал ей.

Именно с этого времени, разговаривая с ним, она начала смотреть на него чуть улыбаясь и слегка откинув голову, словно любуясь им. Или торопливо и обрадованно кивала

его словам несколько раз подряд, как будто радуясь, что наконец услышала, чего ждала всю жизнь. Или, сказав что-то, на первый взгляд незначительное, она серьезно и значительно смотрела ему в глаза, и глаза ее казались большими и очень темными. Это заблуждение ему суждено было сохранить навсегда, — глаза у нее были небольшие, цвета не очень крепкого чая. Вообще, она была скорее смазливой, чем красивой, но ему — и себе самой — она казалась просто красавицей. А поскольку, разговаривая с ней, он старался как можно больше острить, то она часто смеялась звонко и отчетливо, что необыкновенно шло ей, — как, впрочем, все, что она делала, — и смотрела на него с нескрываемым восхищением.

И все же ни тогда, ни позже, даже в дни, казавшиеся началом самого лучшего, но оказавшиеся его концом, он не говорил с ней о том, что ему казалось важным, с дьявольской увертливостью избегая даже мыслей об этом, ухитряясь довольствоваться смутным ощущением в том духе, что для столь близких людей очень уж серьезные разговоры были бы чем-то вроде излишней сентиментальности, почти болтливостью.

Только раз он вдруг сказал ей, что его мучит отсутствие смысла жизни, но когда она рядом — этот вопрос не представляет для него никакого интереса: она, Марина, кажется ему вполне удовлетворительным ответом. Он сказал это, зная, что будет угоден, но эти слова были для него не тонкой лестью, а точным физическим фактом. По блеснувшей на ее лице радости он понял, что попал удачно. Но невольно прочел и предвкушение: как она мимоходом расскажет о его словах кому-то будущему, а может, и настоящему, подобно тому, как в разговоре с ним она часто упоминала о других поклонниках — якобы желая всего лишь рассказать о курьезном случае. Он не подумал этого прямо, он вообще робел так, впрямую думать о ней, но ощутил это болью в выделенном специально для нее уголке души. Но, как уже отмечалось, в разговорах обо всем, что было «не она», он не допускал не только чрезмерного (смешного) восхищения, но даже простого оживления, предчувствуя, как она встретит чью бы то ни было попытку

продемонстрировать ей, будто ему доступны некие духовные переживания, недоступные для нее.

Даже стихи о любви, которые из скучных вдруг все разом стали лучшим из всего написанного во все времена, даже эти стихи, которые он бормотал, без конца бродя по улицам, читая их ей, но не настоящей, а той, которая всегда была с ним, — даже эти стихи он лишь изредка решался прочесть настоящей и делал это приблизительно так, как она рассказывала о своих поклонниках: мимоходом, как бы желая позабавить ее необычным оборотом речи или рифмой, и все-таки испытывая при этом истинное наслаждение. Так или иначе, но он читал это ей настоящей, хитростью обойдя один из ее частных законов: быть интересным собеседником и ничего не принимать. всерьез, — закон, которого он держался изо всех сил, чувствуя, что, нарушив его, тут же потеряет для нее интерес и будет оставлен при ней разве что для коллекции, и который, наверное, даже сумел бы сформулировать, если бы мог свободно размышлять о Марине. Этот закон стал немного проясняться в его сознании лишь в самое последнее время.

Однако он смутно догадывался, что, если бы заговорил с ней или намекнул на свои истинные чувства не только к любимым писателям или хотя бы художникам, но даже к ней самой, — это вызвало бы не просто что-то вроде зависти к такой «возвышенности» и, как следствие, подозрение в притворстве, но он оказался бы в ее глазах каким-то мямлей, которого не страшно потерять и с которым, следовательно, нечего церемониться. Не страшно потерять не потому, что он утратил бы в ее глазах всякую ценность, нет, все-таки он был одним из ее поклонников, одной из жемчужин в ее короне: в ее компании Олег пользовался известным авторитетом, — авторитетом, созданию которого немало способствовала она сама, поскольку его престиж уже стал частью ее престижа. А потерять его было бы не страшно потому, что мямля и сам не уйдет. Скрывая же свою «возвышенность», Олег, вообще-то отчаянно труся, тем не менее как-то сумел внушить ей, что при любых обстоятельствах сохранит мужское достоинство, и это, пожалуй, было его самым крупным дипломатическим успехом.

Зато она, не настоящая, а та, которая была с ним почти всегда, ничуть не сдерживаемая ею настоящей, любила то, что любил он, все понимала так же, как он, и говорить с ней можно было обо всем. С ненастоящей можно было даже вместе читать книги. Она любила тех же поэтов и тех же художников, более или менее современных, которых он по-настоящему полюбил как раз в последний год. Вместе с ней он наслаждался тем, что любая улица, или двор, или канал, или раскрытый люк, или мусорный бак, или скамейка под деревьями с сидящими на них стариками, стоило их мысленно вставить в раму, превращались в великолепный городской пейзаж. Они бродили по городу, как по лучшему из музеев, где можно было и болтать, и говорить по душам, или спуститься по гранитным ступеням экспоната и долго сидеть молча, гипнотизируясь яркими раздробленными мазками на темной воде и все же чувствуя близость друг друга. Великолепными пейзажами были и Ленинград в дождь, и Ленинград в снег, где угодно: на Фонтанке, на Обводном, на Васильевском, на Петроградской, на Выборгской... Ленинград — как сумело вобрать в себя столько поэзии слово, появившееся так недавно!

Но настоящая понемногу вытесняла ненастоящую, вызывая томительную боль, и в конце концов эта боль стала почти непрерывной, а с ней участились приступы тоски, с валянием на кровати и бескостными тягучими мыслями о смерти и суете всего земного. Зато теперь он понимал, что это такое — сознательно радоваться жизни: радоваться и знать, что радуешься. И даже теперь не прошло острое чувство бытия, то есть напряженное внимание к каждой мелочи, возникшее тогда, когда все, что он делал, казалось чем-то значительным и радостным, потому что делалось вместе с ней, даже если ее не было рядом, — зато после можно было ей об этом рассказать. (Какой именно ей? Как ни странно, в его сознании они долго не различались, хотя он обращался с ними совершенно по-разному.)

Понемногу боль стала привычной, а потом начала ослабевать, временами исчезая совсем. Тогда он начинал ощупывать больное место, как ушиб, нарочно вспоминая ее, думая о ней так и сяк, чтобы проверить, прошла боль или только так

кажется. Иногда он с удовлетворением чувствовал, что боль вполне переносима и он может почти спокойно думать о Марине и даже анализировать свои воспоминания. Но иногда ощупывание отзывалось вспышкой такой мучительной тоски, что он, словно отдергивая руку от больного места, пытался поскорее перевести свои мысли на что-то другое, но чаще всего безуспешно. Попытки же излечиться, иронизируя над своим состоянием, были не более успешными, чем если бы он пытался таким образом вылечить настоящий ушиб. Правда, ирония делала происходящее не таким унижительным: все-таки он не распускал нюни.

Тем не менее ненастоящая сидела в нем намертво, и связь между обеими никак не могла оборваться. Когда настоящая была холодна, тогда и ненастоящая удалялась, и он тоже становился почти безразличным, мог не без облегчения думать об очевидно предстоящем вскоре окончательном разрыве и даже ощущал к Марине заметную неприязнь. В эти минуты он ясно помнил все, от чего прежде спешил мысленно отвернуться, словно бы застал ее в каком-то неприличном положении, которое, однако, не могло уронить ее в его глазах, как если бы у нее распоролся шов или расстегнулась какая-нибудь важная пуговица. Словом, отвернуться требовала некая деликатность. Теперь же, в минуты неприязни, он, казалось, видел истинный смысл того, от чего прежде отворачивался, и с удовлетворением ощупывал свою проницательность, как пропуск из тюрьмы. Иногда неприязнь к ней доходила до нешуточной злости, до того нешуточной, что мысль о разрыве омрачалась для него лишь тем, что она слишком легко отделается.

Но когда она улыбалась, глядя на него прежним значительным взглядом, хлопала по руке, заставляла напрячь бицепсы и тискала их, с наигранной детскостью восхищаясь их твердостью и кокетничая девичьей слабостью, словом, использовала какой-нибудь из испытанных прежде приемов, — в дело тут же вступала ненастоящая, и некоторое время все могло идти по-прежнему. Ему было жалко расстаться с ненастоящей и даже как бы жалко ее обидеть, словно она тоже могла страдать. Да, это было главным —

не хотелось расставаться с ненастоящей. И с целым счастливым куском жизни.

И вот, уже не стараясь разобраться во всей этой путанице ощущений и мыслей, среди которых были и такие, какие он признал бы настолько умными, насколько это ему вообще доступно, и настолько глупые, что он скорее умер бы, чем в них признался, куда внесли свою часть и Джек Лондон, и Толстой, и Рокуэлл Кент, и родители, и приятели, и Марина с ее кодлой, и туристская романтика («А я еду за туманом» и прочее), он собрал рюкзак и отправился на Московский вокзал.

3

С тридцатого прочтения он начал кое-что разбирать у Писарева. Ого, это по-нашенски: ссылки на непосредственное чувство непременно должны иметь определенный физиологический смысл. «Именно так: сходить к врачу, чтобы он прописал тебе Баха или Моцарта... пусть по анализу мочи определит, почему щедрость — это добро, скупость — зло, почему жизнь Льва Толстого... или даже моя... имеет больше смысла, чем хотя бы у этого напротив... визави».

Весь свой яд Олег вложил в это иностранное слово. Однако визави выглядел не такой уж очевидной заурядностью. Он сидел закрыв глаза, но голову держал прямо и выражение имел не сонное, а гордое и величественное, в углах губ залегли горькие складки,— в лице было что-то демоническое. Вдруг Олег увидел, что из угла его рта медленно стекает слюна, и внезапно понял, что тот вдребезги пьян. Визави приоткрыл глаза, и лицо его приобрело выражение тупого горестного недоумения, хотя в неподвижном взгляде, казалось, начала отражаться зарождающаяся мысль о мщении. Общее выражение было тупым и совершенно ничтожным.

«Вот и всегда я такой проницательный»,— с горечью подумал Олег.

С зоркостью мизантропа он начал разглядывать спутников. В соседнем отделении мордатый парень в кожаной куртке цвета полированного дуба, встряхивая длинными прядями слип-

шихся волос, что-то оживленно рассказывал сидящему рядом спутнику, чье лицо казалось неподвижным из-за безупречной формы усов и бакенбардов. («Откуда пошло выражение — парикмахерский красавец? Это парикмахеры навязали нам свой вкус или мы парикмахерам?»)

Не умея радоваться, когда рядом нет завистников, мордастый говорил громко, изо всех сил стараясь показать, как им весело, — и сейчас, и всегда, а для него, актера никудышного, это была задача не по силам, — и какие они клевые ребята: оперно гоготал, внимательно следя, чтобы голос звучал роскошным утробным басом, похожим на мычание. Казалось, его начинает рвать. Не то рыдание, не то рыгание. Лишь иногда, наверно в самом деле увлекшись, он начинал говорить по-человечески, но тут же спохватывался и снова мычал. Поэтому слова было трудно разобрать, слышалось только без конца повторяемое: «я обалдеваю», «я начинаю балдеть» или «я обалдел».

Чуть подалее молодой лысеющий блондин что-то рассказывал двум девушкам, все время презрительно-брезгливо кривя губы и пренебрежительно выпячивая нижнюю, с видом тертого, всему знающего цену человека. Но на лице, когда он умолкал, проглядывало суетливо-тревожное выражение заискивания перед слушателями, и становилось заметно, что он вислогубый и верхняя губа выпукло идет от носа к нижней, как будто он ее надул, и вообще в лице его было что-то неуловимо пороссячье.

Еще дальше сидела немолодая, ярко для своих лет одетая женщина, непрестанно зевавшая, выворачивая челюсти и показывая шесть золотых коронок. Закрывая зияющий рот, она на миг становилась похожей на древнегреческую трагическую маску. («Трудно, что ли, прикрыться рукой?»)

Олегу было неловко смотреть на зевающую, но он не позволял себе отводить глаза — словно уничтожал какие-то дорогие заблуждения, словно наказывал себя за что-то, приговаривая: «Вот тебе, вот тебе!»

Возле золотозубой трагической маски спала девушка в светлом берете, прислонив голову к оконному стеклу. Рот ее был полуоткрыт, но выражение лица не было отупевшим:

в нем была до зависти искренняя радость и удивление, — казалось, она сейчас окликнет того неожиданного, кому так обрадовалась. И выражение это выглядело таким беззащитным, что Олег невольно отвел глаза: ему стало совестно за свое мерзкое наслаждение.

«Что за черт: хочешь смотреть правде в глаза, а впадаешь в свинство! От Марины бы лучше своей не отворачивался! Я и не отворачивался, просто, считал, не нужно придавать значение пустякам, когда есть едиனுшие в чем-то главном».

Да с чего он взял, что оно было — едиனுшие? Как ни прискорбно, но, очевидно, с того, что она сразу узнавала цитаты из кое-каких любимых им книг и при этом обрадованно кивала несколько раз подряд; она еще до знакомства с ним читала Писарева, следовательно, она уже давно ждала встречи с ним, следовательно, она видит в этих книгах то же, что и он, следовательно...

Но неужели только и было, что узнавание цитат? Похоже, только и было. Ведь он долгое время, точнее, до начала взаимных неудовольствий, и не говорил с ней серьезно, а только старался ее позабавить остротами и насмешливыми парадоксами из приверженности к какой-то идиотской галантности, как будто выполняя некий ритуал обольщения; к тому же они долго встречались лишь в таких компаниях, где заговорить серьезно мог только debil. А когда дело все-таки дошло до серьезных разговоров, Олег обнаружил в ее суждениях смесь твердолобости, снобизма и банальнейших штампов, которые его бесили больше всего, и чем дальше, тем сильнее.

И не только в обсуждениях книг — в жизни еще отчетливее проступила ее поразительная неспособность сочувствовать — то есть радоваться чужой радостью и огорчаться чужим огорчениям. Лишь изредка она могла испытывать одну из составных частей сострадания — страх, что подобное может случиться и с тобой. Радость же чужую она не разделяла никогда.

Принимая за сострадание редкие всплески страха за себя, она считала себя чрезвычайно чувствительным, но на редкость сдержанным человеком и не раз говорила ему об этом, а он,

вопреки очевидности, долго верил, потому что, во-первых, хотел верить, а во-вторых, вообще привык верить тому, что ему говорят. К тому же, никого не любя сама, она зачем-то все же хотела пользоваться симпатией окружающих и иногда оказывала знакомым мелкие услуги — для поддержания репутации не только умной, но простой и хорошей девчонки; такой ее считали те, кто не был с ней близко знаком, а в ее компании никто никого ни за какие услуги не считал простым и хорошим. Но Олег-то замечал любую хорошую мелочь и считал Марину доброй и чуткой; считал еще и потому, что она действительно была очень чутка, когда дело касалось ее.

А недоверчивость ее он считал проницательностью. Однако даже теперь ему казалось, что в спорах с ним самые плоские и злые банальности она стала говорить ему назло; он не верил, что неглупый человек может всерьез сказать про Твардовского (со дня на день ждали, что его попрут из журнала): «Ну да, он лубочный поэт, но зачем уж так зарываться — порядок есть порядок»; про Толстого: «Когда не стало сил грешить, начал мешать другим — все завистники так поступают»; про Герцена: «оставить Родину — предательство при любых условиях», — когда надо, она могла быть лютой патриоткой. Нет, такое сказать можно только назло, она знала, что простой плевков в его кумиров, которых он давно привык считать кем-то вроде родственников, с кем проводил половину свободного времени, будет для него хуже глубочайшего анализа и опровержения их взглядов. Конечно, самое плоское и злое было преувеличением, но ведь преувеличивала она то, что в ней и на самом деле было! И ведь знала, что преувеличивать!

Но откуда в ней эта злость, в ней, равнодушной ко всему, не касающемуся ее непосредственно? Неужели она тоже отстаивала что-то святое для нее? Походило на то. Но что она отстаивала, неужели свое чувство превосходства над миром, которое называла чувством собственного достоинства? Чувство «другие не лучше меня»?

А может быть, ее раздражала его, Олега, горячность, казавшаяся ей притворством — с целью продемонстрировать большую приверженность к высшим интересам и таким образом

возвыситься над ней, поэтому она старалась не уступить ему и в горячности.

Это было свойственно всей ее компании — стремление все низвести до себя и даже немножко ниже, но в ней он заметил это слишком поздно. В них это было понятно — восхищение чем-то или кем-то могло лишить их самодовольства, ощущения себя центром вселенной, а это ощущение было для них фундаментом их благополучия. С другой стороны, самодовольство не позволяет замечать ничего, кроме себя. Но в ней он долго не мог увидеть этого, потому что она когда-то обрадованно кивала его репликам, очевидно понимая больше того, что сказано, и охотно смеялась его шуткам, следовательно, была *понимающей*. Даже теперь он готов был поверить, что многое она говорила, ревнуя его к его же пристрастиям. Но интересно, что она, всегда поощрявшая его к насмешкам над чем угодно, в последнее время стала оскорбляться непочтительностью к ее знакомым. Вероятно, благодаря ему она почувствовала свое единство с ними, а может быть, поняла, что они тоже были *ее*.

В свое время ему особенно хотелось убедиться, что у нее нет ничего общего с аспирантом, носившим прозвище Панч. Панч постоянно как бы иронически-мечтательно насвистывал про себя, и единственно искренним — до цинизма — в его лице были широко распахнутые ноздри. И общих разговорах он почти не участвовал, а томно на всех поглядывал, — он прямо исходил томлением, — и иногда ронял томные, чрезвычайно оригинальные и многозначительные реплики вроде «такова человеческая природа!» или «кроме содержания есть и форма». Он ни ризу не сказал не то что интересного, но даже просто живого. Однако стоило ему раскрыть рот, как Марина умолкала и серьезнейшим образом заслушивала очередное изречение. Олег, желая окончательно удостовериться, что она делает это лишь из вежливости, как-то сказал ей, что чеховский Ипполит Ипполитович с его «лошади кушают овес и сено» и «Волга впадает в Каспийское море» похож на Панча, ему недостает лишь апломба и томности, которые придают словам глубокомысленность. Однако она не пожелала выдать

Панча головой Олегу, а строго указала ему, что заглазно говорить о людях не очень красиво, и он испуганно умолк, пролепетав, что говорил в чисто теоретическом плане, но вообще-то она, конечно, права, и потом пережил несколько неприятных минут, пока не убедился, что она уже не сердится; но еще долго был очень пристыжен, правильно — не злословь исподтишка! Ему и в голову не пришло, что сама она говорит ему такие вещи о ком-нибудь из знакомых едва ли не каждый день. Больше того разговора он не возобновлял, и инцидент был исчерпан. И она по-прежнему растроганно улыбалась, когда Панч просил раскрыть окно: «Увеличь содержание кислорода», и серьезно слушала, когда он изрекал очередную глупость, демонстрируя глубочайшее непонимание всего, о чем бы ни говорил; а изрекал он о многом: о музыке, о живописи, о кинематографе, о литературе, об архитектуре, о науке, и абсолютно всегда Олега коробило от его слов. При этом он был самоуверен до того, что Олег невольно подражал иногда его манерам, которые еще раз свидетельствовали о ничтожестве Панча: раз придаешь такое огромное значение своим всего лишь недурным способностям, значит не видишь истинных размеров настоящих гигантов. Однако насколько легче жить, когда не знаешь своей истинной (маленькой) величины, когда весь мир заключен в твоей компании... Как у Марины. Панч, говорила она как о событии общественного значения, занимается астрофизикой, преимущественно Венерой. Бахуса, он, впрочем, тоже не чуждался. Олег несколько раз сталкивался с Панчем на научной почве — так, ничего особенного: чего не выучил, того и не понимает. Что только могла найти Марина в этом ломаче?..

Ее подруга Лариска — ах, что это была за дружба, какая-то любовь-ненависть! — прозрачно намекала на папашину «Волгу», на которой Панч иногда приезжал в институт, на солидный пост самого папаша, на недалекую кандидатскую степень Панча, — но этакое Олег вообще не мог даже расслышать: уж что-что, но не подобная гадость, это все из жизни вообще каких-то нелюдей.

Да и поссорились они с Мариной из-за Панча только тогда, когда ссорились уже из-за всего подряд, уже без всякой идейной основы.

Когда он понял, что ссоры их были нешуточными, что ею двигало не нарочитое упрямство, их связь все-таки могла бы продолжаться, если бы он, как и прежде, избегал «запретных» тем и принципиальных споров, но теперь это его абсолютно не устраивало: он чувствовал бы себя обладателем дворца, которому вдруг объявили, что из всего дворца ему принадлежит лишь каморка, куда уборщицы складывают ведра и швабры. Но каждый принципиальный спор у них сводился к серии личных выпадов, причем в них она успевала больше: самые злые и удачные реплики он удерживал при себе, все же опасаясь чересчур раздражить ее; да ему и непривычно было говорить кому-то неприятные вещи. Кроме того, он старался говорить только то, что хотя бы имело видимость отношения к предмету спора, а для нее такие помехи не существовали, поэтому он, как правило, проигрывал, что мало-помалу начало его бесить.

Из-за всего этого он начал охладевать к ней даже физически и уже не испытывал постоянного желания видеть ее, прикасаться к ней, что необыкновенно способствовало ясности его взгляда и трезвости суждений и что, в свою очередь, способствовало охлаждению. В конце концов, он не рвал с нею уже лишь потому, что робел перед решительным моментом. И мешали воспоминания о ней ненастоящей. Но это была очень сильная помеха.

В то время он старался считать себя более виновным, потому что именно он сначала притворялся настоящим мужчиной, ничего не принимающим всерьез, какой-то пародией на Мефистофеля. Но ведь это была только игра, прикрывающая то настоящее, которое, ему казалось, видят они оба! Нет, и тогда он слабо-слабо, но чувствовал в ней какие-то гранитные области и не ударялся о них до поры до времени только потому, что, чуть коснувшись, сразу же отходил прочь. И все же он их не видел. Как же тогда он помнит о них? Видел, но не понимал. А почему сразу же отходил, если не понимал? А вот что и есть самое удивительное: понимал, но не знал. Впрочем,

она тоже что-то чувствовала тогда и в чем-то уступала. Самую малость, но было и это.

И теперь ей, кажется, было ясно одно: добившись «своего», он решил, что ее можно ни во что не ставить — это он-то, который должен был постоянно восхищаться ею и не верить своему счастью. Тут нужно дать достойный отпор, не уступить ничего — от знакомых, о которых она всегда отзывалась весьма критически, до «идейных» убеждений, до которых ей не было дела, если они не являлись оправданием каких-то ее мелких слабостей или привилегий. Он вообразил, что ее можно поучать, он как будто намекал — ей, знатоку искусств и хороших манер! — на то, что есть другие, высшие, мерки и, самое несносное, есть люди, которые этих мерок придерживаются: их она ненавидела больше всего, как профсоюзный активист штрейкбрехеров. При этом доля ненависти доставалась и ему, часто выражаясь в придирках к тону, якобы нравоучительному, либо ходульному, либо высокомерному, либо фальшивому, к словам и выражениям: короче говоря, за свое спокойствие она боролась, не пренебрегая никакими средствами, выскивая в нем низменные побуждения (это ей всегда легко удавалось), убеждая себя, что он пытается красоваться перед ней, рядиться бог весть во что, полагая, что она будет поспешно соглашаться, восторгаясь и тараща на него влюбленные глазки. Пусть ищет кого-нибудь поглупее, а она привыкла к другому амплу! В первый же раз, когда он открыто себе такое позволил, она сразу повернулась и ушла, бросив ему: «Не смей за мной идти!» — сумела сказать так, что он и в самом деле не пошел за ней, а только стоял и хлопал глазами ей вслед; она это чувствовала всей спиной, как он стоит растерянный и хлопает глазами, а она быстро идет прочь, изящная и гордая, и растворяется в темноте зимнего вечера.

Все произошло из-за пустяка: она рассмеялась, глядя на вывалившегося в снегу пьяного, бредущего вдоль полутемного переулка, тщетно стараясь падать хотя бы через каждые десять, а не через каждые пять шагов. Она засмеялась, а он пронудил что-то ханжеское — вроде того, что никто не стал бы смеяться, увидев в таком положении своего отца. Она еще

раньше заметила новые нотки в его обращении с ней и уже начала жалеть, что так ему их спустила, а кроме того, в этот раз ей очень удался смех, детски радостный и звонкий, долженствовавший вызвать в нем нежность и умиление; и то, что она обманулась в своих ожиданиях, было решающим.

На следующий день он, бледный, подошел к ней в институте и, стараясь скрыть дрожь в голосе, стал объяснять, что пьяный показался ему не пьяницей, хотя и пьяницам живется несладко, а хорошим пожилым человеком, случайно не рассчитавшим своих сил на встрече с друзьями, стал мямлить, что ему было так хорошо, что он хотел, чтобы и всем было хорошо — и так далее в том же духе. Было ясно, что урок подействовал, поэтому она спросила, уже улыбаясь и почти не злясь, почему в таком случае он не помог пьяному, если он такой добрый. Он, рассиявшись, ответил, что помог-таки: оказалось, что тот жил недалеко. Это ее снова неприятно кольнуло, и она спросила, уже без улыбки, почему тогда он не ходит по городу с утра до вечера и не провожает всех встречных пьяных. Но он, как это всегда бывало, стал отшучиваться, и все было забыто. На некоторое время. Когда она вспоминала об этом и, вообще, о том, сколько раз прощала его, то есть поступилась своей гордостью (никто из знавших ее не поверил бы, что она способна на такие уступки, а он воспринимал их как должное!), ей ужасно хотелось или как-нибудь изощренно отомстить ему, или заплакать. Только гордость удерживала ее от слез. Нет, этого он не дождется!

Случись все это раньше, она легко вызвала бы в себе враждебное чувство к нему и рассталась с ним без всяких затруднений, но теперь порвать с ним ей мешало не только собственническое, коллекционерское чувство, не только жаль было терять, как она выражалась, умного собеседника, но и — она все же успела к нему привыкнуть, ей было скучно без него. Никто другой не мог, да и но пытался, так хорошо говорить ей приятные вещи, которые не выглядели корыстной грубой лестью, и вообще с ним было весело и приятно. Недоставало ей и его умения утешать, его очевидной заинтересованности в ее «бедах», того, что она называла в нем *добротой*, хотя

она была склонна придавать преувеличенное значение тем проявлениям его *доброты*, которые были ей известны, быть может, смутно чувствуя свою неспособность даже и к таким проявлениям, ему казавшимся минимальными. Впрочем, значение своих «бед» она преувеличивала еще больше; поэтому она преувеличивала и важность разрыва с ним. Надо сказать, однако, что именно эта его *доброта* мешала ей чувствовать к нему полное уважение, то есть верить, что он действительно может ее оставить или как-то навредить. Из-за его *доброты* она относилась к нему с оттенком превосходства, почти презрения, хотя эта же самая *доброта* вызывала в ней некое ревнивое чувство, и душе «гляди, какой выискался», как все такие чувства, выражавшееся у нее в недоверии и тайной неприязни.

Словом, ей было жаль терять его прежнего, как ему ее выдуманную.

Поэтому после затяжных размолвок она уже сама шла на примирение, следя лишь за тем, чтобы, с формальной точки зрения, первый шаг сделал все-таки он, хотя, случалось, почти вынуждала его к этому шагу. Здесь ей очень помогала она ненастоящая, о существовании которой настоящая и не догадывалась.

Сам Олег был не без приятности смущен, заметив, что ведет себя как заурядный соблазнитель: получив свое, начинает терять к жертве интерес (во время ссор она не раз намекала ему на это, — сказать такое открыто ей мешала гордость, получалось, что она была жертвой, но аргумент был хорош, и совсем упустить его было жаль), но оправдывался тем, что реагировал бы точно так же, если бы раньше заметил то, что видел теперь: но в том и беда, что раньше он не мог видеть этого.

А возможности понять ее у него были, чего уж там, — взять хотя бы тот разговор у нее дома, куда он приходил довольно часто, пользуясь отсутствием родителей, в квартире, которую ее родители получили путем сложнейших обменов. Там у Марины была комната, в которую никто не имел права войти без ее разрешения. Олег называл эту комнату будуаром, стараясь своей развязностью изгладить из ее памяти изумление, выразившееся на его лице, когда он впервые попал в ее

прихожую, необозримую, как Московский проспект, с потолком такой вышины, что его было видно только в ясную погоду. Впрочем, изумление вызвано было в основном книжным шкафом, где виднелись сплошь старинные переплеты. Потом, правда, оказалось, что книги были самые обычные, а яти и твердые знаки только мешали читать: слово «нет», например, хотелось прочесть как «нѣтт».

Как-то раз, сидя в будуаре у заложенного камина, оставившего на стене, подобно некоему рудиментарному органу, свой утонченный силуэт, в кресле, в котором она, по ее словам, любила слушать музыку Баха, Вивальди и Перголези, рассматривая репродукции фресок мастеров Треченто, — или рассматривать репродукции фресок мастеров Треченто, слушая музыку Баха, Вивальди и Перголези, — о чем он услышал с неловкостью за нее и, бессознательно надеясь рассеять неловкость, глупо сострил, что можно было бы еще в два магнитофона запустить Данте и Петрарку, сосать конфеты и парить ноги в теплой воде, но был встречен ледяным молчанием, — так вот, сидя в кресле, он по какому-то поводу заметил, что нужно быть снисходительнее к людям, пережившим войну, и уже по тому, как она замолчала, понял, что совершил какой-то промах. Потом она начала говорить, что тем, пережившим, ничего другого и не оставалось и что, может быть, им, молодым, придется еще хуже; она говорила с горячностью, которая у нее всегда была связана с чем-то личным, и даже села на тахте, где до этого полулежала. Олег возразил, что им, молодым, еще придется — нет ли, а тем уже пришлось, а когда им, молодым, придется, тогда и поговорим, но она, не слушая, продолжала говорить, что ей надоело быть кому-то обязанной, что она ни у кого ничего не просила, что все только выполняли свой долг, а если бы попробовали от него уклониться, то им же и хуже было бы и т. д. Она даже покраснела, лицо приняло неприятное выражение, и вдруг она впервые показалась ему некрасивой: обычно она старалась принимать презрительный вид, когда злилась, но тут, видимо от неожиданного поворота беседы, в лице ее проступило что-то бабье. Стараясь не поддаваться внезапному приливу неприязни, Олег стал объяснять, что речь

идет скорее о простом сочувствии к людям, пережившим что-то страшное, и хотел прибавить еще что-то, как вдруг осекся. Он понял причину ее горячности: у нее были хронические нелады с отцом,— отец постоянно пытался вмешаться в ее жизнь,— и получилось, что он, Олег, призывал ее быть снисходительной к отцу, потому что тот почти всю войну провел на Карельском фронте, о чем она, странное дело, рассказывала с гордостью. С гордостью же она показывала написанную отцом книжку, отпечатанную на желтой бумаге, похожей на прессованные опилки. Видимо, из-за того, что отец был *ее*, он оставался великим даже в своих заблуждениях. Отец ее работал где-то ведущим инженером. Сначала Олег не знал, что это должность, а принимал слово «ведущий» за эпитет, вроде «выдающийся» или «несравненный». В его книге Олег прочитал только самое начало насчет того, что двигатели внутреннего сгорания бывают двухтактные и четырехтактные, с внешним и внутренним смесеобразованием, насосно-карбюраторные и газосмесительные, компрессорные и бескомпрессорные, вальные и безвальные, — и испытал настоящий ужас от мысли, что вдруг и ему придется когда-нибудь заниматься чем-то подобным.

Разговор о войне на том и закончился, но, не будь отца, она, по отсутствию интереса, не стала бы возражать и, следовательно, осталась бы в его представлении единомышленницей.

Но и в тот раз все закончилось вполне благополучно, и когда они на прощанье устало целовались, ему показалось, что они какие-то очень добрые животные, вроде тюленей, тычущиеся неловко круглыми добродушными мордами.

Потом он вспомнил собственных родителей, вспомнил, что так и не собрался написать им о своей академке: не хотелось их расстраивать, но не хотелось и отказываться от такого превосходного плана. Иногда он готов был даже мысленно воскликнуть что-нибудь вроде: «Да почему я должен считаться с их желанием больше, чем со своим!», но удерживался, по опыту зная, как противно будет вспоминать об этих словах и как трудно будет их забыть. Родители будут огорчены тем, что он *потеряет год*, — как можно потерять год, не умрет же он

на год раньше, может быть, это будет лучший год в его жизни: это великие люди за год могут сделать что-то великое, а он не сделает великого ни там, ни здесь. Всем все равно, а ему хорошо. Но тем не менее родители расстроятся. К тому же, им будет неловко перед знакомыми. В конце концов, он решил пока сообщить лишь то, что вскоре собирается на Север, — это будет правдой, но они подумают, что он, как водится, сдает экзамены досрочно. Пока они не будут удивляться, получая письма из нового места (писать им он собирался довольно регулярно, чтобы их не волновать), а потом он напишет им большое, необычайно убедительное письмо, и они все поймут правильно. В общем-то, они всегда его понимали. А осенью он съездит к ним, все-таки личный контакт — могучая вещь, и все устроится.

Но под ложечкой засосало еще больше.

Жалко родителей, а ведь это из-за них он сделался таким полудурком: уверен, что каждый встречный честен, умен, добр, — в общем, лучше его самого. И это никак не искоренить: когда он старается видеть в людях плохое — или само начинает так видеться, — это оказывается просто невыносимым: и тоска заедает, и стыд, как будто он совершил какую-то несправедливость. А может, лучше и не бороться с глупостью — пусть иной раз и обманешься, зато в промежутках между обманами поживешь в свое удовольствие: пусть лучше тебя иногда обкрадывают, чем по три раза в каждую ночь вставать и проверять засовы. Хотя Марина живет, никому не веря, а с нее как с гуся вода... С детства, что ли, привыкла защищать свои интересы? А ему не от кого особенно было — никогда не было ни признака сомнений в родительской любви. Вот и получай теперь! А к ней что, родители плохо относились?

И вдруг — о ужас! — он почувствовал укол жалости к ней: это конец, только в злости последняя его сила, стоит ее потерять — и он рванет стоп-кран, хоть через окно выберется наружу и хоть на коленях поползет к ней, умоляя все забыть и простить его; ужас в том, что он каждому готов найти оправдание, а ей — тысячекратно, — нужно срочно, не теряя ни секунды, исколошматить эту жалость, эту проснувшуюся мерзкую

глисту, истачивающую его волю, превращающую ее и труху. Ах, так ты ее жалеешь?! А она тебя жалела? Л помнишь, тогда на вечеринке? А помнишь, в Павловске? А Панч? А Толстой и Софья Андреевна? А помнишь?.. А помнишь?.. А помнишь?..

И всосался, втянул голову кольчатый язычок, снова начала крепнуть спасительная ненависть... Уф! Отлегло от души. Что, Мариночка, скушала?

А сердце все равно екает при ее имени. Марина — ек! Марина — ек! Ну, хватит себя мучить.

Интересно, как у него менялось ощущение ее имени — Марина.

Впервые услышав это имя в детстве — у соседней родилась дочка, оказавшаяся Мариной, — он был уверен, что это один из уменьшительных вариантов имени Мария: можно называть Машей, а можно Мариной, как Александра можно называть Сашей, а можно Шурой. Целыми днями через забор доносились: «Мариночка, иди есть! Мариночка, надо слушаться маму! Марина, надо слушаться папу! Марина, отойди от бочки! Марина, сколько тебе раз говорить, не бери то, не бери сё, не лезь туда, не лезь сюда, не говори того, сего» — и тому подобное. Подросши и выйдя на улицу, Марина оказалась вредной и ехидной девочкой, и он с удовольствием махал рукой ей вслед, когда грузовик со шкафами, столами и кроватями выезжал из соседнего двора. Потом одно время все распевали песню, в которой без конца повторялось: «Марина, Марина, Марина...» Все что не способствовало предварительному благоговению перед ее именем.

Окончив девятый класс, он познакомился с другой Мариной, дальней родственницей, москвичкой, студенткой филфака, боявшейся произнести хотя бы одно не многозначительное слово, необыкновенно впечатлительной и столь же необыкновенно глупой. Возможно, впрочем, что каждое из этих качеств, взятое отдельно, не было таким уж необыкновенным, а яркость и выпуклость ему придавало другое, соседнее качество.

От нее-то он и узнал, что ее имя изысканное, что она им гордится и что такое же редкое имя носила ее любимая поэтесса Цветаева (он впервые услышал о существовании такой

поэтессы, и общность имен не возвысила другую Марину, а, скорее, принизила поэтессу). Он в ответ сказал ей назло, что, напротив, это имя очень распространенное: существует целая разновидность художников, пишущих исключительно Марин, — маринисты, не говоря уже о маринованных огурцах, а она, приподняв подправленные бровки, с презрительным недоумением пожала плечами. Это был ее излюбленный жест, при ее глупости вполне уместный, — недоумение и должно было быть естественной ее реакцией на все происходящее, — но ужасно бесивший его тогда, потому что им она прекращала дискуссии даже в тех случаях, когда он говорил и более умные вещи. Впрочем, это было с ее стороны не так уж глупо, учитывая ее скудные возможности дискутирования.

Осмысленная речь ее прямо-таки коробила. В ее представлении все слова, относящиеся к человеческой природе, разбивались на две группы — ругательные: «плоть», «инстинкт», «обывательщина» и т. п. и хвалебные: «дух» (или «Дух?»), «интеллект» и т. п., причем слова одной и той же группы отличались друг от друга крайне незначительно. Как тут что-нибудь поймешь! Это все равно что пользоваться арифметикой, в которой есть только два числа: плюс один и минус один. («А вдруг и мой язык слишком беден, чтобы решить, в чем смысл бытия?») Никак ей было не втолковать, что высшая духовность — альтруизм — в основном есть уважение к чужой плоти. Но не от второй ли Марины он усвоил, что радоваться жизни постыдно для Духа? — лишь уныние было его достойно.

Окончательное отношение Олега к этому имени лучше всего можно было бы выразить словами любимого им Олеши: высокопарно и низкопарно. Марина Мнишек тоже была недостаточно авторитетной, чтобы спасти положение. Таково было состояние дел, когда он познакомился с третьей Мариной.

Оказалось, что ей тоже нравится ее имя, а Цветаева — тоже ее любимая поэтесса; однако, в полном соответствии с законом отрицания отрицания, все это было хотя и относительным повторением второй Марины в третьей, но на новой, гораздо

более высокой, стадии развития. Поэтому ее симпатии были лучшей рекомендацией как для имени, так и для поэтессы.

Когда-то он брался, для ознакомления, читать в Публичке стихи Цветаевой, но его оттолкнули умышленная сбивчивость ритма, обрывистость речи, напоминавшая полицейского надзирателя Очумелова: «Почему тут? Это ты зачем палец?» (умышленная, — потому что она умела писать и вполне гладко), пристрастие к каламбурным созвучиям, недоговоренности, и все эти скипетры, брашна, Гебры, Сивиллы, Аиды, Нереиды, не говоря уже о Зевесах, Фебах и Музах, а также написанные с большой буквы Вечер, Зависть, Муж, Лира, — все это вместе с державинскими «многолюбивый», «тяжко-разящий» показалось нарочитым, манерным, а следовательно, — неискренним. Даже такие слова, как «сброд», «икота», «прель» тоже казались вычурностью, как будто она пыталась заговорить «по-свойски». И что греха таить, — ему больше хотелось обругать ее, чем похвалить, чтобы не походить на дур, восторгавшихся ею, и снобов, снисходительно ее похваливавших. Других же отзывов он, на беду свою, не слышал.

Хуже того — все, что он слышал о Цветаевой, вызывало в нем такое чувство, что, похвалив ее, он изменит всему *настоящему*, какому-то *истинному* направлению русской литературы. Теперь он даже не понимал, как он мог дойти до такой глупости, однако был уверен, что не один он такой. Пожалуй, и правда, что без любви нет критики, — но ведь объективность не должна же зависеть от любви или нелюбви? Не зависят же от них показания амперметра! Нет, пока не будет научных весов для поэзии, для добра и для зла, толку не жди: так нас и будут носить стихии наших личных пристрастий.

Марина расположила его к приятию Цветаевой, а та, со своей стороны, добавила несколько новых черт к облику ее ненастоящей и, прежде всего, придала как бы законченную форму звуку ее имени, как бы упрочила его, хотя оно и без того звучало достаточно внушительно. «А мне ни один не радостен звон, кроме звона твоего любимого имени», — в ту пору он до одурения зачитывался Маяковским, у которого все из преувеличенного внезапно сделалось точным. Имя Марины

словно освещало (или освящало) любое стихотворение; даже тамбурины и болеро, все эти побрякушки не раздражали. Стихи были не о ней, но как бы и о ней. «Кто создан из камня, кто создан из глины, а я серебрюсь и сверкаю! Мне дело — измена, мне имя — Марина, я — бренная пена морская». Но, конечно же, он не верил, что ей дело — измена, ни его Марине, ни автору стихов, точнее, их *лирической героине*, как выразилась бы Марина вторая. Весь набор лирических героинь был просто утонченно-завлекательной игрой — рядиться в виртуозно сделанные словесные маски. И было радостно любить то, что любит она.

И язык уже не раздражал: он привык к нему, как к иностранному, причитался.

И странный ритм, непривычное количество *анжамбеманов*, и недоговоренности, пропущенные слова приобрели неожиданную прелесть; стало доставлять удовольствие доискиваться до смысла, до пропущенного слова, и, случалось, разгаданная фраза удивляла его емкостью, или страстью, или точностью и силой образа, он даже подумывал, что, не сосредоточившись на ней, не разгадывая, мог бы ее и не заметить. Он тогда окончательно раскрыл секрет чтения стихов: если непонятно, перечитать еще раз.

Их обоюдная любовь к Цветаевой, которую он даже несколько раздувал в себе (раздувал не как воздушный шар, а, скорее, как уголь), стала для него еще одним выражением их духовной близости. Он не замечал даже внешней — высказанной — неодинаковости их отношения: для нее это был высший, единственный поэт, органичный как хлеб, а для него так все-таки и не исчезал какой-то налет диковинности, нездешности. Не замечая даже внешнего несоответствия, он тем более не мог заметить внутреннего: то ли она видит в Цветаевой, что и он, или нет.

Все их разговоры на эту тему сводились к своеобразному шутовскому обмену цитатами, приятному им обоим: это было так нетривиально — свободное обращение с текстом такого нетривиального в шестидесятые годы поэта (и вообще они роднят — общая причастность и посвященность). Например,

проблуждав с ним несколько часов по зимнему городу, когда знакомые уже надоели, а больше пойти было некуда, она подходила к заиндевевшей скамейке, собираясь без сил опуститься на нее, а он в последний момент умудрялся подбросить ей свой потрепанный портфель, чтобы она не простудилась.

— Ну и реакция у тебя! — удивлялась она, а он скромно пожимал плечами — реакция была предметом его гордости, в команде он не имел равных по этой части. Она в изнеможении закрывала глаза, и ее лицо было прекрасно в вечернем зимнем свете луны и фонарей.

— «И ничего не надобно отныне новопреставленной болярыне Марине», — театрально декламировал он, а она смеясь отвечала:

— «Кто хóдок в пляске рыночной — тот лих и на перинушке!». А я ходка не в ходьбе, а только в пляске.

Ее свобода в разговорах по поводу вопросов пола послужила для него в свое время лишним доказательством ее незаурядности. Это было ново и необыкновенно — после провинциальной чопорности «хороших» девушек и вульгарности «плохих», которых ему доводилось встречать. Все в ней было преисполнено изящества...

Не размякать, не размякать, нечего мусолить всякие красоты и поэтичности, а то уже опять какой-то тошнотой поднимается боль, сейчас придется кусать себе руки, чтобы не завывать. Смотри лучше в окно: вон люди в безобразных тренировочных костюмах копошатся на рыжих огородах, вон черная гарь расползлась на желтом бугре по прилизанной, как после бани, прошлогодней траве — будто бочку воды опрокинули, вон бесконечный автомобильный след тянется, поблескивая, через раскисшее поле к горизонту, где буро-фиолетовыми дымами поднимается голая опушка леса, и хилые березовые стволы свисают из дымок крысиными хвостиками — вот на них и смотри. Вон, вон какой интересный куст — голый, глянцево-алый, как прожилки на носу пьяницы. А с Мариной развязался — и глава богу!

Но что же все-таки привлекало ее в Цветаевой? Ведь она, ясное дело, не была одарена той высшей впечатлительностью,

которая основана на способности *сочувствовать*, понимать другого. Впрочем, трагическое мироощущение Цветаевой ей, может быть, и близко, — ведь у нее, на редкость благополучного человека, — крупный талант: услышав о чужом несчастье, вспомнить обо всех своих микроскопических Неприятностях и считать себя тоже несчастной. Своеобразная защитная реакция от мыслей не о себе. Сочувствие навыворот.

А почему Марина прощала Цветаевой ее, необычную в наше время, манеру выражаться, она, чрезвычайно требовательная к тому, чтобы все были *естественными*, то есть такими, как она? Она знала, что малейший налет мелодраматизма или сентиментальности — смешон, и те, в ком она это замечала (а уж на этот счет она была строга!), для нее не существовали, будь это даже великие писатели, скажем, Радищев или Диккенс, которые, живи они сейчас, в два счета исправили бы подобные мелочи, хотя и без этого были великими. Но ей немислимо было втолковать, что главное — душа, отзывчивость, а не манера выражаться. И как она умела стать с любым из великих в отношении коммунальной квартиры, хотя никогда в коммунальной квартире не жила, — благодаря особой начитанности, ей все было известно: кто не мыл за собой ванну, кто не гасил свет в уборной, а кто в отсутствие жены приводил девок. И бедным великим, захваченным в дезабилье, приходилось туго... «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...» Ему даже приходили в голову совершенно крамольные для его принципов мысли насчет того, что, возможно, было бы и не плохо как-нибудь скрывать слабости великих от таких, как она, от тех, *кто не понимает*. А то их уже ничем не пронять. Впрочем, если и скрывать, они все равно не поверят.

Интересно: ведь их первые разногласия родились на книжной почве, — а потом все подтвердилось и жизнью. Нет, не все, для многого жизнь не дала материала, но если бы дала, — наверно, все подтвердилось бы. Даже, может быть, оказалось еще хуже, потому что, ясное дело, на словах легче и приятнее быть хорошим, а если уж кто-то и на словах не хорош (искренне!), значит, он даже и не знает, что такое «хорошо» («хм, а сам-то ты?...»). Вообще, Олег замечал: кого не волнует литера-

тура, тот способен оправдать любую жестокость, если только она достаточно крупномасштабна. Наверно, и там и там срывается неспособность сочувствовать.

Но что же все-таки она нашла в Цветаевой? А! Наверно, вот что: ей нравится у Цветаевой то, что выражает ее ощущение себя исключительной личностью, которой тесно среди обыденности и заурядности, *не такой, как все*, и ей особенно легко перевоплотиться в *лирическую героиню* из-за того, что автор тоже женщина. Да, видимо, это ее и привлекает — *не такая, как все*. «Что же мне делать, певцу и первенцу, в мире, где наичернейший сер». Ведь текстов для роли *не такой, как все*, у Цветаевой выше головы. А Марине и в самом деле все чужды, хотя и по-другому. Ведь она, и правда, очень одинока в своей беззаветной любви к себе.

А вот еще: «Мой день беспутен и нелеп: у нищего прошу на хлеб, богатому даю на бедность». Да, она считала себя непрактичной, потому что ей, как и всякому, случалось совершать оплошности. Ей всегда хотелось играть сразу несколько ролей, даже и противоречащих друг другу, но имеющих каждая свои достоинства: пронизательной и наивной, нежной и суровой, твердой и уязвимой... Но она всегда оставалась одной и той же. Или в цветаевском бунте против всяких оков для души Марина прочла протест против всякого долга?

Однако ее любимая поэтесса была бы поражена, если бы узнала, какие почитатели у нее пойдут! Из тех, кто использует бессмертные песни вместо туалетной воды — для полоскания рта. Сердце защемило еще сильнее: ему не хотелось так думать о Марине, он как бы обиделся на себя из-за нее, но отступить себе не позволил.

Да, она часто разыгрывала настолько взаимоисключающие роли, что последовательно объяснить ее любовь к Цветаевой невозможно. Но вот из стихов-масок — две, которые ей наверняка пришлось по вкусу: среди прочих ее привлекала роль вызывающе забубённой девки — какое-то девическое молодечество («со всей каторгой гуляла — нипочем!») и роль женщины еще молодой, но уже уставшей и умудренной привычными сменами воспламенения и угасания страсти («от стольких уст

устала»). Да, она любила разыгрывать такие роли, и это его совсем не оскорбляло, — отчего не поиграть. Но, может быть, она вживалась в роль гораздо глубже, чем он мог предположить, считая ее умной?

До известной степени он угадал ее мотивы, но тем не менее преобладающим чувством в ее отношении к любимому поэту было неугаданное — скука. Она не умела по своему произволу вызывать в себе восхищение: во-первых, была слишком трезва для этого, а во-вторых, восхищение естественным образом приходило к ней так редко, что она не могла достаточно изучить его, чтобы осуществить искусственный синтез. Кроме того, она в точности и не представляла, что это была именно скука: она любые стихи читала с таким же чувством, только в данном случае скука усугублялась непонятностью, отчасти, впрочем, компенсируясь перечисленными выше достоинствами. Она вообще не любила стихов и любимого поэта читала настолько редко, насколько позволяли внутренние приличия, — хотя синий том из большой серии «Библиотеки поэта» добыла с превеликими трудами. Кроме того, нужно было подновлять запас цитат: все же это была поэзия для избранных, — это носилось в воздухе, — хотя и не лишенная двусмысленности: несколько известных дур при всякой возможности восторгались ее любимым поэтом. Но где же спасешься от дур!

Играя сам, он все считал игрой, обо всем, что могло бы ему не понравиться, думал, что это так. Вот тебе и «так»! Да обманывал ли он кого-нибудь своей игрой? Он изображал многоопытного скептика, а она, наверно, считала его блаженньким дурачком. Впрочем, он и не собирался ее обманывать, просто полагал, что каждый из них при посторонних играет свою роль, чтобы не раскрываться перед кем попало. Завоевав же ее доверие, он, разумеется, собирался, так сказать, перейти на легальное положение. Но каким образом он собирался завоевать ее доверие, притворяясь не тем, кто он есть, притворяясь тем, кто его самого навряд ли расположил бы к доверию? Непонятно... Очевидно, она должна была угадать в нем его настоящего, как он в ней — ее ненастоящую. Но почему, с какой стати она должна была проявить такую прони-

цательность? А почему бы и нет? Ведь он же проявил... Господи, что за дурак он был! Да вся разгадка, наверно, была в том, что ему очень хотелось ее заполучить, поэтому он и делал то, что могло ей понравиться, а что могло не понравиться — того избегал. Вот и все. Но если даже именно это желание вело его, то лишь как генерал рядового: никакой стратегической цели он не сознавал в своих атаках, перебежках, затишьях и отступлениях. Да и нет ничего на свете, ради чего он бы поступил тем, чем он поступался. Ну, кроме, разве что уж чего-то из ряда вон — заранее хвастаться не стоит. Но тогда он был слеп. Хотя, возможно, именно желание ослепило его. Но никакого такого желания он отчетливо не испытывал, ни о чем таком даже не помышлял. Наверное, еще сыграла роль природная самоуверенность, то есть подспудная уверенность в общей симпатии к нему. Он еще раз решил быть проницательным и, если уж не удастся проницать, — хотя бы не отворачиваться от того, что и без проницательности видно. А может быть, он играл скептика, чтобы не выглядеть для ее окружения блажененьким дурачком? И это было, хотя он и пытался презирать их мнения.

Нет, все-таки обмануть ее он не сумел — недаром она называла его добрым. Если вспомнить, сколько глупостей он совершил на ее глазах, именно блаженных глупостей, то станет совершенно ясно, что он мог бы показаться многоопытным скептиком разве что такому же ослу, как он сам. Не раз, когда, казалось, она уже выделяла его, стоило появиться в компании какой-нибудь звезде местного значения, она могла самым откровенным образом забыть о нем или, еще хуже, чуть ли не развлекать того за его счет. Правда, границ приличий она не переступала, но и так все было достаточно ясно; однако на следующий день они встречались как ни в чем не бывало. Противно вспомнить, но тогда он все забывал. Впрочем, не забывал, если помнил даже сей час, а временно исключал из рассмотрения. Но тогда все было иначе; все, кроме чего-то главного, было *так*. Правда, потом, когда она поняла, что он *ее*, когда его достоинство сделалось частью ее достоинства, на людях она стала держаться с ним безукоризненно.

Но если она не обманывалась на его счет, что ему помогло добиться близости с ней? Очевидно, только то, что он всегда уступал ей, делал и говорил лишь приятное. Она ценила в нем мягкий тюфяк, на который как ни ложишься — он всегда послушно примет форму соприкасающейся с ним части тела. Это и не давало ей по-настоящему ценить его, даже в качестве тюфяка. А потом она, конечно, рассердилась, обнаружив в тюфяке рельс.

Он чувствовал, что думает путано, но никак не мог вместить в голову всего сразу: один факт, казалось, делал невозможным другой, а тут еще вспоминался третий. Единственное утверждение, объяснявшее все события сразу, было: он, Олег, — дурак.

Выстраданное человечеством открытие — не следует обольщаться красивой внешностью женщины, а лучше сосредоточить внимание на ее духовной сущности — не прошло для него без пользы: он, случалось, терял к девушкам даже чисто физический интерес из-за злого или пошлого слова. Но оказалось, что духовность красивой женщины тоже имеет внешность, не менее обманчивую, чем плотская, — ведь именно «Душа» привлекла его в Марине. А теперь, имея опыт, что он мог бы посоветовать на этот счет? Да только одно: не надо быть дураком, — совет ненужный или неисполнимый, потому что никто не бывает дураком по доброй воле.

Да и как тут не влопаться! Из книг ли, из кино, или черт-те откуда в каждом с детства сидит уверенность, что где-то его дожидается эдакая некая девушка — нечто туманное, но неопишимо прекрасное, возвышенное, любящее... А если сильно ждешь чего-то, оно тебе и будет мерещиться на каждом шагу. Известное дело, когда ищешь грибы, так кидаешься на всякую бумажку. Ведь и сейчас у него, идиота, где-то в башке сидит уверенность, что эта туманная девушка еще ждет его впереди! И не вдолбить в эту чугунную башку, что такого, чего ему мерещится, просто-напросто *не бывает* на свете! Если бы не соседи, с каким бы он удовольствием трахнул себя по этой проклятой голове (наедине он проделывал это довольно часто, приговаривая: не бывает, не бывает, не бывает!).

И своими кретинскими мозгами он еще хочет взвесить добро и зло! А его душой вертят слепые «нравится» и «не нравится», вертят пристрастия и вкусы. И уж хоть бы вкусы-то были его собственные, а то и они ему впрыснуты — из самого занюханного источника притом! Ну-ка, не виляй, не виляй, ведь поглядывал же ты на эту открывшуюся за поредевшим строем голов девицу с книжкой в руках, и ведь уже почудилась в ней какая-то особенная духовность, необыкновенность — только потому, что она типом некрасивости напоминает Ани Жирардо, которую ты недавно видел в роли необыкновенной женщины, и потому этот тип некрасивости ты уже готов считать красотой. Вот кто ты есть! Если ты когда-нибудь вздумаешь в оправдание своего кретинизма себя приукрашивать, брехать, что руководишься не разумом, а эстетическим чувством, так знай на этот случай: красота для тебя просто соответствие какому-то навязанному тебе извне стандарту — притом самому низкопробному: с экрана или с обложки массового издания. И самая большая твоя глупость в том, что ты и сейчас не веришь, что это правда: даже в этой замарашке находишь все новые черты необыкновенности (кончик носа у нее румяноглянцевый, например, — сколько достоинства ей требуется, чтобы с достоинством носить такой нос!), и свою неполную обыкновенность как-нибудь хочешь обнародовать (еще прихорашиваться начни или выставь обложкой наружу своего Писарева: пусть видит, какие серьезные книги ты читаешь!), и сам с почтением высматриваешь, какую такую серьезную и глубокую книгу она читает... а, путеводитель «Петропавловская крепость». Читает про его, Олега, героев: Александр Михайлов, Желябов, Кропоткин... А он чем занят — все мусолит одни и те же «любовные» отходы.

Боже, в кого он превратился!

И вдруг подумал, что Марина никогда не будет счастлива в любви, потому что может полюбить лишь того, кто ее презирает. Настоящего мужчину, которому плевать на всех и вся, который способен на элегантную подлость. Она не сможет уважать того, кто не способен вредить. А ведь с подлецом быть счастливой мудрено, он ни для кого не станет делать

послаблений, а вряд ли можно прожить так, чтобы интересы никогда не сталкивались. На миг ему стало жаль ее, но в следующий миг жалость исчезла: он вспомнил еще один случай — у них с Мариной тогда еще ничего не было, но она уже выделяла его, и они, случалось, вдвоем подолгу бродили по городу, иногда заходя в кино или, если позволяли его средства, в кафе (ей, вообще не скупой, льстило, что на нее тратятся, а может, казалось унизительным как бы оплачивать их встречи).

В тот раз они сидели у Панча, и Панч, развалясь на диване в позе жемчужины хорошего серала (у него тоже была своя комната), спросил, обратив на нее испытующий, точнее наглый, взор полуприкрытых веками глаз и алчно распахнутых ноздрей: «Ты когда-нибудь объяснилась в любви?» Она, изменившись в лице, что было в ней неожиданно, деланно задумалась, как бы желая припомнить все такие случаи, но видно было, что она просто хочет овладеть собой. Потом ответила, медленно, словно опасаясь пропустить какое-нибудь из объяснений: «Вообще-то, я избегаю таких слов, но раза четыре приходилось». Ее лицо оставалось напряженным, и, кажется, даже Панч смутился и, отвернувшись, грациозным жестом раздавил зажженный конец сигареты о пепельницу, стоящую на паркете. Хотя случай был несколько необычным, Олег не обратил на него внимания, поскольку и раньше (как, впрочем, и позже) Марина с Панчем вели иногда довольно странные беседы, исполненные двусмысленностей, словно Олега там и вовсе не было, а он еще вставлял реплики, делая вид, что и для него такие вещи — дело привычное, общепринятое. Он чуть не застонал от унижения. Это надо же — в его годы быть таким идиотом! Именно — тюфяк, во всех смыслах! Интересно, что они о нем думали? Может быть, Панч ей даже подмигивал на него, когда он отворачивался? Все же этому он поверить не мог. Хотя сейчас ему хотелось растравить себя еще сильнее.

Вся сцена казалась ему совершенно понятной: Панч просто-напросто ее *бросил* и в тот раз напоминал о каких-то ее прошлых признаниях, а она решила окатить его холодной водой, чтобы он не задира л нос. Всего обиднее, — ничто из того лучшего, что она ему говорила: умница, добрый и про-

чее, даже с натяжкой не могло сойти за объяснение в любви. Нет, с натяжкой могло, так он все это и расценивал, а более детальные объяснения казались ему излишними — ведь все и так было ясно. Он же мастак понимать, чего нет. Вот с тем, что есть, — с этим хуже. Ведь их с Панчем прежние намеки были бы понятны ну абсолютно любому, кроме такого дурака, как он. И все это в его присутствии! А он, вместо того чтобы съездить этой скотине Панчу по роже, — уж нокдаун-то он бы ему устроил! — или нет, лучше было просто уйти навсегда, а он вместо этого сидел, развалился в кресле, с видом бывалого человека, знающего порядок и обхождение, в том числе и то, что такого рода остроумные диалоги являются неперменной принадлежностью общения умных людей.

Но зачем ей надо было именно при нем встречаться и разговаривать с этим наглым кретином! Правда, это было только вначале, потом они встречались либо на улице, либо у нее дома, иногда она приходила в общежитие. Но и вначале — зачем? Все мышцы окаменели от ненависти к ней.

— Идиот, идиот! — промычал он сквозь зубы и, словно вынырнув на поверхность, услышал голоса и увидел, что вагон стоит напротив небольшого вокзала с башенкой и шпилем и в проходе толпятся пассажиры, стремящиеся к выходу. Было очень душно. Олег осторожно покосился на тех, кто стоял возле него, стараясь понять, не слышал ли кто-нибудь его слов и вообще не заметно ли было в его поведении чего-нибудь необычного. Но визави спал в прежней позе, и никому до Олега не было ровно никакого дела.

Даже Ани Жирардо на него не оглянулась.

ПОЧТИ В ЛЕНИНГРАДЕ

1

— Эй, парнишка, толкани-ка его! — крикнул Олегу веселый подвыпивший мужичонка, указывая на спящего, но вдруг вмешалась стоящая за ним девушка в светлом берете,

успевшая проснуться и вид имевшая совсем не заспанный. Тронувшее Олега выражение бесследно исчезло.

— Не расталкивать его надо, а выкинуть на ходу из электрички, алкаша несчастного,— слегка осипшим от бешенства голосом выговорила она. Ненависть эта была так неожиданна, что несколько человек оглянулись, и мужичонка, отразив на своем лице чувства Олега, и изумлении выкатил на нее глаза.

— Ишь ты, какая красивая! — только и смог выговорить он и повторил, не находя других слов, но выигрывая, таким образом, время, чтобы их найти, по-прежнему выкатив глаза и покачивая головой: — Ишь ты, какая красивая!

Девушка, сжав губы, смотрела в окно, а он оглядывался и крутил головой, но нужных слов все не было и не было. Так они и продвигались к выходу.

Олег нерешительно потряс пьяного за плечо, и тот, словно только того и ждал, открыл глаза, встал и пошатываясь поплелся к дверям. Вагон был уже почти пуст. Олег стащил с полки рюкзак, сунул в него Писарева, накинул одну лямку на плечо и побрел за пьяным еще более нетвердой походкой. Он чувствовал себя измотанным, как после бессонной ночи или сильного испуга.

На платформе, прямо перед дверью, стояли четверо парней и всюю веселились: перешучивались громкими, задорными, как в радиопостановке, голосами, подталкивали друг друга, откровенно любуясь собой и, разумеется, прекрасно видя, что мешают выходить и на них недовольно оглядываются. Олег тоже протиснулся мимо них, а следовавшая за ним старая женщина в клиновидных брюках все-таки не удержалась: «Молодые люди, вы всем мешаете!» Олег узнал ее: когда садились в поезд, она стояла ближе всех к дверям и пыталась отводить в сторону выходивших, как будто пересчитывала их, и, кое-как освободив от них часть двери, пластаясь по стенке, первой проникла в вагон. Молодые люди отреагировали новым взрывом веселья, продемонстрировав, что никакие злобные выпады не смогут испортить им настроение, а один, на секунду замешкавшись, — причем на лице его промелькнуло почти умоляющее выражение, словно он молил про себя: «Господи,

пошли мне остроумный ответ, ну что тебе стоит!», — тут же осветившись счастьем находки, чуть омраченным тревогой, не слишком ли он промедлил, торопливо ответил: «А вы *нам* мешаете!»

Вся эта гамма чувств пробежала по его лицу с такой детской очевидностью, что на него нельзя было даже как следует разозлиться. Курчавые баки и длинный — сверху вниз — круглый нос делали его чрезвычайно похожим на пуделя.

«Каждый кретин — уже демагог, — устало иронизируя, подумал Олег. — Хотя и в самом деле: мы им тоже мешаем. Они нам не нравятся, а мы им — вот и все. Ни один ведь научный прибор, ни одна формула не указывают, что правы мы, что надо пропускать старушек беспрепятственно... Что жизнь — добро, а смерть зло — даже об этом приборы молчат. И формулы тоже».

Однако надо было заниматься тем, для чего он сюда приехал, хотя мучительно не хотелось проявлять какую бы то ни было активность. Охотнее всего он сел бы на обратную электричку, вернулся в общежитие, лег на кровать и лежал бы не двигаясь. Общежитие с друзьями казалось сейчас родным домом. Постель он уже сдал, но и на матрасе можно лежать ничуть не хуже.

Тоска охватила его с такой силой, что болезненно ныло в солнечном сплетении. Что-то до тошноты сжималось в груди, ниже горла, так что он, казалось, мог бы безошибочно дотронуться до болевшего места рукой в любой его части. Что там может сжиматься, может быть, пищевод? Или желудок? Нет, он, кажется, ниже. Впрочем, ниже ныло еще сильнее. Теперь он был уже совсем один. Даже никто не читал поблизости «Петропавловскую крепость».

Олег осмотрелся, стараясь возбудить в себе предприимчивость. Впереди было довольно много товарняков, и он побрел к ним, испытывая дополнительное беспокойство от того, что, сомневаясь в целесообразности своих действий, все же не прекращает их. Но пути назад не было. Именно отсюда по настоящему начинался путь на Север, путь, указанный бывалым Грошевым.

Бывалый Грошев много рассказывал о своей бывалости: в ранней юности был грозой не только мирных жителей, но даже и хулиганов целого района, потом три года ходил в море на рыболовном сейнере, сидел близ Ньюфаундлендской банки, потом *бичевал*, то есть бродяжничал, в разных северных портах, изъездил полстраны зайцем в товарняках и пассажирских, для чего ему было достаточно мигнуть проводнице, ночевал на чердаках и в подвалах, выпил баснословное количество водки, а успехи его у женщин были таковы, что упомянуть о них мимоходом значило бы унижить их. И путь его в науку был необычен для нынешнего столетия: где-то на плавбазе ему попалась книжка, чуть ли не арифметика Магницкого, он с похмелья принялся ее читать, и воспылал страстью к точным наукам, и пришел в Ленинград, чуть ли не пешком, чуть ли не с рыбным обозом. Словом, представлял собой современный вариант Ломоносова и Мартина Идена, обоих сразу. Он утверждал, что в силу каких-то причин, на которые лишь смутно намекал, его возраст по паспорту на три года меньше истинного: что уничтожало некоторые хронологические несоответствия в его рассказах. В откровенных беседах Грошев часто говорил с мужественным вздохом, что тоскует по морю, и после каждого завала в институте, мелкого или крупного (он постоянно был на грани изгнания, но как-то удерживался), восклицал: «Эх, брошу все, к..., уйду в море!» — и наливал по второй.

Отношение Олега к бывалому Грошеву состояло из сложного сочетания насмешки и симпатии; Олегу нравилось слушать его истории: было интересно, несмотря на всю их сомнительность, и кое-чему он верил из-за множества мало кому известных подробностей, которые было бы трудно выдумать. Слушая бывалого Грошева, ему тоже хотелось приобрести возможность восклицать: «Эх, брошу все к черту! Уйду *снова* в море!» Это желание простиралось так далеко, что одной из основных причин его ухода в академку, как ни парадоксально, явились рассказы Грошева. Восклицание: «А! возьму академку и уеду куда-нибудь ко всем чертям!» — Тоже имело в себе много привлекательного.

Но после нескольких подобных восклицаний нужно было сделать хотя бы незначительные шаги к выполнению, чтобы не казаться смешным даже самому себе. Для начала он стал рассматривать карту, выбирая, еще не всерьез, пункт назначения, и облюбовал городок в устье незнакомой речки, — почти горной, судя по светло-коричневому цвету на карте, — впадающей в один из заливов Ледовитого океана, называемый морем. Повторенное несколько раз, название городка стало звучать так же волшебно, как имя самого Ледовитого океана, напоминая сразу о варягах, поморах, казаках-землепроходцах, Дежневе и Лаптевых. Уже стало казаться, что именно туда всегда стремилась его мечта — всколыхнулись забытые детские бредни о путешествиях. Стало казаться, что он никогда их и не забывал, а просто уступал некоей суровой жизненной необходимости, хотя на самом деле именно забывал, они были вытеснены неясными (сделать ясными их было бы просто неприлично из-за их крайней фантастичности), но увлекательными мечтами о служении науке, об открытиях, бедности, самоотверженной работе, одиночестве (не полном, а с горсткой верных друзей: полное одиночество — это было бы уже слишком, кто-то рядом должен был знать ему цену и восхищаться им), а потом — как физико-математическая бомба — успех: Бор или Ландау на смертном одре благословляют его, но он не оставляет своей лаборатории и т. п. Теперь же литература с прежней готовностью предоставляла тексты и для этой роли — юноши, которого влекут просторы морей и побережий и иссушают мелочные будни. Текстов хватало и образцовых, изготовленных классиками, и песенно-туристского или грошевского пошиба. Причем они до того сплелись между собой, что и не понять было, кто из них кого породил — классика дешевку или дешевка классику.

Вдобавок такой финал достойно и мужественно завершал разрыв с Мариной — *всё* бросил и уехал на Север (что *всё* — неизвестно, но это не так уж и важно: главное — *всё*). Вернуться к прежней жизни после всех бурь казалось унижительным и для него самого, и для бурь. Он показался бы себе поручиком Пироговым, после секуции отличившимся в мазурке. И, говоря

правду, он боялся встретиться с Мариной в институте: как после всего с ней здороваться, что говорить, как говорить?..

Он начал было регулярно ходить в Публичку. Чтобы избежать получасовой очереди в гардеробе, он раздевался в пивном баре на Владимирском под видом раннего любителя пива, выходил, будто на минутку, и шел к Публичке без пальто, ни на кого не глядя, но чувствуя, что на него косятся и оглядываются.

Приходил, занимал место и, по приобретенной с первого курса привычке, косился, чем занимается сосед. Его интересовало, чьи бумаги имеют более умный вид, и сначала у соседей, как правило, было больше формул, и полос внушительных, но когда у него пошли уравнения с частыми производными, он почти всегда одолевал соседей, зачастую перебивавшихся алгебраическими выражениями. Зато теперь у него появилось чувство, что слишком много формул — тоже дурной тон.

Однако Публичку он скоро бросил: все равно он читал там исключительно беллетристику, и тем не менее ему не сиделось на месте, он постоянно искал поводов пройтись по коридору, сходить в другой зал, в буфет. А если поводов не было, принимался смотреть в окно на набережную Фонтанки. Стекла были волнистые, в одной половинке окна с вертикальными полосами, в другой — с горизонтальными. Наклоняясь в нужную сторону или приподымаясь, он наводил на прохожих то горизонтальную полосу, и тогда плечи прохожего оказывались прямо на ногах и он в таком виде вышагивал до оконного косяка, то вертикальную, такую сильную, что человек исчезал в ней, а потом вдруг выныривал из пустоты.

С наступлением темноты стекло становилось кривым зеркалом, и он с болезненным наслаждением уродовал в нем свое лицо — то растягивал жабы губы, то нос до ушей, то надвигал обезьяний лоб, — словно тыкал себя в себя: вот он — ты, вот он...

Иногда начинал идти мокрый снег, залепляя окна, будто на стекло плеснули мыльной, вспененной водой. Такой снег шел почти каждый день, а иногда и несколько раз в день.

Снег был на самом деле мокрым, то есть был мокрым уже в воздухе. Однажды во время снегопада он зачерпнул с капота

«Волги» пригоршню снега и с отвращением почувствовал, какой он тяжелый и набрякший. Он сжал его — и снег на глазах налился водой, стал тускло-прозрачным, как галька или канцелярский клей. Или как расплавленная в прачечной пластмассовая пуговица Спрессовываясь под ногами, он выскальзывал из-под ног, как мокрая вишневая косточка из сжатых пальцев: ноги постоянно были сырыми. Погода, которой он раньше практически не замечал и которая, во всяком случае, не отражалась на его настроении, отражаясь лишь на скорости передвижения, теперь приводила его в состояние тихого бешенства. Не хотелось выходить из общежития, причем, он заметил, не хотелось как-то активно, как бы кому-то назло: «Раз ты устраиваешь такую погоду, — можешь не надеяться, что я воспользуюсь твоей улицей. Можешь ею подавиться». Он заключил отсюда, что и современный человек склонен персонафицировать явления природы. Кроме того, в Публичку нужно было ездить утром, иначе имелась большая вероятность остаться без места, а он ложился и вставал довольно поздно. Дело было в том, что очень скоро он начал скучать по ней — по Марине Третей.

Он не догадывался, что именно скучает, — просто ни с того ни с его разбирала тоска, и встретиться с ней стало еще страшнее. Подходя к институту, он поминутно вздрагивал: сердце начинало так колотиться, что щекотало в груди, и приходилось сдерживаться, чтобы не закашляться, когда он видел издали голубую мохеровую шапочку, окруженную пушистым ореолом — голубым воздухом, часто насыщенным сияющей водяной пылью — светящимся бисером, унизовавшим ворсинки. А в сухую погоду эту шапочку легко можно было вообразить поверхностью океана, пламенеющего невиданными голубыми протуберанцами.

Не так уж давно все в нем сжималось от умиления, когда она надевала эту шапочку: осторожно прихватывала ее краешек зубами, приподымая ужасно милую верхнюю губку, а освободившимися руками как-то сложно укладывала волосы, которые обычно носила свободно распущенными к плечам, затем, бережно придерживая сооружение из волос левой рукой,

правой брала шапочку и тщательно пристраивала ее именно так, как это в тот момент диктовалось модой (он никогда не мог добиться вразумительного объяснения, каким способом выражаются требования моды: они как будто носились в воздухе и усваивались ее организмом, минуя владения слова). Ему стоило значительных усилий не расцеловать ее тут же, при всех. А она лукаво поглядывала на него, явно понимая это. Его чрезвычайно умиляло, что она, как все люди, испытывает голод, мерзнет, желает выглядеть привлекательной. Он с замиранием сердца оттирал и тискал маленькие атласные кисти ее рук, когда с мороза они приходили к ней домой. (Правда, в этом была известная доля корыстного чувства: он знал, что сейчас эти ладони будут его ласкать, и хотел, чтобы они были теплыми.) Иногда даже зубы у нее были холодными. Он многое забывал, — вернее, казалось, что забывал, но, оказалось, прекрасно помнил, — за то что она носит тонкие шерстяные перчатки и дышит сквозь них на замерзшие пальцы.

Раньше ему временами бывало обидно за девушек, что они, неземные существа, должны терпеть унижительные земные неприятности: голод, страх, обиды, болезни, и том числе и малоэстетичные, но теперь это вызывало к ним (ко всем ним, а не только к ней) новую умиленную нежность: именно поэтому они могут по-настоящему любить и жалеть нас — голодных, испуганных, обиженных, а не презирать за приниженность и прожорливость. Собственно, от нее он получал не так уж много заботы и сочувствия, но ему много и не требовалось: пусть изредка спросит обеспокоенно: «Ты сегодня обедал?» или «Почему ты без перчаток?» — и достаточно, даже если в вопросе чувствуется наигранность. Ведь, во-первых, и в игре заключено желание сделать ему приятное, а во-вторых, она выбирала для игры роль именно такой женщины, которая вызывала его умиление, следовательно, сходилась с ним во взгляде на достоинства женщины. Тогда он размягченно думал, что по-настоящему добрыми бывают только женщины, а мужчины могут лишь повиноваться долгу, обязанности сочувствовать страждущему, а про себя думать: ничего, не помрешь.

Как нарочно, голубые мохеровые шапочки, казалось, носило пол-Ленинграда, и невозможно было выйти на улицу, чтобы поминутно не вздрагивать и холодеть. Это делалось само собой, прежде чем он успевал подумать, что это не она, а если даже и она — ну так и на здоровье! Но все равно было страшно. Страшила и сама встреча с ней,— непонятно было, как себя вести; страшило и то, что придется еще раз убедиться в невозможности восстановить что-либо. Но убедившись, что это опять не она, он испытывал не облегчение, а горькое разочарование: значит, он и сегодня не увидит ее.

Чем больше проходило времени с того дня (не бог весть сколько, это были недели, а не месяцы), тем отчетливее их разрыв казался глупым недоразумением, следствием взаимного детского упрямства и гордости, постыдной в отношениях между близкими. Она снова казалась милой и родной, и нужно было мучительно, против воли вспоминать все худшее, чтобы ненадолго убедить себя, что произошло именно то, что должно было произойти. Это становилось ясно и тогда, когда он начинал обдумывать конкретные пути к новому сближению.

Но если он не настраивал себя специально и не строил планов возвращения к ней, она снова становилась той, какой никогда не была. Настоящая и ненастоящая снова сливались, и неудивительно: ведь с ненастоящей он провел во много раз больше времени и в его память она врезалась несравненно глубже. Казалось, что она тоже страдает, что он из пустого каприза мучает ее. В груди что-то сжималось от жалости к ней, когда он вспоминал, что в тот, последний раз она все-таки догнала его. С ее-то самолюбием! И то, что полчаса назад казалось тряпичностью (нет, хуже — глупостью), становилось великодушием (вернее, просто справедливостью и здравомыслием), и, оказавшись она рядом, он хоть на коленях просил бы простить его.

Хуже всего было утром, когда все были на занятиях и можно было, сходя в буфет, одетому валяться на кровати, хоть ничком, хоть навзничь, не заботясь, как это выглядит: слюнтяйством или демонстрацией. И он лежал, то тупо перебирая в памяти прихотливо чередующиеся сцены, то прокручивая

привычные размышления о смерти и бесцельности бытия. Но в его отупении и они скользили по поверхности, не занимая его по-настоящему. Автоматически думалось, что неплохо бы умереть, но воображение отказывалось даже мало-мальски всерьез представить ему смерть, мысль о которой, случалось, страшила его в самые спокойные и безопасные минуты. Но теперь она представлялась чем-то вроде тяжелой болезни, на время которой ты избавлен от всяких ответственностей, обязанностей, когда все ухаживают за тобой и жалеют тебя, а потом выздоровеешь и заживешь еще лучше, и все, что было раньше, тебе простят, все забудут, и ты сам забудешь, как будто все искупил. Только мысль о родителях, о том, как они узнают про его смерть, воспринималась так живо, что он стискивал зубы и, зажмурившись, крутил головой, словно отчаянно отрицая что-то.

Иногда боль проходила, мысли сами по себе плыли куда-то, и вспомнить их было трудно, как сон. Очнувшись, он часто шел к бывалому Грошеву, который в последнее время тоже окончательно перестал ходить на занятия, намереваясь как-то добыть академку, и они обсуждали, как и куда можно поехать поработать. Грошев утверждал, что можно очень просто сесть на товарняк на пригородной станции, куда он теперь приехал. Нужный поезд можно подобрать, посоветовавшись со стрелочниками или прямо с диспетчером. Эти разговоры сильно развлекали Олега.

Потом приходили ребята, начиналась болтовня, зубо-скальство, он тоже начинал балагурить, сначала машинально, через силу, а потом и в самом деле увлекался. Если оказывались деньги, посылали кого-нибудь и магазин, становилось еще веселее, потом добавляли, если не хватало, собирали бутылки (это называлось «взять производную»), и все казалось нестрашным. Но утром все шло по-прежнему, только мутило и болела голова.

— Старое начиналось сызнова, — через силу ухмыляясь, говорил он вслух, и голос казался странным и чужим в пустой комнате. Он подходил к растресканному казенному зеркалу, смотрел и никак не мог постигнуть, как это может быть, что

вот это — он, тот, чей голос он слышит постоянно, чья жизнь занимает его, как собственная. Лицо, раздробленное, как у Пикассо, с похмелья было бледным, желтоватым. Он полуприкрывал веки, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть мертвым. Сильно потеряв тыльную сторону кисти у запястья, он нюхал потертое место и чувствовал запах «мертвеца», — этому его научили в первом классе. Вдруг становилось неловко смотреть на себя со стороны, и он, словно его уличили в чем-то нехорошем, поспешно отводил глаза и старался как-нибудь отвлечься. Да, конечно, совестно видеть человека, про которого знаешь нею подноготную, и еще совестнее, — который знает всю подноготную про тебя. Когда смотришься в зеркало, оба эти чувства складываются. «Я схожу с ума? Да, я схожу с ума», — по складам произносил он, и на мгновение чувство реальности исчезало окончательно, все становилось незнакомым и непонятным. Что это? Откуда? И когда реальность возвращалась, было очень плохо. Валялись пустые бутылки, в лужах на столе источали желтый яд прогоркшие, разваренные окурки, там же кисла колбасная кожа, и было уж до того плохо...

И отодвинутая мысль об академке явилась подлинным спасением. Грошев почему-то стал тянуть и темнеть, и Олег, не дожидаясь его, пошел в деканат и получил академку неожиданно легко, без всяких справок.

2

И вот путешествие началось.

Слегка увязая в грязном с мазутными пятнами песке, сверху пыльном и ржавом, а внутри сыром и темном (оглянувшись, он увидел сырой песок там, где он взрыл его своими ботинками, и вспомнил рыжие кучки земли на белобрыйсой траве, которые видел из электрички, и догадался, что это были свежие норки каких-то зверьков), Олег добрался до головы приглянувшегося состава и, робея, окликнул машиниста. Оказалось, что состав идет не туда, куда надо, но машинист ответил приветливо и без всякого удивления, поэтому Олег

приободрился. Он стал переходить от тепловоза к тепловозу, окликая машинистов и наслаждаясь все возрастающим чувством уверенности. Все составы шли куда-то близко, но это ничего: главное, он ходит между ними, как у себя дома, и спокойно переговаривается с машинистами.

Чисто ленинградское сочетание духоты и прохлады было и здесь.

Переходя от состава к составу, — где перелезая через тормозные площадки, где пролезая под вагонами, держа рюкзак в согнутой руке и придумывая, что делать, если поезд тронется (видела бы его сейчас Марина... или Ани Жирардо), — Олег увидел тщедушного мужчинку лет тридцати пяти в пушистой рябенькой кепке и затертом дешевом костюме, какой бывает только у тех, кто использует его в качестве рабочей одежды. Неизвестный настороженно смотрел на Олега, а Олег на неизвестного. Затем неизвестный нерешительно улыбнулся, точнее, это было как бы робкое начало улыбки, проба, что из этого выйдет. Олег тоже начал улыбаться, осторожно, чтобы в случае чего можно было сделать вид, что это была вовсе и не улыбка, а так, гримаса. Взаимно ободряемые, улыбки быстро дошли до полного развития, и неизвестный первым нарушил молчание.

— Тут, — сказал неизвестный. — Тут это... не знаешь, на Подпорожье когда пойдет?

Олег не знал.

— А тебе куда надо?

Было проще соврать, для блага собеседника же, чтобы ему не пришлось задавать лишних вопросов, а пользы знать правду ему нет никакой, но, с другой стороны, сказать неправду — значило бы проявить незаслуженное неуважение к неизвестному, который вдобавок был приятен Олегу как подтверждение того, что в его желании ехать товарным поездом нет ничего необычного (неизвестный, видимо, испытывал к нему то же чувство), поэтому Олег сказал правду и по тому, как тот протянул: «А-а...», понял, что городок, куда он ехал, неизвестен его новому знакомому, который, как оказалось, был плотником и ездил в Ленинград в месячную командировку, там пропился и

теперь возвращался на неделю раньше срока. Для Олега было новостью, что плотники тоже ездят в командировки.

Повеселевшие, они полезли дальше вместе, в качестве соучастников крайне расположенные друг к другу, чуть ли не подсаживая один другого на лесенки тормозных площадок. Последний состав шел в Вологду. Это было не то, что нужно, но уже неплохо. Да и отчего заодно не побывать и в Вологде, если это так просто! Он с подмигивающей радостью ощутил свободу реальной возможностью очутиться в любой точке страны и впервые в жизни почувствовал всю ее громадность. Они обошли состав с головы и вышли на открытое место. Дальше начинались поля, где едва-едва зеленело что-то плоское, как мох, за ними виднелись деревянные домики. Неподалеку была будочка, возле которой стоял, очевидно, охранник, один из тех, у кого Грошев брал нужные справки. Увидев вылинявшую до белизны гимнастерку и кобуру, сделанную, казалось, из голенища старого кирзового сапога (имелись даже потертости в тех местах, где прежде была щиколотка), неизвестный оробел, но Олег смело двинулся вперед, и спутник, было приостановившийся, последовал за ним.

Подойдя, Олег поздоровался, охранник ответил, по-прежнему спокойно и выжидательно глядя на них. Он был седой, худощавый, с умным лицом старого николаевского солдата. Олег спросил, скоро ли пойдет состав на Вологду.

— Пойдет, — как-то неопределенно ответил охранник. — А вы почему пассажирским не едете?

— Да вот денег нет, — как можно простодушнее ответил Олег и понимающе ухмыльнулся. Ухмыльнулся, в сущности, той самой улыбкой, которую хотел бы вызвать на лице слушающего. Но слушающий не улыбнулся. Он просто кивнул, не понимающе и не сочувственно; просто кивнул — принял к сведению. Зато спутник сразу подхватил тон Олега и быстро, как бы облегченно заговорил:

— Да, отец, тут это, понимаешь, в командировку ездил, а, знаешь, это самое, бывает, выпьешь, цепляется все как-то, то одно, то еще чего-нибудь. На неделю раньше уехал... Не знаю, как добраться...

Охранник выслушал так же невозмутимо и так же невозмутимо кивнул. Принял к сведению.

— Документы у вас какие-нибудь есть? — чуть по думав, спросил он. Олегу вопрос показался вполне естественным: надо же знать, кого устраиваешь на товарняк, и он полез в задний карман за паспортом. Его спутник сказал, что у него только «командировка», и протянул сложенную в несколько раз бумажку, которую охранник не торопясь развернул и стал медленно читать вслух, пока Олег возился с молнией на кармане джинсов, купленных по случаю в Гостином.

Извлеченный из заднего кармана, паспорт имел не вполне приличный, выпукло-вогнутый вид, и Олег, попытавшись незаметно разглядеть его, подал охраннику. Тот, не обращая на форму паспорта никакого внимания, положил его на ладонь поверх «командировки», раскрыл и прочел: «Евсеев Олег Васильевич. Учащийся», — затем прочел штампы прописки и места работы («зачислен студентом»), вложил «командировку» в паспорт, положил его в карман застиранных галифе, еще более похожих на тряпку, чем брюки Олега, кивнул: «Подождите», — и пошел в будку. Кивнул доброжелательно, но вместе с тем официально, так сказать, с профессиональной любезностью. Олег и его спутник почувствовали слабое беспокойство, свое и соседа, но охранник скоро вышел, снова кивнул им, как бы говоря «все в порядке», и двинулся вдоль путей, бросив им «идите за мной», причем у Олега мелькнула мысль, что напрасно нет выражения «профессиональная нелюбезность», в нем больше нужды, чем в «профлюбезности».

— А паспорт? — десятка через два шагов решился напомнить Олег.

— Сейчас получите, — серьезно ответил охранник. Еще шагов через десяток, пройденных в напряженном молчании, вступил спутник.

— Слышь, отец, а куда мы идем? — обеспокоенно спросил он.

— Иди, сейчас увидишь, — сдержанно ответил охранник с каким-то нажимом, не располагавшим к дальнейшим вопросам.

Но спутник уже разошелся.

— К начальнику, что ли? — базарно закричал он. — Не пойду я никуда, черт с ней с командировкой! — и как-то по спирали, словно разматывая невидимую веревку, намотанную на охранника, начал удаляться, наверно, не решаясь прямо повернуться и уйти.

«Траектория движения в поле силы закона», — подумал Олег, стараясь сохранить хладнокровие, но ему было не по себе, его еще никогда и никуда не конвоировали.

— Стой! А ну назад! — железным голосом, чуть громче обычного, произнес охранник, и мужество окончательно покинуло Олега. Его спутник тоже обмяк и, прекратив борьбу с невидимой веревкой, покорно пошел рядом. Охранник, еще раз убедившись в могуществе своего голоса, подобрел и сделался разговорчив.

— От дяди Леша никто не бегают, запомни! — с добродушной наставительностью начал он, словно им предстояло встречаться при подобных обстоятельствах еще много раз. — Если дядя Леша сказал: иди — значит, иди. А не хочешь идти — поведем.

В другое время Олегу было бы неприятно его бахвальство и, возможно, он дал бы ему понять, что сила не в нем и не в его голосе, и даже не в его кобуре, а в законе, стоящем за его спиной, и напрасно он радуется, да еще называет себя в третьем лице, как человек, уже при жизни ставший легендой, символом или чем-то в этом роде, но сейчас это лишь смутно промелькнуло, как нечто запретное даже для мыслей, могущее как-то выразиться в общей скованности, в голосе, выражении лица и, в заключение, помешать освобождению, для которого нужно было заручиться расположением охранника. А для этого нужно быть самому к нему расположенным. Олегу пришлось убедиться, что в поработанном состоянии свободно мыслить не очень-то просто.

В сущности, он не верил, что охранник так-таки отведет их куда следует: ведь они сами к нему подошли за помощью, а он с ними разговаривал, кивал; получится, что он злоупотребил их доверием, а это — предательство,

на что и нужно указать ему, но мягко, ненавязчиво, чтобы не рассердить.

Пока Олег проникался общим настроением будущей речи, дядя Леша продолжал бахвалиться:

— Вот говорят: дядя Леша, дядя Леша! А что ж, как дядя Леша восемь лет в разведке прослужил... Попадают такие, вон с эту дверь, — он показал на дверь отцепленного пассажирского вагона. — Идет на тебя с кулаками, маховики по пуду; ему говоришь: стой — идет. Ну, ладно, не хочешь, так лежи, жуй песок.

И он с таким пренебрежением взглянул вниз, что Олег не удивился бы, увидев там, на песке, отпечаток гигантского, беспомощно распростертого тела нарушителя.

Олег притворился пораженным дяди Лешиными подвигами и стал расспрашивать, как это у него получается, но дядя Леша, возможно, заподозрив подвох или опасаясь запутаться в подробностях, поскущел и в разговор о приемах борьбы, в котором Олег мог быть интересным собеседником, вступать не стал, пробормотал что-то уклончивое: «ножку ставить», «через себя кидать» — и умолк. Пока Олег придумывал, как возобновить беседу, снова вступил его спутник и, повторяя чуть ли не через слово «это самое» и «отец», принялся канючить, и не умолкал, пока они не пришли в контору. Было невозможно вставить хотя бы слово, и это, вероятно, избавило Олега от лишнего унижения.

Контора находилась в довольно большом деревянном доме с вывеской и обставлена была чрезвычайно просто: стол, несколько беспорядочно расставленных стульев, еще сколоченный воедино ряд стульев у стены, как будто его притащили из кинотеатра, и лавка, на которой стоял цинковый бак с облупленной эмалированной кружкой на цепочке. Единственным украшением были плакаты, изображавшие безногих людей, когда-то перешедших железнодорожные пути не так, как полагалось.

В комнате было человек пять, одетых как дядя Леша, который, войдя, отчеканил, ни к кому не обращаясь: «Хотели ехать на вологодском», положил паспорт с «командировкой» на стол и вышел. По тому, как это приняли остальные, Олег догадал-

ся, что дядя Леша заходил в будку, чтобы позвонить сюда. Кроме того, он сообразил, что если даже намерение ехать на вологодском и наказуемо, то, во всяком случае, доказать это не удастся: фактом является лишь то, что он спросил, когда пойдет поезд на Вологду, откуда, во-первых, не следовало, что он собирался туда ехать, а, во-вторых, сам факт спрашивания тоже можно было отрицать.

Видя, что никто не обращает на него внимания, Олег сел — занял место в расформированном кинотеатре, чувствуя сильное беспокойство. Конечно, он не думал, что его сейчас отправят в тюрьму, и не боялся, что избыток резиновыми шлангами (о таких мерах пресечения, в буквальном смысле слова, ему рассказывал Грошев, но об этом он просто забыл); ясно, что дело кончится не более чем штрафом, но какова его сумма? Вдруг рублей двадцать, а это ставило под угрозу всю поездку: денег и без того было не густо.

В это время забеспокоился спутник. Обращаясь к самому молодому из охранников, губастому парню лет двадцати пяти, он торопливо заговорил:

— Слышь, тут это, где у вас этот самый... гальюн? Где? А? Гальюн?

— Что? — не понял тот.

— Ну, этот... туалет? Где?

Парень повел его на улицу, бормоча:

— Слыхали, какой туалет! Один такой пошел — все идет.

Через несколько минут из соседней комнаты вошел мужчина лет сорока, в черной железнодорожной форме, с красивым заспанным лицом, и заговорил с громкой начальственной шутливостью, привыкшей всегда быть уместной:

— А второй где? Упустил, что ли?

Один из охранников вполголоса разъяснил ему, и он заговорил еще громче и еще шутливее.

— Что ж это они сразу обо...лись? А? — обратился он к Олегу. Олег пожал плечами, едва удержавшись от браво́й ефрейторской улыбки.

Возвратившийся спутник переключил общее внимание на себя, но с ним разделались быстро: переписали из

«командировки» его фамилию и предприятие и отпустили, ловко уклоняясь от ответов на его мольбы. Затем принялись за Олега. Прежде всего начальник посмотрел на те же штампы в паспорте и неожиданно спросил:

— Значит, кончишь институт и будешь инженером?

— В общем, да, — ответил Олег. Чувствуя известную риторичность вопроса, он не стал уточнять, что у них часто бывают распределения на должность младшего научного сотрудника и, реже, на ассистента.

— И сколько будешь получать? — тем же тоном, предполагавшим более обширную, чем один собеседник, аудиторию, продолжал начальник. Этим вопросом Олег никогда всерьез не интересовался и лишь из разговоров знатоков о преимуществах чистой науки и производства знал, что в НИИ скорее всего получишь сто рублей, а на заводе можно сразу получить сто двадцать (без премии). Но сейчас из-за направленного на него насмешливого любопытства, громкого голоса начальника и, вообще, роли статиста в непонятном спектакле, ему вдруг показалось обидным сказать «сто» и он сказал «сто двадцать». По виду начальника сразу стало ясно, что он подал правильную реплику.

— Видишь, Петров, — тем же тоном, рассчитанным на обширную аудиторию, заключил начальник, поворачиваясь к губастому парню, — инженер получает сто двадцать рублей, а ты на всем готовом — сто тридцать, и еще говоришь, что мало платят.

Петров ответил той самой улыбкой, от которой только что удержался Олег. Закончив воспитательное мероприятие, начальник посерьезнел, даже погрустнел, как человек, умеющий, когда можно, повеселиться, но, когда нужно, и поработать, и стал, со ссылками на какие-то номера и даты, излагать Олегу содержание указа, по которому запрещалось находиться там, где он был задержан. Олег с облегчением понял только, что его не пытаются обвинить в намерении ехать на вологодском, возможно, не хуже его понимая возникающие здесь юридические затруднения.

Насмешливые лица охранников подтолкнули его, когда он отдавал два рубля, сказать: «Недорого», — и сказать с та-

ким бесшабашным видом, который мог быть уместным при уплате по крайней мере двухсот рублей. Готовность, с которой все расхохотались, подтвердила ему, что он каким-то образом завоевал общую, несколько обидную, симпатию. Вероятно, они, как он и сам когда-то, ожидали от студента чудачества и остроумия и были готовы довольствоваться третьим сортом. А Олег, преувеличенно учтиво распрощавшись, чуть ли не расшаркавшись (и все это с единственной целью показать, что он вовсе не убит потерей двух рублей!), вышел на улицу.

Спутника уже не было, и он был рад этому. Перестав быть соучастниками, они утратили взаимный интерес. Впоследствии он не раз вспоминал эту мимолетную дорожную любовь, встречаясь с эфемерной дружбой, рожденной растерянностью и одиночеством, если не скукой.

3

Даже на улице бесшабашное выражение сошло с его лица не сразу, а лишь тогда, когда он его там обнаружил. Однако вместе с бесшабашным выражением лица исчезла и натужная бодрость, ему стало скучно. Собственно говоря, случившееся означало, что товарняком поехать не удалось, так что денег может не хватить. Ему снова захотелось вернуться в Ленинград, и это желание уже не было мучительным или тоскливым: оно было вызвано, если так можно выразиться, здоровой ленью. Во всей нагой простоте вдруг предстал вопрос: чего ради он все это затеял и как оказался на этой чужой станции? Вся затея представилась глупой и надуманной. Неприятное чувство усугублялось сознанием сделанной глупости. Какого черта он поперся к охраннику, хотя ясно чувствовал опасность и вполне можно было скрыться, отступив назад? Если честно — смутно надеялся тронуть его своей доверчивостью, хотя не раз убеждался, что во всех случаях ему лучше исходить из того, что он глупее всех, и не пытаться никого перехитрить, особенно таким старинным приемом прогрессивных одописцев, восхвалявших монарха за еще не дарованные народу блага, пытаясь поставить его таким образом перед необходимостью

оправдать доверие, — приемом, еще, кажется, никогда не принесшим успеха. Думалось как-то туго, со скрипом. По-прежнему хотелось вернуться.

Но как вернуться, если только вчера в общежитии обмывали его отъезд и все говорили, что завидуют ему, а он чувствовал себя героем. У него и теперь еще побаливала голова; боль начиналась в левом глазу и выходила за ухом. И шел он на вокзал пешком, кружным путем (рюкзак был невелик и не смущал его), всматриваясь в дома, в поперечные улицы, стараясь вспомнить их такими, какими они представились ему впервые, и иногда получалось: знакомая улица, или сквер, или дом вдруг неуловимо меняли облик, и он испытывал ощущение, возникающее только в чужом городе, тем более в таком, как Ленинград: жадно стараешься захватить глазами побольше, не упустить, свернуть и направо, и налево, в каждый переулок, и все-таки непрестанно упускаешь, видишь лишь то, что перед тобой, идешь лишь по одной улице (да и ту, оглянувшись в конце, снова видишь другой), а в остальные только заглядываешь, а ведь, глядя вдоль улицы, видишь ее почти всю разом, и дома в полупрофиль кажутся еще привлекательнее, чем в развороте, все их, так сказать, красоты спрессовываются в небольшом углу зрения. Красоту поглощаешь совсем материально, даже делаешь что-то вроде жевательных движений. Вглядываешься даже в лица прохожих. Что они видят? Как живут?

Неужели правда, что человеку всегда нравится недоступное, чужое, больше, чем свое? Неужели то обостренное внимание, охватывающее тебя в чужом городе и обычно исчезающее в своем, если даже идешь по незнакомой улице, сродни обыкновенной зависти? Нет, пожалуй, не чужое нравится больше, чем свое, а чужим торопишься воспользоваться поскорей, пока не отняли. В своем городе откладываешь удовольствие из-за забот, а в чужом — заботы из-за удовольствий.

По пути он несколько минут смотрел с моста, где они стояли в последний раз, и, осторожно прислушавшись к себе, с удовольствием определил, что тоски не было: воспоминание было приятно-элегическим. Красные и синие флаги на перилах, слабо трепеща, дышали свежестью только что внесенно-

го с холода выстиранного белья. Парапеты уносились вдаль фантастическими автострадами. Только что прошел буксир, толкая перед собой охапку белоснежной пены, и вдоль берега быстро бежал бурун от косо набегающей волны. Волна была извилистой, поэтому, когда набегала почти параллельная берегу волна, бурун стремительно вскипал и мчался с непостижимой быстротой.

По реке плыли последние, уже явно весенние льдинки, не больше трех-пяти квадратных метров, и вдали река была похожа на полированный металл, по которому разбросаны плоские клочья ваты. Но это вовсе не создавало ощущения неопрятности. Льдинки скользили с лебединой легкостью, видимо, откуда-то с Ладоги: на некоторых лежал чистейший зернистый снег, похожий на отсыревший сахар, но царапучий; когда такой снег вытряхиваешь из валенка, он рассыпается по полу, как крупный песок, и, хотя он белый, каждое его зернышко — совершенно прозрачная льдинка, а белым он кажется только потому, что в нем много плоскостей отражения и преломления, — закон, некогда сформулированный Человеком-невидимкой, — и, правда, постепенно сплавляясь и спрессовываясь, сугробы из такого снега, только, конечно, чистого, чего в городе никогда не бывает, превращаются в лед, темный или прозрачно-серый, как промасленная бумага, но, если присмотреться, еще хранящий зернистую структуру.

На одной льдине была брошена охапка сухого камыша. Все-таки в большинстве они были белоснежными, плоскими, сверху похожими на губку; но поры были расположены гораздо геометричнее, не доходя, однако, до правильности пчелиных сотов. Он знал, что если такую льдину, выброшенную на берег, чем-нибудь ударить, — не очень сильно, — она по вертикали рассыпается на прозрачные стрелки, лежащиеся красивым веером. Но плыли и бесформенные глыбы, белые и крепкие, как пластмасса, и пористые, похожие на гладкие, вылизанные кораллы. Пятна ряби на гладкой воде, почти не меняя формы, как облака, плыли к мосту вместе с льдинами. Каждая льдина гнала перед собой устойчивый нефтяной ореол, отливающий твердой и чистой синевой плаща-болоньи,

а сзади за ней влачились размытые ореольные космы. Льдины почему-то жались к правому берегу, и он догадался почему: выше по течению река круто загибалась вправо, и их прижимало к берегу, как в автобусе на повороте прижимает к стенке. В углу, между мостом и берегом, их наприбывалось целое шевелящееся, трущееся боками стадо: даже сквозь лязг и рычание трамваев и машин слышался их непрерывный позванивающий шелест.

Когда она догнала его в тот, последний раз, они так же стояли у перил, и он все смотрел на воду и молчал, и она молчала. Сказать было нечего. Пять минут назад он уходил от нее — медленно, чтобы она могла, если бы захотела, легко его догнать. Вдруг сзади послышались бегущие женские шаги. Он обмер. Какая-то женщина пробежала мимо и села в стоящий у остановки троллейбус. Он понял, что если бы она сейчас догнала его, он все бы забыл и простил. Но когда она его в самом деле догнала, когда он увидел ее, сразу стало ясно, что прощать и забывать им нечего и незачем — им, ничем не связанным чужим людям.

Мимо гранитных быков неслись струи, гладкие и упругие, как рыбы; только там было заметно течение. От этого слегка кружилась голова, и мост, как ему и полагалось, казался кораблем. С кормы срывались и уносились течением вихревые завитки. Зона турбулентности. Несмотря ни на что, ему было неловко так долго молчать, но он все-таки молчал, а вихри все срывались и срывались. Как в курсе гидродинамики. И день был хорош на удивление: солнечный и не слишком морозный. Карнизы домов, контуры парапетов и гранитных перил у спусков к воде были обведены ослепительной выпушкой, на которую было трудно смотреть, как на лампу дневного света, и потом в глазах не сразу исчезали какие-то темные полосы. Гранитные ступени спусков были оглажены снегом, как острые скулы человеческой плотью. Не потому ли снег голубоватый, — а тени прямо синие, — что в нем отражается небо? У каждой снежинки много плоскостей отражения, поэтому они могут сверкать, как нафталин, под фонарями. Надо будет проверить в пасмурную погоду, подумал он, но, конеч-

но, забыл. Даже водосточные трубы из сизой некрашеной жести отливали холодным синим светом, как неоновые лампы. Нео — новый — греческое слово и его русский перевод, «дважды новый».

Вечером, когда он провожал ее домой на Петроградскую, они снова вышли на мост, но уже на противоположную сторону, и снова долго стояли у перил. Оба устали и замерзли и немного одурели от шестичасового хождения и молчания. Правда, они побывали в кино и минут сорок просидели в какой-то забегаловке на Васильевском. Он снова смотрел на воду. В совершенно черной воде отражались огни, желтые — окон и белые — фонарей. Рябь превращала их в копошащиеся сборища светящихся муравьев. Под мостом проплывали льдины, и мост опять казался кораблем, но теперь они стояли на носу.

Выше по течению середина реки была почти свободна, но редкие льдины надвигались, как эскалатор, с почти угнетающей неукоснительной монотонностью, а перед мостом толпились, как машины у светофора, хорошо видные в свете мостовых фонарей, не подтаявшие, а прочные зимние льдины, — тогда ведь была зима: и небольшие, обсыпанные белыми пластинками, как пирожное «наполеон», и медленно вращающиеся материки, разделенные черными изломанными щелями, расходящиеся и сходящиеся, подогнанные не хуже, чем Америка к Европе с Африкой, ровные белые поля с озерами, то черными, с чистой водой, то матовыми, как застывшее сало на сковородке, то набитыми толченым льдом, похожим на размокшую вату. Иногда на миг чувство реальности исчезало, и казалось, что черное — это не вода, а небо, в котором на страшной высоте плывут белые-белые громадные лоскуты. Туда же, в черное небо, струились три почти неподвижные столба золотого светящегося дыма — отражения трех далеких фонарей.

Прямо по курсу чернела фабричная труба, из которой уверенно извергался уже настоящий светящийся красный дым. Он сообразил, что сам по себе дым не может так светиться, и, поискав вокруг трубы, не очень близко от нее увидел на крыше длинного здания светящуюся надпись громадными

красными буквами и подумал, что очень плохо знает оптику: слова «рассеяние света» мало ему говорят даже в рамках волновой теории.

Возле ее дома, у арки с неустойчивыми на вид колоннами, как будто сложенными ребенком из плоских цилиндров и призм, у арки, под которой она проходила не менее двух раз в день и которая до сих пор хранила печать того чувства, с каким он смотрел на нее совсем недавно (возле ее дома все было другим — и люди, и деревья, и металлические ограды), — у этой арки они стояли еще немного, глядя на деревья в белом свете фонарей. Он только смотрел и старался не думать. Как будто это не он. Сверху медленно спускался крупный театральный снег, тротуар и газоны с деревьями были освещены ярко, как на сцене. Каждая голая веточка, снизу темная, сверху была тщательно обведена мохнатой белой каймой. Он только смотрел и старался не думать. В черно-белых ветвях, при желании, можно было найти сходство с траурными лентами.

Несколько дней до этого тянулась оттепель, капало с крыш, в водосточных трубах то и дело жутко прогрохатывал и с треском разлетался по тротуару оторвавшийся лед. Возле деревьев слышался постоянный шорох; с ветвей срывались и шлепались на газоны капли и подтаявшие комочки снега, и снег под деревьями был словно бы червивым, как старая деревянная мишень. Деревья же с совершенно обтаявшими угольно-черными от влаги ветвями, извиваясь, пронизывали воздух, как нервная система вымерших гигантских гидр. Вечером, там, где света было поменьше, их оживляющая опушка терялась на темном небе, и деревья, причудливо, по-японски, изогнутые и скрученные, походили на коряги. А те, что попрямее, торчали будто на пожарище: огонь, как и темнота, прежде всего поглощает самое тонкое. Днем с залива ровно дул сильный и сравнительно теплый ветер, ночью он унимался, подмораживало, и к утру все покрывалось ледяной глазурью, уже посыпанной песком к тому времени, когда он выходил на улицу, и обледенелые ветви сверкали под фонарями, как люстры. Изредка шел снег, давая пищу дневному таянию, а иногда и дождь.

Еще не успевший растаять иней на стенах среди сырых пятен растаявшего казался плесенью. Но его уже почти не оставалось, слабеющая изморозь проступала узорами, повторяя трещины в штукатурке, выявляя скрытую неоднородность стен, колонн, до оттепели казавшихся монолитными: на ровной стене проступала решетка скрытых под штукатуркой кирпичей, на колоннах яичной белизны и гладкости появлялись горизонтальные равностоящие пояса — скрытые цилиндрические блоки. Своеобразный рентген. Он как-то подумал, что на этом эффекте можно построить метод поиска скрытых трещин.

Тротуары были покрыты чмокающим желто-серым месивом песка и тающего снега, и снег на газонах вдоль проезжей части был забрызган этим месивом, как пол в уличной уборной мокрыми опилками. Но в тот, последний вечер следы оттепели были прочно укрыты снегом, только недалеко от арки на тротуаре чернела ледяная дорожка, и на раструбе оторванной водосточной трубы сверкало сооружение из сосулук, похожее на оплавленный готический собор с перевернутыми вимпергами и башенками-фиалами. По пузо в снегу бегал по газону, болтая ушами, коротконосый, похожий на кошку щенок, как будто выкроенный из желтой детской шубки.

— Ты еще придешь? — спросила она, и голос ее, он мог бы поклясться, был не только тихим, но и печальным.

— Нет, — ответил он; ответил, стараясь не думать — как будто это не он: только так он мог сказать ей «нет».

— Мне жаль, что так вышло, — прежним тихим голосом сказала она, и он искренне ответил, ободрившись оттого, что самое страшное уже сказано:

— Мне тоже жаль.

Это прозвучало некстати укоризненно. Он первым, по-прежнему стараясь не думать, кивнул и в последний раз пошел от арки к повороту. Шел, стараясь не думать, а только идти, смотреть на деревья, посматривать под ноги. Сильно оттолкнувшись, он прокатился по ледяной дорожке. Щенок бросился ему навстречу и, радостно подпрыгнув, на миг напомнив лошадь Медного всадника, ткнулся коротким розовым

носом в перчатку. Олег нагнулся и потрепал его по спинке, отчего тот припал к земле и забил хвостом. Сделав еще несколько шагов, он, проведя рукой по низкому подоконнику, набрал пригоршню снега, легкого как пух и такого же сухого, и, сжав его в кулаке, слепил маленький невесомый снежок, который тут же небрежно отбросил на газон. Ему почему-то хотелось, чтобы она таким и запомнила его: как он прокатился по ледяной дорожке, потрепал щенка, машинально слепил и отбросил снежок и, не оглядываясь, скрылся за углом. Но, не дойдя до поворота несколько шагов, он не выдержал и обернулся. У арки никого не было.

В прежние времена, проводив ее, от возбуждения он никак не мог дождаться автобуса и возвращался в общежитие пешком, в самом точном значении этих слов — ног под собой не чуя, зато, подобно Анне Карениной, чувствуя, как у него блестят глаза в темноте. В общежитии в любое время дня и ночи можно было найти бодрствующую компанию, — как, впрочем, и спящую, — и это было ему на руку: какие бы разговоры там ни велись — легкомысленные или глубокомысленные, — лишь бы только не ложиться спать. Изредка она провожала его до остановки, и тогда он ехал на автобусе. В первое время он немного смутился, садясь в автобус, как если бы во время разговора с ней его вдруг опрокинули на тротуар и утащили бегом, волоча за ноги. Такой примитивный способ передвижения как-то очень грубо обнажал его телесную природу, поэтому, еще подходя к остановке, он начинал испытывать некоторую скованность.

И вот он в последний раз проходит мимо этой остановки... Защемило сердце, но это было уже наполовину предчувствие: раз было так хорошо — значит, будет еще. Ничего не бывает в одном экземпляре.

Он шел по берегу Карповки. От его движения снег под ногами шевелился, как тополиный пух. Речка с чернеющими полыньями была похожа на белую промокашку, положенную на несколько больших клякс. Он не встретил ни души — жила только речка: в ней что-то потрескивало, похрустывало, иногда сыпалось со звоном. Он догадался, что понижается уро-

вень воды и схватившийся лед прогибается и трещит. Еще днем он заметил, что на покатых берегах Лебяжьей канавки обломки льда выложили две ровные кромки, но не задумался, с чего это.

Он уже не старался не думать, только еще внимательнее смотрел по сторонам. Некоторая подавленность в душе присутствовала, но она лишь придавала миру особую прелесть, чуть ли даже не прянность: пустынная заснеженная набережная так гармонировала с его состоянием, что он почувствовал радостное волнение, уже явно художественного свойства. Пропустив мужчину в белых пуховых эполетах, Олег начал бормотать потихоньку:

— Когда по городской пустыне, отчаявшийся и больной, ты возвращаешься домой, и тяжелит ресницы иней, тогда — остановись на миг послушать тишину ночную: постигнешь слухом жизнь иную, которой днем ты не постиг; по-новому окинешь взглядом даль снежных улиц, дым костра, ночь, тихо ждущую утра над белым запушенным садом, и небо — книгу между книг...

Сколько раз он ни пробовал прочесть стихи вслух, собственный голос казался бесцеремонно противным. Но бормотание было именно то, что нужно. Ощущение гармонии сделалось еще острее, хотя он не чувствовал себя «отчаявшимся и больным». Однако, как и полагалось, все в стихах выступило крупнее и благороднее: даже заснеженная пустынная улица и ночная тишина, даже запушенный Ботанический сад. И во всяком случае, мир был прекрасен, — как всегда.

4

Как же после этого можно было вернуться в Ленинград? Он медленно брел к вокзалу, до которого было довольно далеко, и думал, что тогдашняя его внимательность (в сущности, он радовался и фонарям, и льдинам, и щенку) и означала освобождение, потому что в огорчении или даже озабоченности смотришь только, чтобы не налететь, не провалиться, не попасть под машину, и не помнишь, как шел и что видел. А если

не помнишь — это почти все равно, что и не шел и не видел, то есть не жил. Твое Я — твоя память.

Что ж, если запоминание — жизнь, а забывание — смерть, то понятно, почему мы, когда нам хорошо, присматриваемся ко всему кругом, чтобы запомнить побольше и этим попрочнее укрепить свое Я. А когда нам плохо — мы произвольно совершаем частичное самоубийство, отключая внимание и память.

Вот и влюбленность (прежде он считал, что никогда не был влюблен, но теперь, проследив процесс до конца, знал, чем были те, прежние, взгляды, улыбки, якобы непреднамеренные прикосновения) начинается с повышенной заинтересованности, внимательности ко всему на свете, в том числе и к себе самому, — к своим ощущениям, склонностям, к детству, даже к предкам: все видишь еще и ее глазами и постоянно готовишься ей об этом рассказать, хотя потом и не рассказываешь.

Недаром тогда, в самом начале, он как-то ненормально полюбил живопись, и не только потому, что Марина, по ее словам, любила ее, — нет, она просто указала русло его тогдашней восприимчивости. И еще он чрезвычайно полюбил Майоля: ему совсем недавно открылась возможность любить женщину, и любить ее *всю*, а не только лицо, волосы, одежду... Хотя одежда тоже может быть грациозной: например, пола ее пальто откидывалась с необыкновенной грацией, когда она заносила ногу на ступеньку. Но в женщинах Майоля восхищало как раз то, что они неловки, что у них мясистые вдавленности и расплюсченности, складки на поясице, и при этом — женственность. Не та бесплотная, хотя и извлеченная, по-видимому, из настоящих женщин, а живая, обнаруживающаяся не только в грации, но и в неловкости, неумелости, — посмотреть хотя бы, как они бросают снежок. И все это — и в них, и в нем — просто какие-то физические процессы. И смысла в них не больше, чем, например, в дожде...

Да, Марина дала ему зрение, и она же его отняла. Фауста ослепила Забота, а его — Марина. А ведь он уже прозревал, а значит, и оживал, в тот, последний вечер с нею, и уже видел вовсю, когда, получив академку, вышел из института и с надеждой

оглянулся, нет ли Марины на их обычном месте, — и с радостью отметил, что сердце екнуло только в самый первый миг.

А скоро он и оглядываться перестанет!

Празднуя освобождение, он устроил целую оргию, объедаясь впечатлениями. Наконец-то была настоящая весна, с солнцем и холодным, но явно весенним ветром. На главных улицах уже было сухо, но в переулках у стен еще не скололи изъеденный теплом, как чугун ржавчиной, грязный лед, подернутый зернистой снежной корочкой, издали похожей на задохшую мыльную пену.

Тогда в первый раз после зимы он увидел чаек. Их не было раньше или он был слеп из-за непрерывных обид на Марину? Больше всего их кружилось там, где откуда-то из-под гранитной стены клубами расходилась по воде белесая муть и вода была подернута ритмически морщившейся и растягивающейся пленкой, похожей на рвоту. Словно раскачиваясь на невидимых качелях или «гигантских шагах», чайки, почти не шевеля крыльями, скользили по ветру, замирали и неслись обратно, лишь изредка увеличивая размахи и касаясь воды. Иногда они вылетали на набережную — крылатая тень бесшумно соскальзывала с парапета и, очертив дугу на тротуаре, так же бесшумно взлетала обратно и спрыгивала на воду. Сами же чайки слетали с парапета в точности, как ныряльщики, только колени при толчке сгибались в обратную сторону, и у него всегда возникал вопрос, не страшно ли им, что крылья на этот раз подведут. Иногда, борясь с ветром, они повисали на одном месте, напоминая человека, пытающегося устоять на тонкой перекладине: вот он стоит спокойно и только чуть колеблется туда-сюда, и вдруг его сильно качнуло влево, вправо, он выгнулся, замахал руками — и снова стоит.

И каждое утро они кричали по-разному: то жалобно-протестующе, но как будто не совсем искренне, как старухи, слушающие рассказ одной из них про злую невестку, то базарно переругиваясь, а иногда слышались только беспорядочные возгласы, как при посадке на поезд.

Волны, набегающие на гранитную стену, косо пересекаясь с отраженными, в солнечный день создавали на дне, где

помельче, вспыхивающую сетку мерцающих ромбов — сияющий живой гамак. На ступени гранитного спуска каждая волна взбиралась быстро и уверенно, а назад бежала как-то врассыпную, как разбитое войско. Под нависающим бортом плавучей пристани тяжело хлюпали волны, изредка плоско ударяя в нее тяжелой пощечиной. Было очень приятно идти в Публичку, предвкушать наполненный день, тем более что теперь, получив академку, он уже не чувствовал никакого беспокойства, читая не то, что следовало. Неприятно было только проходить мимо рыбаков, то и дело взмахивающих своими бамбуковыми удилещами: он почти слышал легкий треск крючка, погружающегося в его глаз.

Он был доволен еще и тем, что так легко получил академку: замдекана Мальгин, не дослушав его бормотанья о домашних обстоятельствах, глядя мимо него, продиктовал невидимому стенографисту (это была его обычная манера говорить):

— Я вас не знаю, следовательно, вы хороший студент. Пишите заявление.

Мальгин был личностью легендарной: еще на первом курсе один из тех, кто, казалось, с пятого класса следил за закулисной жизнью факультета, перечислял, стараясь не слишком захлебываться, достоинства Мальгина (от них невозможно было услышать о таких достоинствах, как честность или доброта): тридцать лет, доктор, чемпион по преферансу, — на экзаменах тасует билеты, как карты, вызывает кого-нибудь «сдвинуть» и только потом начинает раздачу. На первой лекции обычно заявляет, что, хотя и не уверен в целесообразности происходящего, лекции он читать все-таки будет, и читает сидя, подходя к доске только в крайней необходимости и заметно наслаждаясь красотой возводимого им интеллектуального здания. Вместе с тем он был знатоком истории, искусств, истории искусств и не брал в руки книг, изданных после 1840 года.

В этом образе, созданном, вероятно, по законам народного творчества, чувствовался известный эклектизм. Мальгин, по-видимому, существовал вне времени, — первокурсники и теперь говорили о нем: тридцать лет, доктор наук... Андрей, сосед Олега по общежитию, работал у Мальгина лаборантом,

на половине ставки, и постоянно приносил бюллетени о ежедневных успехах Мальгина, выражавшихся, в основном, в афоризмах и островах, пока, наконец, над ним не стали насмеяться, ежедневно интересуясь, какими новостями о Мальгине он нас сегодня порадует. Страсть Андрея была так велика, что он имел глупость обидеться и отвечать в том смысле, что вы, мол, сначала станьте докторами в тридцать лет, а потом зубоскальте. Скоро он, конечно, понял свою ошибку, но было поздно: на всех вечеринках, где он присутствовал, первый бокал неизменно поднимали за Мальгина. Но совсем удержаться Андрей все-таки не мог и время от времени снова сообщал какой-нибудь особо блестящий мальгинский афоризм вроде: «В жизни три существенных момента: свадьба и две диссертации».

Столь удачно добившись академки, Олег сам чуть было не стал поклонником Мальгина, но через несколько дней Андрей принес очередной его афоризм, произнесенный в беседе с придурковатым студентом, пришедшим просить академку, — на глупый вопрос студента Мальгин, по его словам, ответил:

— К общеизвестному тезису «все в мире относительно» я могу лишь добавить: и это тоже.

Афоризм мог казаться остроумным или хотя бы просто умным лишь в контрасте с дубоватостью студента, в котором, хотя и донельзя окарикатуренном, Олег не мог не узнать себя. Эта история не слишком его задела, но подействовала отрезвляюще. Хотя было неясно, зачем Мальгину понадобилась эта выдумка, казалось бы, ничего не прибавлявшая к его славе. Вероятно, он полагал, что костер его славы пылает столь жарко, что сожрет любое топливо и будет только разгораться: в нем будет гореть даже то, что могло бы погасить костерок поменьше.

Вернувшись с какого-то парижского конгресса, Мальгин написал для стенгазеты статью о Лувре: хотя и видишь там уже много раз виденное в репродукциях и немного надоевшее, но тем не менее прогулка представляет определенный интерес. Странно, что когда-то на лице Мальгина он видел нечто вроде отблеска божественного огня: и чертами лица, и

особенно оживленным выражением строгого самодовольства Мальгин походил на возбужденного гуся.

Да, когда он смотрел на чаек, он жил, и когда шел по выступавшей из воды ледяной тропинке через сквер у общежития, где деревья стояли в воде, и можно было вообразить, что это Флорида, — тоже; а сейчас он снова не живет, потому что ничего не помнит и не видит. Он осмотрелся и увидел, что давно прошел мимо вокзала.

Досадуя на свою рассеянность, он все-таки, пытаясь вернуть утреннюю зоркость, посмотрел по сторонам: на штабель старых, лопнувших шпал с забитыми песком продольными трещинами, — старых, но еще издававших всегда тревоживший его запах дальнего пути; на выстроившиеся вдоль платформы фасонно опиленные деревья, похожие на ершики для мытья бутылок; на плоский серый барьер голых кустиков между ними: щетина прошлогодних побегов была острижена и лежала на земле буро-фиолетовыми пучками тонких, злых спицрутенев.

И развалы досок и угля за линией, и штабеля расколотых пополам метровых поленьев, возле которых стоял большой желтый электромотор на колесиках, и стоящие вдали товарные вагоны, среди которых он недавно бродил, — все виделось почти что с отвращением, сквозь дымку начинавшейся тоски, о приближении которой он теперь узнавал очень хорошо: в груди снова начинало сжиматься что-то, пищевод или бронхи. Все как будто только и ждало, когда он отвернется, чтобы сразу померкнуть в его памяти, и, едва он перестал делать над собой усилие, сразу же пропало все, кроме десяти метров щебенчатой, цементированной грязью дороги, по которой он медленно шел к вокзалу. Но и дорога готовилась исчезнуть, ожидая лишь, когда он пройдет ее до конца.

Значит, он не жил все это время, пока шел мимо вокзала, раз он ничего не помнит? Нет, мысли свои он помнит очень хорошо, а не помнит только ощущений. В чем же больше жизни — в мыслях или в ощущениях?

«Жизни» — пустое слово! Нет разницы между «живым» и «неживым». Атомы летали от начала мира, соединялись, рас-

падались, но вот однажды соединились в такую штуку — его мозг,— которая вдруг сумела ощутить себя как целое и, по закону инерции, пожелала сохранить свое состояние. Эта штука, как паразит, уселась на вселенной и даже на его, Олеговом, организме, чтобы высасывать из них свою пищу — впечатления, а сумей она их получить помимо Олеговой плоти, — хотя бы наркотиками или бредом, — пусть тогда плоть проваливается ко всем чертям, и весь мир с ней заодно. Вот эта штука нахально и называет жизнью только такие сочетания атомов, которые чем-то напоминают ей ее собственное существование. А объективно человек не более «жив», чем двигатель внутреннего сгорания. Какой же смысл может быть у «жизни» — у последовательности химических реакций!

Вернувшись к вокзалу, он удивился, что сумел пройти мимо, потому что из одной двери, с надписью «Вход», непрерывно выходили, а в другую, с надписью «Выход», входили люди, пересекая тротуар, по которому он шел, и он вспомнил, что в самом деле пробирался через их поток, но не обратил должного внимания. Он протолкался к расписанию, проклиная свой рюкзак и еще больше раздражаясь от духоты и заслоняющих голов, — заслоняющих, несомненно, назло ему, потому что расписание не могло понадобиться сразу стольким людям,— узнал, когда пойдет поезд до старинного областного города, где нужно было сделать пересадку, и сколько стоит билет в общем вагоне.

Поезд шел ранним утром. Вот спасибо-то! Еще чуть не сутки торчат в этой дыре! Отойдя за самодовольно гладкую колонну, он еще раз пересчитал деньги, надеясь, что их явно неостанет. Денег было мало, но не «явно».

Так и не избавившись от нерешительности, он, спутав двери, вышел на перрон. Напротив, у другой платформы, стояла электричка, сквозь ее окна были хорошо видны ходившие по платформе люди, а люди в вагонах казались темными силуэтами: там было темнее. Крыша электрички влажно блестела, видимо где-то попала под дождь. (Плохо быть большим, как область, — всегда где-то идет дождь. Лучше быть малень-

ким городком: если солнце, так везде солнце. Правда, если дождь, то везде дождь.) Было так просто сесть в электричку и через три часа быть у себя. Повернувшись, чтобы через вокзал выйти на улицу, он увидел у входа телефон-автомат с табличкой «Переговоры с Ленинградом». Мгновенным испугом мелькнула мысль позвонить ей, а в следующую секунду он уже решил позвонить в общежитие: он понял, что, поговорив с кем-нибудь из приятелей, снова сыграв роль романтического странника, он исполнится новых сил (дозвониться до общежития было нетрудно, но нужно еще, чтобы кто-нибудь с вахты сходил в нужную комнату, а часто желающих не находится, а то и трубку не станут снимать или, еще хуже, приподнимут и положат, чтобы не надоедал звонок, тогда и монета накрылась — однако он всей душой надеялся на успех).

Тут же он увидел, что вместе с ним к будке направляется солидный дяденька, — в галстук, но без шляпы, — и дяденька тоже заметил его и ускорил шаг, а перед будкой проделал нелепую скрытую пробежку. Олег брезгливо посторонился. Он ни за что не пошел бы на такой неэстетичный и неспортивный поступок. А дяденька расположился как дома: положил на полочку у телефона вульгарную записную книжку и начал не спеша с неслыханным лязгом обзванивать своих ленинградских знакомых. Только через минуту Олег понял, что лязгает замком уборщица, пытающаяся открыть большой железный ящик. Когда дяденька опустил третью монету, Олег потерял терпение и пошел прочь, удивляясь, что кто-то соглашается разговаривать с таким отвратительным субъектом и еще, может быть, улыбается ему в трубку. Он совсем забыл о своем намерении войти в вокзал.

Еще года три назад он если бы и не ввязался в унижительный безнадежный скандал, то был бы возмущен гораздо сильнее. Сейчас он только с горечью подумал, что, будь он внутри, он не смог бы позвонить даже два раза подряд, видя, что его ждут, а снаружи — даже не пытается помешать другому делать то же самое, хотя уж один-то из этих противоположных поступков должен быть справедливым. Значит, к другим он менее требователен, чем к себе. Вывод был неожиданным. Че-

пуха, он просто боится «других»: в будке он боится тех, кто снаружи, а снаружи — тех, кто внутри. Но ему не хотелось согласиться с этим, и он стал подыскивать другую формулировку. Нет, он не их боится, а не хочет оказаться... Он не мог найти нужного слова. Мелочным, что ли?

Он уже не пытался храбриться, что когда-нибудь сделается другим, он точно знал, что так будет всю жизнь.

Размышляя таким утешительным образом, он дошел до ярко-зеленой садовой скамьи, возле которой стояла охваченная копотью, как пламенем, эмалированная урна, — прежде больнично-белая. Засмотревшись на урну, он сел на скамью, но тут же со слабым треском отклеился и вскочил: скамейка была недавно выкрашена, и никаких «Осторожно, окрашено!» не было видно на версту кругом.

Только теперь он понял, почему, хотя людей стояло довольно много, никто не садился. При другом расположении духа, он, возможно, утешился бы каким-нибудь афоризмом о возмездии тем, кто не хочет руководствоваться поступками большинства, но сейчас у него от бешенства потемнело в глазах. Как будто энергия всех мелких вспышек раздражения, с каждой из которых он относительно легко справлялся, суммировалась в бесшумном взрыве ненависти к тем, кто не приколот к скамейке бумажку «Осторожно, окрашено!», в то время как обязан был это сделать. Нестерпимее всего была их наглая и гарантированная уверенность, что все им сойдет с рук, да и уличить их невозможно, скажут: повесили, а кто-то снял, и почему никто не сел, а он сел, самому надо смотреть. И ведь правда: никто не сел, а он сел.

От ярости дыхание стеснилось, как под стокилограммовой штангой. Он посмотрел на скамейку: поверхность краски была довольно гладкой, так что вряд ли он испачкался очень сильно, видимо краска уже подсохла и подернулась пленкой. У края к планкам прилип тончайший газетный слой со шрифтом, видимым с изнанки, — там сидел кто-то более предусмотрительный. Стало быть, можно было предусмотреть! Но почему, почему всем удастся все предвидеть, а он делает глупость за глупостью, за что бы ни взялся! Неужели он вправду

глупее всех? Ему стало так горько, как бывало только в детстве. Все равно, глуп он или нет, но если бы повесили табличку «Осторожно, окрашено!», ничего не случилось бы. И никто его от них не защитит!

Горечь переполняла его, доходя до безнадежного отчаяния. Он поспешил поскорее уйти с платформы, от любопытных взглядов, чтобы никого не видеть и не слышать, а заодно осмотреться. Конечно, главная беда была не в этом, но все-таки приобрести зеленые полосы на месте хотя и не самым видном, но немедленно становящемся таковым, стоит его испачкать, было тоже неприятно, притом именно сейчас, когда денег нет на самые дешевые брюки. Ему снова страстно захотелось вернуться и больше никогда не выходить на улицу. Что-то подобное он испытывал в детстве, когда, обиженный, униженный, оскорбленный, в ужасе от бесконечного могущества и злонамеренности мира, бежал к матери. Но тогда хотя бы брезжила надежда на утешение.

Общежитие снова представилось родным домом, — настоящий родной дом был слишком далеко. И, пожалуй, он сильно от него отвык, а сейчас ему хотелось покоя, то есть привычного.

Он зашел за длинный сарай из потрескавшихся, серых, как слоновья шкура, досок, поставил рюкзак на такую же серую скамеечку-доску на столбиках и осмотрелся, подтянув, насколько было возможно, лицо и заднюю часть брюк навстречу друг другу. Брюки были не слишком испачканы, но все же достаточно неприличны, в особенности тем, что краска непристойным образом выделила зоны большего и меньшего давления на окрашенную поверхность.

Он сел на скамеечку, — рельсы были слева, — и, предварительно посмотрев по сторонам, беспокойно поелозил по ней. На серой доске остался слабый зеленый след. Он еще раз, скрутившись жгутом, осмотрел брюки.

Зелень пыльно потускнела; теперь брюки были скорее просто грязными, чем выкрашенными.

Забегая вперед, нужно сказать, что он проносил их еще около трех месяцев, пока они не выносились до того, что си-

деть в них приходилось, по-женски кокетливо сдвигая ноги, и за все это время вид их задней части не причинил ему ни малейшего беспокойства, но сейчас он был близок к отчаянию.

5

Откуда-то слетел темно-серый голубь — затормозил, почти став на развееренный хвост и торопливо замахав крыльями, сел, собрал хвост в пучок, сложил крылья, взмахнул ими, как разгневанный ангел, и тут же зашпешил мимо деловитой перевалистой походкой, кося оранжевым ободком вокруг глупого выпученного глаза. Потом стремительно обернулся, словно у него внезапно зачесалась спина, и стал щипать и перебирать клювом перья у себя на лопатке. Потом так же неожиданно прекратил и снова побежал, но, сделав несколько шагов, опять остановился и когтистой лапой затряс склоненную набок голову, как будто ему в ухо попала вода. После этого он принялся деловито переступать красными лапками по сырой утоптанной земле, то и дело что-то подхватывая с нее, причем его шея вспыхивала то зеленой, то фиолетовой искрой.

Он подошел так близко к Олегу, что Олег не выдержал и хлопнул в ладоши. Голубь дрогнул крыльями, но даже не оглянулся. Олег хлопнул еще несколько раз, и каждый раз голубь вздрагивал, но не оглядывался: понимал, с кем имеет дело.

Перед общежитием, в сквере, голуби часто копошились вместе с чайками, и он из окна не раз видел, как голуби, символы мира, что-то отнимали у чаек, а чайки у голубей — ни разу. Интересно, что в слове «чайка» куда больше поэзии, чем в самой птице. Как у Гоголя: иное название драгоценнее самой вещи. Разумеется, он сейчас же вспомнил Маринину компанию, — у них во всем так, название драгоценнее вещи: не «задача», а «проблема», не «догадка», а «идея», не «способ», а «метод». Все у них не просто так. Они обо всем в себе говорили с большим вкусом и обстоятельно, будто имели дело с писателем, собирающим материал для романа о них.

У них было даже какое-то особое щегольство — не понимать. Они ухитрялись произносить «я не понимаю теории

Дедекинда» или «статистической физики» с такой глубоко-мысленной сосредоточенностью, что становилось совершенно ясным: с ваше-то я понимаю, а речь, разумеется, идет о таких вершинах (глубинах), о существовании которых вы и не подозреваете. С ума можно сойти, с какими кривляками он водил знакомство!

Тут Олег почувствовал, что у него от долгого напряжения ноют лицевые мускулы под глазами, очевидно из-за того, что лицо слишком долго сохраняло одно и то же выражение: напряжение мышц на скулах и на носу держало глаза немного прищуренными, одновременно слегка приподнимая верхнюю губу к сморщенному носу. Он сразу понял, что это была, незаметная для него, гримаса раздражения — точно такое выражение бывает на собачьей морде, когда собака рычит. Значит, ему тоже хотелось рычать, но он удерживался по благовоспитанности? Олег расхохотался — по-настоящему, вслух, так что голубь дернул крыльями и подскочил, но, опять-таки не оглянувшись, продолжал ловко ковылять по площадке перед сараем, отыскивая что-то, заметное только ему.

А Олег чисто физически ощутил, как мир снизошел в его душу: все, что было напряжено, разом расслабилось. И ноющий комок в груди рассосался — как не бывало. Чтобы проверить, прочный ли это мир, он вспомнил о разных неприятных вещах, но не нашел в душе ни малейшего отзвука. Это был самый настоящий мир.

И блаженный мир. Олег ясно понял, что спокойствие — не просто безразличное состояние, а наслаждение. А еще утром, на мосту, счастьем казалась новизна, неизвестность. Что же это за прибор, у которого стрелка так скачет! Какой-то голубь, какой-то по-собачьи сморщенный нос могут ее перебросить от полного отчаяния к полному оптимизму. Нет, в серьезных вопросах никак нельзя полагаться на эти хрупкие чувства, а только на разум. Научный разум.

Но ведь разум, бедняга, и сам существо зависимое: сколько раз убеждался — на Марине особенно, — что если какой-то образ мыслей принят кем-то для физического или душевного комфорта, то переубедить его не легче, чем доказать, что луч-

ше спать на досках, чем на тахте, или есть сухарь, а не бифштекс, — и все из-за того, что доказываешь не его разуму, а бокам или желудку, его главным прирожденным советникам, которым он доверяет больше, чем всем мудрецам вселенной.

Когда сильно хочешь чего-то, твой разум то и дело оказывается слугой твоего хотения — пусть с виду ты и рассуждаешь вполне логично: логика — правила перехода от одного суждения к другому — сама по себе бессильна; так, правила уличного движения не помогут найти нужный дом в громадном городе, если не знаешь адреса. Но откуда же берется адрес?

Ясно, по крайней мере, одно: несправедливость, эгоизм — страшные кандалы на разуме. Только не будь свиньей или трусом, и, глупый, рассудишь лучше умного.

Ему вспомнились споры Марины с ее подругой Лариской (что за странная это была дружба, какая-то любовь-ненависть!), которые велись на исключительно высоком абстрактном уровне с исключительно тонкими, логически безупречными аргументами. А секрет во всех этих спорах был один: почти каждое фигурировавшее там понятие символически выражало не названного, но вполне конкретного человека, причем иногда для обеих одного и того же, а иногда и разных. «Обязанности мужа состоят в следующем, жены — в следующем, поскольку цель существования семьи заключается в следующем». Причем слова «муж» и «жена» для Лариски обозначали ее брата с женой, она его защищала, а для Марины — ее самое и ее будущего мужа. (Лариска о своих будущих семейных отношениях пока не заботилась, прекрасно понимая, что в теорию никогда не поздно ввести поправки: конечно, если муж такой-то и такой-то, то следует поступать так-то, но если он не такой-то и такой-то, то совершенно противоположным образом.) А когда Марина спорила с ним, с Олегом, об отношениях Толстого с Софьей Андреевной, имя Толстого являлось у нее как бы псевдонимом самого Олега, а Софья Андреевна была ею самой или кем-то из ее подруг.

Лариска была еще увертливее Марины, тоже, в общем-то, начертавшей на своем знамени: захочу — и никто ничего мне

не докажет. Это был поразительно бесплодный ум, абсолютно неспособный открыть что-либо ей несимпатичное. Но даже в тех случайных ситуациях, когда правда была на ее стороне, Олегу ничему не удавалось от нее научиться, поскольку она и здесь была неспособна воздерживаться от фальсификаций. Насмотревшись на такое, Олег во всех симпатиях, особенно собственных, стал чутя опасность для разума: разум не должен считаться с нашими «нравится» и «не нравится».

Лариска, маленькая и бойкая, держалась с ним, Олегом, как с ужасным остряком и циником, кроме того — фатом и жуи-ром. Он смутно чувствовал, что это делается дипломатически-тонким образом в пику Марине, похоже, внушавшей знакомым, что в связи с ним она лишь позволяет любить себя, но почему-то как умел старался оправдать возложенное на него доверие, по возможности порхая по жизни в присутствии Лариски и по возможности срывая цветы удовольствий. Когда он встретился с Лариской в последний раз, она уже знала об его отъезде и разговаривала с ним как-то очень лукаво; казалось, она вот-вот погрозит ему пальцем и скажет что-нибудь вроде: «Я ведь все-е-е знаю! Плутишка ты этакой!» Увидев ее, Олег сразу понял, что в его положении не только нет ничего жалкого, но, скорее, напротив.

Она намекнула, что Марина очень огорчена, можно сказать — убита. Наверно, это не вполне было ложью, потому что тщеславной женщине мучительнее потерять любящего, но не любимого, чем любящего и любимого, где-то он это слышал. В любви любимого для нее нет ничего лестного, потому что любовь эта куплена за полную цену — за любовь же, а любовь нелюбимого получена бесплатно, как бескорыстная дань ее достоинствам.

— Как же ты ее оставляешь? — не сдержав радостной улыбки, спросила она. — Такое чувство было!

— У любви, как у пташки, крылья... — лицемерно вздохнул Олег.

А она все с тем же лукаво-понимающим взором, продолжала допытываться:

— Все-таки, зачем ты уезжаешь?

— Надо проездиться по России, — отвечал Олег. — Миротворцу поприще всюду: только между плутами есть что-то похожее на соединение. Предложу одним не соблазнять, другим не соблазняться, а они, ясное дело, как спасителя, облобызуют того, кто обратил их взгляды на самих себя.

Он незадолго до того, по Ларискиной же рекомендации, прочел гоголевские «Выбранные места» и мог говорить довольно близко к тексту, который был признан Лариской, почему она и ответила с большим удовольствием, и тоже цитатой:

— У тебя память, как дорога в Полтаве, — всякий галошу оставит.

Она была почти так же начитанна, как Марина. Олег подумал, что так нравившиеся ему, особенно в первое время, студенческие разговоры, несмотря на их ненужную, часто притворную горячность, пестрое однообразие и поверхностность, были для него небесполезны: не раз что-нибудь сказанное понаслышке или для красного словца наталкивало его на хорошую мысль или хорошую книгу, причем чаще всего оказывалось, что сам натолкнувший этой книги не читал. Ох уж эти студенческие разговоры и споры, в которых никто не знает толком, о чем идет речь, не знает, что хочет сказать сам и что другой, которые ведутся с большим пылом и неизвестно с какой целью, но, во всяком случае, не с целью установления истины. И никто не думает о предмете спора, когда остается один.

Вспомнив разговор с Лариской, он почувствовал укол совести, что, тоже ради красного словца, стал передразнивать книгу, которая, что ни говори, а писалась, так сказать, кровью сердца. Поэтому он постарался скорее вернуться к прерванной мысли.

Слушая их споры, Марины с Лариской, он не раз думал, что, может быть, естественный отбор закрепил те качества, которые помогают человеку лучше устроиться в жизни, для этого-то ноги ходят, руки берут, желудок переваривает, а мозг думает, и если он придумывает что-то неприятное для тебя, то это такое же физиологическое расстройство, как, скажем, несварение желудка: орган не выполняет своих функций. Так

что, возможно, Лариска с Мариной просто здоровые люди, а он — напротив, склонен забавляться мыслями, своими и чужими, и это его до добра не доведет. Лишив природных первоначаний — личных хотений, ничего не даст взамен.

«И верно, кому какая польза, когда я додумываюсь до чего-то неприятного, требующего каких-то жертв?.. Хм, как «кому» — да другим людям. Человечеству, если угодно. Хотя бы какой-то его части. Когда обуздываешь личное хотение разумом, всегда делаешь это для других. Для их хотений, значит?..»

Он напряженно задумался, чувствуя, что сейчас поймет что-то очень важное, — и понял. Разум — это, во всяком случае, нечто такое, что позволяет людям прийти к единому взгляду на вещи. И с радостным облегчением почувствовал: это — истина. Ему предстояло еще долго носиться с ней, но такой несомненной и ослепительной она не казалась больше никогда. Так что же — надо искать не личную, а какую-то общую истину? Истину не найдешь, пока думаешь только о себе? Здорово!

Незаметно для себя он встал и сделал несколько размысленных движений — ударов в воздух, нырков, — но тут же опомнился и осторожно огляделся: к счастью, его никто не видел. Оказалось, что уже светит солнце, и на небе уже не тучи, а довольно редкие облака. Но почему-то казалось, что солнце проглянуло только на миг и сейчас снова скроется. Земля тяжело вздрагивала: мимо неслись груженные песком платформы, по ним крутились лилипутские самумы.

Надев рюкзак на левое плечо (он все старался носить в левой руке, чтобы развивать ее, но, забываясь, перекладывал в правую), Олег вышел из-за сарая на асфальтированную дорогу к вокзалу. Дорога была продолжением ленинградского шоссе; в сторону Ленинграда указывала голубая стрела, на которой белели две надписи: слово «Ленинград», написанное русскими буквами, и, внизу, оно же — латинскими. Но в латинском слове кусочек «нин» был написан по-русски. Машинально отметив это, Олег зашагал к привокзальной площади, продолжая думать с тем же радостным облегчением.

Да, да, именно так: разум — та часть мышления, которая приводит людей к единодушию!

Почувствовав на лице неуместную улыбку, умудренную и какую-то *отеческую*, он поспешил убрать ее, пока кто-нибудь не принял его за ненормального, и подумал, что еще и поэтому люди так боятся, чтобы их улыбка попала не по адресу: часто видишь, как двое разговаривают, смеются, а, разойдясь, поспешно натягивают на лицо суровый, неприступный вид. Демонстрируют врагам готовность встретить их по достоинству. Но тут он вздрогнул и остановился: навстречу шла молодая женщина в светлом пальто.

Но как она шла! Полуприсев, расставив руки и отведя их немного назад, как делают мальчишки, изображая самолет, и, вдобавок, оскалившись и что-то приговаривая. Но не успел он подумать: «Сумасшедшая!», как увидел у себя под ногами крошечного мальчишку в голубом комбинезоне. На неуверенных ножках он шел к матери, а она, смеясь, ловила его. И как внезапно переменялась вся сцена! Олег перевел дыхание.

Встреча показалась ему настолько подходящей к предыдущему, что ее можно было бы принять за божественное знамение. Лет двести назад какой-нибудь чувствительный немецкий юноша имел бы прекрасную возможность воскликнуть по этому поводу: «Вот указание на высшую точку зрения, с которой в мире нет ни бессмысленного, ни безобразного!» Удивительнейшей штукой должны быть эти весы для добра и зла: одна лишняя или упущенная деталь — маленькая гирька, казалось бы, — может все перевернуть («в физике что-то не помню такого»): трогательное превратить в смешное, деликатное в бестактное — что угодно во что угодно. Раз уж из-за одной детали очаровательную маму можно увидеть жуткой юродкой...

А ведь он, Олег, — конструктор весов — на каждом шагу или упускает что-то, или домысливает. Уж чего он только с Мариной не напускал и не надомысливал! Да и в других простейших делах: недавно, например, ему показалось, что в руках у девушки что-то вспыхнуло, а это она раскрыла яркий зонтик, направив острие в его сторону; зимой ему как-то почу-

дилось, что окна общежития отражаются в луже у стены, а это горели окна полуподвала, — и все-таки он не испытывает серьезных сомнений в конечной познаваемости мира, хотя теоретически понимает, что, в принципе, какие-то ошибки могут растянуться на всю жизнь. Вероятно, природа лишила его этих сомнений потому, что для жизни они совершенно бесполезны. В сущности, вопрос о конечной познаваемости мира может быть поставлен так: в состоянии ли человек выдумать вопросов больше, чем ответов? Мысль показалась ему не лишенной остроумия, и он снова улыбнулся. Ба! Да ведь о многом хорошем он тоже всерьез не сомневается, что оно хорошее, — это любопытно! Может, эти сомнения тоже бесполезны?

Ближе к вокзалу навстречу попало еще несколько человек: две девицы, разговаривавшие, не глядя друг на друга, широко раскрывая рты и качая головами, словно пели частушки, потом два парня, один из которых что-то рассказывал другому с такой сложной жестикуляцией, что его можно было принять за глухонемого. Возможность обмануться была во всем, а он чувствовал себя вполне уверенно в этом зыбком мире.

Потом его толкнул очень целеустремленный и собранный мужчина, хотя Олег посторонился, — ему это ничего не стоило. Но мужчина даже плечом не шевельнул, чтобы разминуться. Олег представил, как тот идет по жизни, из года в год никому не уступая ни сантиметра, толкая всех и каждого, но это не вызвало в нем тягостного чувства. Ничего, пусть тот сеет вокруг себя зло, а он, Олег, будет сеять добро, — еще посмотрим, кто кого!

На привокзальной площади он остановился у пивного ларька посмотреть, как ярко-желтым светом вспыхивает солнце в пивных кружках, с которых свисают прочные гроздья пены. Тут же какой-то потертый мужчина предложил ему купить сушеной рыбки, упирая на баснословно дешевую цену. Олегу очень хотелось доставить ему удовольствие, но нужно было экономить; он очень задушевно, чтобы, не дай бог, не обидеть, отказался от рыбки и мимо пересохшего фонтана свернул на центральную улицу.

УЖЕ НЕ В ЛЕНИНГРАДЕ

1

Почти все дома были послевоенные, солидные, с портиками, а то и с башенками, — отзвуки строительства павильонов ВСХВ, возведенных с титаническим размахом, — но попадались и дореволюционные, напоминающие что-то не то петровское, не то сестрорецкое. Поперечные улицы, в которые он заглядывал, выглядели уже совсем по-дачному. Вдоль улицы по газонам стояли какие-то раскидистые деревья — кроме березы, сосны, ели и тополя, который, впрочем, смешивался с осинкой, он умел различать только по листьям. Случайно взглянув направо, он увидел, что идет рядом с чрезвычайно высокой сетчатой, крупными квадратами, оградой, за которой сияет необыкновенно лазурное небо. Удивленный (потому что справа должен был находиться пятиэтажный дом), он посмотрел на сетку как следует. Оказалось, что это была стена дома, выложенная голубой квадратной плиткой. Если последить, подумал он, такие обманы случаются с нами ежеминутно. А мы все-таки не сомневаемся, что правильно видим мир. «Почему же я сомневаюсь, что правильно вижу добро и зло?»

Да просто потому, что сомнения эти сами лезут в голову, а сомнения насчет материального мира сами не лезут, их приходится притягивать — вот и вся разница. О, так значит я ищу не истины, а отсутствия сомнений — несомненности? Было очень хорошо идти по чужому городу среди незнакомых людей и чувствовать себя, как дома. И знать, что завтра, и послезавтра, и через неделю будешь как у себя дома в новом чужом городе, среди других незнакомых людей. Он несколько раз стирал с лица довольную улыбку. И машинально обегал взглядом лица прохожих, высматривая, нет ли среди них Ани Жирардо.

Вдруг он остановился и вернулся назад: его привлекло странное, похожее на ругательство слово «вшивка», написанное на выставленной в окне пластмассовой табличке. Это оказалась «вшивка молний» в мастерской ремонта одежды. После

этого он усмотрел каламбур и в словах «брюки со скидкой». В Ленинграде он видел еще «дачу советов» в юридической консультации.

После этого он стал поглядывать на вывески и скоро обнаружил очень интересную: просто «магазин», без всяких пояснений, и, мелкими буквами, «специализированный трест» и еще что-то. На очень чистой и очень официальной двери были написаны только часы работы. Окна без переплетов, с опущенными шторами тоже были очень чистыми и официальными.

Открыв легкую дверь, Олег вошел внутрь, но тут же вышел обратно. Он успел лишь заметить, что внутри очень чисто и просторно и у дальней стены стоят несколько неярко-желтых гробов. Олег невольно съежился, словно стараясь поменьше прикасаться изнутри к собственной одежде. Напротив магазина, в «Москвиче», захавшем двумя правыми колесами на тротуар, запрокинув голову, спал водитель, и у Олега мелькнула сумасшедшая мысль, что это привезенный на примерку покойник. Однако он сразу же опомнился и, увидев на следующем доме вывеску «Бани», уже не подумал, что там обмывают трупы. Но тем не менее стало как-то неуютно, будто он попал в какое-то скверное место, где все нечисто и нужно поменьше прикасаться к чему бы то ни было.

За баней его остановили две женщины средних лет, и одна из них спросила, как пройти к похоронному бюро, спросила как-то игриво, словно речь шла о чем-то несколько комическом или не вполне приличном, вроде уборной или венерической клиники. Олег ответил в том же тоне, и ощущение нечистоты уменьшилось, хотя его тон был притворным. Но такой тон в отношениях со смертью помогал ему почти всегда, — если, конечно, он бывал не один. Впрочем, наедине ему и в голову не пришло бы размышлять о смерти в таком тоне.

С детства для него самым ужасным в смерти была чудовищно бесстыдная целесообразность, с которой заранее изготавливали гробы, венки, бумажные цветы, выкрашенные какой-то жуткой, противоестественно-химической краской. Такой же краской красили продававшиеся на базаре пышные

бумажные веера. Его поражало, что находились женщины, решавшиеся украшать ими свои квартиры, вешая их на стену или затыкая за зеркала, — обычай почти людоедский, вроде украшения жилища сушеными человеческими головами. Менее бесстыдным, но по своему прямо-таки механически прямому действию еще более ужасным был похоронный марш, всегда один и тот же, исполняемый клубным духовым оркестром с безысходно-прекрасным пением труб, безнадежным уханьем себе в чрево большого барабана и лязгом медных тарелок. Еще издали заслышав знакомые звуки, он бежал домой, запирая окна, двери и бессмысленно кружил по комнате, то присаживаясь, то вскакивая, что-то бормоча и даже, кажется, тихонько подвывая от невыносимой тоски. Слова «умер», «мертвый» были тогда мерзкими, покрытыми осклизлой испариной, а слова «убили», «убитый» были хотя и жутковатыми, но благородными. Но когда он однажды услышал рассказ про похороны убитого в драке парня и понял, что убитых хоронят точно так же, как мертвых, — эти слова вмиг потеряли все их романтическое очарование.

О собственной смерти он тогда не думал, только одно время к нему неотвязно возвращалась мысль о смерти близких, особенно матери, и он начинал обращаться с нею до того ласково и заботливо, что она настораживалась. И в школе, во время перемены, с болезненным любопытством, как на раздавленную кошку, глядя на прыгающего по партам друга, он думал иногда: «И он тоже умрет».

Но с годами это прошло, и только в последнее время мысли о смерти и, как следствие, о бессмысленности и ненужности жизни привязались к нему снова. С каждой отдельной неприятностью можно было справиться, но — для чего? Впрочем, трудно сказать, всегда ли это была подлинная мысль, а не приходившая в соответствующих случаях привычная условная формула, отражающая его состояние не больше, чем приветствие «здравствуйте» является пожеланием здоровья. Но иногда это было буйство инстинкта самосохранения, почему-то разбушевавшегося, когда никакой опасности нет и в его услугах никто не нуждается. Олег думал тогда, что природа

с этим инстинктом, пожалуй, перегнула: можно бы его раз в сто ослабить без малейшего ущерба для живучести человека. В это время ему часто приходило в голову: как это Марина не боялась его — не брезговала,— да еще решалась гладить его, целовать, зная, что он способен стать белым, холодным, дурно пахнущим, и лежать в самом бесстыдном из всех земных предметов — длинном ящике, называемом гробом, с жутким бесстыдством или бестактностью обсаженным тошнотворными украшениями. Еще эти роскошные переливы подкладочной ткани!

Впереди, на противоположной стороне улицы он увидел открытую дверь и вывеску «Закусочная», написанную на донышках коротеньких белых бочонков, по букве на бочонок. (Почему говорят «бочонки», промелькнуло в его голове, а не «бочата», как «телята», «опята».) Он уже давно чувствовал голод, но после посещения «магазина» о еде даже думать не хотелось. Однако, так сказать, в порядке воспитания выдержки, он решил поесть и остановился переждать, пока пройдут машины, — как обычно, именно сейчас они не спеша приближались, штук десять «Волг» и «Москвичей».

2

— Молодой человек, вы не поможете через дорогу перейти? — услышал Олег. Оглянувшись, он увидел седую женщину, очень полную и водянистую, в просторном платье, висящем на ней как-то так, что невольно воображалось, какая она там, под платьем, — и становилось страшно. Но голос был приятный, интеллигентно-мягкий. Они медленно пошли через улицу, — машин уже не было, — она держала его под руку и продолжала говорить с тем же интеллигентно-шутливым добродушием.

— Вот, вообразите себе, боюсь теперь одна через дорогу ходить. Я ведь вчера сына схоронила. Ехал с недозволенной скоростью, тот стоял с выключенными фарами, и вот — пожалуйста. Перелом обоих бедер, отек легких — все на свете.

Слова ее были в таком ужасном противоречии с интонацией, что он почувствовал не жалость, а страх, и невольно взглянул на нее.

— Да, да, вчера схоронили, — подтвердила она, что-то, видимо, поняв по его лицу. — Малый переулок, пять, можете проверить. Вчера схоронили.

— Да нет, что вы, — испугался Олег, и она снова смягчилась, заговорила добродушно-назидательно, по-прежнему интеллигентно, не спеша:

— Вот у вас когда будет автомобиль, так вы смотрите, не превышайте скорости.

— У меня не будет, — сказал Олег, сказал, чтобы что-нибудь сказать.

— Ну, как знать, как знать, у вас еще вся жизнь впереди. Вот, может быть, женитесь, приданое возьмете, — она интеллигентно улыбнулась, и он ответил натянутой улыбкой.

Закусочную они давно миновали, но теперь он уже не мог сказать ей, что ему нужно в другую сторону. Так они могли бы идти еще долго, но женщина сама выпустила его предплечье и сказала:

— Идите, вам нужно идти. Идите, идите, большое спасибо.

Олег повернул обратно. Чувство он испытывал самое неопределенное. Из уличных разговоров, подумал он, все-таки нельзя правильно понять, как живут люди, представить общую картину. Люди, пускающиеся в разговоры с незнакомыми, как правило, не совсем обычные, обо всех по ним судить нельзя. Все равно как громкие разговоры нетипичны, вернее, типичны только для тех, кто не стесняется говорить громко, а таковы далеко не все.

Впереди шли под руку две девушки, и он неприязненно следил за ними, потому что они могли тоже свернуть в закусочную. Они дошли до закусочной и, разумеется, вошли в нее. Олег умело погасил всколыхнувшуюся было злость, еще раз убедившись, что она, злость, совершенно автоматически нацеливается на вызвавший ее предмет. Такова ее функция: уничтожить неудобное, а не разбираться, что и почему. Злость — иллюстрация и основа древнейшей законности:

мешаешь — значит, виноват. Тоже весы. Но в данном-то случае злиться не только не на кого, но и не из-за чего, как, впрочем, и почти всегда. Почти всегда ему, в общем-то, все равно, побольше или поменьше ему достанется, побыстрее или по-медленнее, а беспокойство возникает из-за дурацкого азарта, или, что в сущности то же самое, из-за стремления к совершенству, когда увиденная возможность улучшения не позволяет радоваться тому, что есть.

Войти сразу не удалось: как раз выходило несколько человек подряд. Но Олег ждал совершенно спокойно: людей внутри конечное число, значит, выходить они будут лишь конечное время, а это самое главное. Входя, он зацепился рюкзаком за неплотно ввинченный шуруп в косяке, и, пока он отцеплялся, снаружи подошел чисто выбритый краснолицый мужчина в белой рубашке и остановился, ясно показывая, что ждет, когда его пропустят.

— Не знаешь, где у тебя мешок кончается? — презрительно спросил мужчина, когда Олег отцепился, и Олег понял, что мужчина тоже ревниво следил за ним издали и теперь рад его неудаче — возможности в какой-то мере излить злобу. А когда Олег входил во вторую, внутреннюю дверь, мужчина, поторапливая, приставил ему кулак к пояснице. Олег недовольно оглянулся, и мужчина обрадовался:

— Чего оглядываешься, у меня руки чистые.

— Не знаю,— ответил Олег и тут же пожалел, но было уже поздно.

— А, не знаешь, вот так-то! — с непонятым торжеством заговорил мужчина. — Не знаешь — так узнаешь!

«Что узнаю? Какие у тебя руки? Идиот!» — подумал Олег, чувствуя, что бледнеет и начинают дрожать пальцы, но решил больше не отвечать ни слова. Ему ужасно захотелось, чтобы мужчина полез в драку, — Олег бы ему показал! — но тот, стоя в очереди за его спиной, только негромко рычал что-то про мешочников и про то, что, если надо, он «сделает лучше любого».

Оказалось, что спешить было незачем, потому что за прилавком не было продавца, и очередь, человек в десять, уже на-

чинала волноваться. Олега это нисколько не огорчило, потому что ему было все равно, подождать на пять минут больше или меньше, но ему мешал мужчина за спиной. Лицо у него, чисто выбритое и от этого казавшееся отсыревшим, пористым, было на удивление отвратительным: тупое и хотя и не старое, но какое-то раскисшее, будто три дня пролежало в воде. Олег постарался стать как можно непринужденнее, чтобы показать своему врагу, что он абсолютно о нем не думает, но выразить это одной лишь спиной мог бы разве что какой-нибудь Качалов. Есть в закуской, вообще-то, не стоило, это было неэкономно, лучше было бы купить что-нибудь в магазине, но не уходить же теперь. Сосед подумает, что он его испугался, хотя ему, конечно, все равно, что тот подумает. Ничего, потом можно будет купить батон и пачку сахара, а вода в поезде найдется.

Он с горечью подумал, что не умеет внушать к себе уважение. Нет, вообще-то, его многие уважают, но только те, кто хорошо его знает. Может быть, потому что он не умеет важничать? Наверно, не только в этом дело. Иногда и совсем незнакомые позволяют себе всякие невежливости по его адресу. Хотя бы этот мужик за спиной. Может быть, у него смешная внешность? Он посмотрелся в стекло витрины, но видно было плохо, да и все равно он не понял бы, какое у него лицо: иногда оно ему нравилось, казалось мужественным и одухотворенным, а иногда было до того отвратительным, что прямо взял бы и разодрал его в клочки. Он пробовал было для солидности носить шляпу, но в шляпе он походил на хулигана, решившего за семь рублей приобрести интеллигентный вид, не зная, что такой вид создается многолетним обуздыванием страстей и размышлениями о возвышенном.

Наверно, по его лицу как-то видно, что ему все равно, что в нем нет готовности стоять насмерть за право первым войти в дверь или купить нежирную ветчину. Потому его и не уважают. Но если даже он иногда не выдерживает и ввязывается в скандал и даже выходит как бы победителем — потом ему ужасно совестно об этом вспоминать. И этого мужика за

спиной он сейчас ненавидит, а стоило бы увидеть на его лице гримасу боли или испуга — тут же стало бы его жалко. Трудно с людьми: и жалко их, и зло на них берет.

Продавца все не было, и кто-то из публики уже пошел заглядывать в окошечко, откуда, наверно, выдавали горячие блюда — сосиски и яичницу, судя по меню на стене.

Над окошком висела табличка: «Хлеб растет не для обедков от зари и до зари, говорят в народе метко: съесть не можешь — не бери!» Где это так говорят «в народе»? И что тут особенно меткого: съесть не можешь — не бери? Неужели такую ясную и понятную вещь нельзя сказать от себя лично, не ссылаясь на народ? И зачем в рифму? Чтобы лучше запомнили или для игривости? В детстве тоже говорили в рифму: сорок один — ем один, сорок семь — даю всем, а не просто «ем один» и «даю всем». Откуда идет эта мистическая вера в возможности поэтической речи: любое общее место, записанное с рифмами, обретет воспитательную силу, которой в прозе не сумело набрать за тысячу лет.

На призывы приступить к работе из окошка ответили, что продавец тоже человек и тоже хочет есть. Начали возмущаться, а бодрый парень в вельветовых брюках с бодрой мудростью разъяснил, что, *по логике*, продавцы тоже должны есть. Олегу было все равно, подождать на пять минут больше или меньше, но при чем тут логика! Необходимость есть — это, скорее, из физиологии. И еще этот мужик за спиной. Хоть, слава богу, замолчал, только пыхтел.

В окошечке стоял кувшин с вилками, ужасно похожий на перевернутую человеческую голову: и глаза, и нос — ручка, — все было на месте. Олег засмотрелся на него.

Продавщица наконец пришла. Она была молодая, накрашенная и очень оживленная. Видимо, еда действовала на нее возбуждающе. А возбуждение мешало сразу приняться за работу. Для вида она начала передвигать счеты, подносы с пирожками, спрашивать, что желает первый в очереди, а сама, раздумываясь, с блестящими глазами, продолжала громко-шутливый разговор с пожилой судомойкой, вместе с ней вышедшей из кухни собирать грязную посуду со столов.

Судомойка тоже была оживлена, видимо, поела вместе с продавщицей. Или насмотрелась, как та ест.

— Не знаешь, что слева находится? — спрашивала продавщица, держась за бок.

— Слева? Посетители уйдут, я тебе скажу, что слева, — с бедовой улыбкой ответила судомойка. — Не знаешь, что ли, строения человека?

— Анатомию проходят в восьмом классе, а я только три кончила.

— Тогда освобождай пост. Раз ты неграмотная, освобождай пост.

— Меня когда на работу принимали, директор спрашивает: сколько дважды два? Я говорю: пять. Всё — заступай.

Понемногу продавщица взялась за дело, щипцы с пирожками так и мелькали. Он бы ни за что не сумел так быстро и точно хватать щипцами. Серьезная женщина в очках спросила у судомойки, почему у них нет салфеток.

— Задери подол и утирайся! — ответила та. У женщины в очках хватило ума не напрашиваться на дальнейшее, и, опустив глаза, она продолжала есть. А судомойка продолжала убирать посуду, нарочно громко лязгая, с видом человека оскорбленного, но не испуганного.

— Как сами свинячат, это ничего... — бормотала она.

Ему с самого начала не понравились их возбуждение и шутиливость. В такие минуты люди чувствуют себя ухарями и особенно легко идут на скандал. А может быть, их сердит слишком скорый переход к жизненной прозе.

В закусную вошла новая девушка, и продавщица окликнула ее:

— Света, хочешь принарядиться?

— Где? — оживилась та и немедленно отправилась на кухню. Олегу было интересно, выйдет ли она такой же возбужденной, как они, но так ее и не дождался.

Олег взял сардельку, три куска хлеба (если собираешься экономить, хлеба нужно брать побольше) и стакан чая: чай был дешевле кофе. Борьбой он уже давно не занимался, но по привычке пил мало — следил за весом. Его враг покупал

пирожки на вынос и так умолял найти ему бумаги для кулька, словно от этого зависела его жизнь.

У высоких столиков с множеством неубранной посуды, за которыми ели стоя, было тесновато, однако стать нашлось куда. И стать довольно свободно, если бы стоящая рядом старуха не положила на стол расставленные локти.

Пристроив рюкзак под столом, он недовольно покосился на нее, — она жевала, не разжимая губ. Видимо, у нее не было зубов, потому что, когда она сжимала челюсти, подбородок почти сходился с носом, и она становилась сущей ведьмой, а когда разжимала — превращалась в добродушную милую старушку. Так и шло: старушка — ведьма, старушка — ведьма.

«Видит же, что мне тесно, и не шевелится», — со злостью подумал Олег, но, как нарочно, старушка взглянула на него и поспешно убрала локоть со стола. И тут ему стало стыдно! — почти до слез. Что у него за сволочная натура! Как только люди соглашаются иметь с ним дело. Он, конечно, старается не проявлять, да разве не видно по лицу, по голосу... Недаром у Байрона есть злой дух, специально занимающийся тем, что вселяет в людей злобу, чтобы потом мучить раскаянием. Теперь, после Марины, вообще любой пустяк выводит его из себя.

Он занялся сарделькой; но чистить их он не умел (в общественных местах), а кожица попалась прочная, сарделька не откусывалась, а выдавливалась, и на миг он забыл о соседке, а когда снова взглянул, она стояла у прилавка и наливала из «титана» второй стакан кофе. Капельки кофе, как бусы, высыпали вдоль трещины на стакане. Старая она была ужасно. И зеленый платок на ней был старый, линялый, в крупную сетку, как авоська, повязанный поверх мужского берета, натянутого на уши. И пальто на ней было старое, длинное, напоминавшее что-то полузабытое, из пятидесятых годов, потертое, как мешковина. Ниже были ужасные суконные боты. Он видел много таких бесприютных старух — именно старух! — и не мог представить, как они живут. Откуда у них мужество натягивать этот берет, эти боты и на трясущихся ногах идти есть, о чем-то беспокоиться. И невообразимый героизм — поспешно

отодвигаться, когда мешаешь! Зимой их можно часто видеть в пирожковых, в закусовых, куда они заходят греться. Приходишь — они отрешенно сидят где-нибудь в углу, и уходишь — сидят. Некоторые из них, впрочем, явно сумасшедшие, что-то бормочут под нос; а одна довольно сильно ударила его зонтиком по колену, когда он отодвигался, чтобы пропустить женщину с ведром, в котором она несла горячий кофе с молоком. Он, видимо, толкнул ее, но не заметил этого, а услышал только: «Ну! Один расширился!», после чего послышался сухой стук зонтика о его колено. Он очень удивился тогда.

Стакан был горячий, она попыталась взяться за него, отдернула руку и беспомощно оглянулась; потом стала рыться в карманах, — наверно, искала платок. Олег поспешно, пока она не нашла, подскочил к ней, быстро донес стакан до стола, поставил и схватился обожженными пальцами за мочку уха, — так его учила бабушка. К счастью, старушка не очень удивилась, благодарно покивала и принялась за ватрушку, а он взялся за сардельку. Он был очень доволен, даже боль в пальцах была приятна. (Мм, нехорошо, что он не пошел дальше с той старухой по улице... к ней слово «старуха» не подходит, слишком она интеллигентно держится.)

Нет на земле человека, который не любил бы делать добро — чувствовать себя добрым. Только нам мешает любить друг друга (кроме противоположных интересов, конечно) различие мнений, — теперь Олег понимал, до чего важна людям несомненность. Многие согласились бы любить людей и помогать им, если бы те им вполне покорились. Они были бы хорошими рабовладельцами, если бы люди были их рабами. Или хотя бы не имели собственных мнений. Бывает, и хорошие люди не любят друг друга за расхождения в мнениях, не могущих иметь никакого практического значения, — и все опять-таки потому, что иные мнения самим своим существованием посягают на чувство несомненности. («И не зря люди его берегут — ты на своей шкуре узнал, каково его потерять — чувство несомненности».) С животными проще, их многие согласны любить, даже терпеть из-за них какие-то неудобства — зато у животных не бывает инакомыслия.

Правда, животные нам еще и не соперники.

Старушка, прихлопывая ботами, пошла к выходу, примерившись, поднялась на ступеньку, с усилием открыла дверь и вышла. Внезапно он стиснул зубы в сардельке от боли за нее. Боль была не оттого, что он таким представил себя в будущем, — сейчас он в это не верил, — боль была именно за нее. Марина говорила, что стариков надо удалять в какие-то загородные изоляторы (где-то в цивилизованных странах так делается), чтобы они не портили остальным аппетит. Он снова почувствовал ненависть к ней. Но не потому, что она поколебала какую-то его уверенность. Наоборот, от злости только окрепла его уверенность, что говорить такое и чувствовать такое — это свинство.

Как обычно: с сильным чувством приходит и несомненность. «Может быть, моя мечта взвешивать добро и зло с полной беспристрастностью — просто бессмыслица? Освободиться от пристрастий — не значит ли это освободиться от самого себя: пристрастия и есть ты? Может быть, только мои хотения и дают толчок разуму, а я, дурак...»

И вдруг он всерьез испугался: а что, если он и вправду дурак? Он стал припоминать случаи, когда оказывался умнее других, но ведь дуракам всегда кажется, что они умнее всех. Доказательств не было. Все-таки вряд ли он дурак... Может быть, у дураков холодные уши потому, что они мало думают и кровь меньше приливает к голове? Он потрогал свое ухо — оно было довольно прохладным. Но другое было заметно теплее. Однако... Он своим умом доискивается до чего-то, а сам даже не знает в точности, не дурак ли он. А ведь если дурак — все доводы летят к черту...

Тут испуг почему-то прошел. Почему-то он уверился, что он не дурак. Кончив есть, он машинально поискал на столе салфетку, хотя уже знал, что их нет, и увидел свернутую в рулон голубую бумажную ленту для выбивания чеков. Он вспомнил, что судомойка что-то клала на стол, но он не обратил внимания. Устыдилась-таки! Оторвав кусок ленты, он вытер губы и пальцы и вышел на улицу.

3

Светило солнце, но все же — наверно, той стороной тела, которая была в тени, — чувствовалась прохлада. По-прежнему казалось, что солнце выглянуло только на минутку. Он снова с удовольствием почувствовал себя спокойным и самостоятельным: захотел есть — зашел и поел, и пошел дальше, как ни в чем не бывало. (А глаза машинально высматривали Ани Жирардо.)

Недалеко от закуской его остановил печальный мужчина, заговоривший, как литературный благородный нищий, начав с деепричастного оборота:

— Находясь в затруднительном положении, я просил бы вас оказать мне посильную помощь, хотя бы копеек десять — пятнадцать.

Одет он был прилично и застегнут на все пуговицы, только взгляд был странный, застывший и скошенный к переносице, и в уголках губ запеклось что-то белое. Олег поспешно полез в карман, по пути сообразив, что, если вытацишь больше, чем нужно, спрятать назад будет уже неловко; поэтому он достал одну монетку, как ему показалось, в двадцать копеек, но это была трехкопеечная. Торопливо спрятав ее назад и понимая, что достать и тут же спрятать во второй раз будет уже непереносимо глупо, он вытащил все, что попало в руку — тридцать восемь копеек с похожими на мягкий войлок пыльными катышками, неизвестно как заводящимися в любом кармане.

— Благодарю. Благодарю, — серьезно сказал мужчина. — Я в первый раз нахожусь в таком затруднительном положении.

Олег охотно поддержал бы разговор, — тем более что оказанная услуга расположила его к собеседнику, — но тот мог подумать, что он за тридцать восемь копеек собирается разыграть роль покровителя. Поэтому он только сочувственно кивнул и пошел дальше. Хорошо делать добрые дела, даже мелкие, — зачем люди себя этого лишают?

Попросили закурить — пришлось отказать. Он всегда отказывал со смущением и объяснял: не курю, — но опасался, что ему не верят. Хоть покупай специальные сигареты для угощения.

Все-таки любить добрые дела — самое выгодное хотение. Почти как питаться воздухом — он всегда под рукой. И в подтверждение увидел ту самую интеллигентную женщину в непомерно просторном платье. Разрешите вам помочь — нет, ей совсем не тяжело, что ей нужно, немного овощей...

А дальше? Он был готов слушать ее со вниманием, сочувствовать, — а если она молчит? Все это верно, и городок у них очень милый, и погода гораздо лучше прежнего, — да уж не надоедает ли он своими дурацкими разговорами человеку, которому ну абсолютно не до него? Олег извелся, пока они дошли до ее дома, — он, Олег, оказалось, совсем пустой, нет у него ничего для нее, кроме разве что мышц, да и они ей ни к чему: что ей нужно — немного овощей...

А вот и ее дом. Он свинья, конечно, но он определенно рад, что пришли. Да, вот это ее подъезд, четвертый этаж, не слишком удобно, но что делать, с передышками она пока добирается. И еще крыша часто протекает — ведь над ней уже прямо чердак, слышно, как кошки топают, не улыбайтесь, ночью, когда не спишь, все удивительно слышно. А вон там ее балкон, рядом кухня... но почему оттуда валит дым?..

Ну вот, все теперь сторит... вещей не жаль — что ей нужно, но ведь каждая вещь — память...

Она говорила так, словно все уже произошло лет сто назад и она уже лет пятьдесят как с этим примирилась.

Дайте ключ и звоните в пожарку — ключ она, разумеется, забыла дома, вот, видите, три рубля, пять рублей (аккуратнейшим образом вложенные друг в друга, как матрешки), вот немного мелких денег, а больше ничего в кошельке нет, да нет, она всегда кладет ключ в это отделение. Да и что пожарные, все равно все зальют, перепортят, ей никогда уже не отремонтироваться, пора проситься в приют...

Олег птицей взлетел на четвертый этаж. Дверная ручка немедленно осталась в руках — дверь была неприступна, как сейф международного банка.

С чердака, из люка спускалась корабельного вида лесенка. Олег откинул тяжелую крышку, протопал, согнувшись под стропилами, успев, однако, хорошенько приложиться ма-

кушкой, через слуховое окно выбрался на крышу. Вдоль края жестяной желоб — прочный, в два слоя, надо ступать вдоль него, тогда не соскользнешь. Что паршиво — сверху балкон почти не видно, приходится лечь у желоба и свесить голову вниз — не очень это приятно (да и такой ли он прочный — этот желоб).

Ага, вот и дым, вот и балкон. Спрыгнуть можно в два счета, но край крыши, черти бы его побрали, нависает над балконом до половины — спрыгнуть можно только строго вертикально, без малейшего толчка вперед: как бы выпасть у кого-то из рук. Значит, сначала нужно повиснуть на руках и... Сердце уже колотилось в горле. Повернуть обратно, ко всем чертям... Каждая вещь у нее память, видите ли... будет еще одна дорогая могилка... юмор у тебя... ого, уже народ собирается... может, и Ани Жирардо здесь?..

Край крыши немилосердно дерет ляжки — туда и дорога, может, больше и не понадобятся, локти как влитые вкладываются в желоб — вот так бы и провисеть остаток жизни, ничего больше не надо... Левый локоть приходится оторвать, сползть боком — пусть и его дерет, не жалко... дьявольщина, если он сейчас отпустится, локти скользнут по скату, как с горки, и его отбросит от стены — чуть-чуть, но этого и хватит, ноги окажутся по одну сторону перил, а плечи... поясницей об перила... забраться назад... народ смотрит... Ани Жирардо... повиснуть на обеих руках... все равно хоть немного да проедешься — оттолкнет от стены... подтянуться обратно, пока не поздно... не убиваться же из-за них... Ани Жи... боже, желоб разгибается, нельзя держаться за его край... а за что...

Олег успел лапнуть за гладкую, как стол, крышу и...

Пятки стукнулись о бетон, а, пардон, задница проехала по перилам балкона.

— Ура-а-а! — завопили внизу. Как в школьном спортзале, в основном детские голоса.

Спасен!!! Но руки тряслись невиданным образом: не пальцы, а прямо локти прыгали. Но Олег быстро к ним приспособился и орудовал, как механизм. Балконная дверь, разумеется, заперта, но это ерунда, стекло. Лучше, пожалуй,

выдавить оконные — хоть и два, зато поменьше, легче будет достать.

Половым ковриком Олег выдавил стекла (противно было давить, как на живое: стекло же все-таки!), ковриком же вдавил внутрь ощерившиеся осколки покрупней и проскользнул между мелкими. Не дышать, у пластиков ядовитый дым... Пламени нет... ага, вещи целы (минутная неприязнь к ним миновала)... на кухню... пламени не видно... на плите обугленная кастрюля.

Нацелившись малопослушной рукой, Олег без промаха выключил газ и, обливаясь слезами, бросился обратно к балкону — дышать. Коврику кастрюля отдалась безропотно, водяной струе ответила не шипом, а пеньем.

Обливаясь слезами, Олег вышел на площадку (половинка двери открывалась внутрь, а он-то рвал ее наружу). На площадке стояла хозяйка квартиры, с грустью разглядывая дверную ручку... «А, это вы... А я все-таки нашла ключ: я его, оказывается, в другое отделение положила».

Снизу бесстрашно мчались двое орлов-пожарных в средневеково-палаческих кожаных воротниках. Уже не нужно — отбой... И опять по мостовой понеслись автомобили, затрубили, зазвонили...

Тили-тили-тили-бом... бежит курица с ведром... это про Олега, которому никак не выплакаться. И не наговориться. Он отчасти затем и стекольщика отправился разыскивать — чувствовал, что иначе ему не умолкнуть.

Ани Жирардо на улице не было, но это ничего. Хоть жив остался.

Оказалось, что знаменитости ничего не стоит добыть стекольщика — и проводят к нему, и вместо тебя объяснятся, и тот с готовностью согласится, и всего за десятку, хотя вообще по выходным он не работает из принципа, потому что всех денег не заработаешь даже и таким способом (задержал только коренастый мужичок, объяснявший, как поджимать ноги, когда прыгаешь с парашютом; брюзгливо-волевая его физиономия почему-то напомнила Олегу, что не следует перебегать дорогу перед быстро движущимся транспортом, и он вспом-

нил, что мужичок этот шел по проходу в электричке, когда по вагонному радио чем-то таким запугивали).

Рассолидневшись, Олег указал пацанам, что старушкам нужно помогать не только во время пожара, и они поскущичили: помогать старушкам, которых полным-полно, вовсе не так интересно, как отважному, прокопченному герою, пусть даже и заплаканному. Тому, кто в этом нуждается, помогать неинтересно: зачем тебе внимание или благодарность столь жалкой особы!

Подтянув у дверной ручки последний шуруп, Олег даже чаю попить не остался — в лучших традициях: ищут пожарные, ищет милиция...

Олег бодро вышагивал по улице, время от времени машинально обнюхивая свой рукав — запах дыма долго не выветривался. И в пальцах все еще отдавалась некая подземная вибрация — будто напилился свилеватых дров. Ссадины хотя и ныли, но даже приятно. Нехорошо, конечно, что он такой довольный, ведь женщина в чересчур просторном платье так и сидит одна в продымленной квартире. Но у него почему-то была полная уверенность, что он заслужил довольство собой (Ани Жирардо вот его только не видит).

«А еще говорят, что твое убеждение — это поступок: не важно, мол, что ты думаешь и что чувствуешь, — важно только то, что ты делаешь. Вот помог, мол, я старушке — ну, попытался помочь — значит, это и есть мое убеждение, а все мои сомнения о весах для добра и зла ничего не стоят. Или цеплялся за гладкую крышу — значит, и сомнения в ценности жизни ничего не стоят. Но ведь я постоянно делаю еще триллионы дел, участвую в триллионах процессов — значит, весь я одно сплошное убеждение? Я дышу, излучаю тепло, давлю подошвами на асфальт — значит, и это мои убеждения: дышать, излучать, давить? Такие-то поступки совершают не только животные, но и неживые предметы — и у них, стало быть, такие убеждения? Нет уж, убеждение — это отсутствие сомнений там, где они *могли бы* быть. Ясно же, что я все равно буду не только помогать старушкам и цепляться за жизнь, но

буду и учиться, и работать, и целоваться... Но сомнения будут ослаблять мою волю, портить мне радость... Как мухи, которые тычутся в губы, когда ешь дыню. Тот, кто придумал, что убеждение — это поступок, — ему было плевать на мои радости и сомнения: ему нужно было только, чтобы я делал что положено — хоть с радостью, хоть без. Но без радости, с сомнениями и дела как следует не сделаешь».

Стоп-стоп... а он-то сам чем лучше, когда без конца твердит, что надо пренебрегать своими «нравится» и «не нравится»? Он хочет измерять добро и зло *объективно*, как измеряет атмосферное давление и силу тока объективная наука. «Но как же я мог не видеть, что для объективной науки нет ни добра, ни зла — только факты: для нее что человек, даже ты сам, что кирпич — просто скопления молекул, ну, с несколько различными физическими свойствами. А все вопросы, которые меня занимают, из того только и рождаются, что мне не все равно, бьют по человеку или по кирпичу. Вот для меня главная разница между человеком и кирпичом: человек меня волнует больше. Пренебречь этой разницей — и не останется ни одного из занимающих меня вопросов. Все мои болячки болят из-за того, что одно мне нравится, а другое не нравится, а моя Наука отвечает: не обращай на них внимания, все это глупости. На деревьях ведь тоже есть язвы, — они же не жалуются. И мы их не жалеем, а изучаем».

Все стало яснее ясного: если исключить из мира человека, его «нравится» и «не нравится», немедленно в мире не станет ни хорошего, ни плохого. Даже «вкусное» исчезнет — потому его и называют вкусным, что оно нам нравится. Убрать нас — исчезнет и вкусное. Сладкое и соленое останется, то есть определенное количество сахара, соли и прочего останутся, а «вкусное» — исчезнет.

Олег остановился и оглядел дома, людей, деревья, дорогу, погоду, — оглядел с некоторым даже превосходством и самоуважением: все они, оказывается, были хороши лишь потому, что он их такими считает. Исчезни он, и они, ничуть не изменившись, потеряют главное — хорошее и плохое. В нем самом мера добра и зла!

Его походка сделалась плавной, скользящей: он словно опасался расплескать нечто драгоценное. И внутри он тоже постарался как бы застыть, чтобы мельтешение мыслей не снизило торжественность минуты.

Он миновал дома и вышел в поле; дорога перешла в земляную — еще сырую и упругую от переплетавшихся внутри травяных корней. Впереди, километрах в полутора, начинались поросшие деревьями холмы. От них вдоль дороги бежал ручей с коричневой, но прозрачной водой и, не доходя до поселка, через поле сворачивал к железнодорожному пути. Олег направился к холмам.

Ботинки у него были новые, твердые; от этого уже давно побаливала лодыжка правой ноги, но он не обращал внимания. Теперь боль вдруг усилилась настолько, что стало трудно идти, — нужно было хромать, ставя ногу так, чтобы край ботинка давил на ногу как можно меньше, но, как нарочно, все время подворачивались кочки, и ботинок врезался в измученную лодыжку. Казалось, там уже синяк.

Не вытерпев, он поискал кругом, на что бы присесть. В ручье лежал большой валун, светлый и гладкий, с несколькими крупными оспинами. Олег сел на него и осторожно разулся. Снаружи никаких следов не было, но трогать было больно. Он осмотрел и помял ботинок. Ботинок был твердым, хотя на его новой поверхности уже наметились складки, которым теперь суждено было до конца оставаться там.

Он вложил в носок, где было больное место, свернутый носовой платок и обулся, но зашнуровывать ботинок не стал. Так и сидел в расшнурованном ботинке, обхватив руками подтянутые к подбородку колени. Рюкзак стоял рядом на сухой траве. Он сидел и смотрел на воду, и ему было очень хорошо — очень спокойно. Валун был не слишком теплым, но солнце светило всюду, хотя и казалось, что оно выплянуло только на минутку.

Перед валуном был мелко-каменистый порожистый спуск, по которому перепуганной толпой неслась и прыгала по ступенькам вода, — здесь ее поверхность была очень волнистой, но почти неизменной.

И выше порога вода не была особенно гладкой: то, как ямочки на щеках, появлялись и исчезали вихревые воронки, то течение, упершись во что-то на дне, ключом вспучивало поверхность. Только в бухточке вода была спокойной. На ней стояло какое-то насекомое — клоп, вроде бы, водомерка, в детстве, помнится, знал название — на тонких, как усики, лапках, и поверхность воды вдавливалась под ним, как матрац. От этого на дне виднелось пять теней величиной с каплю: одна от туловища и четыре от вмятин. Там же, неподалеку, царственно светилось тусклое золото консервной банки. Неясно было, желтая жестянка сама по себе или такой ее сделала коричневая вода.

За вторым порогом, наполовину погруженная в воду, лежала автомобильная крышка, в которой, как в стиральной машине, крутилась вода с желтым пятном пены посередине. Загипнотизированный монотонностью движения, он долго смотрел на крышку.

Как прихотливо двигалась сегодня его мысль! Впрочем, не только сегодня, она всегда так движется, если только он не занят каким-нибудь серьезным делом. По плечу ли ей найти истину — такой капризной? Почему она двигалась именно так? Ее толкали то туда, то сюда встречавшиеся люди, предметы, звуки, как в броуновском движении, или она сама выбирала из их множества то, что ей нужно было, что встречалось на ее изнутри predetermined пути?

А лучше всего сказать так: мысль среди фактов похожа на ручей. Кажется, его ведут берега, ведет русло, но он же сам его и вырыл и продолжает рыть глубже, углублять, подмывать берега на изгибах или где помягче... Но это чепуха. Конечно, вода обходит что-то твердое, вымывает что-то мягкое, устремляется в пустоты, но главное — вода ищет самую низкую точку на земле. Она может принять за такую точку дно ямы или целой котловины, но, если ее источник достаточно мощный, она переполнит края котловины и потечет еще ниже, до новой котловины. То же и мысль: где застрянет и успокоится мысль из слабого ключа, там не остановится мысль из сильного ис-

точника — она переполнит яму и полетится дальше, еще ниже, еще ближе к истине.

Воду ведет сила земного тяготения, а какая сила движет мыслью? Какое хотение — главное хотение твоей жизни — влечет ее? А вот этого ты и сам не знаешь — какое хотение у тебя самое главное, пожалуй, можно увидеть только из целой жизни: ведь на минуту или на месяц тебя может захватить и голод, и страх... или какая-нибудь Марина с несчастливым номером, — как воду толкают и закручивают извивы берегов или разрезает надвое вон тот обломок кирпича, через который она перелетает неряшливым стеклянным ятаганом. Когда видишь, как они ее крутят, можно и не заметить, что на самом деле вода стремится в глубину; но она сможет прямо ринуться туда, только если ее совсем освободить — и от берегов, и от кирпичей. Вот и главное хотение человека можно узнать скорее по его мечте, чем по его поступкам: в мечте он свободен. Самую главную его суть можно лучше угадать не по деловым его размышлениям — там его ведут берега, — а по тем мелочам, которые *сами собой* лезут ему в голову, по его случайным ассоциациям.

«И каков же я по этим ассоциациям? Что мне само собой лезет в голову? Не гонюсь особо за деньгами, за карьерой, — это, наверно, проглядывает. А в остальном... люблю задавать вопросы — значит, люблю сомнения, — и в то же время люблю несомненность. С Мариной (браво, не больно от ее имени!) все ссоры были из-за мнени... Во что моя мысль умеет проникать глубже всего — туда, наверно, ее и тянет главное мое хотение... Оно-то и есть твой смысл жизни... Значит, путь роду человеческому в конце концов определяет тот, кто управляет хотениями, мечтами, а не тот, кто управляет поступками... Толстой в конце концов сильнее солдата с наганом: наган — это берег, а книга — тяготение... Хотя мечты у меня бывают прямо идиотские — стать великим ученым и одновременно чемпионом по борьбе...»

Мыслей было еще много, но он почему-то стал выходить из сосредоточенности, как из комнаты, где ощущал только свои мысли.

Словно испытывая исправность своих служб, он последовательно включил органы ощущений и почувствовал твердость колена под подбородком, солнечное тепло и прохладу камня, на котором сидел, запах нагретой влажной земли, с легкой горечью далекого костра, напоминавшего о печеной картошке, услышал журчанье и бульканье ручья и слабые отголоски объявлений со станции. Только ощущений вкуса не было, но и то, если прислушаться, слюна была чуточку кислотаватой. Он смотрел на небо за станцией и улыбался, не замечая своей улыбки. Облака на горизонте были плотные и большие, кое-где они мощно клубились и сияли, как оленинский Кавказ. А облака над головой были клочковатые, реденькие, раздерганные по волокнам. Может быть, из-за этого синева неба была мутноватой, и казалось, что солнце только на минуту вышло из-за облака.

Он сидел и улыбался. Ему было *очень* хорошо. Где лучше, думал он, здесь или внутри, где он только что был? Внутри тоже очень просторно, не меньше, чем вовне; в минуты сильного страдания или наслаждения тоже уходишь вовнутрь, но забиваешься там в какой-то тесный закоулок. Везде хорошо, хорошо разнообразие. И сколько его еще впереди! Целая жизнь. А это очень много! Мелькнуло отдаленное сожаление, что Марина не знает, как ему хорошо, и он невольно постарался почувствовать себя еще лучше. И, конечно, тут же явилось знакомое, как собственная фамилия, воспоминание, что все эти радости — как и горести — не имеют никакого смысла.

Но теперь он знал, что ответить! Значит, так: ему нужен смысл хорошего и плохого, то есть их высшая, абсолютная оценка; но *нет и быть не может* оценки абсолютнее, чем та, что уже есть в нем! В вопросе, вкусна ли котлета, нет мерил выше, чем его язык. Она и вкусна-то лишь по его ходатайству. Желудок *знает, точно знает*, лучше, *абсолютнее всех*, что он хочет есть, и ему, Олегу, в голову не приходит искать авторитета выше желудка. Вот-вот, поиски высшего смысла — трусость, боязнь самому себе быть авторитетом. Точно так же, как желудок, весь его организм знает, что он хочет жить, знает,

что жизнь — его высшая ценность, и точки зрения абсолютнее нет и быть не может.

И верно, в минуты сильных страстей, в минуты опасности мы миг забываем о бессмысленности наших желаний. А в минуты несущественные снова начинаем думать, что, в общем, все равно, так оно пойдет или не так. Потому что в эти минуты речь идет действительно о вещах несущественных. А может показаться, что и вся жизнь такова.

И еще, — наверно, главное: вопрос о ценности твоей жизни — первый, в котором ты так существенно расходишься с другими. Ты привык, что твои оценки никогда особенно не расходятся с оценками окружающих. Красным ты называешь то же, что и все, вкусным — примерно то же. А с жизнью иначе. Ты чувствуешь, что она для тебя — высшая ценность, а для других — вещь хоть и не совсем пустая, но, по крайней мере, они найдут в себе силы жить и дальше, когда тебя не будет. И ты, непривыкший знать что-то сам, один, путаешься, пытаешься отнестись к своей жизни как к чужой, а врожденное чувство не дает, — и вот начинается то, что было с ним.

«Значит, страдания других тоже не бессмысленны, раз я чувствую жалость к ним, боль за них так же достоверно, как голод и желание жить». Его весы указывают на это как на очень важное, может быть, самое важное. Но сами эти весы, которые в нем взвешивают хорошее и плохое, — единственные в мире. И проверить их не на чем. Любая проверка тоже передается им на утверждение. Эти весы могут меняться с возрастом, с опытом, включающим и чужой опыт (в той мере, в какой они ему доверяют), и чужие мнения, но пока они, весы, не изменились — других у тебя не будет. Смерть, наверно, для любых весов будет неприятной. Но от этого другие приятные вещи не станут хуже. «Возможно, кто-то не в состоянии радоваться тому хорошему, что есть сейчас, предвидя его конец, но я могу. И буду».

И может быть, заранее боясь смерти, мы просто жадничаем, как проголодавшийся, который огорчается, что еда на столе уже подходит к концу, а потом даже не может всего доесть. Конец обеда он встречает уже сытым — и видит его совсем

по-другому. Жизнью, может быть, и нельзя наесться, но посмотрим. В общем, какова бы ни была смерть, жизнь во всяком случае хороша. Бессмысленна она лишь для того, кто сел за стол без аппетита. В жизни нет готового смысла — это мы его вносим туда своими хотениями.

Это было до восторга просто и несомненно. Чувствуя, как от возбуждения горит лицо, он поспешно встал и шагнул к рюкзаку: ему хотелось двигаться. Расшнурованный ботинок свалился с ноги, он стал завязывать шнурок, шнурок путался, и Олег чертыхнулся на него, но беззлобно, будто заигрывая. Лодыжка почти не болела.

Идти к холмам было так хорошо и легко, что он сдерживался, чтобы не перейти на бег. Впереди было много работы, но была полная ясность. Олег радостно подумал, что пожелай он поделиться своим открытием с кем-то из знакомых — им будет совестно слушать такие ненужные и понятные вещи. Но ведь и открытие нужно ему не для кого-то, а для себя, — он его и взвешивает на собственных весах. (Кстати, его весы указывают ему смысл жизни как *ежесекундное* ощущение этого смысла, а не как некий ее результат.)

Вспомнилось, как в автобусе философствовал пьяный мужик: «Ты поймай, человек — самая большая ценность: никакая автоматика нне мможет работать без человека». Он, Олег, был похож на этого пьяного — мог представить ценность человека лишь в качестве какого-нибудь средства производства, орудия в чьей-то руке. Но ведь он и про руку бы спросил: а почему, собственно, рука достойна быть руководителем человеческой деятельности? Разве что это была бы рука провидения...

Точно! Его поиски «объективного смысла» — да ведь это классические поиски бога! Того окончательного *внешнего* суда, отсутствие которого в прошлом веке возводилось в одно из Демоновых страданий, — людям хорошо: надежда есть, ждет *правый* суд, *простить* он может, хоть осудит. А тому, кто понял, что решение любого суда становится для него истинным не раньше, чем он с ним согласится, — все люди таковы, но не все это понимают, — кто, следовательно, в конце концов

сам должен оправдать или осудить себя — с тем его печаль неразлучна.

И чтобы не остаться самому себе судьей, человек начинает искать хоть какого-нибудь Всевышнего, чтобы успокоиться в качестве его орудия, — у Олега зарябило в глазах от разнообразнейших суррогатов Всевышнего.

«Всякая истина, — неважно, открытая самостоятельно или заимствованная, — продолжал долбить Олег, — может явиться мне лишь в виде моего мнения. Значит, став моим мнением, она немедленно становится «всего лишь моим мнением». Вот я и искал бога — такое мое мнение, за которое бы я уже не отвечал».

А оказалось, что мир истин — это мир его мнений, а мир доброго и злого — его симпатий и антипатий. *Важность, значение* каждой вещи — в человеке. Вот дорожный знак. Выясни его химический состав, разложи на атомы — все равно не найдешь главного: что он для нас *означает*, — что проезд воспрещен.

Но позвольте, кто же тогда с такой научной достоверностью доказал ему, что ценность жизни равна нулю? Ученье — вот чума, ученость — вот причина! Ведь сам Эйнштейн учил, что вопрос: «Существует ли нечто?» для физика должен звучать так: «Как это нечто измерить?» Значит, естественнонаучное мышление, которым он, Олег, так гордился, есть обожествление измерительных приборов? А уж они-то, конечно, на все вопросы о ценности жизни и добра хором вопят: ноль, ноль! Им-то что до наших забот...

«А я, научно решая вопрос о смысле жизни, хотел, чтобы и на доброе, и на вкусное мне указал прибор. Вот-вот, это и был мой Саваоф — эксперимент. Только из его уст я мог бы принять истину, — не абсолютную, так *объективную*, за которую бы я уже не нес ответственности, как за закон Ома. Чтобы всякая ценность могла быть установлена эталонным Прибором, хранящимся в парижской палате мер и весов и показывающим всегда одно и то же. Я мог бы усомниться во всем, но не в показаниях Прибора.

А ведь и всякий эксперимент основан на каком-то изначальном доверии к себе. Смотришь на стрелку гальванометра — веришь глазам, щупаешь пальцами — веришь пальцам. И так далее. Впрочем, ты и не стал бы проводить эксперимент, если бы заранее не считал его *важным*. О! пожалуй, наши желания — основа не только оценочных суждений, что хорошо и что плохо, но и всей науки.

Точно! Мы хвастаемся, что все наши знания дал нам опыт: мы ничего не внесли «от себя», а лишь склонили голову перед Его Святейшеством Экспериментом. А кто нам сказал, что можно верить опыту? Да опыт же и сказал. Но ведь как раз и обсуждается, можно ли ему верить, а в пользу подсудимого говорит только сам подсудимый. Ан нет — он подкрепляет свое свидетельство взяткой — практически научными успехами. Нам *нравятся* результаты нашей веры в опыт — все эти поезда, самолеты, врачи, стада весьма крупного рогатого скота, да и просто чистое (якобы) удовольствие от своего умения предсказывать развитие различных процессов. Перестань мы видеть в этом «хорошее», перестань этого хотеть — и опыт потеряет всякую цену. Так и случилось у средневековых аскетов: благополучие стало неважным — таким же стал и опыт, появилась полная возможность верить в нелепое. Так всякое знание стоит на хотении».

Это было просто потрясающе! Вот, оказывается, на каком первоначии стоит наука — на таком пустычке, как людские «нравится» и «не нравится».

Олег не знал, чему больше удивляться: своему открытию или самому себе — что сумел такое открыть. Он снова оглядел вселенную: все хорошее и плохое в ней, все познания о ней — все стояло на его «нравится» и «не нравится». И о звездах, и об атомах, и об этих облаках, и о Марине, и о нем самом, и о войнах, и о союзах, и об этом поле, которое сейчас стараются проколоть снизу миллионы узеньких зеленых кинжальчиков. Травинки стремятся вверх — таково их убеждение. Нет у них только способности сомневаться в этом их убеждении — так называемой совести. Совесть, что-то сопутствующее «вести», ведению, знанию. Убеждение об убеждениях.

Все было ясно, но он все продолжал разжевывать и растолковывать. С ним это часто бывало, — рассуждая сам с собой, он вдруг как будто начинал опасаться, что какой-то дурак ничего не поймет, ухватится за отдельную фразу, перетолкует ее как-нибудь вкось, поднимет крик — и поди потом докажи. Ни о каком дураке он, конечно, не думал, но адресовался именно к нему.

Вот и теперь он растолковывал невидимому дураку: «Мои «желания как первоначала», разумеется, не означают, что я — начало всего доброго и худого, ведь я сам — продукт всей человеческой истории и, как продукт, с неизбежностью того-то захочу, а того-то нет, это признаю, а другое откажусь. Я хочу сказать всего лишь, что самый объективный закон природы или развития общества я могу ощутить не иначе, как через мое личное хотение, через мое личное согласие, которое обязательно стоит на каком-то моем хотении. На личном сигнале моей личной совести.

А других я понимаю и соглашаюсь с ними оттого, что наши весы — их и мои хотения — изготовил и настроил один и тот же мастер — история человечества. Миллиарды людей во мне оценивают добро и зло. Наши общие хотения — они, значит, и есть разумные? Вот их уж я точно получил извне: потому что я — мера всех вещей — часто сам себе не нравлюсь. Будь все мои симпатии моим личным порождением, я бы всегда был собой доволен. Может быть, даже так: не я определяю цену своей жизненной цели, а наоборот — жизненная цель определяет цену мне. Хотения мы получаем по наследству, как знания. Ха! Я еще хвастался, что в научных знаниях я все могу проверить — закон Ома амперметром. А как проверить, что этот прибор именно амперметр? На нем написано? А как проверить, что это правда? И как проверить, что амперметр измеряет именно силу тока? Начни только каждый раз проверять то, чем обычно проверяют остальное, — и увидишь, что проверить придется всю историю науки от каменных рубил, — если повезет, лет за тысячу проверишь. Наука стоит еще и на доверии друг к другу, к предыдущим поколениям, — как и нравственность. Отец говорил тогда, что элементарные

нравственные нормы, которыми руководствуются почти все, гораздо важнее громокипящих формул мыслителей и пророков...

А желания твоей собственной жизни — если все зиждется на них, то как быть с тем, что сегодня хочется одного, а завтра другого? Считаться только с прочными, как ежедневное желание есть, или с теми, которые остаются «в конце концов»? Но не получится ли так: старушка «в конце концов» поняла, что желание поскакать через веревочку — глупое, гораздо умнее полежать на диване. И что же, глупых желаний совсем нет? Или глупы только неосуществимые желания, — как вечный двигатель? Но его-то теперь никто и не хочет... Так будет когда-то и с желанием бессмертия? Вряд ли. А! Глупые желания — те, что основываются на ошибочном знании: кусок глины показался тебе яблоком, — ты его и захотел.

«В общем, изменчивость и противоречивость желаний — самое скользкое место, — бормотал Олег, вышагивая по упругой дороге и мстительно щуря глаза, — но я это распутаю, я раскопаю». Все равно у него было такое чувство, как когда решаешь задачу и находишь ошибку, но чувствуешь, что принцип верен. Все-таки первознания — это желания. И самые прочные из них ты получил по наследству. Сотни поколений потрудились над ними.

Он раньше думал, что Толстой в поисках *настоящего, окончательного* «смысла» жизни пришел к богу случайно, в силу тогдашних привычек, хотя можно найти вполне атеистический аналог такого «смысла». Теперь-то он знал, что всякий окончательный смысл и есть бог. На самом же деле: пожадничал я — захотелось, поделился последним — тоже захотелось, подставил ударившему другую щеку — так пожелал, ответил ударом на удар — тоже пожелал. Спускаясь от «почему» к «почему», всегда упруешься в какое-то «я так хочу» — первичное знание, доступное человеку. Твердое различие добра и зла есть твердое хотение первого и нехотение второго. Ничего не знает тот, кто ничего не хочет, то есть ничего не любит.

Он уже шагал через подозрительно податливое поле, готовое зачавкать под ногай, но удерживающееся на последней

границы. Дул попутный ветер, в котором сквозь холод заметно проступало тепло. Так и чувствовалось, как он сушит почву, — напитывается земляной влагой и несет ее прочь, — но такой в нем запас сухости, что сам он не становится сырým. И сухость его не болезненная, першащая, а доброкачественная летняя сухость.

Путь преградила окруженная полукустами, полудеревьями канава с опасно сереющим льдом. Задыхаясь от спешки и волнения, Олег подтащил как бы не срубленную, а сгрызенную осину, отчаянно цеплявшуюся за кусты, и просунул ее на лед. Балансируя, перешел по ней через трещавший лед до подсохшей земляной тропинки, весенней-весенней среди желтой нечесаной травы, перепрыгнул на сухую травяную охапку. Отбил пятки — под охапкой оказался слежавшийся в лед снег. Как это он успел забыть, что весной под каждым клочком сена обязательно лежит лед!

СОВСЕМ НЕ В ЛЕНИНГРАДЕ

1

Перебрался он через эту канаву — и зря: она повернула под прямым углом и стала неуклонно уводить его от холмов, все ближе и ближе к пасеке дощатых дачных домиков, пока он наконец не покори́лся и не направился прямо к ним, уже не прижимаясь к канаве. Возле поселка через канаву был мост, но Олег не воспользовался его приглашением: раньше надо было приглашать.

Палисаднички возле домиков казались присевшими, из-за того что деревья в них были метровой высоты, и в каждом палисадничке усерднейшим образом копошились люди, рядом с ухоженными крашеными домиками выглядевшие обносившимися батраками. Унылая толпа таких же батраков дожидалась чего-то у ларька, тоже дощатого и крашеного, но похуже. За ларьком переругивалась пара голосов — задорный женский и унылый, как эта очередь, мужской.

Олег свернул в поперечную улицу, чтобы посмотреть, кто там ругается: раз уж возникло у тебя такое хотение, бесполезно его скрывать — все равно оно уже выдало твою личность тем, что возникло. За ларьком стоял грузовик, шофер в облупленной кожанке мрачно вертел на пальце ключи, сидя на ящике у складской пристройки к ларьку, а из кузова по деревянному трапу, запрокинувшись, семенила задорная продавщица, прижимая к животу ящик пива. Шоферу это было глубоко безразлично.

— Смотри, рожать не будешь, — презрительно приподнял он набрякшие веки бывшего короля танцплощадки, пресыщенного властью. Ему также было за тридцать.

— Чтобы рожать, мужик нужен, — ни на миг не задумалась запыхавшаяся продавщица, одарив его беззаботнейшей улыбкой. Верхние зубы у нее были золотые, а нижние отливали синевой — сразу и солнце, и луна во рту.

— Ты про что это намекаешь? — еще равнодушнее спросил шофер.

— Да про это самое, — она отвечала уже изнутри.

— Так, значит?

— Значит, так, — она что-то двигала за дверью.

— Все понятно. Так и запишем.

— Запиши. Если еще не разучился, — она показалась в дверях.

— Ох, ох, ох, какие мы грамотные!

— А как же — два класса и коридор.

— Ну, раз грамотная, так и таскай дальше.

— Думаешь, без тебя не обойдусь? Эй, парень, хочешь подзаработать?

— Я? — удивился Олег.

— Не я же! Чем с мешком ходить, лучше разгрузи машину, и пятерка в кармане.

— Ему пятерки в тетрадку надо получать, — оглядел Олега шофер. С такими веками, пожалуй, и невозможно глядеть иначе как презрительно.

— И правильно, что в тетрадку! Получит образование, и не надо будет под машиной грязь спиной подтирать.

Олег не стал препятствовать судьбе возместить ему хотя бы часть сегодняшних расходов, скинул рюкзак к стенке и лихо взлетел в кузов, используя спружинивший трап в качестве гимнастического мостика. Продавщица скрылась в пристройке выравнивать пивной штабель, который принялся сооружать Олег. Когда он очередной раз просеменил мимо шофера, стараясь не особо откидываться назад и вообще не выдавать своих усилий — а сила какая-то в руках еще, слава богу, осталась! — шофер уведомил его, кивнув на дверь:

— Я ее целый месяц...

Это чтобы Олег не возомнил, будто каким-то образом восторжествовал над ним. Олег уважительно кивнул.

Продавщица поднялась к нему в кузов скомандовать, в каком порядке что брать. Олег взмок и снял рубашку.

— Крепкий бычок, — со знанием дела оценила его фигуру продавщица. — А в рубашке не скажешь. В институте, наверно, учишься? Переходи лучше на меня работать.

Эх, не видела она его в лучшие времена, когда он часами подтягивался и отжимался с отягощениями, раз по десять — пятнадцать жал двухпудовку, после каждой серии заново измеряя толщину бицепса, а потом принимал перед зеркалом разные атлетические позы и находил, что его можно, пожалуй, уже и заснять для какого-нибудь журнала.

— Поработаешь на ней — потом всю жизнь на лекарства будешь работать. Это же бактериологическое оружие! Знаешь птичкину болезнь — три пера?

— Врет, не бойся, — заверила продавщица. — Я три дня назад проверялась.

— Хо, три дня! У ней за три денька — три полка.

— Полки ко мне маршируют, а ты в кювете сидишь.

Шофер удивительно ловко сплюнул — без звука и брызг, будто птичка капнула (не оттого ли он и говорит о них так ласково: птичкина болезнь?..), и, глядя прямо перед собой, прошагал в кабину, где уже сидел толстый дядька, глядевший вперед — еще более целеустремленно — как мальчишка, которого пустили в кабину поиграть в водителя. Шофер развалился повольготнее и впал в летаргический сон, смежил тяжкие

веки Вяя. А толстый дядька, как по команде, вывалился из кабины и занял его место на ящике, по-прежнему не обращая ни на кого внимания. Прямо смена часовых!

Олег мог бы работать еще быстрее, если бы не выбирал, как и что и после чего брать, чтобы потратить как можно меньше времени, — на выбор решения время и терялось (это чтобы он еще раз усомнился в ценности рассудочных формул). Да еще Тамара (так звали продавщицу) со своими шуточками все время попадалась на дороге — он то и дело на нее натывался. Прямо как нарочно, не без раздражения думал он, пока не дошло, что именно нарочно. И сразу все переменилось — будто какие-то уши внутри бдительно приподнялись, уши, настроенные на очень узкую волну — он стал замечать только то, что им было нужно: Тамарин особенный хохоток, зовущую солнечно-лунную улыбку, спину ее, обтянутую полупрозрачной кофточкой, напоминающую налитый водой полиэтиленовый мешок, — казалось, стоит ей наклониться набок — и мешок до половины перережется внезапно возникшей складкой. Под мышкой расползалась здоровенная дыра, где что-то лоснилось и кучерявилось. Олег старался отводить взгляд, неподдающийся, непослушный, как стрелка компаса, сердито говорил себе, что все это вульгарно, противно — а что-то в глубине его существа (тоже какие-то весы там прятались!) пренебрежительно отмахивалось: «Абсолютно ничего противного — наоборот. Чего притворяться-то!» И Олег чувствовал, что возразить этим весам нечего: они главнее.

Понемногу и он перестал смущаться и вжиматься в косяк, когда она норовила вместе с ним протиснуться в дверь, протирала его всеми, весьма ощутимыми рельефами, и он тоже принялся якобы неловко натывать на нее и протискиваться ей навстречу, к ее неприкрытому удовольствию.

— Совсем задавил, черт здоровый!

Мешать им было некому: оба свидетеля пребывали в латаргическом сне, — один с закрытыми, другой с открытыми глазами, — и Олег изо всех сил старался превратиться в черта, и не простого, а еще и здорового.

Когда он докопался до пузатого мешка с сахаром, Тамара как-то засуетилась: «Тут осторожно... тут тяжело...» — и начала таскать мешок за ухо; Олег спокойно отстранил ее, рывком, как пьяного нахала, поставил мешок на попа, присел, обхватил его покрепче и под возглас Тамары: «Подорвешься, глупый!» — рывком выпрямился и с легкостью вскинул мешок на плечо. С чрезмерной даже легкостью: мешок пошел назад, и надо было либо бросить его за спину (и опозориться), либо... Чтобы восстановить равновесие, Олег попятился, лихорадочно припоминая, где там трап, и с цирковой скоростью сбежал по трапу задом — и только у двери сумел опередить стремительный лет мешка.

— Вот ненормальный! — восхищенно ахнула Тамара.

Олег обронил мешок так же небрежно, как сплюнул шофер, и зря: из лопнувшего шва на грязный пол быстренько, быстренько натекла приличная горка сахарного песка. Однако не успел Олег растеряться, как Тамара намела всю горку на совок и всыпала обратно.

Почувствовав его недоумение, она выложила все начистоту, что за народ ее покупатели и чего они заслуживают, — совместный труд вообще сближает, а тут она еще и почувствовала в Олеге столь порядочного человека, от которого можно ничего не таить. Она была убеждена: находиться по одну сторону прилавка — все равно что находиться по одну сторону баррикады. Они уже перетаскали всю оставшуюся мелочевку, уже внезапно пробудившийся шофер с места врубил такую скорость, что грузовик преодолел канаву едва ли не прыжком, взбрыкнув задними колесами, уже пробудившийся дядька с криками бросился вдогонку и настиг лишь у околицы, — а она все выкладывала и выкладывала начистоту.

Ничего, очередь подождет: они тут все куркули, кулачье и хапуги, каждую досточку, каждый кирпичик к себе утянут, она сколько раз из-за них в обед перерабатывала, а потом попробуй открыться на три минуты позже — так три плещи проедят, сдачу по три раза пересчитывают — не поленятся из-за трех копеек за три километра притащиться, — а что у нее один почти что штучный товар, что ей почти что не с чего иметь — это

никому не интересно; что грузчика нет — тоже никому не интересно: рви сама пупок или нанимай кого хочешь за свои — твое дело. И единственное средство обуздать наглость и бдительность кулачья — это достаточно длинная очередь: и сами не такие нахальные будут, и других постараются унять, чтобы не задерживали на три часа из-за трех копеек.

Ее весы измеряли добро и зло с поразительной несомненностью. Было странно только то, что она, желая *иметь*, то есть осуществляя в своей деятельности буржуазное начало, осуждает подобные стремления в кулачье. Но для нее, — теперь он знал, — ее весы — единственные в мире, поэтому, прежде чем переубедить ее в чем-то, нужно сначала просто посочувствовать. Тем более раз они так сдружились на общей работе. И прореха под мышкой...

Но ей как будто сочувствие и не требовалось, ее как будто больше интересовало, косит ли он глазом на ее подмышку, когда она, потягиваясь, закидывает руки за голову, и тоже самодовольно косится туда, где от пота завиваются палехские колечки («...в мелки кольца завитой хвост струится золотой... Это же противно — нисколько не противно!..»).

— Скоро там? — всунулся один из наглецов.

— Не видите — товар принимаю! Ну, нарррод... Из пристройки можно было войти прямо в ларек через еще одну дверь. «Кулачье» за стеклами бурлило и клокотало, но, когда Тамара подняла раму, волнение улеглось, — Тамара даже с ними обращалась, в общем-то, весело:

— Столько хлеба — свинью, небось, кормить? Хоть бы колбасой угостил!

— Старичка-то пропустите — он *накануне* находится.

— Двушку возьми — любовнице звонить.

Олег пытался эстетически поморщиться от подобного юмора, но насторожившиеся уши пропускали все мимо ушей, выискивая подтверждения для одного: *обломится* или не *обломится*? А глаза высматривали — тоже понятно что. Словом, весы, которые он, в гордыне своей, считал основными, были засунуты куда-то под прилавок, на котором господствовали Тамины весы.

А ее весы были скоры на расправу! Ах, не такими руками ваш хлеб беру, — ну и торгуйте сами. И жалуйтесь хоть в Совет Министров — посмотрим, какая еще дура к вам сюда пойдет. А до тех пор потаскайте свою хлеб-соль на себе из города. И сахар тоже. Ничего, физические нагрузки на пользу.

Рама съезжает вниз — очевидно, до следующей дуры. А их мало нынче осталось... За окном буря, а здесь — полный штиль. Она собирается пойти передохнуть.

Олег робко предлагает на этот раз помиловать куркулей и наглецов, они явно раскаиваются в своих необдуманных претензиях. А он, Олег, может пока сам вместо нее постоять — товар же почти что один штучный, много ума не надо, а она пусть посидит, передохнет (и заодно поучится, как нужно обращаться с клиентом, который, как известно, всегда прав). Но она не собирается брать с Олега пример, она лучше пробежится кой-куда, а заодно хоть от рож от их них опостылевших передохнет.

Олегу пришлось являть пример образцового обслуживания одним только куркулям и наглицам, возможно, пробуждая у них неумеренные притязания — наделяя их весами, на которых нечего будет взвешивать. А как славно было бы, если бы только по эту сторону прилавка, у Тамары, были кривые весы, — но уж там, по ту сторону баррикады — безупречные. То есть такие же, как у него (до появления подмышки). А то... находились люди, способные орать и ненавидеть из-за того, чтобы взять кило сахара и бутылку пива раньше на одного человека. Но это бы еще пусть — раз уж такие им достались весы! — но они были способны из-за такой дребедени *лгать*, называть черное белым — загаживать самые источники истины! У него было такое чувство: грабь, но не лги, обвешивай, но весов не порти!

Олег был подчеркнуто приветлив, скор, — но находились люди, как будто заранее настроившие свои весы на что-то неземное: для них и Олег был недостаточно любезен и проворен. А ведь и при всем желании может не сразу найтись какая-то пачка печенья или гривенник для сдачи, — зачем уж так сразу предполагать, что он это нарочно? Что за

весы у них такие извращенные — а ведь у них они единственные в мире...

Впрочем, большая часть «кулачья», еще не успевшая зажаться — перестроить свои весы, была Олегом довольна и даже отчасти жаловалась ему на его начальницу: и обвешивает, и обсчитывает, а чуть возрази — сразу захлопывает окно — как дернет книзу, только руки береги... А что сделаешь — в город за каждой буханкой не набегаешься, и за каждой жалобой тоже — целый день протратишь, а толк-то будет ли еще! И кто жаловаться пойдет — каждый ждет, чтобы другой пошел, пересидивают друг друга, — поругаются только на общем собрании да бросят. Двое парней как-то схватились за окошко и не дали опустить: давай, говорят, книгу жалоб. Ладно, говорит, отпустите, я ее вам с заднего прохода вынесу, они поверили, пошли к заднему проходу, а она взяла и окатила их из ведра — такие вот порядки...

Но тут же, после задушевного разговора — только-только в Олеге начинало шевелиться сочувствие и негодование, — как они, эти куркули и наглецы, могли потребовать другую консервную банку с чистой этикеткой. Да не жалко ему новой этикетки (хотя кто должен брать испачканную?), но... как можно замечать такие вещи после душевного разговора?! Тут прежние весы Олега оживали и со всей определенностью указывали, что так делать не следует. Ему и без того трудно было проникнуться их настроением — завитая подмышка стояла перед глазами, и какие-то подпольные весы обесценивали все, что могло отвлечь и помешать, — подмышка на этих весах была «томов премногих тяжелей».

Кстати, подслушанные им хозяйственные обсуждения только укрепили в нем чувство, что перед ним не хозяева, а батраки. Имущество надо мимоходом поднимать на дороге, а не тянуться к нему на цыпочках.

Появилась Тамара: все, обед! Как обед, ведь только начали отпускать!.. А то был не обед, а прием товара, а она не собирается из-за них гастрит наживать: режим питания — фундамент здоровья, сами, небось, соблюдают? Но ведь нужно же войти в их положение, посочувствовать, иметь совесть...

Ах-ах-ах, какие все сразу хорошие, а вчера она у одного просилась подбросить до города — так скатов пожалел. (Это не была месть одним за преступление другого — она указывала им, что законы человечности, на которые они ссылаются как на якобы общепринятые, вовсе не общеприняты, каждый себе взвешивает на одних весах, а другим — на других.)

Оконная рама скользнула вниз, стукнув бесповоротно, как гильотина. Олег за спиной Тамары виновато развел руками — я, дескать, человек маленький, — но особо виноватым он себя не чувствовал: все чувства его были приглушены — все оттягивала в себя прореха, где переливался розовый атлас.

Она захлопнула дверь из пристройки в ларек, и мольбы оборвались. Она извлекла скрипучий навесной замок, отодвинула маленькую дощечку возле двери, просунула руку и заперла пристройку снаружи, а ключ повесила на гвоздик: «Все. Увидят замок — лезть не будут». У Олега сердце застучало в горле. Хоть бы рюкзак не свистнули, вдруг вспомнилось ему. Там же еще и рубашка, знатно будет убраться отсюда с обнаженным торсом...

Из-за щелей было довольно светло. Тамара поставила на опрокинутый ящик из-под пива приплюснутую банку свиной тушенки, опоясанную великоватой этикеткой в росписях плесени, и протянула Олегу широченный кухонный нож.

— Действуй!

Нож прорубил в банке хорду чуть не в целый радиан.

Оттуда со свистом вырвался мощный гейзер мутной жижи.

— Ее же нельзя есть!

— Да ты что, она тут вся такая — и никто еще не помер. Еще из-под прилавка выпрашивают.

Она извлекла бутылку дешевого портвейна — «чернил», — от макушки до плеч залитую сургучом, как... от сравнений лучше воздержаться. Тамара следила, чтобы он пил до дна с заботой и настойчивостью больничной сиделки, но себе почти не наливала — на работе все-таки. Они по очереди таскали обросшие салом куски свинины подозрительной дюралевой ложкой, к которой Олег старался не прикасаться губами. Когда

бутылка кончилась, Тамара немедленно выставила еще одну. «Может, хватит?» — с надеждой спросил Олег. Она успокоительно махнула рукой: давай, мол, не скромничай. Но все и без того уже становилось странным, сделанным словно нарочно — даже немного чудовищным...

И ее диковинные зубы — один ряд жаркий, другой леденящий... Но в них не было ни холода, ни тепла. И губы у нее распушенные, совсем не оказывают сопротивления, хоть бы она их как-то подобрала, сказала бы, что ли «Узюм», — так говорила какая-то тетка, когда фотографировалась, чтобы рот был не такой широкий. Да скажи ты наконец: узюм, узюм, узюм, узюм...

Она вся была налита водой, невозможно было добраться до твердого...

Олег поднялся и всей горстью снял с гвоздя ключ, сквозь дыру начал нашаривать замок. «Ты что, ты куда?» — спрашивала Тамара. «Сейчас, сейчас...» — сил хватало лишь на то, чтобы шевелить губами. Только бы не здесь... потом отсюда будут сахар подметать...

Вывалился на свежий воздух; рюкзака как не бывало. «Значит, украли», — равнодушно отметил он. Куда ты, куда, теребила его за плечо Тамара, а ему было все равно куда, лишь бы подальше.

— Подожди хоть, я твой мешок прибрала.

Нацепила ему рюкзак на плечо, сунула рубашку. «Заходи еще, чего ты так скоро...» — «Угу... Угу...» — кивнуть он не мог, его бы сразу...

Он провлачил через поселок, пыля рукавом, стараясь не качнуться — словно опасаясь что-то расплескать, — но отнюдь уже не драгоценное. Перешел мост, побрел через поле. «Тухлятины наелся, тухлятины наелся...» — монотонно твердилось в голове. Тошнота сузила мир до величины пустого ореха, в выгнившей сердцевине которого пропадал Олег. Надо бы сунуть два пальца, но не хватало мужества преодолеть этот пик мучения.

Он добрел до какого-то ручья. Попробовать напиться через силу, влить еще литр, — может, тогда само... Он опустился на колени, но не мог набраться храбрости и нагнуться, — могло сработать от этого движения. Вот она, подмышка... Она явилась перед его глазами во всей славе своей, и — немедленно сработало: его вывернуло прямо в ручей, чуть глаза не лопнули туда же. Отплевываясь от клейкой слюны, он поднял голову и понял, что это был тот самый ручей. Ручей его мысли. Вот что Олег принес к его истоку...

Кто-то постукал его ногой по каблуку. Он оглянулся полумертвым движением и сквозь слезы увидел Тамаркиного шофера. За ним стоял еще кто-то, но его было и вовсе не разглядеть.

— Ну? — зловеще спросил шофер, но тут Олега снова скорчило.

— Птичкина болезнь: перепил, — определил шофер. Он, очевидно, готовился к расправе, но ему еще не приходилось бить людей в таком состоянии. Он постоял, не зная, что ему делать. Все-таки набрался суровости:

— Слышь, ты, — чтоб я тебя возле Томки больше не видал!

— Ыккк... — отвечал Олег.

Он услышал, как стукнула дверца и взвыл мотор. Когда они подъехали?.. Он и не слышал...

И навсегда забыл о них.

Нужно было набраться мужества еще на одно усилие. Он сосредоточился и снова вообразил атласное нутро прорехи — и снова сработало безотказно. Утирая слезы, он откинулся на сырую землю — туда им и дорога, крашеным штанам. Колени были мокрые, в них вдавились сахарные песчинки... Да, Венера и Бахус, любовь и блёв — они часто идут об руку. С самого того еще раза, когда он впервые набрался с Качей. Это было еще давно, на подступах к любви. А явившаяся потом Любовь оказалась еще гнуснее... Да, собственно, и не гнуснее, а такая же, как сейчас: только здесь ему застила глаза откровенная подмышка, а там цитаты из Писарева и Цветаевой. И здесь он перестал замечать откровенное свинство, а

там — несколько более утонченное. Природа же у свинства одна — равнодушие к людям. И весы для добра и зла начинают обвешивать и здесь и там.

«Чтобы мои весы правильно взвешивали добро и зло, нужно, чтобы они годились не для меня одного, вот оно как на самом деле. Все верно, они регулируются хотениями — но не только моими, в этом-то и соль. Они, в идеале, должны регулироваться хотениями чуть ли не всех людей на земле. Перестал я на полчаса чувствовать желания людей за стеклом — и немедленно превратился в свинью — такого мои весы навзвешивали!.. Хм, свиньи едят свиную тушенку...»

Нехорошо все-таки, что он использует ее подмышку в качестве рвотного, — нечего было, если такой брезгливый... В тот раз, с Качей, он додумался, что такое разврат: интерес к телу при безразличии к душе. Но Тамара и сама равнодушна к собственной душе — как тут считать, разврат или не разврат? Если грессишь с теми, у кого нет души... Кача, может быть, самый хороший человек, которого он встречал, но его весы тоже обвешивали тех, кто случайно находился дальше от него, в пользу тех, кто случайно находился ближе... Хорошо бы снова встретить Качу...

Тошнота уходила, тело наливалось сладкой слабостью, а брюки промокали. Сладость слабости... Он снова стал на колени, долго полоскал рот и, помедлив, сплюнул в сторону — поберег свой ручей.

Так называемая любовь делает нас слепыми, глухими — изолирует от чужих радостей и огорчений — и весы наши начинают врать, как компас возле наковальни. Вот почему в женщинах ценится скромность — отказ от самых неспортивных средств одолеть нас — превратить в свиней. У некрасивых, правда, сама природа отняла часть этих подлых средств — недаром он всегда подозревает в некрасивых больше душевного благородства. А вот Ани Жирардо так и не оглянулась...

Он ожил настолько, что начал чувствовать озноб, — ничего, пускай, может быть, яд быстрее выветрится: собственное нутро было еще более жгучим и отвратительным. Медленно,

еще нетвердой походкой, он побрел к холмам, к которым собирался с самого начала.

Поднимаясь на холм, тропинка слегка вилась среди голых серых деревьев, под которыми в несколько слоев слежались коричневые прошлогодние листья, частью подсохшие и посветлевшие, а частью — еще темные и набухшие, но где-то, — хотелось бы сказать: в их толще, если бы у них была толща, — откуда-то изнутри посверкивали золотые искорки, видимо отлежавшиеся с осени. Кое-где листья лежали кучками, из-под которых выглядывал краешек слежавшегося в лед, изъязвленного теплом снега. Когда Олег случайно взглянул вверх, тоненькие голые веточки показались ему сеткой морщин на небе. Голова еще кружилась — после каждого движения глаз предметы не сразу останавливались на своих местах.

Поднявшись на вершину, он увидел внизу маленькое озеро. Посредине плавала большая асфальтовая льдина, утончающаяся к краям — ни дать ни взять картофельная оладья на новенькой сковородке. Справа виднелась старинная двухэтажная дача с портиком и бельведером, но не каменная, а деревянная, выкрашенная красно-коричневой краской, какой обычно красят полы; краска лупилась, как кожа злоупотребившего загаром человека, а из-под нее виднелась белая. Но лупилась она вогнутыми чешуйками, не так, как человеческая кожа. От дачного крыльца к воде спускались каменные ступени; все это было огорожено черной и совсем не ржавой металлической оградой из заостренных на концах прямоугольных прутьев — свирепая средневековая эстетика. За оградой, как в зоопарке, бегала собака.

Спуск к воде по солнечному склону был совсем сухой; казалось, здесь и прошлогодняя трава уже начинает наливать зеленью. Тропинка, прихотливо извиваясь меж бугорков и канавок, вела к деревянным мосткам, метра на полтора заходившим в воду. Тут Олег с удовольствием заметил, что снова начал видеть мир. Ему захотелось сбежать по тропинке — проверить, удастся ли с такой ослабевшей головой на полной скорости пройти все сложные изгибы, подъемы и спуски. Он оглянулся, нет ли кого поблизости, и увидел только

мальчишку, возившегося у берега метрах в ста от него и не смотревшего в его сторону.

Бежать было муторно, однако он не сдался и несколько виражей прошел довольно удачно. Но потом тропинка пошла по узенькому гребню, и его начало медленно, но верно уводить с нее. Сбрасывать скорость ему не хотелось — да это было уже и не просто — шаг, другой — еще по гребню — и он падает и катится по земле, успевая скинуть с плеча рюкзак. Он и не поверил бы, что можно так упасть, чтобы покатиться, — ему всегда казалось, что упавшие катятся притворно, чтобы придать своему растяпству хотя бы какое-то трагическое величие, чему особенно помогает заключительная поза — неподвижная, с картинно раскинутыми руками. Но сейчас он покатился всерьез, и ему пришлось растопырить напряженные руки и ноги, чтобы остановиться. А земля остановилась еще через полминуты. Поднявшись, он прежде всего посмотрел на мальчишку (тот занимался своим делом: тыкал палкой в воду), потом отряхнул брюки, но голый живот и особенно спину нужно было отмывать.

Вода была мутная, подернутая белым пыльным налетом, будто высыпали пудру. Возле берега из воды торчал кол, отбрасывавший сразу две тени: одну на дне, другую на пыльной водной поверхности. Олег с мостков посмотрел на собственную тень — вокруг ее головы в воде расходился сияющий ореол. Он поставил рюкзак и благословляюще поднял руку, — тень с поднятой рукой и сиянием вокруг головы выглядела занятно. А вдруг он и правда какой-нибудь пророк?.. Вот она — мысль без берегов: детская чушь.

Он подставил спину солнцу, пытаясь накопить тепла для холодной воды, и стал смотреть на воду, готовить себя к ней. У берега дно было заполнено перепутавшейся травой, похожей на размокшую в тазу мочалку. Под мостками по-английски плескалась вода: «Walk? Walk? Oh! Walk!»

Была ему звездная книга ясна, и с ним говорила морская волна. С ним, лично с ним, природа заговорила в первый раз — и то по-английски. В теле расходилась приятная истома: милости Бахуса окончательно покидали его. А милости

Венеры? Черт его еще знает, чем все это кончится: как-никак, три денька — три полка... Ему показалось, что он весь в чем-то липком. Он поплевал на рубашку и принялся тереть губы, пока не онемели. Рубашка отдавала дымом — лучше бы сейчас прокоптиться, дезинфекция все-таки... А то слюна его сама... Он скинул многострадальные штаны, а потом, воровато оглянувшись, еще и трусы — где их тут сушить! — и с мостков плюхнулся в воду — животом, чтобы не врубиться головой, если тут мелко. От ледяной воды перехватило дыхание, но он, едва дыша самыми верхушечками легких, молотил и молотил руками и ногами. Ему хотелось потереть себя в особенно липких местах, но он брезговал до них дотронуться.

Выбравшись на мостки — тело резко потяжелело, поднимаясь из воды, — проворно промокнул бедра рубашкой и натянул трусы. Теперь можно было попрыгать и помахать руками. Он снова почувствовал себя сильным и чистым, даже изнутри, оттого что нечаянно хлебнул несколько раз холодной воды, пусть не такой уж чистой, но прямо-таки кристальной в сравнении с тем, что делалось у него внутри. Щипало многочисленные, нажитые за день ссадины, но ощущение здоровья и чистоты от этого только усиливалось.

Олег оделся и, чтобы окончательно согреться, сделал короткую пробежку вдоль берега, держа рюкзак на отлете. Не добегая до мальчишки, он притормозил, чтобы не испугать его топотом. Но мальчишка не обратил на него ни малейшего внимания.

Ему было лет шесть. Он пытался палкой достать из воды что-то вроде стеклисто-студенистой виноградной грозди, но она все время сваливалась, а он терпеливо раз за разом поддевал ее палкой.

— Что это у тебя? — спросил Олег, и мальчишка (это был воспитанный мальчишка) вежливо ответил:

— лягушачья икра. Видите, сколько лягушек?

Олег посмотрел на воду и увидел, что черные пятнышки, на которые он не обратил внимания, были головы лягушек. Весь этот уголок озера был усеян ими с удивительной густотой — не меньше десяти штук на квадратный метр. Олег понял, что

это от них разносится урчание, сначала показавшееся ему эхом отдаленного мотокросса. А мальчишка, желая придать своим словам больше убедительности, приподнял палкой почти не сопротивляющуюся лягушку и пояснил: «Они теперь вялые. Их можно руками брать». Олег стал на край берега, выдавив ботинками воду, и взял ближайшую лягушку; он не только не чувствовал никакой брезгливости к ней, но даже испытывал чуть ли не родственное чувство. (Теперь, после Тамары он понял, что не стоит слишком о себе воображать.) Лягушка попыталась вырваться, но и то не очень, только на воздухе. Он осторожно придержал ее; она успокоилась и завибрировала широким горлом,— послышался треск далекого мотоцикла. Его, Олега, любовь привела примерно в такое же состояние, но он даже и лягушачьей икрой не разродился.

— Отпустите ее,— попросил мальчишка.— Может быть, это чья-то мама, и он останется без мамы.

С внезапным приливом острого умиления Олег наклонился и разжал пальцы. Без малейшей радости или хотя бы поспешности лягушка тяжело плюхнулась в воду и осталась сидеть неподвижно — одна из множества черных головок.

Олег взял в руку тяжелую плотную гроздь икры, которую безрезультатно пытался извлечь мальчишка, и они стали вместе ее рассматривать. Довольно крупные прозрачные шарики с черными зернышками внутри налезали друг на друга, как пузыри в мыльной пене. Но больше они были похожи на пучок пробирок, если смотреть на них с круглых концов. У его матери в шкафу часто лежали такие пучки, стянутые черной резинкой (хорошо ей, врачу,— самая несомненная профессия!). Однако можно было и вообразить, что это налезавшие друг на друга купола какого-то сказочного Багдада. (Почему-то снова вспомнилась Тамара, и он незаметно передернул плечами. Ну хватит уже, хватит!..)

Аккуратно положив гроздь на место, Олег вдруг удивился, что такому малышу, вдобавок хорошо одетому, разрешили так далеко пойти без взрослых. Но мальчишка объяснил, что живет он недалеко, — он показал рукой не в ту сторону, где была

станция, — в военном городке, и пришел сюда с папой. Олег оглянулся и увидел выходящую к берегу аллею с редкими скамейками и на ближайшей — читавшего газету молодого мужчину, старшего лейтенанта. Олег подумал, что никогда не увидит этого военного городка, и почему-то при этой мысли слабо, но явственно сжалось сердце, и он чуть было не пообещал себе до отъезда туда сходить. Ему хотелось еще побыть с мальчишкой, но делать было больше нечего и говорить тоже. Не спрашивать же, сколько ему лет и есть ли у него маленький братик.

— Ну, будь здоров, — вздохнув, сказал Олег, и мальчишка вежливо кивнул:

— До свидания.

Стало заметно холоднее, солнце грело, как костерок осенней ночью, — узкий, направленный на тебя пучочек тепла в океане холода. И кажется, что холодом этим только чуточку дохнуло что-то по-настоящему — космически-громадное и по-настоящему — космически-ледяное, дохнуло пока только самую малость — чтоб понял, с кем имеешь дело. Он начинал дрожать, и вдруг его передернуло от легкого прикосновения холодной рубашки к голой спине, — маек он не носил во избежание лишней стирки. Рубашки же, если они не светлые, сколько ни носи, никогда не занашиваются до такого безобразного вида. А когда они полежат немного, их можно снова носить. Не достать ли свитер, подумал он, но не хотелось ворошить так хорошо уложенный рюкзак.

Снова что-то сжалось в груди — пищевод или бронхи, — души коснулись страх и одиночество, словно ему снова пять лет и он снова отстал от мамы. Среди чужих людей, незнакомых домов, деревьев страшно потому, что это вообще Люди, вообще Деревья, а не папа, Костя, та акация, что возле калитки, как это бывает дома. Через Деревья, Людей, Дома ты соприкасаешься с бесконечностью, с миром понятий. Я, кажется, скоро рехнусь, подумал он.

На черной ограде непривычно близко от лица — буквально рукой подать — сидела ворона. Удивляясь, что она не улетает, он зачем-то протянул к ней руку, может быть желая сде-

лать удивительный случай еще удивительнее. Ворона даже не шевельнулась, только ее худые нервные пальцы в блестящих черных перчатках судорожно сжали стальной прут, как ручку дамской сумочки при виде возможного грабителя. Вдруг, — он даже не понял, что произошло, — какое-то рычание в лицо и от чьего-то взмаха зашевелились волосы (точь-в-точь, как десять лет назад, когда в сантиметре над его макушкой прошел футбольный мяч, пущенный самой знаменитой в районе ногой — от ее удара «дымились» перчатки вратарей). Он вскинул голову и увидел на сухой ветке ворона (он решил, что это ворон — муж вороны), который, взмахивая головой, громко стучал по ветке то одной, то другой стороной клюва, словно точил его. Потом он замер, с мутной яростью каркнул — почти зарычал — и снова устремился вниз, прямо в лицо Олегу. Олег невольно наклонил голову и закрылся рукой, и снова почувствовал, как по волосам прошел ветер. А ворон снова сидел на суку, снова, стуча, точил клюв и хрипло, клокочуще рычал, как пьяный, которого вырвали из драки и волокут в отделение. А ворона сидела, словно все это ее не касалось, только сгорбилась еще сильнее.

«Наверно, большая», — подумал Олег, удаляясь несколько быстрее, чем шел до сих пор, испытывая неприятное ощущение в затылке (спина была прикрыта рюкзаком). Метров через двадцать он не без опаски оглянулся, и не удивился бы, если бы ворон затопал на него ногами и замахал крыльями. Но ворон не обратил на него внимания, все что-то устраивался и ворчал. «Ну и ну!» — только и подумал Олег. Эта история сильно развлекла его. Вот она — настоящая любовь!

На самом краю рощи у дороги стояла небольшая темно-зеленая елочка, но темные лапы кончались светло-зелеными кисточками, будто их обмакнули в осветляющий раствор. Наверно, пробиваются молодые иголки.

Олег снова стал видеть мир вещей, а не понятий, и вселенная снова сделалась вполне конечной и достаточно уютной.

2

А потом оказалось, что этому бесконечному дню предстоит вместить еще и дождь.

Когда он спустился с холма в поле, сильно пахнуло ветром, и с ветром на лицо упала капля, потом другая. Он взглянул вверх — в светлом небе были только облака, — для облаков, пожалуй, слишком подсиненные, но все-таки еще облака, а не тучи. Однако уже довольно много капель протянуло вниз свой след, слабо поблескивающий, как осенняя паутина.

От тонкого привкуса поднятой дождем пыли — ужасно летнего! — обрадованно екнула душа. Вот и снова этот запах!

Под облаками, гораздо ниже, совсем отдельно от них бежал как будто бы паровозный дым, грязный, но прозрачный. А горизонт был сплошь затянут плотными тучами, иссиня-сизыми, как куча шлака у кочегарки.

Он прибавил шаг, потом побежал и почувствовал, как все-таки отяжелел за это время, без тренировок и вообще почти без движения. Да еще Тмаркино угощение ощущалось. И легкие скоро начал обжигать воздух. Когда он, попеременно переходя с шага на бег и обратно, добрался до первых домов, дождь не усилился, однако заметно потемнело. Но когда женщина в фартуке вышла на крыльцо и выплеснула остаток воды из ведра — вода на миг повисла в воздухе светящимся стеклянным кружевом. Светящимся — значит, не так уж потемнело.

Бежать с рюкзаком по улице было неловко, пришлось перейти на быстрый шаг, и, когда он вышел на асфальт центральной улицы, дождь отбросил свои лицемерно робкие пробы и припустил весьма бесцеремонно. Все-таки пробежав последние несколько шагов, Олег втиснулся в уже набитый людьми маленький коридорчик между двумя застекленными дверями, ведущими в булочную. От сырой одежды в коридорчике пахло свежевывглаженными, почти подпаленными брюками.

Булочная была как раз кстати. Напряженно ожидая, что сейчас его обругают, он протиснулся внутрь, купил батон и пачку быстрорастворимого сахара, поставив рюкзак на подоконник,

сунул туда батон и сахар и остался стоять у окна, упершись коленями в холодную гармошку отопления. Подоконник был низкий, и тротуар виден был почти до самой стены.

Первые капли, веснушками высыпавшие на блекло-сером, как небо, асфальте, уже слились в одно, и асфальт ровно блестел. Дождь был густой, но мелкий, почти не портивший ровности блестящей пленки, хотя и тонкой, но вполне прилично отражавшей бегущих, особенно их ноги. Выше ног хорошо получались только яркие детали — шарфы, кофточки. Подошвы бегущих оставляли за собой черные следы, медленно затягивавшиеся блестящим. С края крыши срывались и вразной дольбили асфальт перед окном тяжелые капли, и от них тоже оставались не очень быстро затекающие черные пятна. Когда такая капля попадала в выбоинку, она выбивала оттуда воду, и ямка несколько мгновений оставалась пустой.

Потом, наверно, переменялся ветер: в стекло несколько раз хлестнуло дождем, и улица за окном превратилась из цветной фотографии в акварель. Он долго смотрел, как бегут наперегонки капли по стеклу. Вот одна уже безнадежно отстала и запуталась, а потом попала в русло, оставленное другими, и помчалась, ударяясь на ломаных поворотах. Что значит идти вслед за другими. Тяжелые тоже перли напрямик, не имея нужды вилять.

Рядом присел на батарею немолодой мужчина с обиженно поджатыми губами, тоже ожидавший, когда кончится дождь. За спиной кассирша всем покупателям предлагала с одной и той же интонацией: «А «Волгу» не возьмете?» — и все мигом понимали, что речь идет о лотерейном билете. А сам Олег не понял, когда она предложила «Волгу» ему, не понял даже, что речь идет о Волге в кавычках.

К соседу по батарее подошла величественная дама в шляпе набекрень и величественно обрадовалась: «Петр Федорович!» Мужчина метнул на Олега мгновенный взгляд, словно проверяя, какое впечатление произвело его имя (а он-то надеялся его скрыть!), и униженно улыбнулся даме, однако с батареей не встал. Дама снимала здесь дачу, чтобы окрепнуть после воспаления легких, а сейчас она едет с «нехорошего

дела» — с похорон. Да ну? Кто же? Как, вы не слышали? Гиляшов. Неужели! От чего? Инсульт. Ужас, ужас! А как Евгения Григорьевна? Совершенно убита. Не знаю, как она переживет. Дети, конечно... Но что дети! У детей свое...

Мужчина очевидно страдал от ее громкого голоса, — на них оглядывались, — и, как бы подавая ей пример, отвечал все тише и вообще сникал. А она торжествующе, как уничтоженных врагов, перечисляла умерших за последний год, добавляя в торжество ровно столько скорби, сколько на сегодняшний день приличия требуют от европейского правителя, сообщающего о смерти хотя бы и врагов. Вы не знали? Да, Лукин. Сел смотреть телевизор, вдруг упал, вызвали скорую, через четыре дня. Да, никогда не болел. Да, Глузкин тоже. После обеда прилег на диван, подошли, а он уже. Но, как говорится в народе, такую смерть за золото не купишь.

«Что это сегодня, — подумал Олег. — Сплошные покойники».

Дождь, кажется, утихал. Капель по стеклу бежало и суетилось гораздо меньше. Мимо окна уже не пробежали, а прошли несколько человек. Прошел невысокий мужчина со вздрагивающим пустым рукавом пиджака — видимо, по привычке делал остатком руки взмахивающие движения. Прошла девушка с короткой рыжей косой, конец которой был похож на разломаченный перержавленный трос. Совершенно автоматически Олег натянул рюкзак и вышел на улицу.

Дождя уже не было, но на лице чувствовались легчайшие щекочущие прикосновения водяной пыли. Улица вдали отливала сталью, как река, — над вечным покоем, — но вблизи была уже не блестящей, а черной, как мокрая резина. Он по привычке поискал сравнение поинтереснее и придумал: асфальт превратился из серого в черный, как будто перевернули копировальную бумагу. Отражения были только мозаичные — в лужицах величиной от блюдца до горошины. Прошла женщина, оставляя каблуками следы, почти сухие по краю с мокрым треугольником внутри. А на дереве, — он стоял в двух шагах от него, — на кончике каждой — абсолютно каждой! —

склоненной вниз веточки светились капли, рассаженные с удивительной аккуратностью.

По дороге к вокзалу из-за сырой рубашки стало совсем холодно, напала крупная дрожь, от которой он невольно делал короткие, но решительные отрицательные движения головой. Он все ускорял и ускорял шаги; в рюкзаке на каждом шагу кружка стучалась о мыльницу, и он представлял себя лошадью, бойко поцокивающей копытами по мостовой. Совсем неподалеку от вокзала он увидел шатровую церквушку в лесах, размыто повторявших ее очертания, придавая ее облику что-то призрачное. Он удивился, что не заметил ее раньше. К остановке сквозь лужу, как катер, подъехал очень набитый автобус, через дверные стекла видны были расплющенные о них спины стоящих; толпа на остановке шарахнулась прочь от водяных усов — и тут же обратно. Несколько женщин быстро окружили заднюю дверь и, наставив острия зонтиков, готовились встретить выходящих. Потом все втиснулись, и автобус ушел в грязном тумане, поднятом с асфальта его колесами.

А Олег лучше будет ходить пешком.

Он только-только успел согреться, как застонала дверная пружина: в зал ожидания ввалилась компания с рюкзаками и, радостно гомоня, кинулась занимать места — и непременно рядом с ним. Трое втиснулись на пружинящий диван, гнутый из толстой фанеры, а двое если перед ним на рюкзаки. На пустые же рюкзаки девицы положили свои шляпки — словно сопровождали собственный героический прах.

Девицы были как девицы, а парни — как парни, только в эпатирующих головных уборах: один был в милицейской фуражке, другой — в дамской шляпке, третий — в мужской шляпе с обрезанными полями, только впереди оставался длинный козырек, над которым бельмом пучилась странная гладкая кокарда. Приглядевшись, Олег понял, что это столовая ложка с отломанным стеблем.

Они так долго и преувеличенно галдели, как они быстро дошли и как им еще долго сидеть, что он понемногу снова начал раздражаться. Каторжников, по Достоевскому, раздражала

веселость; он, Олег, похоже, становился вроде этих каторжников. Не в том дело — видите же, что человек размышляет, так хоть не орите, если уж вам так охота молоть чепуху. И транзистор молот что-то очень глупое. Да еще притиснули к подлокотнику. Можно бы, конечно, пересесть, но неудобно, это их может смутить. Постепенно они перешли к более привычным туристским темам: кто сколько съел, как из котла с кашей извлекли чей-то носок, как кто-то до того заспался, что его за ноги вытащили из палатки и разрисовали лицо углем и губной помадой, а он так и не проснулся. Наконец, Олег решил пойти погулять по перрону, но, встав, озабоченно посмотрел на часы, как будто он чего-то дожидался. Это чтобы они не подумали, что он уходит из-за них.

На перроне розовели лужи, — солнце почти целиком село в узкую полосу расплавленного шлака. Выше небо розовело слабо, как незрелый арбуз, там стояло несколько больших облаков. Сверху они были совершенно мрачными, но снизу были расписаны розовыми и фиолетовыми полосами и пятнами. Он догадался, почему они такие: нижняя часть облака неровная, там есть долины и горные хребты (вверх ногами), и горы еще освещены, а в долинах уже темно. Ему же снизу видны и горы, и долины.

Он стоял, навалившись рюкзаком на зеленые чугунные перила (он сначала попробовал, не покрашены ли они), смотрел и думал. Сырой холодный воздух быстро пил тепло из тела, но, после теплого вокзала, несколько минут можно было постоять безболезненно. По ту сторону путей кое-где стояли плоские лужицы тумана.

Хоть бы неделю отдохнуть от своей нынешней раздражительности!

Не мизантроп ли он, в самом деле? Да нет, куда ему. От одной этой мысли он уже трусит. Как будто опять остался на вокзале без мамы. Наверно, мало кто осмелится признаться, даже самому себе, что он так-таки не любит людей. На днях в комнате у девчонок он прочитал тоненький сборник довольно известного (слышал фамилию) поэта. Половину сборника тот робко пробовал, не разочарован ли он в людях, — и тут же

со всех ног кидался обратно: нет-нет, я людей люблю и уважаю, беру за хвост и провожаю. Все там было глупо: и разочарования, и испуганно-поспешные — со всех ног — очарования. Все истории были в том роде, как если бы сейчас он, Олег, в досаде на туристов стоял, курил и постигал, что все люди — злобные эгоисты (или не все, а только современная молодежь), а тут бы поезд сошел с рельсов, начался пожар, и туристы кинулись бы в огонь и всех спасли, только тот, что с ложкой, сгорел бы, а вульгарная на первый взгляд девица, как Ниоба, каменела бы над его прахом, а он, Олег, потрясенно понял бы, как неверно судить людей по первому впечатлению.

Нет, он не мизантроп, он всегда рад помочь; и сколько раз у него проходила вселенская тоска от самой обыкновенной трепотни с самыми обыкновенными ребятами из тех, которые считают, что земля стоит на трех китах, — тоска проходила от улыбки, от приглашения поесть, от одолженного рубля, если даже рубль одолжен не им и не ему. Только раньше ему казалось, что его расположение к людям — причина совершенно недостаточная, чтобы серьезно к ним относиться, — научных же указаний на это нет! А теперь он знает, что его расположение — самое что ни на есть серьезное обоснование. А как же неприютность, которую, случалось, он ощущал в деловой сутолоке, где каждый знает, что земля стоит на трех китах, а на чем киты — этот вопрос ни у кого не возникает? И понял: ему никогда не будет все равно, как они живут и думают. Никуда ему от них не деться. Что бы он ни открыл, не будет ему покоя, пока они с ним не согласятся. Или он с ними. Он — как Марина: захочет — и никто ничего ему не докажет; да только хочет он другого: чтобы всем было хорошо. Потому-то почти каждый и сможет ему что-нибудь доказать. В этом и заключается разум.

Все в нас направлено на людей — даже нашему раздражению нужны именно люди. Тут он понял, что еще немного — и ему уже будет трудно согреться, и вернулся в вокзал. Теперь он уже мог сесть на любое место, не обижая туристов-погорельцев.

Но они почему-то притихли, даже транзистор тихонько болтал что-то оправдывающееся. Можно было подумать, что их шумная веселость адресовалась ему и без зрителя сделалась ненужной. Через несколько минут они вообще ушли, тихо и озабоченно переговариваясь. У выхода транзистор вскрикнул и умолк. Олег их, видно, здорово подрезал своим уходом. Зал был почти пуст. Изредка входил кто-нибудь, смотрел расписание и тут же уходил. Стало не так уж тепло, и он надел свитер.

Вытащив из рюкзака кружку, он нашел в полутемном закутке дверь с силуэтом схематизированного сверхэлегантного мужчины и набрал из-под крана воды. Хотя тяжелый дух, стоявший за дверью, и крайне грязная раковина не должны были отразиться на качестве воды, пить ее, уже в зале, было как-то не совсем приятно; он невольно принюхивался к ней и, казалось, даже что-то чувствовал, но относил это на счет своей мнительности. На счет ее же он отнес насмешливые взгляды, которые бросала на него пожилая кассирша из своего окошечка. Макая куски сахара в воду, он съел с мокрым сахаром, рыхлым и пористым, как весенний снег, большой кусок батона и подумал, что это еда не только дешевая, но и очень даже приятная (особенно оттого, что его совсем-совсем уже не мутило). Сахар пропитывался водой очень быстро; стоило чуть замешкаться, и от него отваливались довольно большие куски и мягко шли на дно.

Бедные туристы... Вот Марину с ее компаньшой было бы не смутить... Интересно — ведь они чувствуют себя в обществе гораздо уютнее, чем он, и можно из-за этого решить, что они-то и есть подлинные дети общества. Но если бы даже им было в тысячу раз уютнее, выражение «дети общества» стало бы только неуместнее: сын не может быть безразличным к тому, что делается с матерью.

А до поезда все равно еще оставалось черт-те сколько. И читать по-прежнему не хотелось, а вместо этого вдруг ужасно захотелось спать. В глазах чесалось уже давно, но тут напал такой сон, какой наваливался только на гоголевских запорожцев, — исчезло чувство реальности, руки двигались как бы сами по себе, как чужие. Он решил хоть на несколько секунд

закрывать глаза, и тут же в глазах заиграла живая желтая сетка из солнечных зайчиков, которую видишь на песчаном дне в солнечный день, когда смотришь сквозь рябь на мелкой воде. Откуда-то сверху он увидел поляну с желтыми стройными кустиками, вроде полыни, но гораздо изящнее. Он хотел разглядеть их получше, но они вдруг опали, как струйки выключенного фонтана. Он открыл глаза и испуганно посмотрел на часы — не проспал ли. Оставались те же черт-те сколько. Он снова закрыл глаза и положил затылок на обтекаемую спинку дивана — и тут же оказался в фанерной будке, по которой его же собственные, не в меру развеселившиеся дружки барабанили камнями — прямо уши лопались. Оказалось, что по спинке настойчиво стучит дверным ключом строгий милиционер: «Не спать, не спать!»

В зале не было ни души. Когда Олегу надоело переглядываться с милиционером, он подошел к кассе и спросил, нельзя ли уже сейчас купить билет.

— Можно, можно, все можно, — ответила кассирша, занимаясь каким-то своим делом. Он думал, что она отвечает машинально, не слушая его, но она повернулась туда, сюда, чем-то щелкнула и выбросила в лунку под маленькой деревянной арочкой в стекле картонный билетик. Последний вагон. Вы сказали, общий? Да, да, общий. Спасибо. Вот и все. У него приятно сжалось в солнечном сплетении — предстартовое волнение. Теперь можно было уже ни о чем не беспокоиться до самого отхода. И что денег оставались самые крохи, тоже его не беспокоило. Он надел ватник, отчего рюкзак превратился в тошую котомку, и вышел на улицу. Наружная ручка была прибита намного ниже внутренней, поэтому он не сумел ее сразу поймать, — он ожидал найти ее на той же высоте, — и дверь сильно хлопнула. Он понял, что все выходявшие хлопали дверью не по небрежности.

Ночь была светлая, не особенно белая, а просто лунная. Он свернул направо — от Ленинграда — и не спеша пошел по шоссе вдоль железной дороги, навстречу луне. Метров через пятьсот с обеих сторон от шоссе и железной дороги появились деревья; ночью было не понять, что это: большой лес

или узкие полосы, какие он видел днем. Дорога вдали картинно изгибалась, и на горизонте уходила к отчетливо видимым на небе силуэтам двух больших раскидистых деревьев. Если приглядеться, можно было разглядеть далеко идущие штрихи гигантского белого пунктира, разделившего дорогу вдоль на две половины. Поблескивали лужицы и ручейки застывшей смолы, которой кто-то пытался исправить дефекты в асфальтовом покрытии.

Олег остановился и прислушался. Было слышно, как шумят деревья и булькает ручей, бегущий в канаве между шоссе и железной дорогой, — наверно, где-то близко водопадик. Кажется, ручей был тот самый — ручей его мысли... Тамара... Венера и Бахус... Да, ручей его мысли несет продукцию не только высшего сорта... это чтобы он, Олег, не думал, что его весы — лучшие в мире, они тоже могут обвешивать, если их не будут подправлять весы других людей — не на это ли намекал отец в том разговоре: истина вроде бы может быть лишь коллективным достоянием — одному ее не родить, да отдельным — отделенным! — людям она просто не нужна, им и так хорошо.

На насыпи что-то зашуршало; появилось приятное напряжение, — приятное, потому что уверен: ничего страшного там нет. Иногда вода в ручье начинала так плескаться, словно кто-то там барахтался, пытаясь выбраться, и, присмотревшись, невольно видишь его черный силуэт. Становится жутковато. Можно получить кое-какое представление о психологии часового.

Он запрокинул голову и, расслабив шейные мускулы, так что затылок почти лежал на лопатках, стал смотреть на луну. По ней пробегали светлые облачка, почти не затемняя ее, будто к картинке плотно прижали папиросную бумагу.

В более темных прорехах между прозрачными льдинками облаков луна двигалась неравномерно — зигзагами, толчками. Наверно, так казалось из-за того, что от неудобной позы вздрагивала голова. Иногда наплывали темные густые тучки, и дорога меркла, как свет в кинозале.

Звезд было мало, и то мелких, далеко от луны. Только слева висела одна очень яркая, видимо, Венера — странная

звезда. Из созвездий он знал только Большую Медведицу, хотя на первом курсе сдавал зачет по астрономии. Если это Венера, не исключено, что в эту минуту на нее пытливым оком смотрит изучающий ее Панч.

А ему начхать. Сегодняшний мужик, который цеплялся к нему в закускойной, значит для него больше, чем Панч. Панч... Давно все это было, черт-те когда. Он был тогда еще таким дураком, что это был почти что и не Он. Он тогда еще не был мерой всех вещей, а применял к себе мерки любого осла, если только тот был достаточно самоуверен. Все ждал от кого-то награды. Отчасти и простительно: ведь он впервые столкнулся с интеллигентным самодовольством — утонченным и эрудированным на первый взгляд, тупым и невежественным на третий. Самодовольство всегда невежественно, потому что в каждой книге оно видит фигу: что-то маленькое, лично его касающееся.

Когда видишь тупую уверенность, всегда хочется исследовать ее, чтобы показать, что она ни на чем не основана. Ну, а потом, по справедливости, обращаешь аналогичное исследование к себе: а на чем основаны мои уверенности? А на чем основаны их основания? И так далее. И никак не дойти до последних трех китов.

А теперь, когда он до них дошел, его жизнь уже никогда не будет бессмысленной, потому что ее бессмысленность — просто другое название неумения любить, отсутствия преобладающих стремлений; а этим добром — стремлениями — его и впрямь наделили на сто лет вперед. Жизнь его может быть невеселой, потому что вряд ли его стремления так уж часто будут исполняться, но бессмысленной она быть не сможет.

Сейчас он смотрит на луну и радуется, что у него в хозяйстве есть еще и луна. А зимой так же вот взглянул как-то на нее и ужаснулся: да ведь ей и *в самом деле абсолютно все равно*, что с ним здесь происходит. Тогда он все еще ждал наград со стороны, а не выдавал их сам.

И, видя какую-нибудь сволочь, не был уверен, что имеет смысл с ней что-то делать: ведь божественно-научных аппаратных указаний на это нет, да и все равно все помрем. А те-

перь он знает, что его отвращение к сволочи и есть тот самый смысл что-то с ней делать.

Так что теперь ему придется уже прямо становиться на сторону тех, кому он сочувствует, или прямо признаться; что боится или не особенно сочувствует. Или подкуплен... какой-нибудь хотя бы подмышкой. Во всяком случае, прикрываться скептицизмом ему уже не удастся, потому что в нем нет настоящего скептицизма, — неопределенности стремлений.

Заныла шея. Он попытался рассмотреть, который час, но ничего не вышло: когда он поворачивал циферблат к свету, начинало блестеть стекло. Он почувствовал, что озяб, несмотря на ватник, и пошел обратно, глядя на свою ссутулившуюся, но довольно элегантную тень на бледном от луны асфальте. Ноги у тени были слишком длинные, а туловище ничего себе, потому что на туловище тени смотришь приблизительно под тем же углом, что и луна, а на ноги — под более тупым.

Машинально напевая про себя какой-то бодрый мотивчик, он вдруг заметил, что приплясывает под него, и остановился. Где-то очень далеко лаяли собаки и недурно пели хором. Уже недалеко от вокзала метровыми белыми буквами на асфальте было написано: «Финиш». Вот такую формулу смысла жизни раньше и отыскивал Олег — краткий *итог* неизвестно какого маршрута.

На площади перед вокзалом он снова остановился. От ходьбы он согрелся, и идти в вокзал уже не хотелось. Мимо быстрым шагом прошла маленькая худая женщина в черной косынке, за ней заплетающимися ногами поспевал растрепанный мужчина. Он все пытался наклониться к ней и сказать что-то мягкое и убедительное, а она кричала: «Отстань от меня, я тебе говорю!» Кричала так, что становилось не по себе: так кричат в последний раз, а потом происходит что-то страшное; но он продолжал свои проникновенные попытки наклониться и сказать, а она продолжала выкрикивать сорванным голосом, и все будто в последний раз. Они быстро скрылись в темноте, и их стало не слышно тоже очень скоро. Наверно, куда-нибудь зашли. Вряд ли помирились. Хотя кто их знает.

Постояв еще немного, он решил пройти в другую сторону, к сараю, возле которого днем смотрел на голубя. Из-за далекого поворота, навстречу ему, показался поезд. Проектор бил в глаза, и Олег прикрыл его ладонью вытянутой вперед, к поезду, руки. Из-за ладони на полнеба разошлось сияние, по которому, вращаясь, как спицы исполинского колеса, двигались темные прорези — тени столбов вдоль пути. Поезд приближался, сияние исчезло, превратившись в узкий бьющий мимо пучок света, начали промелькивать мимо силуэты цистерн, сплошь черные из-за того, что тень падала на эту сторону. Колеса местами искрились, касаясь чего-то. Поезд умчался, унеся с собой последний порыв поднятого им ветра, и стало слышно, как шумят деревья на обочине, хотя их немного и ветер невелик. Кто это выдумал, что счастье недостижимо? Конечно, счастье — не то что квартира: въехал и живи всю жизнь. Счастье — такое же состояние организма, как, например, сытость: сейчас ты сыт, а через два часа, может быть, проголодаешься. Стать счастливым навсегда невозможно, как наесться на всю жизнь, но на время счастье осуществляется так же вполне, как сытость, и, вообще, как все вещи, для называния которых у нас есть слова. А сейчас оно есть? Есть. И было сто тысяч раз. И будет. Это точно? Точно. И ничто в нем не пыталось возражать.

А раньше он стеснялся чувствовать себя особенно счастливым: в этом было что-то мелкое, — значительность человека вроде бы определялось количеством средств, необходимых для того, чтобы сделать его довольным. И хотелось быть бесконечно значительным.

Задумаешься бывало: счастлив ли я? — и тут же стараешься сделаться несчастным. Есть такие люди: их спросят, как здоровье, а они сразу уже принимаются охать и кашлять. Олег даже решил как-то, что нельзя быть счастливым, если думаешь про это; а теперь он понял, что без подглядывания за собственным счастьем — хотя бы возвращаясь к нему в воспоминаниях — и счастья быть не может.

Однако нужно было где-то посидеть до утра, а еще лучше — полежать. Олег вспомнил, что неподалеку от вокзала видел домик автостанции, — но он был намертво потухшим, и обе двери из коридорчика оказались запертыми. Поколебавшись, Олег бросил рюкзак в угол, чистой стороной вверх, и улегся прямо на деревянный пол — штаны жалеть уже не стоило.

Заснуть не удавалось из-за необычности места; кроме того, выпирали и давили какие-то ненужные кости от бедра до щиколотки, а искать более удобную позу — не хотелось дополнительно вытирать пыль. Ничего, по крайней мере, не проспичь.

Знали бы родители, где он сейчас лежит... Как бы поменьше расстроить их академкой?.. Нужно обязательно съездить потом, объясниться. Отец у него определенно неглуп... В том разговоре он, пожалуй, утер-таки Олегу нос.

Прошлой осенью отец приезжал в Ленинград, Олег ходил с ним по разным знаменитым местам и наскакивал на него. Все насчет желания быть самим собой и иметь научно обоснованные правила для жизни. А отец был насмешливо-ласков, отвечал больше в таком духе:

— Это очень похвально — быть самим собой, — но никем другим ты быть и не можешь.

Или так:

— Что ж, установить для людей научные правила счастливой и добродетельной жизни — дело хорошее. Но при построении этих правил человека будем брать таким, каков он есть, или как мы с тобой ему прикажем, таким он и будет? Но если так, лучше уж, не расходуя лишних слов, сразу приказать ему: будь счастлив. Кстати, Козьма Прутков именно так и сделал.

— Но человек ведь может меняться? Или не может? — наскакивал Олег, а отец отвечал:

— Может, но до какой степени? Заставить человека присесть на корточки можно, а разлить его в стаканы для удобства хранения — нельзя. Когда-то в цирке выступал гражданин, родившийся без обеих рук. Явное уродство, но он делал все, что можем мы, и еще лучше. Только неприятно было на

это смотреть. Если бы его спросить, что нужно человеку для счастья, он, скорее всего, о руках бы и не вспомнил, а сказал бы, что нужны какие-нибудь туфли-перчатки или что-нибудь в этом роде. Тем более если бы он никогда не видел людей с руками. Едва ли мы в силах выдумать другие условия счастливой жизни, чем те, к которым привыкли. С мелкими поправками.

— Но ведь должны быть идеальные условия функционирования человеческого организма? Значит, их откроют, — настакивал Олег, а отец отвечал:

— Приспосабливаемость человека такова, что открывают, возможно, старую истину: привычное — значит, лучшее. А представления об идеальном — результат наших привычек. Но это очень отдаленная перспектива. А пока дай бог человеку силы разобраться, чего хочет он сам, и не подавать советов другим. Конечно, кто с младенчества сидел в прямоугольной коробке и от этого сделался прямоугольным — для него естественно и другим рекомендовать такую же коробку, хотя бы они с младенчества сидели в круглой. Но вот что странно: сидел человек всю жизнь в круглой, а остальным рекомендует прямоугольную. И, что еще более странно, сам туда же тискается. Ему жмет, а он тискается.

Олега это сердило, поэтому он старался как-нибудь задеть отца: просто в отместку и чтобы заставить его говорить серьезно. Но отец становился только ласковее и насмешливей.

Они сидели перед Инженерным замком. Небо было синее-синее. И холодное. Если положить затылок на спинку скамьи, веера из мелкозубчатых удлинённых листьев каштана (по семь штук в каждом), накладываясь друг на друга, а потом на вечернюю по-казахстанским понятиям синеву неба, создавали удивительную мозаику. Альгамбра, хотя он в точности и не знает, что за Альгамбра такая. Каждый лист имел сильный рельефный скелет — хребет и расходящиеся ребра прожилок. Похоже на отпечаток доисторической саламандры из учебника дарвинизма. Желтеть листья начинали по межреберьям, и от этого скелет выступал еще яснее. А клены желтеют, кажется, наоборот — с прожилок.

Отец рассматривал Олега с полным добродушием и удовольствием, как бы даже с любопытством. А Олег с противной визгливой ноткой, которую никак не мог изгнать из своего голоса, когда возбуждался, продолжал наскокивать.

— Но ты всем доволен? Ты уверен, что твое предназначение — сидеть в своем тресте, составлять какие-то отчеты, и больше ничего? Или еще разгадывать кроссворды?

Отец посмотрел-посмотрел на него (ужасно у него приятное лицо, хоть и толстое, подумал Олег) и как-то очень по-доброму вдруг сказал:

— Знаешь, если с человеком приятно работать, у людей от него хорошее настроение — что-нибудь большее немногие могут сделать. Нет, могут, конечно, но немногие. А предназначения ничто не имеет. И деревья не предназначены для строительства домов, а мы берем и строим. Предназначение всякой вещи — это то, на что она нам годится.

И Олег замолчал. Замолчал только на секунду: его, пожалуй, больше всего удивило, что отец, оказывается, думал над этим тоже. Вообще, с отцом, наверно, предстоит еще много интересных открытий, когда он, отец, окончательно поймет, что некоторые возможности для вставления педагогических банальностей уже можно без особой жалости упускать.

— Но если бы все, — сказал Олег, — были такие, как ты...

— Это было бы замечательно, — перебил отец. — Никто бы не орал, никого не обижали бы, все были бы уступчивыми, вежливыми и, смею надеяться, неглупыми и даже довольно начитанными. Отчеты составлять я, действительно, мастер, но большую часть времени занимаюсь другим. А кроссворды помогаю разгадывать только в виде дружеской услуги.

— Я не это имел в виду...

— А ты имел в виду, что если бы плохие оставались такими, каковы, они есть, а хорошие стали такими, как я?

— Ну, в общем, да, — усмехнулся Олег.

Гранитная облицовка Мойки была в известковых потеках со стыков гранитных блоков, где ухитрилась расти желтая трава. На чугунном столбе у входа в Летний сад орел так насел на змею, что она, уже не пытаясь ни вырваться, ни укусить его,

умоляющей синусоидой вытянулась к кому-то в стороне. Или это была не змея, а лента? Они пошли к памятнику Крылову посмотреть, сидит ли Соловей на постаменте: Олег читал в газете, что его периодически спиливают оттуда, вероятно, чтобы украсить свое жилище. Соловей был на месте. Но может быть, это была Ворона.

А отец говорил целыми монологами, проняло-таки и его.

— Тот, кто не задается бесполезными вопросами,— говорил отец,— а делает свое дело, не глупец и не эгоист, а храбрый солдат, который на отдыхе не думает о завтрашнем бое. Таких людей, кто свое дело считает достойным быть окончательной целью — искренне считает,— чаще можно встретить среди женщин. Близость такого человека согревает, как печка зимой. На фронте так действует присутствие храброго человека. Но, к слову сказать, тяжелые мысли приходят чаще всего тогда, когда ничего не делаешь. Что? Труд — наркотик? Нет, он не средство отвлечения от действительности, а переход от одной действительности к другой.

— Мы не творцы, — говорил отец, — но питаем их, впитывая их творчество. Мы аккумуляторы культуры, в том числе порядочности. Именно мы передадим ее другим поколениям. Мы — ее армия пропагандистов, подлинных пропагандистов — через приятельский кружок, через семью. Мы создаем атмосферу, которая одних притягивает, а других оскорбляет, и все-таки им до конца не удастся убедить себя, что мы лицемерны или высокомерны. Самый же трудный наш подвиг — растить детей тонкими, честными, деликатными, видя, как рядом выкармливают какого-нибудь пса, которым их будут травить. Но мы идем на это и, не спросившись наших потомков, взваливаем на них обет: не хапать, не лизоблюдничать, не гавкать... Впрочем, сделать детей иными для нас значило бы лишиться их вовсе. Но когда за тысячи верст от дома ты встретишь человека, с которым сможешь говорить как с братом, в этом будет и наша заслуга.

— Все-таки это очень мало, — с сомнением сказал Олег. — У меня вообще такое чувство, что все мы живем какой-то ненастоящей жизнью. Вот Толстой и Мусоргский —

это *настоящая* жизнь. А наша — не настоящая. И *настоящей* мы ничего не даем.

— Ну, нет,— отрубил отец. — Уже то, что ты хранишь в себе частицу настоящей жизни — вместе с ощущением, что именно она *настоящая*, то, что ты сохранишь эту частицу и передашь ее дальше, — это и будет твоим вкладом в *настоящую* жизнь. Ты тоже сможешь сберечь Толстого с Мусоргским, как поваренная книга хранит рецепты всевозможных блюд, пока они не понадобятся общепиту. Да и частные лица смогут найти в ней блюдо по душе. Роль поваренной книги для меня самая почетная.

После Олег много раз вспоминал эти слова, и ему становилось до того жалко отца, что наворачивались слезы, и ужасно было стыдно за то, как он это слушал и как возражал. Хотя воззрения отца были как будто утешительнее его собственных, ему представлялось, сколько нужно было вынести и отдать, чтобы эти воззрения сделались утешительными, чтобы хорошее совпало с привычным, чтобы стали самыми почетными заслуги поваренной книги, — и он казался себе богатым и удачливым здоровяком. Его-то уж не устраивала роль поваренной книги, он хочет быть... да, одним из приборов, на которых человечество снова и снова взвешивает добро и зло. Но теперь он усвоил, что полноценные весы — хоть они и твои личные — должны регулироваться нуждами и радостями всех людей, не только живущих сейчас или живших когда-то, но даже и тех, которые когда-нибудь родятся на свет.

Правда, отец говорил как-то не вполне всерьез. Он еще много чего наговорил.

— Ты прав, — говорил отец, — я придаю большое значение и словам, вернее, мыслям и чувствам, а не только поступкам. В этом отношении я романтик. Конечно, хорош тот, кто хорошо поступает. Но когда его нет, хорош тот, кто хорошо думает. Благородный образ мыслей может, как болезнь, протекать в скрытой форме очень долго и вдруг — возможно, в другом поколении — обнаружиться поступком.

— Пожалуйста — ищи,— говорил отец.— Только не переоценивай своих открытий. Нравственной истины все равно

что нет, пока ею владеешь ты один; подлинное вместилище таких истин — народные массы. Не кривись, не кривись — это такая же очевидность, как то, что прохладные воды океана вмещают куда больше тепла, чем даже и кипящий чайник на газовой, плите. Но странное дело! Стоит тебе услышать простейшую истину повторенной двадцать раз, как ты уже убеждаешься в ее ложности. И тем не менее климат земли определяется океаном, а не чайником. Это и хорошо и плохо. Конечно, повысить температуру океана на четверть градуса — задача чрезвычайно сложная. Но ведь и понизить — тоже. Его инертность не позволяет климату скакать оттого, что кто-то включил газ. Или выключил. Вглядишься в здание так называемых элементарных моральных норм, которые только и делают возможным существование общества, всмотришься в толщину этих колонн, созданных не природой, а человеком, и поймешь, что во всех твоих проблемах речь идет не о строительстве здания, а всего лишь о косметическом ремонте.

Они стояли у холодного парапета, закрывая рукой правое ухо, — так дуло с залива, — и смотрели на прославленную ограду. У ваз на столбах, через одну, ручки были то подняты, то опущены, и если не останавливаясь вести взгляд слева направо, то кажется, что вазы взмахивают коротенькими ручками.

— Ты выбрал роль рассудительного, потому что не хватило смелости для роли страстного, — вдруг брякнул Олег и испугался, что отец обидится.

Но отец помолчал и расхохотался:

— А ей-богу, ты неглуп. Но держу пари, что не более как через восемь лет ты поймешь, что роль рассудительного и для тебя тоже самая подходящая. И знаешь, почему? Потому что ты в самом деле человек довольно разумный.

Жалко, что Олег тогда еще не знал, что разумное — это основанное на общих хотениях. Стоит твоим желаниям отделиться от общих, как немедленно начнешь слушаться своего желудка, или боков, или... Каких-нибудь еще неудобноназываемых органов — а уж они насоветуют! По Марининой компашке можешь убедиться, что человек, равнодушный к чужим хо-

тениям, не может быть по-настоящему умным: ему доступно быть, самое большее, толковым профессионалом в мире неодушевленных предметов. Олег давно подозревал, что ум — ноль без души, без способности отзываться на чужие чувства.

Только не следует ли отсюда, что именно отец-то и прав? И азбучные прописные истины, растворенные в триллионах житейских пустяков, в триллионах людских хотений, не важнее ли они всех итоговых формулировок, хотя бы и отлитых гениальной рукой? Все итоги — не похожи ли они на слово «Финиш», отнесенное к безразлично какому маршруту? Поиск чеканной формулы добра — не отдает ли он алхимией, попыткой все многообразие мира вывести из трех-четырех начал?

Дверь на улицу распахнулась — это были мужчина и женщина: Олег увидел их на фоне лунного неба, они же его видеть не могли в его темном углу. Женщина что-то оживленно рассказывала, мужчина озабоченно поддакивал. Полязгав замком, они вошли, голоса их зазвучали приглушенно, потом вспыхнула дверная щель.

Олега все это почти не обеспокоило. Он даже начал задремывать, когда дверь снова приоткрылась и свет из комнаты упал на него.

— Ай, здесь кто-то лежит! — закричала женщина, и Олег сел. Он уже начал привыкать не делать события из разных событий.

Мужчина геройски распахнул дверь и взгляделся в Олега. Это был милицкий капитан. Комната же, из которой падал свет, оказалась самым настоящим отделением милиции — все вполне солидно: сейф, деревянный барьер, стол с начальственным стеклом. И капитан был очень солидный, немолодой — только мелкие звездочки капитанского созвездия выглядели на нем излишне стройно и моложаво.

Почему вы здесь лежите — негде ночевать — а почему не идете в гостиницу — денег нет, вернее, мало — ваши документы — и на свет снова является выпукло-вогнутый паспорт. Женщина, к счастью, не смотрит на него, она разглядывает Олега с любопытством тем более радостным, что бандита

удается рассмотреть уже на заключительном этапе — в отделении.

— Так. Зачислен студентом. Куда же мне тебя девать?

— А не надо меня девать, вы меня отпустите, я и пойду.

— Куда ты ночью пойдешь!

В общем, так. Олегу нужно выйти налево, три раза повернуть направо, там будет одноэтажный дом — это будет гостиница, там надо спросить Веру Степановну... нет, платить ничего не надо, надо только сказать, от кого — «я с ней рассчитаюсь!» — только тут на лице капитана показался призрак улыбки, и женщина восхищенно погрозила ему пальцем.

— Давай, дуй — выписься по-нормальному.

Вот оно — здание элементарных моральных норм!

Но как же явиться к Вере Степановне, может быть, разбудить ее, истратить на себя комплект белья — а потом через три-четыре часа смотаться? Если только не проспийшь, а на кровати это раз плюнуть. Или еще потребовать, чтобы Вера Степановна разбудила его?

Олег уж так благодарил их, так благодарил, что у них, похоже, все-таки не осталось осадка, будто он побрезговал их добротой.

Окон в домах горело не так уж много. Олег с любовью оглядел их все: вот он, океан, в котором растворена истина. Не загрязнять его, не загрязнять!

Внезапно погасли уличные фонари, но Олег и без них чувствовал себя как дома. О! У него же в запасе есть еще уютнейший чердак (он пощупал длиненькую шишечку на темени), там в сторонке сложены струганные доски — полная гигиеничность.

Некто, во мраке двигавшийся ему навстречу, перешел на другую сторону, и Олег почувствовал что-то похожее на гордость: ага, и его кто-то боится! Оказывается, и в нем зацепилась эта мера ценности: ты ценен настолько, насколько опасен. Слава богу, что истина растворена не в одних его симпатиях, — иначе тут бы ей и конец.

Хорошо, однако, что он помог этой женщине... хоть и без пользы. Зато с риском для жизни! А намерение — теперь он

это выяснил — бывает важнее результата. Без силы тяготения все ручьи и реки остановились бы. Вот он, знакомый балкон. Света уже нет, зато в подъезде он горит на четных этажах. Спит она или... прислушивается к топоту котов? А ничем не поможешь... Он, Олег, пуст для этой женщины.

На этот раз и крышку поднимать не пришлось — она так с тех пор и простояла открытой. Олег тихонько отжался на руках, выпрямился — и отпрянул: к нему, пригнувшись, подкрадывалась темная фигура. Уф! Он уже пугается собственной тени.

При свете люка Олег углядел чистенькие доски, бесшумно опустил крышку и по памяти пробрался к спальному месту, стараясь топтать не громче загулявшего кота. На ощупь разложил доски поровнее. От быстрой ходьбы он чувствовал себя разгоряченным, в ватнике было слишком жарко — лучше его подстелить, вместо него надеть свитер. Подобно бывалому солдату, он утратил чувство бездомности: где он, там и дом. Даже проспать он уже не боялся — а, как-нибудь утрясется!

Как бывалый солдат, в абсолютной тьме, он спокойно, поделовому перебирал события дня, не делая из них события. Электричка... Ани Жирардо... Мешок с сахаром... Зубы — наполовину солнечные, наполовину лунные, от которых, однако, ни жарко, ни холодно... подмышка — волосатый студень... Брр! А что уж он, собственно, так ополчился на нее — не такая уж она, в сущности...

Хотения успели перемениться, а вслед за ними переменялись и суждения.

Знала бы Марина, какой он орел и покоритель женских... подмышек! Взять бы да позвонить ей, чтоб знала, что он давно про нее забыл! Только номер что-то не вспомнить?.. он, разумеется, звонить не собирается — просто хочет вспомнить из любви к истине. Двести тридцать пять четырнадцать... нет, двести тридцать пять сорок один... нет, надо с разгона, как будто и не вспоминаешь, он тогда сам собой... тра-ля-ля, мне до него и дела нет — двести тридцать пять... Чтоб ему сдохнуть! Теперь точно не заснуть. Двести тридцать пять...

Он проснулся, как ему показалось, оттого, что у него от холода начало останавливаться сердце. Непослушными руками он натянул ватник на непослушное тело, но было уже поздно: в нем не было ни искорки тепла, чтобы разогреть внутренность ватника, выстуженного и просторного, как ангар. Отрицательно подергивая головой, как человек, страшащийся чему-то поверить, Олег, пошатываясь, двинулся было к выходу из этого ледяного ада, однако понял, что в этой крошечной тьме люка не найти. Но слуховое окно уже слабо серело. Ничего не соображая, он двинулся к окну, еще раз приложившись о стропила тем же самым местом и не почувствовав ни малейшей боли.

С уклюжестью калеки он выбрался на крышу. Пожарная лестница закруглялась перед самым носом. Он уже настолько не доверял своим рукам, что, прежде чем разжать одну, смотрел, держится ли другая, и даже пробовал, крепко ли держится, как дергают для проверки привязанную веревку. Стальные перекладки туманились едва заметной изморозью и обжигали руки, но ему это было совершенно безразлично.

На всей стене светилось единственное окно — от лестницы рукой подать. В окне стояла тонкая женская фигура. Заметив Олега, она не отшатнулась, а наоборот, быстро открыла окно и, наклонившись вперед, взгляделась в него.

Это была Ани Жирардо.

— Что это? Поклонник Писарева под окном у дамы?

— Да, я всегда смотрел на любовь как на средство, помогающее переносить тяготы труда и борьбы с человеческой глупостью, в женщине я видел прежде всего единомышленника. Но сейчас... я здесь, Инезилья!

— Мое имя Аня. А твое?

— Я знал, что после Марины встречу Анну. Сладчайшее имя. Оно тебе к лицу.

— Но немножко полнит. А как твое имя?

— Олег. Как ныне сбирается вещей Олег...

— Теперь тебе не придется так острить. Со мной это не нужно. Я знаю, тебе часто приходилось ломаться, чтобы скрыть лучшее в себе. И я тоже старалась казаться хуже —

но теперь мы наконец нашли друг друга, и можно больше не фальшивить.

— А почему ты тогда не оглянулась — ведь я смотрел тебе вслед...

— Я не хотела навязываться... А потом поняла, что когда не навязываешься — этим тоже как будто стара ешь себе цену. Когда я поняла, что от тебя ничего нельзя скрывать, ты уже исчез. И я весь день искала тебя и плакала. Мне было совестно — а что делать! Потерять тебя — это в тысячу раз хуже, чем претерпеть неловкость. Все думали, что я плачу оттого, что у меня недавно умер отец, и мне было не так стыдно перед ними, зато еще стыднее перед собой — что я плачу не об отце...

— Ты сейчас одна?

— Я всегда одна. С моими друзьями. Нет-нет, я говорю о книгах. Сумасшедший! Ты же мог упасть!

— Я сегодня уже прыгал с крыши на балкон. В вашем доме.

— Мне рассказывали. Я сразу подумала, что это ты. Какой ты ловкий, бесстрашный!

— У меня был разряд по гимнастике. Правда, юношеский, а я уже не юноша...

— Ты всегда будешь юношей. Ты всегда будешь вкладывать всю силу души в то, что любишь. Этим ты мне сразу и сделался дорог. Боже, ты весь дрожишь — сейчас же в ванну, греться!

— Как-то с первого знакомства — и сразу в ванну...

— А это не первое знакомство! Ты в сновиденьях мне являлся. Не смущайся, у меня ванная не запирается. Не от кого. Все, ухажу. Не пугайся, я вспомнила, что сегодня нет горячей воды. Я сама тебя согрею! Может быть, это нехорошо, но я не должна скрывать от тебя ничего, никаких помыслов. Ты не представляешь, какой ты трогательный! С такими мускулами — а сам как девушка. Ничего, что у меня тонкое одеяло? Ты совсем ледяной! Как инкуб. Тебе, может быть, неприятно? Я не нравлюсь тебе? Ты не стесняйся, даже этого не нужно скрывать...

— Мне, может быть, нравились бы все девушки на свете, если бы какие-то их низкие черты не отталкивали меня. Или не удерживало недоверие. А с тобой я себя чувствую как с самим собой. Как с лучшей частью самого себя.

— Значит, я чуть-чуть тебе нравлюсь? Ничего, что я такая некрасивая?

— Ты очень красивая! Я сразу понял, что ты необыкновенная женщина — а значит, и красивая. Красота — навязанный нам стандарт, а у меня хватает гордости и чести взвешивать ее на собственных весах, не предавать тех, кого люблю, на чуждый суд. И за все пренебрежительные взгляды я заплачу тебе тысячекратной нежностью. Но сейчас я не имею права — мало ли что может случиться за три дня: три денька — три полка...

Лестница не доставала до земли, пришлось повиснуть на руках. Окоченевшие лодыжки от удара об асфальт отозвались такой болью, что Олег сдавленно взвыл и, скорчившись, ухватился за них. И как будто даже согрелся.

Ну и фантазии у него... пусть бы еще излишне яркие, а что? если безвкусные? Или мечты у всех глуповаты? Может быть, самому умному человеку признаться в своих мечтаниях было бы трудней, чем гольшом пройтись по Невскому? Да, ручей без берегов — тоже не самая умная вещь на свете.

И вдруг откуда ни возьмись выскочил номер Маринино-го телефона. Ну и слава богу — можно теперь и забыть. На бесчувственных ногах, как на протезах, сдерживая стоны, он потрусил к вокзалу — серый призрак с котомкой среди таких же призрачных домов. Но становилось все теплее, боль уходила, он перешел на быстрый шаг и на вокзальную площадь вступил уже как в теплую, знакомую комнату. Тем более что здесь горели фонари. Все, наверное, можно обжить — прогреть своей судьбой. И осветить смыслом, который несешь в себе. Да, без твоих хотений, без твоей любви в мире царит холод и тьма — только ты освещаешь и согреваешь его. Ты сам.

В вокзал идти уже не хотелось. Он решил еще раз пройтись по центральной улице, проститься с родным городом, где столько пережито (а вдруг напоследок все-таки удастся

встретить Ани Жирардо?..), но не успел он дойти до пивного ларька, как откуда-то сбоку с ужасным треском вырвался мотоцикл и помчался прямо на него. На всякий случай он отступил за фонарный столб и, возможно, не зря, — мотоцикл остановился метрах в полутора.

С багажника не спеша слез блондинистый парень в какой-то форменной тужурке с блестящими пуговицами. Он неторопливо обошел мотоцикл, что-то, нагнувшись, подкрутил в переднем колесе, небрежно перекинулся парой слов с мелкокучерявым курносым приятелем за рулем, но Олег видел, что все это предназначается ему: он должен был понять, что им займутся, как одной из множества прозаических мелочей. Может быть, этот в тужурке когда-то видел по телевизору, как следователь раскладывает бумаги, болтает по телефону, а подследственный, трепеща, следит за каждым его движением. Ужасно книжный, вернее, телевизиорно-киношный народ эта шпана. (Мы тоже книжные, но книжность нашего уровня называется уже иначе: культура.) Олег не знал, что ему делать. От столба он почему-то не отошел. Сейчас он остро почувствовал нелепость рюкзака за спиной.

Блондин, как будто вспомнив, направился к нему и, словно не замечая его, левой рукой задрал тужурку, а правой, досадливо морщась, начал рыться в карманах брюк. Нашел, opravил тужурку.

— Ну? Что? — обратился он к Олегу.

— Что? — невинным голосом спросил Олег. Какой-то инстинкт загнал чувство опасности в такой уголок сознания, что он его почти не замечал. Более того, он чувствовал даже какое-то умиротворение, будто после долгих странствий сидит наконец в родной семье за вечерним чаем. Этот инстинкт был ближайшим родственником того инстинкта, который заставляет страуса зарывать голову в песок. Трудно сказать, на что при этом рассчитывает страус: хочет спасти хотя бы голову или просто ему отвратительно зрелище опасности. А родственный инстинкт Олега либо действовал опять-таки по способу одописцев, ставивших монарха перед необходимостью оправдать доверие, либо бесстрашным поведением надеялся посеять

сомнения в нападавших. А может быть, он руководствовался какими-то иными, недоступными соображениями, какими-то отзвуками чьих-то слов насчет того, что собаки кидаются на бегущего.

— Ты местный, тут живешь?

— Нет.

— А чего ночью ходишь?

— Жду поезда.

— А чего ты тут выступаешь?

Видимо, идея правосудия все-таки крепко засела в эту белобрысую голову: он не мог приступить к расправе, не сшив предварительного липового дела. А может быть, обвинение было потому столь слабо мотивировано, что блондин сам трусил и хотел дать Олегу легкую возможность оправдаться.

— Я не выступаю, — оправдался Олег.

Блондин с исключительно озабоченным видом стал рассматривать предмет, вынутый из брюк, — все ухватки бюрократа, якобы не замечающего просителя перед своим столом. Правда, рассматривал он не бумаги в скоросшивателе, а складной охотничий нож с приспособлением для извлечения заевших гильз. Он скреб ногтем вдоль закрытого лезвия, всматривался, снова скреб и даже попытался выдуть оттуда что-то.

Олег посмотрел на мелкокучерявого за рулем — тот изо всех сил тужился потешаться. Инстинкт и сейчас не позволил Олегу заметить опасность, и, видимо, совершенно напрасно. Видимо, следовало бы рвануть к вокзалу, — блондин, возможно, на это и рассчитывал, и все были бы довольны, — но Олег стоял как ни в чем не бывало.

— А ну, чего, вы к нему пристали! Сейчас милиционера позову! — раздался женский крик.

Блондин сунул нож в карман, сел на багажник, они лихо развернулись и затрещали по центральной улице. Мимо Олега к вокзалу прошли двое мужчин и женщина с ними под руку.

— Стоишь как пень — драпать надо! — укорила она Олега и пошла дальше. Выручила и пошла — вот оно, здание элементарных моральных норм. Мало он на них обращает внимания все-таки!

Олег решил было пойти куда шел несмотря ни на что, но потом рассудил, что ему этого уже совершенно не хочется, а если не хочется, то и нет никаких причин идти туда. Конечно, когда стараешься избежать неприятности, теряешь возможность чему-то научиться — но ведь научиться-то как раз для того, чтобы избежать неприятностей в будущем. Так что лучше избежать одной из них прямо сейчас, а учиться начать с неотвратимых. В них, можно надеяться, недостатка не будет. Он повернул к вокзалу и с удовольствием почувствовал, что совсем не испугался.

Его избавители стояли у расписания. Он понял, что уезжает только один из них, лысый и черный, похожий на узбека, очень приятный на вид, с черными и лукавыми, как у Ходжи Насреддина, глазами. Мужчины были сильно выпивши, но старались держаться солидно, говорили медленно и слушали так же, выражая этим взаимное уважение. Провожавший стоял спиной к Олегу под руку с женщиной, а черный стоял перед ними.

— Здесь раньше все чухна жила, — убедительно говорил провожавший.

— Так, понятно, — серьезно кивал черный. — Это такая национальность?

— Ну... вроде национальности... Но это теперь считается как оскорбление. Я тут ремесло кончал. Так мы с ребятами, когда на танцы идем, всегда говорили: пошли чухну бить. Шутка такая была.

Вступила женщина, недовольная его объяснением:

— Чухна — это все равно как скобари.

— Но скобари ведь русские? Это просто прозвище — скобари? — допытывался черный. — А чухна — это русские или нет?

— Ну да, русские, — закивал провожавший, сам удивляясь, что вопрос решился так просто. — Это прозвище. Ну, правильно, прозвище.

Женщина слушала с сомнением, но не возразила. Заметив Олега, она снова рассердилась: «Бежать надо, а не стоять столбом!», и мужчины дружелюбно покивали. Уже перед самым

поездом пришел вылитый Тарас Бульба и девушка с ним. Он ей что-то тихо внушал, а она нервно смеялась и повторяла: «Шлите посылки до востребования».

А возле выхода на перрон, на застекленном стенде, который Олег принимал за Доску почета, висели отпечатанные на плохой бумаге фотографии разыскиваемых граждан. Не все благополучно было на свете: где-то ходил гражданин в сером плаще, нанесший кому-то тяжкие телесные повреждения, люди уезжали в командировки, шли в кино и не возвращались. Все это было жутковато. Он вспомнил своих мотоциклистов. Женщина, которая выдавала себя за влиятельное лицо, обещала достать нечто дефицитное и регулярно скрывалась с чужими деньгами, — она рядом с этим выглядела невинным ягненком. Правда, лица двоих были уже перечеркнуты с пояснением, что задержаны они благодаря усилиям общественности.

4

В вагоне спать почти никто не ложился, дорога началась еще недавно. Олег лежал на третьей полке, на ватнике, головой на рюкзаке (а рюкзак на ботинках, засунутых как можно глубже под трубу). Желтый свет лампы, вполсилы горевшей в проходе, уже растворялся в бледной голубизне, через окна наполнявшей вагон. И в окне, куда он смотрел, пока не влез наверх, все было холодное, блеклое, и луна, вечером так сиявшая, сейчас, на рассвете, была бледная, скучная. «То же и с женщиной», — элегически подумал Олег и чуть не рассмеялся: до чего же его тянет на роль переумудренного мужчины. Было очень удобно, — только ноги торчали, — и на душе было изумительно легко. Легко до умиления всем, что слышал и, повернувшись на бок, видел внизу. Все тут были свои. Он их всех любил, даже пожилую разносчицу в белом халате с проволочной корзиной, хотя она была и не из их купе. Лысеющий крикун с бокового места, очевидно, желая играть роль парня-ухаря и надеясь, что хотя бы старуха согласится принять его

в этой роли, кричал ей что-нибудь залихватское, называя то невестой, то тещей:

— Эй, теща, пиво есть?

— Все есть.

— Почему?

— По деньгам.

— По каким? — запнувшись: — По скольким?

— По всяким, по советским.

— Смотри, разведусь!

— С тобой бы я и регистрироваться не стала.

Крикуна Олег тоже любил и немного обижался на разнощицу: все-таки он же к ней по-хорошему. А крикуном он, может быть, сделался только потому, что через столик сидел его приятель-крикун, который, возможно, был крикуном по той же причине.

Над крикуном спал маленький дед с перебитой ногой, рядом с ним лежал его костыль — узкая обструганная доска, вроде штакетника. Дед вздыхал во сне, как что-то очень большое. Вид у него был до крайности деревенский, но со своей старухой, до того как заснул, он обращался с визгливой белогвардейской нервностью. Она же с жалостью в лице кидалась, чуть только он что-нибудь просил. А просил он, в основном, сушек, большущая связка которых висела у окна, над головой мужчины в очках. Сушку дед раскусывал с треском фотоаппарата и жевал с сосательными гримасами, перебегая растерянными острыми глазками с предмета на предмет.

Олег любил и мужчину в очках, несмотря на его интеллигентно-глупое лицо маленького строгого начальника; он даже жалел его за это: не понимает, бедняга, как его портит этот значительный вид. Олег жалел его и за то, что он, показывая на сетку, тихонько сказал серьезной девушке напротив, читавшей, не жалея глаз, школьную тетрадь в розовой обложке: «Понабрали... Меня одна такая чуть с ног не сбила: где, кричит, шишки дают? Это она так про ананасы»; Олег жалел его и за то, что он сказал той же девушке про старика, когда старуха полезла за очередной сушкой, мешая ему открывать о край столика очередную бутылку с пивом: «Худая скотина

и телится не вовремя, что старый, что малый», — сказал бедняга с неподдельной злостью. Ударяя по бутылке, зацепленной за край стола, он ораторски гневно встряхивал головой, отчего волосы распадались надвое, и он горделивым движением головы откидывал их назад. Пил пиво он из граненого стакана, закусывал крутыми яйцами и, глотая, вытягивал шею, словно хотел заглянуть куда-то, и, заглянув, удовлетворенно наклонял голову, соглашаясь с тем, что там увидел. Но он, бедняжка, с такой трогательной беззащитностью спрашивал у входивших на маленькой станции: «Это Озерная, это Озерная?», а ему никто не отвечал. Трудно, что ли, ответить?

В тетради у девушки крупным почерком было написано: Бруни — «Медный змий», Брюллов — «Последний день Помпеи», Айвазовский — «Девятый вал», «Волна» и т. д. Олег видел в музеях таких женщин с тетрадками: подойдут к картине, прочитают табличку, что-то запишут и идут к следующей. Ему всегда было интересно, что они там пишут. Мужчина в очках тоже прочитал это вверх ногами и с полчаса назад начал с ней культурный разговор: похвалил ленинградские музеи, а в них — старых мастеров, у которых «виден каждый волосок». Но с каждой бутылкой он становился в разговоре все свободнее.

Олегу тоже хотелось с ней заговорить, просто поболтать: прической она была похожа на Марину, и, когда он взглядывал на нее, у него сладко замирало в животе (сладко — значит воспоминания уже начали перерабатывать горечь в сладость, — не Ани ли Жирардо помогла ему в этом? Что ж, спасибо. И прощай!). Жаль только, что «просто поболтать» не выйдет, она его не поймет правильно. А если и станет поддерживать разговор, он не сумеет сделать его непринужденным. Поэтому он только время от времени взглядывал на нее, чтобы ощутить сладкое замирание. Он всегда удивлялся людям, которые начинали заговаривать с попутчиками, вместо того чтобы почитать или просто посидеть, подумать о чем-нибудь; а теперь он догадался, что попутчики для них, наверно, — суррогаты близких.

Девушка была не особенно красивой, ее портил слишком правильный нос, если только в этом выражении есть какой-нибудь смысл или, другими словами, если понять, почему правильным называют такой нос, слишком сильное приближение к которому портит человека. Но ее отражение в стекле (очень неясное, от освещенной стороны лица полумесяцем проступал только очерк лба и ровная линия носа, да что-то от губ, а вся неосвещенная сторона, что была ближе к стеклу, выходила темным пятном, через которое виднелось смутное мелькание земли под окном) было сказочно прекрасным — прямо какая-то Медной Горы Хозяйка. Всегда мы, что ли, мысленно дорисовываем то, чего не знаем, более красивым, чем оно есть? Когда вдали поют хором, часто сжимается сердце, а вблизи, наверно, скривился бы.

Рядом с мужчиной сидела женщина в розовом платье с сынишкой лет десяти. Она была в золотых очках, а мальчишка в джинсах с кожаными заплатами, но при этом он спрашивал: «Мамка, где яечко?», а она отвечала: «Тама, у торбе посмотри». Будь это во времена «хождения в народ», их арестовали бы как неумелых пропагаторов. Мужчина в очках с неподвижной улыбкой спросил у мальчика, косясь на соседку:

— Так ты уже окончательно решил прыгнуть наверх? Или морально себя готовишь? А, так это мама выступает поперек, понимаете ли, космических проблем?

И снова повернулся к девушке с тетрадкой, куда она утыкалась лишь только он замолкал:

— На иностранных линиях очень слабо кормят: кофе, какой-нибудь сухарик, а на нашей сразу как тебе отвалит полцыпленка табака... Нас принимал директор фирмы. Это ужас, как живут! Только мечтать можно о таком столе.

Потом похвастался, что мог бы взять даже купейный билет, но не хотел использовать свое влияние. Хвастовство, в отличие от целенаправленной, корыстной лжи, возникает из-за преувеличенного представления о силе человеческого мнения. Конечно: с младенчества видишь, что хорошо то, что все считают хорошим, и немудрено вообразить, что вещи становятся хорошими только потому, что общее мнение так

им продиктовало. Стало быть, если хочешь быть сильным, умным, великодушным, — внуши людям, что ты такой, и станешь таким. Ты есть то, что о тебе думают. Хвастовство — оно тоже от страха самому взвешивать добро и зло, самому быть себе судьей.

Все сидевшие внизу сейчас были для Олега как бы его детьми, на которых сердиться было невозможно, а разве что растроганно грустить. Лысеющий крикун рассказывал своему приятелю, как он в Ленинграде три часа стоял за рубашками с какими-то карманчиками или погончиками в какую-то полосу. Господи! Три часа лысый мужчина стоял за какими-то рубашками! Неловко же об этом рассказывать; хоть бы приуменьшил время стояния, а он, кажется, и приврал, но в другую сторону.

— Простите, что я вас перебью,— через все купе вмешался мужчина в очках. — У меня знакомый моряк был в Италии. Приходит в магазин (тогда еще болоньи были в моде). Его спрашивают: что хочет русский матрос? Он говорит: плащ. Так тот закрыл магазин (представляете, закрыл магазин!), повел его на склад и дал. Хозяин!

Отец говорил о патриотизме: интересы своей страны следует ставить выше чужих по той же причине, по которой следует предпочитать интересы своих родителей. Сложилось так, что интересы своих родителей все ставят выше чужих, и если, «по справедливости», ты поставишь своих родителей в ряд с другими, то тем самым оставишь их обойденными,— всем остальным их дети дают приоритет, а твоим — отказывают. Но уж во всяком случае патриотизм должен начинаться с доброжелательности к отдельным людям, с которыми сталкиваешься. Еще он говорил по этому поводу: есть предметы, мнения, требующие какого-то активного сопротивления, чтобы стать от них свободным: к ним недостаточно быть равнодушным, как для того чтобы оставаться чистым, недостаточно избегать явной грязи — нужно еще регулярно мыться. Такова большая часть национальных предрассудков.

Горбоносого парня на соседней третьей полке звали Игорем; он недавно развелся с женой и теперь ехал к родителям.

— Разбаловалась, — вполголоса рассказывал Игорь, наклонившись к Олегу, как во времена похода на Царьград. — Я с книжки снимал каждый месяц (нас через сберкассу рассчитывают) по двести — двести пятьдесят рублей, да левака каждый день рублей десять. Ничего получается? Из рейса апельсины везешь, тоё-моё-блинчики. Нас обычно утром и вечером посылали в один и тот же рейс. Как приезжаем, я по микрофону объявляю: кому не нужны билеты, пожалуйста, сдайте. Они мне ложат на капот, а вечером снова. Билеты под строгой отчетностью.

Он внушал невольное почтение Олегу. Почти его ровесник, но совершенно взрослый, все знает, что ему надо делать. Олег-то знает не меньше его, но куда не так твердо. Он даже сомневается, что это так и положено — два раза продавать одни и те же билеты. Нет, Олег и через пятьдесят лет не будет таким взрослым. А Игорь содержит семью, спокойно едет работать на новое место, ни с кем не договорившись заранее, кончил (на всякий случай, на старость!) автодорожный техникум — не ленился ходить по вечерам. О своих ребятах из общежития он рассказывал, минимум, как родная мать: про то, как они заваривали чай, как однажды все четверо, не сговариваясь, купили по буханке хлеба, и сколько тут смеху было. А человек виден не только в том, как о нем говорят другие, но и в том, как он говорит о других. Олег, как мог, выражал уверенность, что все у Игоря будет очень хорошо, а у его бывшей жены — очень плохо.

Все это время, пока он лежал на полке, воспринимая только попутчиков, почти перевоплотившись в них, мир был небольшим, но очень уютным. Когда Олег был один, — весь этот день, — мир был несравненно просторнее, и Олег всего напереживал, может быть, больше, чем за целый месяц деятельности и общения. Но от таких «переживаний» и свихнуться недолго. Стать чудачком. Хотя, конечно, самые, что называется, поэтические минуты переживаешь, когда ты один. Впрочем, одиночество, сосредоточенность, видимо, всегда приводят к подобным психическим явлениям: святые молчалники чувствовали приход бога в душу по внезапному умилению и

беспричинным слезам,— чем и характеризуются «поэтические» чувства.

Снизу уже было слышно только мужчину в очках, и говорил он очень веско, но голос его начинал становиться неприличным по своей сиповатой громкости; да и лицо у него постепенно наливалось до неприличия.

— Это ужас, как работяги разболтались! — восклицал он и на миг застывал, устремив в бледнеющее окно горестный неподвижный взор. — Не заплатишь — ни за что не станут работать. Ты его убеждаешь: кирпич идет, а он тебе в лицо иронически насмехается.

Олег, когда начинали ругать работяг за леность, всегда почему-то вспоминал щедринских генералов, которых на необитаемом острове кормил лежебока-мужик.

— Ничего, — торопливо рассказывал Игорь, кусая губы и щурясь в сторону, — любимого сына она мне отдала, он сейчас у матери. Пусть поживет, посидит на своей заднице. Она после суда уже ко мне подкатывалась. Специальности у нее нет, в столовую пошла работать — у нее там мать кассиром. Прокормится, конечно. Но она такая, что и одеться любит. Я теперь уже на танцы не пойду, я там, как пионер, у стенки стоял. Там теперь одно пацанье, по шестнадцать лет. Я лучше вдову себе найду, лет под тридцать. Я ей давно говорил: меня не корми, хрен с тобой, я привык, а то у нее пацан не евши бегают, Я спрашиваю, где обед, а она говорит: ложи сначала деньги, тогда будет обед. Ну — не сука?

Олег долго не мог заснуть — вертелся с боку на бок, двадцатью способами укладывал излишне длинные ноги, то и дело упрятывал поглубже в рюкзак что-нибудь твердое — чаще всего Писарева, — становясь на мост, поправлял съезжавший ватник. Опять вспомнил родителей, опять подумал, что они расстроятся, что у него «пропал год» (куда пропал, не умрет же он на год раньше, но этого им не втолкуешь!), испугаются, что теперь он покатится все ниже и ниже... Да нет, конечно, они не так глупы, но все равно расстроятся и все равно испугаются, а все из-за того, что уж очень за него боятся, потому что уж очень любят. Стало ужасно жалко их и стыдно, что

он их, в общем-то, мало вспоминает, мало о них думает, и он твердо решил написать им подробнейшее письмо и убедить, что речь идет о годе и только о годе, что и в этом году он будет заниматься, что кончат все институты, какие нужно, и вообще будет делать все, что положено.

Когда же он наконец заснул, первым, кого он увидел, был Валерий Яковлевич Брюсов, довольно похожий на свои портреты, и он торопливо, словно жалуясь, выкладывал Брюсову все, что ему когда-то приходило в голову по поводу наполовину переведенного Брюсовым «Фауста». Он чувствовал, что говорит неясно, но задерживать Брюсова подробным изложением было неудобно. Однако Брюсов, кажется, все понимал и, похоже, сам думал о том же еще раньше: он хитро улыбался, и черные глаза его блестели из твердых скул не бессмысленно, как у птицы, а весело и лукаво, как у Ходжи Насреддина.

— Во-первых, — спешил Олег высказать побольше, — у него там одни мнения — без доказательств. Когда-то, может быть, и чистые мнения были открытием, в противовес, что ли, средневековой морали, но сейчас нам нужны их *обоснования*, а их нет. «Женщина любовью спасена», «кто жил, трудясь, стремясь весь век, — *достоин* искупленья» — почему? Из каких естественных оснований он это вывел? И что такое «спасена», «искупление»? К каким конкретным ощущениям слова эти восходят? Для нас, не верящих в бога, они могут быть только иносказаниями, но какой в них точный смысл? Там это даже не обсуждается! А у комментаторов все бессовестно преувеличено: все «страшный порыв», «глубочайшее проникновение», «титанический взлет», «сочный реализм».

Он тревожно взглянул на Брюсова, слушает ли он и не сердится ли; Валерий Яковлевич сидел вполоборота, сдерживая лукавую усмешку, но, очевидно, слушал очень внимательно. Олег успокоился.

— Да и все «отрицание» Мефистофеля наполовину в том (он так и сказал), что в явлениях «духа» он указывает физиологическую основу, и притом, наверно, неправильно. Ну, а мы-то знаем, что все «духовное» рождается путем материальным, и ценим его ничуть не меньше. Отрицание очень низкого

уровня. Вот что Мефистофель столько лет водился с Фаустом и, кажется, даже ему симпатизировал, а когда тот умер, даже не почесался, — вот это действительно страшно.

Он остановился и добавил только сейчас пришедшее в голову:

— Дьявола, по-моему, вообще выдумало начальство, церковное и всякое, — ведь он очень отличается от простонародного черта. Смотрите, какие качества ему отдали: отрицанье и сомненье. А плохи они как раз для того, кто хочет удержать нетронутым существующий порядок. Если бы стоило сегодня выдумывать дьявола, то есть собирать в человекоподобном существе разные скверные, в нашем представлении, качества, я бы сделал это не так. Ну, конечно, все качества в одном собраться не могут, поскольку многие из них исключают друг друга — ну, как трусость и буйство, скупость и расточительность. Но второстепенные скверности можно раз дать членам его свиты, а главного Сатану я сделал бы самодовольной тупой скотиной с откормленной мордой, сквозь которую никому не достучаться, и вдобавок — моим начальником. А в свиту ему дал бы своего в доску парня, просто и весело глядящего на жизнь, прохвоста из прохвостов и общего любимца; потом вдохновенного идиота с бессмысленным пламенем в очах, который, впрочем, только разновидность Сатаны Главного: основное свойство — непрошибаемость — у них общее; ну, еще можно неглупого и спокойного прохиндея, подхалима, вора, хулигана, исполнительного тупицу и еще разную мелюзгу, но вообще-то надо подумать. Во всяком случае, старого дьявола с его элегантным остроумием, холодным или циничным, я бы включил туда в последнюю очередь. Лично я его совершенно не боюсь. А то даже булгаковский Воланд наделен традиционными дьявольскими атрибутами, вплоть до костюмов — так старухи иногда носят то, что было модно в пору их юности. Хотя я вообще-то от романа в восторге и все такое.

Тут он вспомнил, что Брюсов не читал «Мастера и Маргариту», но, взглянув на него, понял, что читал и демонологические соображения Олега кажутся ему любопытными. Олег говорил, разумеется, куда путанее, но приблизительно так

это все отредактировалось, почти сочинилось утром, когда он проснулся и лежал на спине, согнув колени, чтобы они попали на ватник, а то ноги скользили по полированному дереву и выпрямлялись, и край полки начинал давить на ахиллесовы пяты. Он пожалел, что забыл сказать Брюсову о внешности дьявола у Томаса Манна: внешность у него выбиралась по законам мимикрии, а сам он в ней смыслил не больше какой-нибудь бабочки, имеющей форму листа.

И сообразил, что, ругая Гете за «чистые мнения» — без их обоснований, он не учел вчерашнего открытия, что мнения наши о хорошем и плохом коренятся в наших потребностях — в хотениях. Поэтому лучше знать истину очень часто означает всего лишь лучше знать наши желания — может быть скрытые. Потому поэт и может знать истину лучше, чем ученый.

Олег пожалел, что зря ввел Брюсова в заблуждение.

Из вчерашних соседей в купе не было никого, но Олег готов был любить и новых. Второй день был в разгаре — и в вагоне, и на станции, где вагон стоял.

Параллели к середине карты сильно провисают, и с первого взгляда не поймешь, южнее, чем прежде, ты оказался или нет. Но солнце шпарило всю даже через стекло. Березы были окружены облачками зеленых мошек. Со стриженных тополей фасонно свисали плети молодых веток с пучочками полураскрытых листьев — ни дать ни взять новогодние гирлянды со звездами из фольги. На кустах сидели желтые почки, величиной с пчелу, но гораздо пушистее — как цыплята.

Как цыплята — даже лопнувшие скорлупки кое на ком еще держались, скорлупки, правда, больше похожие на крылышки майских жуков, чем на яичную скорлупу.

Днем, когда вплотную подступил лес, вагон наполнился зеленым светом, и лица у всех позеленели, если так можно выразиться, здоровой зеленью — неожиданная ассоциация с подводным миром: где еще можно увидеть такую зеленую толщу! А вечером на каком-то полустанке он увидел дуб, усеянный крошечными, но уже вполне дубовыми листочками.

И публика в вагоне изменилась. Больше стало резиновых сапог, ватников под мышкой, лиц, обожженных непогодой, на-

пряжением и спиртом. Олегу уже удалось с замиранием сердца подслушать великолепную фразу: «Без премии на сплаве не хрен ловить!» На какой же высоте стоят люди, столь фамильярно толкующие о таком деле, за которое Олег согласился бы и приплатить — только бы ему позволили им позаниматься. Ореол на всю жизнь, а они надели его кое-как, набекрень, — а могут и закинуть под лавку, если будет мешать.

Север приближался. И он, Олег, ехал к нему во всеоружии. Теперь ничто не мешало ему любить то, что он любит. Все дело теперь было в том, умеет ли он любить по-настоящему.

Но в глубине-то души он знал, что никакого вопроса здесь нет: запасов его любви к миру с избытком достанет лет на тысячу.

Содержание

Бессмертная Валька.....	3
Подручный Орфея.....	107
Весы для добра.....	256

Мелихов
Александр Мотелевич

БЕССМЕРТНАЯ ВАЛЬКА

Повести

Подписано в печать 25.07.2013
Формат 84×108 ¹/₃₂. Гарнитура Times New Roman.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,68.
Тираж 3000 экз. Заказ №

Издательство Союза писателей Санкт-Петербурга
191119, ул.Звенигородская, д. 22, каб. 22
Тел (812) 404-63-10
soyuzpisateley@mail.ru

Отпечатано в типографии «Град Петров»
ООО ИД «Петрополис»
197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.16
www.petropolis-ph.ru